

ВЕРХОВНЫЙ СУД СОЮЗА ССР

СЛОВО

Сборник статей и документов

ПРОБЛЕМЫ

об А.И.Солженицыне

СВЯТЫЙ

1962-1974

ДОРОГУ

А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

Повесть

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отголоски тех болезненных явлений в нашей жизни, связанных с периодом развенчанного и отвергнутой партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уже далеко, представляются нам далеким прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено... в правдивом и мужественном постижении до конца всех последствий. Об этом именно говорил Н. С. Хрущев в своем послании для всех нас заключительном слове на XVII съезде: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

«Один день Ивана Денисовича» — это не документ в мемуарном смысле, не записка или воспоминание о пережитом автором лично, хотя только пережитое лично могло сообщить этому рассказу такую достоверность и подлинность. Это произведение художественное, и в силу именно художнического освещения данного жизненного материала оно является свидетельством особой ценности, доку-

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

И еще один простонародный афоризм: истинная значительность человека — не в том, что он может не призвать к себе и своеобразия в самой себе, она менее всего озабочена и силой.

Я не хочу предвосхищать произведения, хотя для ратуры нового, своеобразия.

Может быть, исподволь — некоторых с трудовой день, вызывает «Один день Ивана Денисовича» — произведения, которые мы считаем истинными автору было...

В пять часов утра, у штабного бара, стекла, намершие в дрателю неохота была Звон утиха, а за окном вставал к параше, был фонаря: два — на зон

И барака что-то некие брали бочку параша Шухов никогда не развода было часа под лагерную жизнь, всегда подкладки чехол на валенки прямо на койке не выбирать; или проб подмести или поднести со столов и сносить их охотников много, отб

Слово пробивает себе дорогу

Сборник статей и документов об А.И.Солженицыне

1962-1974



Издательство «Русский путь»
Москва 1998

ВСТУПЛЕНИЕ —
Лидия Чуковская

СОСТАВИЛИ
Владимир Глоцер и Елена Чуковская

ПРИЛОЖЕНИЕ СОСТАВИЛА
Елена Чуковская

ХУДОЖНИК
Сергей Стулов

Эта впервые выходящая в виде книги, без всяких изъятий, самиздатская рукопись составлена в 1969 году. Со всей возможной полнотой она освещает отраженные в печати, а также в неопубликованных источниках перипетии литературной и жизненной судьбы Александра Солженицына — с момента появления в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» до пятидесятилетнего юбилея писателя и дальше (в Приложении) — до его высылки из страны. Книга представляет весь спектр отношений к писателю людей разных взглядов, критиков, литературных и нелитературных организаций, то есть дает правдивую картину жизни писателя со времени его вхождения в литературу до изгнания в 1974 году.

Составители, разумеется, были вынуждены всячески скрывать свою работу над сборником, в частности число людей, делавших сборник, поэтому предисловие было написано «От составителя».

© В.И.Глоцер. Составление, 1998
© Е.Ц.Чуковская. Составление. Приложение, 1998
© Л.К.Чуковская. Вступление, 1998
© С.А.Стулов. Оформление, 1998

СОДЕРЖАНИЕ

От составителя	9
Вступление	10

1962-1964

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

<i>А.Твардовский</i> . Вместо предисловия	15
Из статей <i>Е.Бройдо, Н.Зорина, Б.Кагана, А.Астафьева,</i> <i>М.Нольмана</i>	17
<i>Константин Симонов</i> . О прошлом во имя будущего	19
<i>Григорий Бакланов</i> . Чтоб это никогда не повторилось	21
Из статей <i>В.Ермилова, Ник.Кружкова, И.Чичерова, Иона Друцэ,</i> <i>Л.Фоменко, Н.Губко, Александра Твардовского</i>	26
Из выступления <i>В.Солоухина</i>	41

КТО ОН, АВТОР «ОДНОГО ДНЯ»?

<i>П.Косолапов</i> . Имя, новое в нашей литературе	43
<i>Виктор Буханов</i> . У Солженицына в Рязани	44
<i>Ю.Кунгурцев</i> . Солженицын в Казахстане	52

НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ... СПОРЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Из статей <i>В.Бушина, В.Кожина, В.Лакшина, Владимира Скуйбина,</i> <i>Ю.Карякина, Игоря Золотусского</i>	59
<i>Читатель</i> . Об историчности повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича»	95
Письма читателей <i>Г.Минаева, А.Захаровой</i>	109

ВОКРУГ РАССКАЗОВ

*О рассказах «Матренин двор»
и «Случай на станции Кречетовка»*

Из статей и выступлений <i>Константина Лагунова, Семена Бабаевского, В.Панкова,</i>	
--	--

1966-1969

ПИСЬМО IV СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

Письмо <i>А.Солженицына</i> IV съезду писателей СССР	211
В Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей	216
Телеграммы <i>Владимира Войновича, Владимира Корнилова, Феликса Светова, Валентина Катаева</i> IV съезду	218
Письмо <i>Д.Дара</i> в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей	218
Письмо <i>В.Коньцкого</i> в Президиум IV Всесоюзного съезда советских писателей	220
Письмо <i>Г.Владимова</i> в Президиум IV съезда писателей СССР	221
Письмо <i>Павла Антокольского</i> секретарю ЦК КПСС П.Н.Демичеву	225
Письмо <i>С.Антонова</i> в Президиум IV съезда писателей	226
Из письма <i>В.А.Сосноры</i> в Секретариат Правления СП СССР	228
<i>В.Каверин</i> . Речь, не произнесенная на IV съезде	230

БОИ ЗА «РАКОВЫЙ КОРПУС»

Стенограмма расширенного заседания бюро творческого объединения прозы московской писательской организации СП РСФСР	243
Письмо <i>А.Твардовского</i> К.Федину	299
Письмо <i>В.Каверина</i> К.Федину	311
Переписка <i>А.Солженицына</i> с Секретариатом СП и изложение заседания Секретариата СП СССР 22.IX.67	314
Письмо <i>А.Солженицына</i> в редакции «Литературной газетъ» и газет «Монд», «Унита»	340

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» УГРОЖАЕТ

Редакционная статья «Литературной газетъ» «Идейная борьба. Ответственность писателя»	343
Письмо <i>В.Турчина</i> А.Чаковскому	353
Письмо <i>Л.К.Кизиловой</i> А.Солженицыну	357
<i>Лидия Чуковская</i> . Ответственность писателя и безответственность «Литературной газетъ»	359
Определение Военной Коллегии Верховного Суда СССР о реабилитации А.Солженицына	371
<i>Б.Попов</i> . Черная подоплека «идейной борьбы»	373

<i>С.Павлова, Виктора Полторацкого, А.Дымища, А.Семеновой, В.Колесова, В.Бушина, М.Михайлова, И.Мотышова, В.Перцовского, В.Сурганова, В.Труфановой, Аркадия Первенцева, В.Баранова, Д.Старикова, Б.Сарнова, А.Когана, Г.Бровмана, В.Лакшина</i>	125
Из беседы с <i>Анной Ахматовой</i>	139

О рассказе «Для пользы дела»

Из статей <i>Юрия Барабаша, М.Синельникова, Д.Гранина, Н.Селиверстова, В.Чалмаева, В.Панкова, Г.Бровмана, Ан.Дремова, Ларисы Крячко</i>	154
Письма в редакции <i>И.Атаджанян, Н.Пузановой, Е.Ямпольской, И.Окуневой, М.Гольдберг, Л.Резникова, В.Шейтиса, Р.Цимеринова</i>	155

О рассказе «Захар-Калита»

Из статьи <i>С.Можнягуна</i>	169
--	-----

1964-1966

КАНДИДАТ НА ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ

Письма в редакции <i>В.Иванова, М.Лезинского, Н.Молчанюк, А.Ставицкого, А.Григорьева, С.Савина</i>	173
Из статей <i>В.Паллона, С.Маршака, Л.Грекова</i>	178
Из редакционных статей «Литературной газетъ», «Правды», «Труда»	184

НАЧАЛО ТРАВЛИ

Из статей и выступлений <i>Н.Волгина, В.И.Латина, Н.Егорычева, Ю.Барабаша, Е.Вучетича, С.П.Павлова, Григория Бровмана, М.Алексеева, В.Кожевникова, Н.Абалкина, М.В.Зимянина</i>	201
---	-----

Письмо <i>Чистякова А. Чаковскому</i>	376
Письмо <i>А.Д. Лукишина А. Солженицыну</i>	378
<i>И. Росийский</i> . В защиту справедливости	381

ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Из статей <i>Ивана Дроздова, Анатолия Елкина, А. Гребенщикова,</i> <i>А. Метченко, В. Феодосьева</i>	385
--	-----

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Поздравления	389
--------------------	-----

ПРИЛОЖЕНИЕ

1969–1974

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В Союзе писателей РСФСР (статьи в «Литературной газете» и в «Приокской правде»)	395
Открытое письмо <i>А. Солженицына</i> Секретариату Союза Писателей РСФСР	396
Протесты <i>Льва Копелева, Лидии Чуковской,</i> <i>Т. Литвиновой</i>	397
Протест Правления Национального комитета писателей Франции	399
<i>Жорес Медведев</i> . Открытое письмо Союзу советских писателей	401
От Секретариата правления Союза писателей РСФСР	405
Письмо Правления международного ПЕН-клуба Союзу писателей СССР	409
Письмо в «Таймс»	410
Открытые письма 39-ти и 14-ти	411

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Нобелевская премия по литературе за 1970 год. Александр Солженицын (Обоснование)	415
Недостойная игра	415
К вопросу о приоритете	416

Письмо <i>К.-Р. Гирова</i> в «Литературную газету»	419
Письмо заключенных мордовских политических лагерей	420
Где ищет писательский талант и славу Нобелевский комитет	420
Открытое письмо <i>Мстислава Ростроповича</i>	423

НАПЕЧАТАН «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Из статей <i>Дина Рида, Мартти Ларни, Марины Штюц,</i> <i>Ежи Романовского, Леонида Прокши,</i> <i>Максима Тапка, Михася Лынькова,</i> <i>Ивана Шамякина, Ивана Мележа,</i> <i>Алексея Кулаковского, Эусебио Феррари,</i> <i>П. Леонидова</i>	426
<i>Жорес Медведев</i> . По следам советской прессы	431
Письмо в редакцию газеты «Правда»	433

ИЗГНАНИЕ

Извещение о взятии «Архипелага ГУЛаг»	435
<i>Георги Бёльль</i> . Нужно идти все дальше...	435
Из заявлений комментаторов ТАСС <i>Сергея Кулика</i> и <i>Кирилла Андреева</i> на границу	437
Заявление <i>В. Войновича, А. Галича,</i> <i>В. Максимова, А. Сахарова, И. Шафаревича</i>	438
Из статей и писем <i>И. Соловьева, И. Штока, Сергея Михалкова,</i> <i>Петруся Бровки, Олеся Гончара, Григола Абашидзе,</i> <i>Константина Симонова, Анатолия Иванова,</i> <i>Расула Гамзатова</i>	439
Заявление для печати <i>А. Солженицына</i>	440
Ответы <i>А.Д. Сахарова</i> на вопросы французского корреспондента	443
Заявления <i>Бориса Михайлова, Евгения Барabanова,</i> <i>Вадима Борисова</i>	445
Из статей <i>Анатолия Ананьева, Феликса Кузнецова, Виля Липатова,</i> <i>Александра Рекемчука, Ю. Бондарева,</i> <i>Владимира Карпова, Нураддина Юсупова</i>	448
<i>Борис Шрагин</i> . Совестно...	452
<i>Лидия Чуковская</i> . Прорыв немоты	454

Заявления <i>А.Д.Сахарова, Лидии Чуковской, И.Шафаревича, М.Азурского, Роя Медведева, Л.Копелева</i> об аресте А.И.Солженицына	456
Московское обращение	459
Сообщение ТАСС	460
Приказ начальника Главного Управления по охране государственных тайн в печати	460
Из статей <i>Александра Рекемчука, В.Катаева, Николая Грибачева, Давида Кукультинова, А.Ананьева, Миколы Бажана</i>	461
<i>Е.Евтушенко</i> . Письмо советским телерадиослушателям	464
Протесты <i>Е.Барабанова, Т.Великановой, С.Ковалева, Т.Ходорович, Л.Терновского, Роя Медведева, Владимира Альбрехта, Л.Л.Регельсона, Владимира Войновича</i>	469
Из статей и выступлений <i>Бориса Полевого, А.Дымищица, С.Михалкова, Степана Щипачева, Берды Кербабеева, Михаила Алексеева, Бориса Дьякова, Петра Проскурина, Н.Яковлева, Александра Михайлова, Георгия Холопова</i>	474
Указатель авторов	481
Указатель имен, упоминаемых в книге	488

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Невозможно обозреть всё написанное о Солженицыне. Одно лишь напечатанное составило бы несколько томов. Вместе с тем существует потребность уже сегодня проследить, как слово художника пробивает себе дорогу.

Сборник литературно-критических статей, писем, стенограмм и других документов — «Слово пробивает себе дорогу» — призван с возможной полнотой и объективностью отразить тенденции борьбы, которая развернулась вокруг Солженицына и его произведений.

Как и всякая борьба, она имела свои этапы и вехи. В группировке материала хронологический принцип строго соблюден, и только в некоторых, немногих случаях допущено отступление от него.

Предлагаемый сборник позволяет убедиться, сколь органичен талант А.Солженицына для русской литературы и сколь органичны любовь и ненависть к нему. Читатель получает возможность сделать из собранного материала и многие другие поучительные выводы.

ВСТУПЛЕНИЕ

Бывают судьбы, как бы нарочно задуманные и поставленные на подмостках истории каким-то гениальным режиссером.

В них все драматически напряжено и все продиктовано историей страны, взлетами и падениями ее народа.

Одна из таких судеб, безусловно, судьба Солженицына. Жизненная и литературная.

Жизненная известна. Она совпадает с судьбами миллионов. В мирное время — студент, в военное — солдат и командир победоносной армии, а потом, при новом взмахе сталинских репрессий, — заключенный.

Чудовищно и — увь! — обыкновенно. Судьба миллионов.

1953 год. Сталин умер.

Смерть его сама по себе еще не воскресила страну. Но вот, в 1956 году, Хрущев, с трибуны партийного съезда, разоблачает Сталина как палача и убийцу. В 1962-м прах его выносят из мавзолея. Исподволь, осторожно приподнимается завеса над трупами невинно замученных и приоткрываются тайны сталинского режима.

И тут на историческую сцену выходит писатель. История поручает Солженицыну, вчерашнему лагернику, во весь голос рассказать о том, что было пережито им и его товарищами. «Один день Ивана Денисовича» жадно глотают изголодавшиеся по правде читатели. В этой повести — судьбы их отцов и их братьев. Повесть приветствует Хрущев. Автор «Одного дня» чуть ли не в один день обретает всемирную славу. Он — желанный гость в Кремле, он — член Союза Писателей.

Об этом событии и дальнейших перипетиях литературной

судьбы Солженицына наша книга повествует сухим — а иногда и страстным языком документов. В хронологическом порядке расположены здесь критические статьи газет и журналов, устные выступления начальствующих лиц, стенограммы заседаний, письма читателей. Изредка со страниц книги звучит голос главного ее героя — Солженицына, выводимого на авансцену, под яркий свет рампы, не только историей русской литературы, но и историей страны. Той борьбой, которая неприметно и глухо ворочается в глубине.

Драматизм действия нарастает. Осенью 1964 года пал Хрущев, предпринятая им десталинизация идет на убыль, силы сталинизма поднимают голову.

Тут начинается следующее действие драмы. Вокруг Солженицына, его имени, его произведений, его судьбы завязывается настоящая битва. Сначала только вокруг рассказов, а первая повесть остается будто общепризнанной. Затем «Один день Ивана Денисовича», еще недавно выдвигавшийся на соискание Ленинской премии, тайком, тишком изымается из библиотек. Затем со страниц печати исчезает самое имя Солженицына. Он предлагает издательствам новый роман «В круге первом», новую повесть «Раковый корпус», новый рассказ «Правая кисть». Произведения, широко обнимающие жизнь, философски ее осмысляющие. Ничего не печатается. Газеты молчат; корреспонденты, еще недавно осаждавшие писателя докучными вопросами о его рабочих планах, набрали в рот воды. Имя его не упоминается. Его нет; да и был ли когда-нибудь такой писатель? Пресса нема; вслух, с трибун, говорят одни лишь официальные лица. На инструктивных собраниях они сообщают партийным работникам — а те аккуратно записывают в блокноты и развозят по всей стране, что Солженицына реабилитировали напрасно, что он не только автор очернительских книг, но и настоящий преступник: он, во время войны, оказывается, сотрудничал с немцами.

Снежным комом растет искусно распространяемая клевета. Ответить, опровергнуть ее, Солженицын не имеет возможности: протест его не напечатает ни одна газета; он — вне закона: власти конфисковали его личный архив.

По-видимому, Солженицын в эту пору вполне сознает всю меру опасности: недаром письмо IV Съезду Писателей конча-

ется заявлением, что и самая его смерть послужит победе правды. Он понимает — до гибели один шаг.

По всем канонам сталинского времени он и обречен был на гибель: произведения его должны были быть истреблены и сам он уничтожен.

Однако тут-то и сказалось иное время. Несмотря на отлично налаженную машину клеветы, на молчание прессы, на запрещение имени — разлучить Солженицына с читателем не удалось.

Пресса умолкла, но битва продолжалась — на заседаниях секции прозы Московского отделения Союза Писателей, в Секретариате Союза, в редакции «Нового мира», в горячих спорах между читателями. Письмо Солженицына IV Съезду Писателей не было оглашено на Съезде, но множество членов Союза прислали в президиум Съезда телеграммы и письма в поддержку Письма. «Раковый корпус» и «В кругу первом» не опубликованы до сих пор, но расходятся по стране в сотнях машинописных экземпляров. Все выступавшие в Союзе Писателей на обсуждении «Ракового корпуса» требовали опубликования повести. Когда «Литературная газета» позволила себе начальственно прикрикнуть на Солженицына, она получила в ответ несколько негодующих, а не одни лишь поощряющие письма.

А самое удивительное, никогда до сих пор не случавшееся, произошло в день пятидесятилетнего юбилея. Юбилейная дата не была упомянута ни в одной из газет. Но вопреки приказанному молчанию ливень поздравительных писем и телеграмм хлынул в редакцию «Нового мира», в Союз, на квартиру писателя.

Наша книга не кончена. Битва за Солженицына длится. Каково-то будет следующее действие драмы? За переплетом этой книги развернутся новые сцены драматической борьбы. И, самое главное, недалек тот день, когда возникнет *другая* книга: спокойный и глубокий разбор того огромного художественного явления, имя которому — творчество и жизнь Александра Солженицына.

1962–1964

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

А.Твардовский

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

ЖИЗНЕННЫЙ материал, положенный в основу повести А.Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уж далеко, представляются нам далеким прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено, — в правдивом и мужественном постижении до конца его последствий. Об этом именно говорил Н.С.Хрущев в своем памятном для всех нас заключительном слове на XXII съезде: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

«Один день Ивана Денисовича» — это не документ в мемуарном смысле, не записки или воспоминания о пережитом автором лично, хотя только пережитое лично могло сообщить этому рассказу такую достоверность и подлинность. Это произведение художественное, и в силу именно художнического освещения данного жизненного материала оно является свидетельством особой ценности, документом искусства, возможность которого на этом «специфическом материале» до сих пор представлялась маловероятной.

Читатель не найдет в повести А.Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года.

В ноябре 1962 года, в одиннадцатом номере журнала «Новый мир» была опубликована повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Впервые в советской литературе появился рассказ о том, что довелось пережить народу при Сталине.

Содержание «Одного дня», естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А.Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческих характеров. В этом прежде всего заключается редкостная впечатляющая сила произведения. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «эзков», читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний.

В этой повести нет нарочитого нагнетания ужасных фактов жестокости и произвола, явившихся следствием нарушения советской законности. Автором избран один из самых обычных дней лагерной жизни от подъема до отбоя. Однако этот «обычный» день не может не отозваться в сердце читателя горечью и болью за судьбу людей, которые встают перед ним со страниц повести такими живыми и близкими. Но несомненная победа художника в том, что эта горечь и боль ничего общего не имеет с чувством безнадежной угнетенности. Наоборот, впечатление от этой вещи, столь необычной по своей неприкрашенной и нелегкой правде, как бы освобождает душу от невысказанности того, что должно было быть высказано, и тем самым укрепляет в ней чувства мужественные и высокие.

Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет таких участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник.

И еще один простой и поучительный вывод позволяет сделать эта повесть: истинно значительное содержание, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в подходе к изображению даже самых трудных объектов не могут не призывать к жизни и соответствующей формы. В «Одном дне» она ярка и своеобразна в самой своей будничной обычности и внешней непритязательности, она менее всего озабочена самой собою и потому исполнена внутреннего достоинства и силы.

Я не хочу предвосхищать оценку читателями этого небольшого по объему произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера.

Может быть, использование автором — весьма, впрочем, умеренное и целесообразное — некоторых словечек и речений той среды, где его герой проводит свой трудовой день, вызовет возражения особо привередливого вкуса. Но в целом «Один день Ивана Денисовича» — из ряда тех произведений литературы, восприняв которые мы испытываем большое желание, чтобы наше чувство признательности автору было разделено и другими читателями.

(«Новый мир», 1962, № 11, с. 8–9.)

Е.Бройдо

Необычна судьба одиннадцатого номера журнала «Новый мир». Иные книжки толстых журналов неделями, а то и месяцами лежат в киосках «Союзпечати». А этот, как рассказывают мурманские киоскеры, был раскуплен буквально за несколько минут. В библиотеках на последний номер «Нового мира» стали занимать очереди.

Что же привлекло в нем в первую очередь внимание читателей? Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

*Из статьи «Такому больше никогда не бывать!»
(«Полярная правда», Мурманск,
2 декабря 1962 года).*

Н.Зорин

Эту повесть, напечатанную в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», сейчас передают из рук в руки, прочитывают «залпом», оживленно обсуждают.

*Из статьи «Правда горькая, но необходимая»
(«Кузнецкий рабочий», Новокузнецк,
15 декабря 1962 года).*

Б.Каган

Печатные отклики на первое произведение А.Солженицына уже наверняка превышают размеры этой небольшой по-

вести. Устных откликов еще больше. Счастливые владельцы журнала «Новый мир» (№ 11) регулируют очередь знакомых и незнакомых, жаждающих прочитать «Один день Ивана Денисовича». Библиотекари лишь улыбаются и разводят руками: «Журнал на руках...»

*Из статьи «Да будет полной правда»
(«Кировский рабочий», Кировск,
16 декабря 1962 года).*

А.Астафьев

О повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанной в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», много говорят и спорят. Такой интерес не вызывают произведения литературы обычные по содержанию и форме. Это произведение действительно выходит из ряда вон.

<...> Если заглянуть поглубже в историю литературы, то мы найдем там немало примеров бесстрашия мысли и любви к честному, мужественному слову. Поэтому говоря, что А.Солженицын порвал с традициями, нужно уточнить, какими именно. Отвергнув в своем произведении худшие традиции нашей жизни, он отказался и от эстетики, восхваляющей их. А.Солженицын продолжает лучшие традиции великой русской литературы.

*Из статьи «Солнцу не прикажешь»
(«Ульяновская правда», 18 декабря 1962 года).*

М.Нольман

Одиннадцатый номер «Нового мира» с первой повестью доселе никому не известного А.Солженицына, учителя из Рязани, ни в киоске, ни в библиотеке захватить почти невозможно.

<...> Интерес читателей и внимание критики к литературному дебюту А.Солженицына не покрывается «экзотической» свежестью и недавней запретностью самой сферы повествования о «зеках» (заклоченных). Дело в свежести и глубине художественной трактовки этого «первооткрытого» материала.

*Из статьи «Счет тяжких дней»
(«Северная правда», Кострома,
20 декабря 1962 года).*

Константин Симонов

О ПРОШЛОМ ВО ИМЯ БУДУЩЕГО

О небольшой повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», только что опубликованной в 11-й книжке «Нового мира», наверное, будет написано много статей. И пока, только что перевернув ее последнюю страницу, мне хочется высказать лишь несколько мыслей вслух.

Александр Твардовский в своем предпосланном повести кратком слове справедливо подчеркнул, что это не документ в мемуарном смысле, а произведение художественное. Действительно, хотя ни один человек, прочитавший повесть, не усомнится, что за плечами у ее автора тяжкий личный жизненный опыт, но сама эта повесть об одном дне лагерной жизни — не страницы воспоминаний, а лаконичная и отточенная проза больших художественных обобщений. В ней изображен всего один день, но в этот один день вложено все самое главное, что хотел сказать автор о горьких и черных страницах периода культа личности Сталина.

Солженицын не нагромождает в своем повествовании ужасов, взяв один день, он не выбирает дня особенно ужасного. Напротив, он выбирает день, в который, по лагерным нормам, как бы не произошло ничего особенного, — день как день. Но как раз это и потрясает в его повести больше всего. Как могло случиться, что герой его повести, хороший, добрый душевный русский человек Иван Денисович Шухов был обречен прожить в лагерях три тысячи шестьсот пятьдесят три дня, считая лишних три дня в високосные годы. Как могло случиться, что столько же, а то и много больше таких же лагерных дней были обречены прожить все другие герои повести, соседи Шухова по бараку, по лагерю, и бесчисленные честные люди, разделявшие их судьбу в других лагерях? Чья злая воля, чей безграничный произвол могли оторвать этих советских людей — земледельцев, строителей, тружеников, воинов — от их семей, от работы, наконец, от войны с фашизмом, поставить их вне закона, вне общества?

Солженицын создает один человеческий портрет за другим. Среди героев повести есть люди замечательных человеческих качеств, есть люди просто хорошие, есть люди со слабостя-

ми, может быть, с заблуждениями, есть люди более сильные и более слабые. Но когда все они силою художественной кисти Солженицына превращаются в многолюдный групповой портрет, написанный на свинцово-сером фоне одного дня будничной лагерной жизни, ты, читатель, начинаешь чувствовать: да ведь эти люди, все вместе взятые, это же не что иное, как просто-напросто часть нашего общества, с кровью выдранный из этого общества и засаженный в лагерь! Это такие же люди, как ты, как твои близкие, родные, друзья, соседи, сослуживцы... Ты легко представляешь на их месте совершенно других людей, которых обошел этот произвол и не постигла эта судьба, но которые точно так же могли быть вырваны из общества и жить той почти невыносимой жизнью, которой живут в повести Иван Шухов и его соседи по бараку, которые, несмотря ни на что, в подавляющем большинстве своем остаются тем, кем они были до лагеря, — настоящими советскими людьми.

Солженицын нигде не делает этого вывода прямо, в упор, потому что это не нужно ему как художнику. Но, не тыча пальцем, он дает это почувствовать, пережить, понять. И именно с этим чувством, покоренный силой его правды и силой его таланта, закрывал я последнюю страницу повести.

Тема повести связана с такой страшной и кровоточащей раной, что по-настоящему поднять ее мог лишь крупный художник, органически чуждый соблазну создавать литературу ужасов и сенсаций. Такую тему мог поднять на подлинную высоту лишь художник, безгранично любящий людей своей Советской страны и безгранично верящий в их нравственную силу.

И, я думаю, не лишним будет вспомнить здесь, — если на минуту отвлечься от литературы и обратиться к политике, — что бесстрашно сказать об этом страшном прошлом у нас нашли в себе решимость люди, безгранично любящие свой народ и безгранично верящие в его нравственную силу и красоту, а ожесточенно сопротивлялись этому люди, не любившие своего народа и не верившие в его нравственную силу.

Мне хочется вслед за Твардовским вспомнить слова Н.С.Хрущева на XXII съезде. «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны,

но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

Партия назвала писателей своими помощниками. Думается, что А.Солженицын проявил себя в своей повести как подлинный помощник партии в святом и необходимом деле борьбы с культом личности и его последствиями.

Рано или поздно и история, и литература не оставят в тени ни одной из сторон деятельности Сталина. Они уже начали это делать, и они честно и до конца расскажут о том, каким в разные времена своей жизни казался нам Сталин, и о том, каким он был на самом деле. Но как бы ни взвешивать в уме разные стороны его государственной деятельности, в нашей душе уже сейчас не осталось места для какого бы то ни было оправдания его злодеяний. Утешительные мысли, которые раньше иные из нас насильственно пытались внедрять в себя, — что Сталин не ведал, что творится, — оказались рухнувшей легендой. И это тяжкое, но трезвое чувство с новой силой вспыхивает в душе, когда читаешь повесть Солженицына, хотя я даже не могу вспомнить сейчас, упоминается ли в ней имя Сталина.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» написана уверенной рукой зрелого, своеобразного мастера.

В нашу литературу пришел сильный талант. У меня лично не остается в этом никаких сомнений.

(«Известия», 17 ноября 1962 года.)

Григорий Бакланов

ЧТОБ ЭТО НИКОГДА НЕ ПОВТОРИЛОСЬ

Среди ежемесячного, ежедневного потока литературных произведений, в разной степени талантливых, отвечающих различным читательским вкусам, являются вдруг книги, знаменующие собой гораздо больше, чем даже появление нового яркого писателя. Эти книги призваны оказать влияние на то, что пишется сейчас, на то, что будет написано после них. Они всегда появляются как бы вдруг. На самом же деле появление их подготовлено всем ходом развития жизни. И читатель их ждет, не зная еще, какая это будет книга, кто написал ее, зная только,

что она нужна ему. Потому, что она нужна, потому, что она предугадана, книга эта появляется на свет. После нее становится совершенно очевидно, что писать так, как писали еще недавно, нельзя уже. Не в том смысле нельзя, что теперь всем вместе срочно надо кинуться разрабатывать ту же тему, от себя пере-сказывая сказанное, а в смысле том, что возник другой уровень разговора с читателем, и на этом уровне многое, что недавно еще могло удовлетворить, становится просто неинтересным, устаревшим.

Такой книгой, которую читатель ждал, появление которой он предугадывал, стала маленькая повесть с неприятным названием «Один день Ивана Денисовича», только что напечатанная в журнале «Новый мир». Имя ее автора — А.Солженицын — в литературе не встречалось до сих пор и само по себе пока еще читателю ничего не говорит. Верится, однако, что человеку этому предстоит многое сказать людям.

Жизненный материал, положенный автором в основу повести, — беззакония, которым подвергались советские люди в годы, когда в полную меру сиял культ личности Сталина, — этот жизненный материал пока еще для нашей литературы нов. Не факты сами по себе новы — сегодня они известны достаточно хорошо. От той поры, когда «сама с собой — и то не смела душа ступить за некий круг», до наших дней страна прошла огромный путь развития, означенный XX и XXII съездами партии. Изменились люди, привыкнув верить своему чувству, своему разуму, и это залог того, что старое не повторится. Настала пора осмысления.

Когда человеку больно, особенно больно впервые, душа его кричит. И чем слабее душа, тем громче кричит он сам. Но испытывав многое, что поначалу казалось и перенести невозможно, он постепенно твердеет духом, потому что он — человек. И за своей болью он начинает различать и понимать боль других. И если он сильный человек, у него еще находится для других, для тех, кто слабее его, часть души. Странное дело, отдавая, ты, оказываешься, приобретаешь больше.

Вот с этой позиции умудренного тяжчайшими испытаниями человека написана повесть А.Солженицына. Это не крик раненой души, не первый крик боли — повесть написана спокойно,

сдержанно, с юмором даже — эта житейская простота изложения действует значительно сильнее.

Один день «зэков», заключенных особого лагеря, где люди от прошлой жизни только между собой сохранили фамилии и имена, как между собой сохранили они и человеческие отношения. Официально каждому на лоб, на грудь, на спину и на колено для удобства конвоя и надзирателей дано по номеру — у иных он превышает многие сотни. Под этими номерами и одинаковыми лагерными бушлатами — люди. И люди удивительные.

Капитан второго ранга Буйновский, в прошлом — военный моряк, ходивший и вокруг Европы, и Великим Северным путем, жизни себе не мысливший без морской службы, властный, звонкий офицер, человек беспредельной преданности. Угораздило же английского адмирала, с которым вместе в войну Буйновский сопровождал морской конвой, прислать ему памятный подарок. «Удивляюсь и проклиная!» — говорит по этому случаю недоумевающий капитан. Он недавно в лагере, он еще не научился жить — резок слишком такой переход для него, — он еще борется с несправедливостью. И так наивно, такой горькой иронией звучит его крик начальнику режима и надзирателям:

«Вы *права* не имеете... Вы не советские люди! Вы не коммунисты!»

Выживет капитан, поймет, что на все они имеют право. Сенька Клевшин, у которого еще в сорок первом году лопнуло одно ухо, — этот давно понял. Путь его долгий: в плену был, три раза из Бухенвальда убежал и три раза был пойман и все равно проносил в зону оружие, пытали его немцы, за руки подвешивали, чудом смерть обминул, а теперь здесь досиживает, что там не досидел, — за плен же. Этот многое понял и ничего из душевных качеств не растерял — полуглухой горюн, недобытчик, удивительный человек. Сказано о нем в повести всего-то несколько слов, но с такой силой таланта, что стоит он живой перед глазами. А рядом с ним — Гопчик, мальчишка совсем. Носил он бандеровцам молоко в лес, как носил бы в лес молоко нашим партизанам. Из него еще все можно было сделать — и бандита, и человека. Сделали лагерника.

Но наибольшая удача автора — бригадир Тюрин, «сын

ГУЛАГа», отсидевший к 1951 году в общей сложности уже двадцать один год, и Шухов Иван Денисович, главный герой повествования. Столько перенесено за эти годы, что, казалось, мог бы уже Тюрин потерять человеческий облик, а вот смотрите: «Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофий. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно».

Ивана Денисовича стаж меньше: он с фронта взят. Однако и за этот срок мог бы уже он возненавидеть подневольный, унижительный, часто бессмысленный труд. «Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули».

Все испытав, сохранили люди эти и суровую доброту, и уважение к человеку, и такт удивительный, и редкое по условиям жизни достоинство.

Нет смысла пересказывать повесть, ее надо читать. А пока все эти различные по своим характерам и душевным качествам люди, мужественные и слабые, ничем не виноватые в своей судьбе, бредут по морозу в колонне, рассчитанные по пятеркам, означенные номерами, с руками за спиной. «Идут ээки размеренно, понурясь, как на похороны». А в двадцати шагах от них, через десять шагов друг от друга, наставив автоматы, — конвой. Тоже в большинстве своем люди, хоть, может, и не советские, поскольку судить надо по их делам, но все же люди. Недокормленные, чтоб злей стерегли, напуганные ответственностью: «Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь», стоящие по уровню своего развития куда ниже тех, кого ведут они под дулами своих автоматов. И о них, о них тоже с большим пониманием, человечно пишет Солженицын, сам в прошлом прошедший под дулами их автоматов не одну сотню дорог. Если вдуматься даже только в этот один факт, гордостью наполняется душа за человека. Повесть А.Солженицына, по времени вместившая в себя всего один день лагерной жизни, вместила в себя огромное содержание.

Впрочем, стоит ли беречь старые раны? Нужно ли это

сейчас? Старые, зажившие раны не болят. А рана, которая кровоточит еще, — эту рану лечить нужно, а не обходить ее трусливо. И лечение есть одно — правда. На этот путь правды зовет нас партия.

«Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... — сказал на XXII съезде в своем заключительном слове Никита Сергеевич Хрущев. — Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись». Каждое честное, мужественное сердце с благодарностью откликнулось на этот призыв.

Среди прочих условий, помогавших Сталину, творя беззакония, оставаться непогрешимым, было и то, что сами мы верили, убеждали себя верить не очевидным фактам, не себе, а ему. Он знает, он — мудрый; если так делает он, значит, в этом есть высший смысл. Эта слепая вера не только поддерживалась, но возводилась в некую заслугу. Сделать впредь подобную слепоту невозможной, вытравить из душ остатки того, что поселил в них культ личности, — задача не легкая и не быстрая. И тут огромную роль должна сыграть наша литература, литература, говорящая народу правду. Свежий тому пример — повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Автору ее не придется, оправдывая внутренний компромисс, говорить знакомым: «Понимаете, я хотел больше сказать, но не напечатают же...». Рязанский учитель, в прошлом боевой офицер Советской Армии, а между двумя этими этапами своей биографии — заключенный, Солженицын написал суровую, мужественную, правдивую повесть о тяжком испытании народа, написал по долгу своего сердца, с мастерством и тактом большого художника. Читая ее, испытываешь многие чувства. Среди них боль, но это очищающая боль. И испытываешь гордость. Гордость за народ наш. Все эти люди, точные, живые характеры, с такой силой правды и человечностью написанные Солженицыным, — это ведь народ, кровная часть его, вырванная насильственно, бессмысленно изолированная от общества. Народ строил, создавал, но такой ли могла быть наша страна сегодня, если бы во все ее славные и тяжелые годы и эти люди были бы с нами! Последствия огромных событий сказываются не сразу. И когда мы думаем о нашей стра-

не, о том непомерном, что было воздвигнуто и сделано за короткий срок истории, мы должны помнить, что было бы сделано гораздо больше, если бы не годы тяжкого произвола. И жизнь была бы человечней, лучше. Когда мы думаем о недостатках и нехватках сегодняшних дней, мы тоже должны помнить, что корни их выросли и укрепились в те годы, именуемые сейчас годами культа личности.

Самой лучшей доли достоин народ, столько вынесший на своих плечах, сохранивший в неприкосновенности мужество и бодрость духа, перенесший главную тяжесть небывалой войны и пришедший в мир освободителем народов и стран. Он достоин великого уважения и светлого своего будущего.

(«Литературная газета», 22 ноября 1962 года.)

В.Ермилов

Наша советская литература, литература социалистического реализма, стремится идти в ногу с развитием общества, с его жизненными потребностями.

Социалистическому обществу в его поступательном историческом развитии присуще стремление к очищению от всего наносного, враждебного и чуждого его природе. Это один из признаков неодолимой силы и жизненности самого передового и самого справедливого общественного строя. Буржуазное общество боится будущего и поэтому боится правды.

<...> Пристальное внимание читателя вызовет повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», напечатанная в № 11 журнала «Новый мир». В нашу литературу пришел писатель, наделенный редким талантом, и, как это свойственно истинным художникам, рассказал нам такую правду, о которой невозможно забыть и о которой нельзя забывать, правду, которая смотрит нам прямо в глаза.

Иван Денисович Шухов, герой повести, — колхозник, солдат Отечественной войны, человек уже немолодой, отбывающий десятилетний срок заключения в лагере. Какое же «преступление» он совершил? В начале войны попал он в немецкое окружение, пробыл два дня в плену, бежал, крался по болотам, чудом добрался до своих и вот за это приговорен.

Вопиющие беззакония подобного рода связаны не только с

судьбой главного героя, но и с другими судьбами, проходящими перед нами в повести. Это в большей части «работяги», как говорят в лагере, простые люди, часто великолепные мастера и умельцы, золотые руки, призванные к настоящему, созидательному, свободному труду, люди с рабочей совестью, с истинно народным презрением ко всякому захребетничеству, показухе, к набиванию брюха за чужой счет. Сам Иван Денисович — истовый, строгий мастер, он и здесь, в лагере, остается верен себе, человек с истинной рабочей совестью. Но как жестоко противостоит весь режим этого лагеря человечности, труду, рабочей совести!

Повесть А.Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу в изображении народного характера, особенно замечательна тем, что автор целиком сливается со своим главным героем, и мы видим все изображаемое в произведении глазами Ивана Денисовича.

Нет никакого сомнения в том, что борьба с последствиями культа личности Сталина, развернутая партией и советским народом после XX и XXII съездов КПСС, будет и в дальнейшем способствовать появлению произведений, отличающихся все более высокой художественной ценностью, все более глубокой народностью, отражающих нашу современность, созидательный труд народа.

Народный склад мышления, речи, пронизывающий всю повесть А.Солженицына, с особенной убедительностью подчеркивает противонародную направленность извращений, связанных с культом личности. Произвол и жестокость, спутники культа, были направлены против людей труда, против народа: вот о чем прежде всего говорит повесть «Один день Ивана Денисовича». Сталин не верил в массы, пренебрежительно относился к ним.

Перед нами проходит всего лишь один день лагерной жизни. Но поразительная насыщенность повести множеством конкретных жизненно-художественных деталей, редкая густота подробностей, зоркость взгляда писателя, цепкость наблюдений — все это дает широко объемлющую картину. Ни автор, ни Иван Денисович Шухов не унижают себя жалобами, стенаниями, расписываниями страданий. Перед нами высокое эпическое

повествование. Это не значит, что здесь взят тон нарочитой бесстрастности, которая хочет оставаться на почве «фактов, и только фактов». Перед нами предстают живо воплощенные индивидуальные характеры, их много, что удивительно для небольшой повести, и секрет этой художественной победы заключен в той сдержанной и изнутри трепещущей человечности, которая наполняет и Ивана Денисовича, и все авторское изображение людей и их отношений.

<...> Но почему же не только горе сжимает сердце при чтении этой замечательной повести, но и свет проникает в душу? Это от глубокой человечности, оттого, что люди оставались людьми и в обстановке глумления.

<...> Повесть очень глубоко утверждает народное начало, народный склад души.

И еще потому читатель чувствует свет при чтении этого трагического произведения, что сказана правда, что всем ходом жизни нашей страны за последние годы партией и народом утверждена возможность сказать эту правду.

Из статьи «Во имя правды, во имя жизни. По страницам литературных журналов» («Правда», 23 ноября 1962 года).

Ник.Кружков

Все, что написано в этой повести, — чистая правда, ничем не приукрашенная: ни побочными рассуждениями автора, ни обобщениями, ни восклицаниями, ни ахами, ни вздохами. Взят кусок жизни, неотесанный, простой, грубый, и положен на стол: разглядывайте, размышляйте. Так было!

<...> Имени Сталина вы не встретите на всем протяжении повести, только в одном месте, в описании лагерного вечера после рабочего дня, мелькнула как бы случайно брошенная реплика: «Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!» — и только! Но вся повесть, с первой строки до последней, — суровое, беспощадное осуждение того — увы, далеко не короткого — отрезка нашей жизни, который вошел в историю под названием культа личности, когда произвол и беззаконие сделали явления настолько обычными, что многие наивные (или злонамеренные) люди всерьез думали, что так должно и быть, что без этого, как говорится, не

проживешь. Лес рубят — щепки летят. Но ведь летели не щепки, а люди, человеческие жизни. Те самые люди, о которых с высочайшей трибуны было объявлено, что они и есть наичинный капитал — дороже золота и серебра. Не осмеливаясь сомневаться, веря и вместе с тем содрогаясь, люди шептались по углам, именно шептались, а не говорили: «Он ничего не знает». Но он знал все!

Читая эту суровую и честнейшую в своей суровости повесть, некоторые готовы проливать сентиментальные слезы: «Ах, колючая проволока!», «Ах, конвой!», «Ах, параша и баланда!»... Дело не в этом. Тюрьма, как известно, не ресторан, тюрьма по сути своей — вещь жестокая, даже если в камерах или лагерных бараках стоят цветочки. Дело в том, что за колючей проволокой, отрезанные от всего мира, от жизни и света, сидели люди ни в чем не повинные, такие же честные, как и те, кто жил на воле, — такие же коммунисты или беспартийные, труженики, солдаты. Они были жертвами, а не преступниками, их покарал не закон, а беззаконие. Если человек сидит в тюрьме за то, что он убил или украл, — он знает, за что он сидит, и, как бы он ни был развращен или озлоблен, понимает, что иначе нельзя. Человек невинный страдает вдвойне, и страдания его ужасны.

<...> Я не знаю А.Солженицына, но наверняка угадаю его судьбу: только тот, кто был там, кто пережил все это каждой жилкой своего естества, мог дать такую исчерпывающую и точную панораму жизни заключенных в ежовско-бериевское время, создать волнующий документ обвинения канувшего в прошлое периода культа личности. Но это не только документ. Это — художественное произведение, написанное рукой великолепного мастера, умеющего коротким, как бы случайно брошенным мазком, точно подмеченной деталью, выразительной репликой, двумя-тремя оброненными словами дать законченную характеристику человека и его чувствований во всем их своеобразии и своеобразности.

Пришел в литературу новый большой писатель.

<...> А.Солженицын имел моральное право написать свою повесть. Именно это моральное право автора придало произведению мужество и красоту, наделило его, насытило знанием

жизни, правдой, честностью. Повесть «Один день Ивана Денисовича» — глубоко партийное произведение. Мастерство писателя, его талант служат партии, с трибуны XX и XXII съездов вскрывшей и разоблачившей преступления, беззакония, произвол периода культа личности.

*Из статьи «Так было, так не будет»
(«Огонек», 1962, № 49, с. 28–29).*

И. Чичеров

В повести показано, как в этот один день жизни Ивана Денисовича действует страшная, так хорошо даже в мелочах отработанная машина беззакония, со всей сложной ее системой зубчатых колес, из-под которых порой брызжут и пот, и слезы, и кровь...

И над всем этим — ряды колючей проволоки, тысячи и тысячи пудов стали! Сталь, которая в докладах Сталина уже тогда считывалась на душу нашего населения! И здесь, в повести этой, колючая стальная проволока становится уже страшным символом культа, и сталь эта, и оружие охраны не на оборону шли от врага внешнего, а против самого народа были направлены!

В повествовании нет жалоб, стенаний, мелодраматического надрыва, но подлинно трагическая сущность происходящего нарастает от страницы к странице.

<...> Пожалуй, этот один обыкновенный день, от ранней побудки до столь желанного часа короткого и мертвого сна, этот один обыкновенный день, в котором нет нагнетания сверхуасов, нет описания десятидневного пребывания в карцере, описания пороков, избиений, расстрелов, — все-таки страшнее в своей жесточайшей повседневной неизбывности, чем могли быть самые яркие и ужасные описания какой-либо исключительной жестокости.

Отношение к этой повести, мне думается, своего рода лакмусовая бумага. Тот, кто ее не принимает (а уже слышатся голоса в спорах: «А зачем это вообще?.. Мы ведь все это знаем! Зачем об этом писать, ведь это материал для наших врагов! То-то они уж обрадуются...») Или еще острее: «Это спекуляция на разоблачении культа личности. Зачем конъюнктурно смаковать то, что смаковать не к чему? Знай себе и помалкивай...»), тот, по моему мнению, не видит ее огромного художественно-политического

значения в деле морального оздоровления народа и должен спросить себя: а не сидят ли еще во мне остатки культа личности?

<...> По-разному можно подходить к оценке этой книги. Но мне странна позиция А. Дымшица в его статье в газете «Литература и жизнь», который свой восторженный разбор повести Солженицына включает в «список», перечисляя разные и по мастерству и по тематике книги. Мне кажется, что сопоставлять явления литературы следует прежде всего по их значению — литературному и литературно-политическому. Повесть А. Солженицына во всех смыслах явление выдающееся. В стремлении Дымшица растворить эту повесть в перечне книг с его вечным «и др.» я вижу попытку вместе с тем ослабить, умалить заслугу журнала «Новый мир», опубликовавшего повесть.

*Из статьи «Во имя будущего»
(«Московская правда», 8 декабря 1962 года).*

<...> Был прояснен и вопрос об отображении в литературе и искусстве отрицательных явлений, фактов злоупотребления властью в период культа личности. Это очень острая тема, и правильное ее отражение несовместимо с сенсационностью. Талантливо написана, например, повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает.

*Из редакционной статьи «Творить для народа —
высшая цель художника»
(«Коммунист», 1963, № 1, с. 93).*

Ион Друцэ

Литература — это еще и полемика. Спорит герой с героем, спорит роман с романом, журнал с журналом, писатель с писателем, но очень часто в наших литературных баталиях, когда кажется, что истина, приемлемая для всех литературная истина, уже у вас в руках, непременно кто-нибудь из писателей скажет тихо, как будто про себя:

— Вот постучится к нам завтра никому не известный художник с никем еще не прочитанной книгой, и все, о чем мы толкуем, окажется пустиком...

Мы можем гордиться тем, что советская литература всегда жила и сегодня живет в трепетном ожидании именно таких книг. Эта постоянная готовность принять их сразу из рук в руки, обратить в свою плоть и кровь, может быть, самое драгоценное из всего того, что принесла с собой социалистическая культура.

Последние два года были очень урожайными для нашей литературы. Пришла целая плеяда молодых поэтов, о которых, возможно, спорили много больше того, чем заслуживало их творчество. Появилось много интереснейших прозаиков, о которых писалось, может быть, много меньше, чем требовали их герои. Период обновления литературы, выход на всесоюзную арену литературной молодежи был на редкость бурным.

Было бы, конечно, ошибочно и несправедливо думать, что наша литература не знала крупных, жизненно важных для себя удач. Они появлялись время от времени, эти книги. Их с шумом принимали, с жаром обсуждали, затем, поставив на общую полку, зачислив на горячее довольствие читателя, снова возвращались к ожиданиям новых насущных для нас книг.

И вот такая книга неожиданно для нас появилась. Ее стали рецензировать до выхода в свет, по типографским оттискам. А еще до оттисков об этой сравнительно небольшой повести в литературных кругах много говорилось. Потом стали рассказывать друг другу сюжет, детали. Наконец это произведение в своем устном варианте обрело и название — «Один день Ивана Денисовича», и только фамилия человека, написавшего эту повесть, упрямо ускользала от нашей памяти.

И вот она появилась в одиннадцатой книжке «Нового мира». Автор ее Александр Солженицын. Хочется верить, что читатель, познакомившись с этим произведением, запомнит это имя и поставит его в заветном ряду своих любимых писателей.

Мы привыкли и приучили своих читателей к определенному темпу читки художественных произведений. То ли времени нам не хватает, то ли интереса, но мы наловчились в погоне за интересными сценами пробегать глазами многие десятки страниц, легко скользя по поверхности смыслового узора. Это вошло у нас в норму, и на это как будто никто не в обиде — ни писатели, ни читатели. Но вот постучался к нам художник, которому сам этот способ читки не приглянулся. Солженицын с

первых страниц своей повести предложил нам другой, давно забытый нами, святой и робкий способ сложения букв по слогам. Солженицын доказал, что спор о физике и лирике не правомерен, если учесть, что литературу можно читать по вздохам, по паузам, по чугунно-литым, крохотным и полным мужества абзацам.

А чем, собственно, у нас питается интерес читателя к печатному слову? Читают у нас, чего греха таить, по-разному. Читают от скуки, читают от любопытства, читают по обязанности, читают назло собственной тупости. Мы свыклись с этим и, будем откровенны, саму повесть Солженицына начали читать просто из любопытства. Дочитывали мы ее с чувством удивления: оказывается, маленькую повесть можно читать, приобщаясь к самой заветной, жизненно необходимой для себя истине.

Один день Ивана Денисовича — это, на мой взгляд, самое крупное и емкое художественное осмысление произвола, царившего у нас во время культа личности Сталина. Больше того, это не столько осмысление самой механики произвола, сколько перекличка с будущими поколениями. На предполагаемый вопрос потомства: «Как же вы все-таки выжили?» — русский крестьянин Иван Шухов отвечает удивительно просто, печально и мудро: «Вот так и жили, день за днем... Глядишь — и выжили!»

Тема, открытая партией для литературы, ждала своего первого крупного художника, своего, если хотите, героя, ибо мужество, с которым описана жизнь Ивана Денисыча, есть мужество героическое. Тема ждала, и художник явился.

«Один день Ивана Денисовича» — произведение на редкость глубокое, цельное, удивительно национальное, о нем можно спорить в разных планах — и в философском, и в эстетическом, и в социальном, но сегодня мне представляется наиболее актуальной его политическая заостренность. Сталин в этой повести упоминается лишь дважды, но он присутствует в этой вещи с первой до последней страницы. Он противоположность Ивану Денисычу, и действие повести есть поединок, из которого победителем выходит Иван Шухов.

Трагедийность повести заключается в том, что один из ее героев презирал другого. И начинается повествование после то-

го, как Иван Шухов отсидел уже восемь лет за колючей проволокой. Еще недавно с трибуны ноябрьского Пленума раздали слова Хрущева о том, что Сталин не верил в массы. Это сложнее и трагичнее, чем может показаться на первый взгляд. Сегодня мы вменяем в вину Сталину не только количество жертв произвола. Сегодня мы должны говорить о том, что Сталин, не любя народ, унизил, как никогда, имя гордое, имя человека, сведя его до положения механического, бездушного винтика. Многомиллионные массы бывших винтиков нуждаются сегодня в моральном восстановлении своих прав. Мы должны еще бороться против последствий культа личности потому, что кое-каким винтикам, устроившимся в узловых частях машины и обязанным следить за винтиками малыми, понравились, вероятно, их не слишком обременительные обязанности.

Солженицын рассказал нам о том, что и за колючей проволокой действовали винтики разных величин, а еще он рассказал, что простой колхозник Иван Денисыч Шухов ни за что не хочет стать просто винтиком. Его Иван Денисыч — удивительно точно найденная частица каждого из нас, частица народного здравого смысла. И не потому ли отчаянные усилия Ивана Денисыча выжить, всем чертям назло выжить, такой знакомой болью отзываются в наших сердцах? И не оттого ли поражают нас скупые пейзажи этой повести, что и мы сами зачастую разглядывали небо болезненно обостренным взглядом? И не так ли и мы сами клали кирпичи, каждый в своей стенке, не просто клали, «лишь бы», а, упиваясь чудом свои рук, словно подозревали, что только этот труд, этот монументальный переход осмысленной энергии из одной формы в другую, поможет нам в нашей беде? И не сами ли мы утром шли с температурой к фельдшеру-стихотворцу, а по вечерам устало удивлялись — «Скажи, пожалуйста, оно как будто перемоглось!» И не научились разве и мы сами так же, как и Иван Денисыч, взвешивать по вечерам свой прожитый день и с какой-то непостижимой для здравого смысла логикой радоваться про себя: «А что, прожили день как будто не так уж плохо...»

Культ личности в истории нашей страны — это пропасть, а путнику не пристало, закрыв глаза, плохо зная, в какой она стороне дороги, смутно представляя ее размеры, бубнить идущим за

тобой: «Смотри, там худо!» Путнику, даже когда он минует опасность в пути, следует осмыслить эту опасность, постоять над пропастью, взглянуть в лицо ее холодной бездонности, послушать эту жуткую тишину, подышать плесенью сырых могильных обрывов. И после этого только можно сказать самому себе, что в пути ты благополучно миновал пропасть.

<...> Небольшая повесть — и как просторно стало в нашей литературе! Нормы, выработанные и узаконенные для литературы культом личности, окончательно рухнули с появлением повести Солженицына. Мы свыклись с тем, что биография нашего героя имеет свои границы, обозначенные законом. Мы кончали главу судебным приговором, начинали новую вместе с появлением героя из тюремных ворот, а меж этими двумя главами красовался банальный вензель издательского художника, и было невдомек ни нам, ни художнику, что там, за решеткой, наш герой продолжает свою жизнь мужественно, честно, с достоинством. Мы верили, может быть, верили недостаточно, что придет художник и меж этими двумя главами допишет недостающую главу, главу, которую требует не только композиция вещи, но сама жизнь, сама истина.

В свое время для литературы была составлена карта того, что дозволено, и того, что, выражаясь фарисейским языком, не рекомендуется нашим писателям. И до чего несправедливо была составлена эта карта по сравнению с картой нашей Родины, которую мы выучили в детстве, которую защищали и поливали кровью, над будущим которой трудились!

Решениями XX и XXII съездов нашей партии карта литературы стала все больше и больше приближаться к размерам естественной карты, и теперь, с печатанием повести Солженицына, эстетическая и политическая карта дозволенного и необходимого для изображения средствами литературы приравнялась наконец к натуральной карте Советского Союза — двадцать два миллиона квадратных километров, и ни одним метром меньше. Это не подарок. Это возвращение незаконно отнятой территории, вырванной Сталиным с живым мясом у литературы и искусства. <...>

*Из статьи «О мужестве и достоинстве человека»
(«Дружба народов», 1963, № 1, с. 272–274).*

Л.Фоменко

В прессе уже широко и по достоинству отмечена повесть никому доселе не известного Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Произведение это поистине трагическое, причем автор нигде не подчеркивает трагизма, а, напротив, рисуя один день лагерной жизни, педалирует на удачливости этого дня.

<...> Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное «нет!» сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи. Нельзя видеть в прошлом только чудовищные злодеяния. В том-то и счастье, что культ не так всемогущ, как сам он, Сталин, об этом думал, как думали почти все тогда. Одному человеку приписывалась могучая сила народа. А эта неиссякаемая сила делала свое большое историческое дело.

«Один день Ивана Денисовича» лишь приблизился к трагическому произведению полной, всеобъемлющей правды.

*Из статьи «Большие ожидания»
(«Литературная Россия», 11 января 1963 года).*

В.Ермилов

В еженедельнике «Литературная Россия» (№ 2, 1963) была напечатана статья «Большие ожидания» Л.Фоменко. В ней есть и верные наблюдения, замечания, статья написана живо, горячо. Но есть и отступления от требований эстетической критики и, можно сказать, эстетической справедливости. К повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», изображающей вопиющие беззакония периода культа личности Сталина, предъявляется обвинение в том, что повесть «не раскрывает всей диалектики времени», что она «не поднялась... до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Но художественный принцип повести как раз и связан с локальностью. Обобщения, изображение характеров и т. д. здесь даются на художественно ограниченном поле действия, определяющемся данной, особой обстановкой, данными

реальными условиями. Если говорить о «противоборствующих силах», то они тут, разумеется, представлены: бесчеловечности лагерного режима противостоят образы советских людей, противостоит весь характер повествования, вся художественная оценка изображаемого. Критик же, обвиняющий повесть в том, что она не дает широкого обобщения эпохи, по сути призывает писателя выйти из внутренней логики, из внутренних законов произведения, захватив в сферу изображения какие-то другие объекты действительности. Эта критика количественная, а не качественная: изобрази не только это, а и то! В повести А.Солженицына ясно выражен художественный принцип, образующий основу всего построения, в ней нет внутренних противоречий, нарушающих единство реалистического произведения, кровно связанного с традициями русской литературы.

*Из статьи «Необходимость спора.
Читая мемуары И.Эренбурга “Люди, годы, жизнь”»
(«Известия», 29 января 1963 года).*

Н.Губко

Об этой книге еще много будут размышлять и много писать. Вероятно, должно пройти какое-то время, прежде чем можно будет взяться за нее с беспристрастностью исследователя, оценить по-настоящему ее общественное и художественное значение, определить ее место в разнообразном и сложном потоке нашей литературы. Чтобы первые, непосредственные болезненные впечатления отстоялись в глубокую и прозрачную мысль... Но уже и сейчас ясно (и это признано всеми), что в литературу пришел большой художник.

Конечно, тот большой интерес, который вызвала эта книга, объясняется отчасти и самим материалом: писатель открыл нам жизнь, где гибли люди, ломались судьбы, разрушались человеческие души. Об этой жизни одни в лучшем случае смутно догадывались, другие не думали вовсе. Теперь она предстала с такой пронзительной достоверностью, которая разбивает вдребезги опасные и жалкие попытки успокоить себя неведением.

Но, разумеется, одного материала было бы далеко не достаточно, чтобы завоевать читателей, если бы он не был освещен глубокой гражданской и художественной мыслью. Повесть

Солженицына пробуждает печальные и горькие думы о событиях, которые сейчас по справедливости связываются непосредственно с именем Сталина, — о тяжелых испытаниях, несчастях, ошибках. Но это — не отчаяние, не холод, не равнодушие. Это — мужественное и суровое познание истины, которое ведет к нравственному очищению, к пониманию ответственности каждого человека за все, что было и будет...

<...> Органический сплав подробностей быта и стремительной внутренней динамики, быть может, и составляет новизну и оригинальность этой повести. «Один день Ивана Денисовича» — пример того, как лучшие традиционные черты русской прозы XIX века соединяются с поисками новых форм, которые можно определить как полифоничность и синтетичность художественной структуры произведения. <...>

Скорее всего речь здесь идет о бесстрашном исследовании человеческой души, о влиянии на нравственную природу человека внешних обстоятельств... речь идет о ценности человеческой жизни. О следовании традициям гуманности «святой русской литературы», как назвал ее когда-то Томас Манн, потому что, по его словам, такого глубокого гуманизма, которым была проникнута русская литература, «не было нигде и никогда в мире». Это глубокое внимание к нравственному миру людей в условиях самого невыносимого унижения, бесправия и насилия, умение именно *здесь* увидеть, оценить и полюбить *человека* и роднит небольшую повесть А.Солженицына с гуманистическими традициями Толстого и Достоевского. Пожалуй, за последнее время у нас не было произведения, где бы с такой силой звучали боль за униженного человека и уважение к его духовной силе.

И еще одна из «вечных» проблем, так много занимавшая этих двух писателей, поднята в повести А.Солженицына. Это — страшная, развращающая сила бесконтрольной власти.

<...> «Гении не подделывают своего творчества под вкус тиранов», — услышал Иван Денисович случайно кем-то обретенную фразу.

Да, истинный художник не знает робости, не бледнеет ни перед какими последствиями. Он верит в человечность и служит ей. Он не ищет дешевой популярности, не замирает перед

рукоплесканиями. Он нетерпим к фразе, ему чуждо упрямое, ледяное красноречие, которое в иных книгах заменяет мысль. И он с величайшим благоговением относится к слову, в основе которого лежит совесть.

Сейчас как нельзя современнее звучат слова Белинского:

«Наше время преклонит колена только перед тем художником, жизнь которого есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».

Таким художником, судя по его первой повести, вступает А.Солженицын в нашу литературу.

*Из статьи «Человек побеждает»
(«Звезда», 1963, № 3, с. 213–215).*

Александр Твардовский

Я назову с этой трибуны одно, правда, вскользь уже упоминавшееся, имя последнего литературного года — имя Солженицына.

Появление этого писателя в нашей советской литературе весьма знаменательно. При различном отношении к этому таланту (а я не стану утверждать, что у нас есть полное единодушие в отношении таланта этого автора), ни одно новое литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником. Мне известно, что существуют переводы на французский, итальянский и английский языки по крайней мере первой повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Я хотел бы слышать того, кто бы сказал, что это художник, обремененный узами социалистического реализма, не свободен в своей беседе с читателем, что он чем-то связан, что он ограничен какими-то рамками. Ведь этого нет! И, однако, он свободен при полной сердечной «завербованности» в отношении человека, его мыслей, его помыслов, его чаяний и надежд.

*Из речи на сессии Руководящего совета Европейского сообщества писателей «Убежденность художника»
(«Литературная газета», 10 августа 1963 года).*

А.Твардовский

Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которой дебютировал в «Новом мире» этот еще вчера никому не

известный учитель из Рязани, представляет собой, на мой взгляд, явление особо значительное и принципиальное. И дело не только в том, что она основана на специфическом материале и показывает антинародный характер тех явлений, которые связаны с последствиями культа личности, но также и в том, что всем своим художественным строем она утверждает непреходящее значение традиций правды в искусстве и решительно противостоит мнимому новаторству формалистического, модернистского толка.

По-моему, «Один день» — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением.

И я никогда не забуду, с какой теплотой отзывался Н.С.Хрущев об этой повести Солженицына, о ее герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. На первом из нынешних совещаний* Никита Сергеевич, назвав по ходу своей речи Солженицына, представил его всем присутствовавшим в зале Дворца встреч на Ленинских горах...

Если бы нужно было доказывать широту взглядов Центрального Комитета нашей партии на литературу и искусство, то одного факта одобрения им этой повести А.Солженицына было бы более чем достаточно. Кстати, этот факт лишний раз неопровержимо указывает на полную несостоятельность враждебных нам толков об «ограничениях» и «регламентациях», которые якобы кем-то предписываются советской литературе.

*Из интервью главного редактора журнала «Новый мир»
А.Т.Твардовского
корреспонденту Юнайтед Пресс Интернейшнл в Москве
Г.Шапиро
«Литература социалистического реализма
всегда шла рука об руку с революцией»
(«Правда», 12 мая 1963 года).*

* Имеется в виду встреча руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства в декабре 1962 года.

В.Солоухин (ответ на вопрос, заданный во время его вечера в Ленинградском государственном педагогическом институте имени А.И.Герцена)

«Какое произведение последних лет Вы считаете достойным того, чтобы бежать к приятелю, звонить по телефону и советовать немедленно прочесть?»

— Таким произведением я считаю вещи Солженицына (при этих словах в зале раздались горячие аплодисменты).

*Из статьи В.Гитина «Поэты ходят по земле»
(«Советский учитель», Ленинград, 17 декабря 1964 года).*

КТО ОН, АВТОР «ОДНОГО ДНЯ»?

П.Косолапов

ИМЯ, НОВОЕ В НАШЕЙ ЛИТЕРАТУРЕ

*Появление повести «Один день Ивана Денисовича»
вызвало среди читателей огромный интерес
к личности автора. Кто он? Какова его биография?
Что он делает сейчас?*

ВОДИННАДЦАТОМ номере журнала «Новый мир» опубликована повесть «Один день Ивана Денисовича». Сам факт появления подобного произведения — красноречивое свидетельство того, что времена культа личности Сталина ушли безвозвратно. Коммунистическая партия, смело разоблачившая последствия культа личности, сделала все, чтобы времена эти никогда не повторились. Имя автора повести — А.И.Солженицына — новое в нашей литературе. «Один день Ивана Денисовича» — первое его произведение. Кто же он, автор этой правдивой, вызвавшей большой интерес читателей повести?

Александр Исаевич Солженицын родился в 1918 году в семье служащего. Потеряв отца, с ранних лет воспитывался матерью. Детство и юность провел в Ростове-на-Дону. Там окончил среднюю школу, а в 1941 году — физико-математический факультет университета. Специального литературного образования не получил. Лишь последние два предвоенных года одновременно с университетом учился на заочном отделении филологического факультета Московского института истории, философии и литературы.

В 1941 году призван в Советскую Армию рядовым. В 1942 году по окончании артиллерийского училища назначен командиром артиллерийской батареи и в этой должности непрерывно находился на фронте до февраля 1945 года. Награжден двумя орденами. В феврале 1945 года уже на территории Восточной Пруссии в звании капитана Солженицын был арестован по необоснованному политическому обвинению и приговорен к восьми годам заключения. Отбыл их полностью, затем был направлен в ссылку, из которой возвратился в 1956 году. В 1957 году полностью реабилитирован за отсутствием состава преступле-

ния. Сейчас он работает преподавателем математики и физики в школе.

В ближайшее время журнал «Новый мир» предполагает напечатать два новых рассказа А.Солженицына.

(«Советская Россия», 28 ноября 1962 года.)

Виктор Буханов

У СОЛЖЕНИЦЫНА В РЯЗАНИ

Прямая улица, ведущая к Оке, замкнутая в конце соборами Рязанского кремля. На этой улице — здание средней школы, где до последних дней преподавал физик Александр Солженицын.

Достаточно было одного месяца, чтобы имя рязанского учителя узнали в Москве и Владивостоке, в Париже и на зимовьях Антарктиды. Повесть об одном дне заключенного Ивана Шухова вызвала всеобщий интерес и потоки рецензий.

«Сильный талант», «подлинный помощник партии в святом и необходимом деле» — так писали об авторе «Известия». «Повесть А.Солженицына, порою напоминающая толстовскую художественную силу в изображении народного характера...» — это строки из «Правды». А на встрече руководителей партии и правительства с деятелями культуры было сказано: «Такие произведения воспитывают уважение к трудовому человеку, и партия их поддерживает».

...Шли последние дни учебного полугодия и последние дни декабря, когда я открыл двери этой школы.

Учитель физики

Солженицын — человек двух призваний. Его педагогический талант столь же бесспорен, как и литературный.

Он не просто знает свой предмет. Творческое начало, живущее в Солженицыне, побуждает его преподавать с той свежестью и увлечением, которые можно объяснить лишь истинным призванием. Он следит за технической периодикой, он делает пространные доклады и сообщения, в числе других — о космических полетах, оперируя сведениями, которые удивляют его коллег. Он постоянно «выходит из берегов» обычной школьной программы.

Вот что сказал один из учеников Александра Исаевича о своем преподавателе:

— Он интересно ведет уроки. Он хорошо владеет речью. Раньше я не любил физику...

И другой:

— Не знаю, какой из него получился писатель, но учитель он первоклассный.

Последний урок

— Конец полугодия, — сказал мне Солженицын. — Ученики исправляют оценки. Я не могу позволить вам присутствовать на уроке: ребята будут нервничать — это может сказаться на их отметках.

Класс отделен от меня дверью с обычным оконным стеклом. Я вижу сквозь него, как Солженицын подзывает ученика, пишет мелом на доске, живо жестикулирует руками и застывает в необычной позе, словно фехтуя... Голосов не слышно, все это выглядит как немое кино. Я слегка приоткрываю дверь, и из нее вырывается громкий и четкий голос:

— Будут ли сторонние силы производить разделение разрядов? Генератор...

Как странно видеть и слышать все это, зная о нашумевшем вторжении Солженицына в большую литературу.

Никто — ни ученики, ни учителя — не хотели мириться с мыслью, что дни преподавательской деятельности Александра Исаевича сочтены. Никто и не почувствовал этого вплоть до 28 декабря, когда шел урок физики — последний урок Солженицына, школьного учителя.

Лицом к лицу

Конечно, это странный процесс, неизменно ставящий в тупик окружающих, когда в ряду обыденного вырастает нечто совершенно необычайное.

То, что у Солженицына незаурядный литературный талант, никому из его коллег не приходило в голову.

На мой вопрос они пожимают плечами. «Мы ничего не подозревали. Учитель как учитель. Лучше многих из нас. Не более».

Завуч школы Владимир Бельцов почувствовал, по его сло-

вам, какое-то новое увлечение Солженицына и решил, что он пишет учебник по физике или сборник задач: «Для этого Александр Исаевич вполне эрудирован».

Даже сейчас, после появления повести, не все осознали истинное значение происшедшего. Для иных Солженицын остается, как и прежде, товарищем по ремеслу, между делом («Мало ли у кого какие бывают причуды?») написавшим небольшую книгу. «Всего семьдесят страниц», — заметила одна учительница. Другая сказала чуть снисходительно: «Вот и прославился наш Александр Исаевич!»

Есенин, поэт тоже рязанский, когда-то написал: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстояньи...»

Проникновение

Не доверяя своему весьма ограниченному знакомству с Солженицыным, я спрашивал в Рязани у всех сколько-нибудь осведомленных лиц: каким языком говорит в быту Александр Исаевич?

— Когда я читал повесть, — сказал десятиклассник Саша Дмитриев, — я спотыкался на каждом шагу. Никогда не думал, что наш физик может писать такими необычными словами, ни разу их от него не слышал...

— Больше всего меня изумил язык, каким написана повесть, — сказал Бельцов. — Я ожидал чего-то чеховского, а тут сразу вспомнил «расконвоированных», с которыми сталкивался в Сибири...

Ясно, что лексикон Ивана Шухова не входит в активный словарный фонд Александра Солженицына. Никто не слышал от писателя ни «зэковского» жаргона, ни архаизмов, ни удивляющего ухо своей свежестью глубинно народного сказа, от которого мы все немного отвыкли.

Язык повести — результат наблюдений писателя, его опыта и сознательного проникновения в духовный мир крестьянина, который был ему, без сомнения, ранее незнаком, а возможно, и чужд, как были далеки Ивану Шухову те молодые москвичи, что лопочут друг с другом на непонятном, «будто бы иностранном языке».

Ни минуты впустую

Еще одна фраза о Солженицыне: «Вся жизнь его идет по какому-то одному ему понятному плану».

Действительно, трудно представить себе ту огромную энергию и целеустремленность, которой живет Солженицын.

Еще пять лет назад, поступая в школу, он просил директора ограничить число уроков пятнадцатью часами в неделю. Год спустя, не объясняя причины, он просил их уменьшить до двенадцати. Последнее время он имел девять уроков в неделю.

Отсюда его более чем скромный заработок — 50 рублей в месяц. Как мне показалось, деньги для Солженицына не имеют сколько-нибудь серьезного значения.

Он дорожит временем, и это главное, что бросается в глаза при знакомстве с Солженицыным.

Он приходит в школу за минуту-две до занятий. Он не задерживается после окончания уроков и без веской причины не заглядывает в учительскую. Он по возможности избегает долгих собраний, совещаний, не стесняясь воспользоваться помощью одного из своих учеников, чтобы проскользнуть незамеченным мимо распахнутой двери актового зала.

В то же время он все успевает сделать. Он не нарушает обещаний, не опаздывает и требует самой щепетильной обязательности от других. Аккуратность Александра Исаевича стала почти нарицательной.

Его скрытность, его вежливая замкнутость просто потрясающи. Он не рассказывает о прошлом, не строит вслух прогнозы на будущее. Он вообще говорит крайне мало и только по надобности.

Солженицын — человек редкой самодисциплины. Он скромный. Директор Матвеев сказал о нем: «Это органически сложившаяся скромность».

Он стремителен. Я наблюдал, как Александр Исаевич возвращался домой после занятий. Он шел ходко, словно спешил к тому, что составляет главную цель его жизни.

Солженицын болен

На вид он производит впечатление вполне здорового чело-

века. Вводит в заблуждение его подвижность, энергичная жестикация, живая выразительность лица.

На самом деле он болен. Несколько лет назад он был при смерти. Смелым медицинским вмешательством развитие процесса было приостановлено.

Периодически Солженицын выдерживает повторные курсы лечения. Чрезвычайно сильное лекарство приковывает его к постели на месяц. О болезни своей Александр Исаевич говорит спокойно и отчужденно, как о чем-то его совершенно не касающемся.

Летние каникулы

Каждое лето Солженицын вместе с женой, а иногда и друзьями отправляется путешествовать. Другим видам транспорта он предпочитает велосипед и пароход.

С женой на велосипедах с импровизированными багажниками на заднем колесе они отправляются по области, чаще в Солотчу. Солженицын побывал в Прибалтике; прошлым летом он ездил в Забайкалье.

Солженицын и его жена не расстаются с фотоаппаратами. Стены их столовой увешаны фотоэтюдами, многие сделаны со вкусом и художественным чувством.

Три недели назад вместе с несколькими преподавателями школы Александр Исаевич ездил на охоту. В отличие от всех, он был вооружен лишь фотокамерой и снимал там, где другие стреляли. Ружья он не любит. Отец Солженицына погиб на охоте от случайного выстрела.

Жена

Ее имя — Наталья Алексеевна Решетовская. Она кандидат химических наук, преподает в сельскохозяйственном институте. По отзывам многих, хорошо играет на фортепьяно — в доме Солженицына почти половину тесной столовой занимает рояль.

Солженицын женился на Решетовской еще до войны. Приблизительно за год до победы и его ареста (по злому навету) Наталья Алексеевна выезжала к нему на фронт. <...>

Наталья Алексеевна так же не склонна говорить о своем муже, как он сам о себе. Но она менее строга в соблюдении это-

го принципа. Во всяком случае, ей я обязан двумя снимками писателя.

Я спросил:

— Стал бы Солженицын писателем без своего лагерного опыта?

— Трудно ответить. Во всяком случае, он стремился получить литературное образование отнюдь не случайно. Он ничего не делает случайно...

Я слышал об их отношениях самые добрые слова: «Дай бог всякой семье».

Детей у них нет.

Саша Дмитриев о Солженицыне

Солженицын несколько лет вел в школе фотокружок. Его лучшим помощником и любимым учеником был Саша Дмитриев. Я попросил юношу дать своему учителю характеристику в трех словах.

— Умен, аккуратен, бережлив, — сказал Саша.

По поводу последнего качества он рассказал вот что:

— Одна пачка проявителя растворяется в полулитре воды. А для фотобачка нужно 300 граммов. Александр Исаевич никогда не позволяет нам растворять пачку во всех пятистах кубиках. Он делит две пачки на три части — одна часть ровно на бачок, на треть литра.

— Но ведь оставшиеся двести граммов раствора можно использовать позднее, — сказал я.

— Он выдохнется, — заметил Саша.

На стенах школьной фотолаборатории висят инструкции и рекомендации для тех, кто здесь занимается. Все они аккуратно отпечатаны Солженицыным на той самой машинке, на которой была написана повесть «Один день Ивана Денисовича».

Ценить вещи, уважать добро, в которое вложен человеческий труд, — едва ли не исконная русская черта. Она очень подчеркнута и у Ивана Денисовича в «Одном дне...».

Место под вишней

Солженицын практичен, многое умеет и любит делать сам. В небольшом дворике двухэтажного деревянного дома, где

живут несколько семей, Александр Исаевич вскопал несколько грядок маленького огорода, посадил вишневые деревца.

Под вишнями он вырыл в землю стол и скамеечку, там летними днями и работал.

Я несколько раз приходил в дом к Солженицыну. Однажды морозным декабрьским вечером я увидел его, с табуреткой в руках выходящим во двор. Одет он был в стеганый ватник, шапку-ушанку с болтающимися завязочками. Оторопело я подумал об Иване Шухове. При всей их интеллектуальной несхожести, автора повести и ее героя объединяет нечто принципиально важное и незабываемое...

— Меня подразумевают под многими героями повести, — говорил писатель. — А я в ней присутствую постольку, поскольку сам сплавлял лес, клал кирпичные стены...

Солженицын занимается хозяйственными делами. Он колет дрова, убирает снег... Может быть, он любит это делать. А если бы и не любил — кто бы занимался этим вместо него, единственного мужчины в доме?

Все остальное время из его кабинета доносится стук пишущей машинки.

«Вход воспрещен»

Эти слова были бы уместны над его кабинетом, над всем тем, что входит в понятие творческой лаборатории.

Упорно, я бы сказал, с ожесточением он отстаивает право не говорить ничего о своей работе.

— От писателя к читателю путь только через его книги, — повторил он мне (уж в какой раз) это свое убеждение.

Он по-прежнему не дает интервью и советским, и зарубежным журналистам. Он не скрывает своего нерасположения к репортерам. Ему не нравится желание читателя все поскорее «узнать и проглотить». Очевидно, его основательная склонность к глубокому анализу протестует против всего поверхностного.

Журналисту трудно разговаривать с Солженицыным. Его неизменно вежливые и твердые «нет» приводят в тоскливое отчаяние. Я говорил с ним в Москве, четыре дня подряд (почти против его воли) встречался в Рязани. Солженицын покори

меня умом и тронул обаянием, но с меня довольно — это была последняя моя попытка беседовать с ним по заданию редакции.

Лично я убежден, что Солженицын никогда не будет говорить о том, как он работает, сколько страниц покрывает текстом за неделю, какие замыслы вынашивает и какой сорт бумаги предпочитает...

— Обо всем этом вы узнаете после моих похорон, — сказал он мне без тени шутки в голосе.

Сейчас известно немного. Известно, что «Один день Ивана Денисовича» писатель закончил четыре года назад, что ему делали предложение экранизировать повесть. Не так давно он читал в театре «Современник» свою пьесу, где она, очевидно, и будет поставлена. Известно, что Александр Исаевич писал и, быть может, пишет еще стихи. Вот-вот выйдут два рассказа. А потом что? Потом, поговаривают, он намерен вернуться к первой теме. О планах его можно судить по такой фразе: «Я почти ничего еще не сделал...»

— Нехорошо, что первые рецензии появились практически до выхода первой книги, а авансы я стал получать до выхода второй, — говорит он. — Всякий шум, сенсацию нужно оправдать. А если я не смогу написать ничего достойного?

Очевидно, пишет он медленно. Его слова: «Каждая строка у меня отлеживается год».

Работать, работать...

Солженицын не только любит работу — он любит самое слово «работать». Он произносит его почти с тоской по покою: «Хочу тихо и спокойно работать».

Мягко бранит он «обожателей», паломников, которых становится все больше и которые отрывают его от дела.

...Я сижу в столовой, разглядываю искоса этажерку с книгами: Дюма, четыре тома Мельникова-Печерского — уж не у него ли учится Солженицын языку? На рояле стопа нот, на стене старые портреты Чайковского и Шопена. Цветы — уютно, традиционно...

— Вот писатели в прошлом веке, — продолжает Солженицын, — жили, работали... Никто не лез к ним за сенсациями, а просто читали их. И ведь хорошие были писатели.

У него личная неприязнь ко всякой огласке.

Мне много рассказывали о его затворничестве — разумном и неоскорбительном для окружающих, о его почти аскетическом образе жизни... Но я не буду ни о чем этом писать. Новый год Солженицын встречал вместе с труппой театра «Современник», где были писатели, художники, кинорежиссеры и много артистической молодежи.

И этот светский выход лишает облик писателя односторонности, которую ему подчас хотят приписывать.

(«Литературная Россия», 25 января 1963 года.)

Ю.Кунгурцев

СОЛЖЕНИЦЫН В КАЗАХСТАНЕ

Для жителей села Берлик — он учитель. Для миллионов читателей — талантливый писатель. Автор «Одного дня Ивана Денисовича».

Исаевич

В 1953 году Коктерекское районо (с. Берлик) размещалось в приземистом глинобитном здании. От прочих домов его отличала только фирменная вывеска. В один из апрельских теплых дней временно исполняющий обязанности заведующего районо Зейнегаты Сырымбетов, сейчас директор средней школы имени Кирова, принимал необычного посетителя.

— Солженицын, Александр Исаевич. Имею педагогическое образование. Хотел бы работать в школе.

Перед Сырымбетовым сидел высокий худощавый мужчина с очень бледным лицом, глубоко запавшими глазами. Прямые светлые волосы зачесаны назад. Руки нервно мяли старую облезлую шапку. Выцветшие армейские галифе, стоптанные сапоги — все это никак не вязалось с той уверенностью в себе, с подкупающей простотой и обаянием, которые исходили от этого человека.

Из осторожных расспросов Зейнегаты понял, что Солженицын стал жертвой тех обстоятельств, которые позже получили название культа личности. И место жительства в Берлике избрал не по своей воле.

Сырымбетов давал себе отчет в том, что, принимая Солженицына в школу, он идет на известный риск. А что если кому-то придет в голову блажь усмотреть в этом поступке подозрительную симпатию к бывшему заключенному?

Встреча с Солженицыным произошла одиннадцать лет тому назад. И все-таки Зейнегаты помнит все подробности ее.

— Учителей тогда было мало, — вспоминает директор, — особенно математиков и физиков. И потом у меня было такое чувство, что, не помоги я этому человеку, попавшему в беду, меня всю жизнь будет мучить совесть.

Так А.И.Солженицын стал преподавателем математики, физики и астрономии Берликской средней школы имени Кирова. 3 мая 1953 года после многолетнего перерыва он снова вошел в класс.

Присутствующие на его уроках учителя рассказывали коллегам, что новый педагог великолепно знает материал, преподносит его доходчиво и, самое главное, умеет создать необыкновенно творческую рабочую обстановку.

Запомнился он людям по-разному. Вот почти стенографическая запись нашей беседы.

Фридия Ивановна Черноусова, преподаватель немецкого языка, пожилая женщина, с семью прядками в волосах. Как всякий преподаватель, много работающий в школе, говорит не спеша, отчетливо произносит каждое слово:

— Нравился он мне своей эрудицией. Хорошо владел немецким языком, читал на английском. Был очень приятным собеседником... Когда сказали, что Исаевич стал писателем, я очень удивилась. Зря это он сделал. Его призвание — педагогика. Педагог он был на редкость талантливый... Исаевич умел подбирать ключи к сердцу любого ребенка.

Вел специальные книжки, где шаг за шагом записывал поведение школьников, их наклонности, увлечения, их расположенность к тому или иному предмету. Часто навещал своих учеников дома, беседовал с родителями... О прошлом рассказывал мало, очень мало. Но мы о многом догадывались сами. Как-то он собрал ребят на экскурсию. Сам в обычном своем снаряжении: через одно плечо — полевая сумка, через другое — фотоаппарат.

Ребята галдят, шумят, разброд полный. И вдруг он дал команду, да таким властным, прямо металлическим голосом: «Смирно!» Класс мгновенно выстроился и замер. И тогда я поняла, что он был военным, и не простым военным...

Елизавета Ивановна Шмидт, преподаватель немецкого языка:

— Знаете, я горжусь, что училась у Солженицына. Школу я окончила в 1956 году, это был последний выпуск Александра Исаевича. Вскоре он уехал в Россию... И даже не потому, что он стал известным писателем. Это был самый лучший, самый мой любимый учитель. Он для меня навсегда останется идеалом.

Турсунбек Мейркулов, преподаватель физики:

— Солженицын заражал нас своей энергией. В класс врвался, как вихрь, на табурет садился, как в седло, перекидывая ногу. И сходу начинал вести урок. — Дюсанов — к доске! Кукеева, покажите, как вы справились с заданием! — И становилось беспокойно, мозг начинал работать лихорадочно. Хотелось попасть в темп, который тебе предлагали.

Ульмес Баяубаев, преподаватель истории:

— Есть учителя, которые играют свою роль учителя, класс для них — безликая масса. Или еще хуже — несмышлениши, которых нужно всегда и во всем наставлять. Полного понимания между таким преподавателем и детьми не может быть. Такой учитель может пользоваться уважением, но любовью — нет. Раньше я не мог понять причину всеобщей привязанности к Солженицыну. Просто мне и моим товарищам было хорошо, интересно с ним. Сейчас я понял секрет обаяния Александра Исаевича. Он никогда не выказывал превосходства взрослого, много знающего человека, держался с нами просто, как с равными. И мне кажется, в общении с нами он тоже находил большую радость. Бывал и строгим, требовательным, если кто-то нарушал слово, приходил не вовремя к месту условленной встречи. Сам он никогда не опаздывал и всегда выполнял то, что обещал, будь то дополнительное занятие по геометрии или простое фотографирование...

Давно не работает в этой школе Александр Исаевич Солже-

ницын. Но трудно отделаться от ощущения, что он просто отлучился ненадолго — то ли в командировку, то ли в отпуск. <...>

«Хатка, ллядящая в пустыню»

На дворе поздняя осень, а небо безоблачно, и такая теплынь стоит, что впору снимать пальто. На улицах поселка людно, толпятся у столовой, возле универсама. Обдавая пылью, проносятся грузовики. Мы с Фридией Ивановной не спеша идем по шумному ноябрьскому дню.

— А при Исаевиче, — вспоминает Фридия Ивановна с какой-то затаенной грустью, — Берлик был захудалым поселком. Одни мазанки, ни универсама, ни кинотеатра, ни этих двухэтажных зданий. Ни воздушного, ни автобусного сообщения. До станции добирались на попутных...

Уходим на другой конец поселка. Мы идем к Катерине Мельничук, хозяйке, у которой квартировал одно время Солженицын после своего приезда в это далекое казахское село. Аккуратный белый домик, в палисаднике саженцы яблонек, вишен. Огород убран, на крыше сарайчика — копка мелкого степного сена. Хозяйка, узнав учительницу, смешалась, поспешно вытерла руки о фартук.

— Проходите, не обессудьте — у меня не прибрано.

Сначала разговор не вяжется, но вот Катерина освоилась, и полилась певучая, трогательная в своей бесхитростности и простодушии речь.

Катерина Мельничук:

— Помню я Сашу хорошо, стоял он у нас на квартире с весны до осени, как прислали его сюда. Кто-то из соседей пришел вечером, говорит, приезжему человеку квартира нужна. Мы жили тогда на другой улице, на Садовой. Этот дом мы недавно построили. А тогда жили в мазанке — комнатка да кухонька. Самим тесно, но и отказать грех.

Пришел он на другой день, чемоданчик деревянный у порожка поставил. Познакомились, видим, обходительный, славный с виду, только одежда уж очень худа. Яков, мужик мой, взялся за чемодан и говорит: «Ого! Тяжелый! Книжки, что ли?» «Книжки», — отвечает.

Устроили ему лежанку из тарных ящиков на кухне... Мучил он себя ножами, мы спим давно, а он при лампе керосиновой допоздна все читает да все пишет. Чудной был он! Сварила я картошки, где-то в первые дни, как он переехал, — вывалила на блюдо. Взял картошку, покатал ее в ладонях, да с кожурой и начал есть. Я — в испуг: «Что ты, Сашенька? Очисти картошку-то!» А он улыбается, вспомнилось старое, дескать. Видно, очень уж худо им, горемычным, жилось в этих лагерях проклятых.

Вставал рано, в одно время — в шесть утра. Коли ведро — делал прогулку по степи, далеко уходил, до самого отделения Коминтерн, если же непогода, грязь осенняя — по огороду взад-вперед. Я ему — да отдохни, Сашенька, так мытаришься день-деньской в школе. А он — ничего не поделаешь, Катя, военная привычка. Как стал учителем — стал зарабатывать. И вскоре купил домик на Пионерской улице по сходной цене. Точно уж не упомяну, сколько он за него дал. Если уж вы интересуетесь Сашей, пройдите, тут недалечко...

Тихая улочка, низкая мазанка с двумя окнами на южную, одним — на западную сторону. Саманную крышу венчает высокая печная труба. Молодой клен разбросал свои голые, безлистые ветки на поддвора. К стволу туго прикручен алюминиевой проволокой рукомойник. Капля за каплей сочится вода. Сверкнув, хлопается о глинистую площадку. Вместо крыльца — два горных камня, вросших в землю. Конечно, сейчас бесполезно искать следов пребывания далекого хозяина этой мазанки. Домик не единожды перепродавался. Новый владелец что-то перестраивал по-своему, что-то вносил свое. И только стены, наверно, помнят высокого, чуть прихрамывающего человека, который сделал из своего жилища настоящий клуб.

Елизавета Ивановна Шмидт вспоминает, что в теплые вечера здесь собиралось полно народу. Кто не мог осилить трудную задачу, кому нужно было повторное растолкование теоремы. Ведь Александр Исаевич требовал прочных знаний и никому поблажки не давал. Недаром на первом же экзамене он «завалил» человек пятнадцать. И сам был раздосадован не меньше пострадавших за скверное преподавание математики в школе. Зато через год картина изменилась неузнаваемо, «его» классы показывали отличные знания основ точных наук.

Все, кто посещал в ту давнюю пору домик на Пионерской, запомнили бесконечные беседы, споры о вещах простых и сложных. Со степи прилетал ветер, напоенный запахами весенних трав. Тысячеглазо мерцали звезды. Говорили о дальних неведомых мирах, о таинственном космосе. Александр Исаевич изготавил с ребятами макет купола звездного неба. Когда под купол ставили лампу, четко проступали названия созвездий. Ребята задирали головы и старательно искали эти созвездия на настоящем небе. Надо ли говорить, как они любили уроки по астрономии!

Когда космонавты один за другим начали штурм неба, очевидно, не один из тех ребят, кому посчастливилось бывать у солженицынского домика, вспомнил эти вечерние беседы, эти своеобразные звездные лекции.

Домик тогда стоял на самом краю аула. Восходящее солнце первые лучи бросало на его крышу, на его белые стены. А в холодные сумерки из высокой трубы вился кудрявый дым и восходил столбом. В печи трещали саксаулины, привезенные им самим из пустыни. Благодатное тепло растекалось по комнате. Мягкий свет от абажура падал на клетчатую скатерть. И я не знаю, одной ли подготовкой к очередным урокам, одной ли проверкой ученических тетрадей был занят он. Может быть, в тишине долгих декабрьских вечеров вынашивал он замыслы «Одного дня Ивана Денисовича». Может быть, здесь были написаны первые страницы повести.

Пионерская, 10... Закрываю за собой калитку, последний раз оглядываюсь на белый домик, в котором писатель провел больше двух лет. <...>

(«Ленинская смена», Алма-Ата, 10 января 1965 года.)

НЕСКОЛЬКО ПОЗЖЕ... СПОРЫ, РАЗМЫШЛЕНИЯ

Прошло немало времени с момента выхода в свет повести «Один день Ивана Денисовича», но критики и читатели продолжали горячо обсуждать ее. У многих была потребность глубже осмыслить это литературное явление, уяснить до конца, в чем его художественная новизна и сила. Вместе с тем стали все более различимы голоса тех, кому эта повесть пришлась не по вкусу.

В.Бушин

ТО, ЧТО предшествовало и сопутствовало появлению повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», было необычно. Во всяком случае, на моей литературной памяти ничего подобного не происходило.

Еще до того, как вышла в свет ноябрьская книжка «Нового мира», в которой была опубликована повесть, из уст в уста передавали восторженные отзывы о ней многих известных писателей, прочитавших повесть еще в рукописи. А когда она наконец появилась в журнале, то всюду только и слышно было: «У тебя нет одиннадцатого номера?». «Где достать “Новый мир”?». В газетных киосках журнал был расхвачан моментально, в библиотеках на него записывались в длинные очереди, хотя люди еще не знали имени автора и пугали его фамилию («Сложеницын?.. Солженицын?.. Сонженицын?»), не подозревая, что это имя, возможно, они запомнят вскоре надолго.

Но вот появились рецензии, статьи. И что же? Да почти то же самое, что говорили те, кому удалось прочитать повесть до ее выхода. И какое при этом единодушие людей, столь разных по своим литературным вкусам и пристрастиям!

Повесть «Один день...», писал Александр Твардовский в «Новом мире» в кратком предисловии к ней, «означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера». «После нее, — утверждал Григорий Бакланов в «Литературной газете», — становится совершенно очевидно, что писать так, как писали еще недавно, нельзя уже». «Повесть Солженицына — ограниченный талантом художника кусок жизненной правды», — читали мы в статье Александра Дымшица, напечатанной в газете «Литература и жизнь». «Великолепный мастер... новый большой писатель...» — вторили и другие рецензенты, и другие газеты и журналы. Были даже не раз упомянуты имена

Толстого и Достоевского. «Неужели все это так?» — недоверчиво думал я, раскрывая журнал, взятый на ночь из библиотеки.

...Я закрыл его утром (повесть невелика, но читается трудно и медленно) со словами: да, это так.

*Из статьи «Герой — жизнь — правда»
(«Подъем», 1963, № 5, с. 112).*

Особого внимания среди произведений о временах культуры личности заслуживает повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» (журнал «Новый мир»). Литературные достоинства, беспощадная правдивость ставят это произведение на видное место в прозе минувшего года. В речи 8 марта Н.С.Хрущев назвал повесть А.Солженицына в числе произведений, в которых «правдиво, с партийных позиций освещается советская действительность» времен культуры личности.

Никаких кровавых ужасов в повести нет. В ней описан лишь один и при этом самый обыкновенный, с точки зрения главного героя, для него даже хороший лагерный день от подъема до отбоя.

Как отлична в этом смысле повесть Солженицына от рассказа Георгия Шелеста «Самородок», напечатанного в «Известиях» почти одновременно с ней. Но Г.Шелест выбрал исключительный день в каторжной жизни своих героев. Это день, когда они, заключенные, работающие на золотом прииске, находят огромный, более чем полутоннационный самородок. Они могли бы его утаить, но обитатели лагеря, среди которых есть и коммунисты, решают иначе: они сдают самородок. Так диктует им патриотический долг — ведь идет война с фашистами. Но лагерное начальство по-прежнему видит в них врагов, предателей, их, как и раньше, оскорбляют, унижают, не считают за людей. Конечно, заключенным в такой счастливый день переносить все это особенно тяжело, и отношение начальства к ним выглядит особенно бесчеловечным.

У Солженицына же преднамеренно нет ничего особенного, нет никаких «самородков». Для понимания эстетической позиции писателя важное значение имеет разговор о фильме Эйзенштейна «Иван Грозный», который ведут его герои — бывший кинооператор Цезарь и «двадцатилетник», «жилистый старик»,

живущий под номером X-123. Отметая восторги Цезаря по поводу различного рода приемов и находок в этом фильме, старик говорит: «Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного».

Искусство Александра Солженицына — это искусство не перца и мака, а искусство ежедневных, будничных, трудных круп и песчинок золота, искусство хлеба насущного.

В критике высказывалось сожаление по поводу того, что писатель избрал своим главным героем такую рядовую личность, как Шухов. Ведь были репрессированы многие крупные деятели партии и государства.

Конечно, возможно произведение и о несправедливо репрессированных партийных руководителей, выдающихся людях. Но в том, что они в годы культа личности подвергались репрессиям, была своя логика той поры — логика жестокости. И если художник возьмется решать тему борьбы против культа личности на материале трагической судьбы, скажем, такого партийного и государственного деятеля, как Постышев, то, пожалуй, при этом он в первую очередь покажет бесчеловечность и жестокость лишь самого Сталина.

Иван Денисович — не вожак, не борец. По авторскому признанию, он человек даже робкий. До войны Шухов был колхозником, во время войны — солдатом. Его «вина» состояла лишь в том, что он в тяжелейших условиях, возникших на участке фронта, попал в плен, где и пробыл два дня, а затем бежал и все честно рассказал...

Но даже такие люди в пору культа личности порой оказывались надолго брошенными за колючую проволоку. Преследование их было лишено уже всякой логики...

Поставив в центр повествования рядовых, обыкновенных людей, избрав главным героем беспартийного колхозника Шухова, Солженицын тем самым с убедительной силой рисует бесчеловечность и жестокость не только и не столько Сталина, сколько культа личности в целом с его бессмысленным недоверием к людям. В этом идейная глубина повести.

Солженицын избрал своим главным героем не вожака, но значит ли это, что Иван Шухов, как человек, элементарен и примитивен?

Иван Шухов не песчинка кремния, а песчинка золота — маленькая частица трудолюбивого, умного, талантливое народа.

Нет, он очень непросто, Иван Денисович Шухов! Конечно, нельзя забывать, что он всего лишь рядовой колхозник, что родился он в деревне лет за семь до революции, рос и мужал в трудные годы империалистической и гражданской войн, первой пятилетки. Нельзя забывать и о том, что духовное развитие этого человека было жестоким образом прервано, что восемь, может быть, лучших лет своей жизни он пребывает в противоестественной обстановке, в которой «дума арестантская — и та не свободная».

Эта «дума» чудовищно много по сравнению с человеком в обычном состоянии занята тем, как бы насытиться, не заболеть, выжить.

Но, несмотря на обилие и жизненную насыщенность этих мыслей, Шухов находит в себе силы и еще для одной, гораздо более высокой и сложной думы о том, как в этих условиях остаться человеком, как сохранить свое достоинство.

И Шухов остался человеком, сохранил свое достоинство.

<...> Любовь к труду, вера в его силу, уважение к тем, кто, подобно ему, «понадобилось на каменщика — пожалуйста, каменщик», презрение к бестолковым лентяям — все это черты глубоко народные, исконно русские в характере Ивана Шухова. Они составляют его стержень, они в первую очередь и помогли ему остаться в тех нечеловеческих условиях человеком.

Трудолюбие и душевная чистота, чувство справедливости и внутренняя деликатность, словом, моральное здоровье — вот что помогло Шухову устоять, что заставляет верить словам автора: «Он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче держался».

*Из брошюры «Пусть звезды станут ближе»
(М., «Знание», 1963, с. 14–17).*

В.Кожин

В современных поисках в сфере художественной речи прозы намечались две разных устремленности: с одной стороны, попытки создания ярко выраженного «современного» стиля, напоминающие тенденции прозы начала 1920-х годов, с другой —

стремление возвратиться к «истокам», буквально воспроизвести стиль Чехова и Бунина. Думается, что эти устремления не могут привести к победе, к созданию новой классической прозы. Единственный путь — это упорное, неизмеримо трудное и в то же время по-своему «наивное», «естественное» овладение реальными формами самой жизни, «перевод» этих форм в формы прозаической речи, как бы не опирающейся (во всяком случае, внешне, очевидно) ни на плотный грунт вековой традиции, ни на зыбкое марево «современного стиля». На этом пути развивается художественная речь прозы Солженицына.

*Из книги «Происхождение романа»
(М., «Советский писатель», 1963, с. 401).*

В.Лакин

1

Трудно представить себе, что еще год назад мы не знали имени Солженицына. Кажется, он давно живет в нашей литературе и без него она была бы решительно не полна. Каждый новый его рассказ — хвалит, ругает ли его критика — не оставляет читателя безучастным. О нем говорят, его цитируют, судят его с какой-то особой, необычной для наших литературных споров требовательностью, которая есть первый знак того, что мы настоящему задеты и взволнованы. Заурядность располагает к благодушию оценок, но тот, кто поразил нас при первом появлении, не может рассчитывать на снисходительность. И так уж закон читательской психологии или, если угодно, пред-рассудок ее, что, какие бы новые темы и формы ни разрабатывал Солженицын в «Матренином дворе» или рассказе «Для пользы дела», ему не избежать сравнений с его первой повестью — к выгоде или невыгоде для нее. Так или иначе, но повесть «Один день Ивана Денисовича», с которой А.Солженицын вошел в литературу, остается для большинства читателей как бы эталоном его деятельности художника. Тем полезнее сейчас, когда в критике уже высказаны различные точки зрения на талант Солженицына, оглянуться назад и пристальнее всмотреться в эту маленькую повесть.

«Один день Ивана Денисовича» был прочитан даже теми,

кто обычно повестей и романов не читает. Один такой «нерегулярный» читатель сказал мне: «Я не знаю, плохо или хорошо это написано. Мне кажется, иначе и написать нельзя».

Повесть поражала жестокостью и прямоотой своей правды.

Это был тот редкий в литературе случай, когда выход в свет художественного произведения в короткий срок стал событием общественно-политическим.

Н.С.Хрущев дал высокую оценку этой повести, тепло отозвался о ее герое, сохранившем достоинство и красоту трудового человека и в нечеловеческих условиях, о правдивости изложения, о партийном подходе автора к явлениям столь горькой и суровой действительности. Сам факт появления повести был воспринят людьми как подтверждение воли партии навсегда покончить с произволом и беззакониями, омрачавшими недавнее наше прошлое. И понятно, что гражданская смелость автора была отмечена прежде и повсеместнее, чем его художественная смелость.

Иной склонен был думать, что успех писателю принесла сама тема — острая и новая, и еще что Солженицыну ничего не стоило написать свою повесть, потому что Иван Денисович — это он самый и есть — просто сел за стол да записал бесхитростно историю одного своего дня. Мнение лестное для автора, до такой степени слившегося в нашем сознании с героем, но наивное и несправедливое. Правдиво рассказать о жизни заключенных в лагере ничуть не проще, чем написать, скажем, о буднях войны, о стройке или колхозе. Дело здесь не в теме, а в таланте, то есть в чувстве правды автора и умении нам эту правду передать. Что же касается простодушной догадки, что сам Солженицын и есть Иван Денисович, оттого и авторская задача его была легка, то последние рассказы многим помогли разубедиться в этом. Подобно автору «Мадам Бовари», говорившему «Эмма — это я», Солженицын мог бы сказать о себе, что он — это и старуха Матрена, и молодой лейтенант Зотов, и партийный работник Грачиков, то есть все те лица, которые изображены в его рассказах с такой высокой объективностью и знанием человеческого сердца, но в которых вовсе не растворяется без остатка личность писателя.

Художественная смелость Солженицына в его первой по-

вести сказала уже в том, что он не потворствовал обычным нашим понятиям об украшениях художественности. Он не построил по существу никакого внешнего сюжета, не старался покруче завязать действие и поэффектней развязать его, не подогревал интерес к своему повествованию ухищрениями литературной интриги. Замысел его был строг и прост, почти аскетичен — рассказать час за часом об одном дне одного заключенного, от подъема и до отбоя. И это была тем большая смелость, что трудно было себе представить, как можно остаться простым, спокойным, естественным, почти обыденным в такой жестокой и трагической теме.

Солженицын разочаровал тех, кто ждал от него рассказа о злодеяниях, пытках, кровавых муках, об эксцессах бесчеловечности в лагере, о мучениках и героях каторги. Странно признаться, но первое впечатление, которое мы испытали, начавши читать повесть, было: и там люди живут. И там работают, спят, едят, ссорятся и мирятся, и там радуются малым радостям, надеются, спорят, бывает, подшучивают друг над другом...

Как нарочно (не сомневаюсь, что нарочно), автор выбрал для рассказа относительно благополучную пору в лагерной судьбе своего героя. Ведь было и так, что на Севере, в Усть-Ижме, куда поначалу попал Иван Денисович, зиму без валенок ходили, есть же совсем было нечего, и «доходил» уже Шухов кровавым поносом. Да и режим там был не в пример суровой. «В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь...» Но о той поре жизни Иван Денисович вспоминает вскользь, к случаю и обычно для того только, чтобы подчеркнуть преимущества нынешнего Особлага — «здесь поспокойней, пожалуй».

Самое же парадоксальное и смелое, что и в этой сравнительно легкой полосе лагерного срока автор выбирает из длинной череды дней, проведенных Иваном Денисовичем за колючей проволокой, день не просто рядовой, но даже удачный для Шухова, «почти счастливый». К чему это? Не хочет же он в самом деле уверить нас, что и в лагере «жить можно»?

Что пользы в праздных вопросах. Вспомним лучше, какие чувства пережили мы, открыв впервые повесть Солженицына и начавши читать эту, казавшуюся неуклюжей, грубовато-небреж-

ной и в то же время подчинявшую нас какому-то своему могущественному ритму, прозу:

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать.

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить».

Веско, тяжело, как отрубленные, падают эти слова, и вот уже отодвигается, расплываясь в очертаниях, только что окружавший нас привычный, живой и вольный мир, и мы оказываемся где-то за огромным снежным голым полем, за двумя рядами колючей проволоки, за предутренней тьмою, раздираемой накрест двумя прожекторами с угловых вышек. Вот сейчас мы очнемся вместе с Шуховым на клопяной вагонке в деревянном, с паутиной инея по стенам бараке. С ним вместе, закутавшим ноги в телогрейку, натянувшим на голову одеяло, еле угревшимся и нездоровым, будем тянуть эти минуты после подъема, пока власть имеющая рука Татарина не сбросит Шухова с нар. И потом выйдем из барака и пойдем за ним по двору, где бегают, запахнувшись в бушлаты и дрожа от мороза, зэки, мимо столба с термометром и рельса на толстой проволоке — в надзирательскую, мыть пол. А после, кое-как управившись с этой работой, опять на мороз...

Так, миновав лишь несколько первых страниц, мы побываем вместе с Шуховым в штабном бараке, санчасти, столовой, а потом вернемся ненадолго к его вагонке — вот уже и весь лагерь как на ладони, кроме разве что БУРа, который стоит за дощатым заплотом в центре лагеря и будет стоять каким-то мрачным наваждением до конца повести, когда туда поведут погорячившегося на «шмоне» кавторанга.

Солженицын делает так, что мы видим и узнаем жизнь зэка не со стороны, а изнутри, «от него». Старый лагерник Шухов живет в тех особых условиях, когда все вещи и отношения получают иную, чем обычно, цену: то, что казалось важным и значи-

тельным на свободе, здесь часто выглядит мешающим и лишним, зато другие вещи, прежде мало замечаемые, приобретают ни с чем не сравнимую важность. Надо знать эту иную шкалу ценностей, чтобы понять Шухова. А для этого Солженицыну очень важно рассказать о том, что и как едят его герои, что курят, где работают, как спят, во что обуваются и одеваются, чем укрываются на ночь, как говорят между собою и как с начальством, что думают о воле, чего сильнее всего боятся и на что надеются. Тут как бы полный лексикон подробностей лагерного быта, описанного художником с социально-этнографической точностью, и, наверное, всякому, кто будет писать об этом после Солженицына, невольно придется ступать в его след.

В лагере все делается по своему чину и ряду, в согласии с незнакомыми на воле понятиями обо всем — об удаче и неудаче, о чести и бесчестии, о приличии и неприличии. И разве когда забудешь, раз прочитавши, такую, например, подробность: за едой косточки рыбы из баланды зэки плюют на стол, собирают их в кучку, а потом смахивают со стола, и они на полу дохрустывают. «А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно».

Такое внимание ко всему обиходу жизни лагеря художественно оправдано еще тем, что Иван Денисович, которого автор дал нам в проводники по каторжному аду, человек по-крестьянски дотошный и практичный, а восемь лет лагеря еще приучили его быть внимательным ко всякой мелочи, ибо от этого зависит благополучие, здоровье и самая жизнь лагерника. Вот он, воспользовавшись оплошностью повара, ловко «закосил» две лишние миски каши; вот подобрал по дороге кусок ножовки: заточить ее — ножичек сапожный выйдет, ему в бараке цены нет — обувь починяя, подработать можно...

Автор задерживается все время на маленьких удачах Шухова, точно старается растянуть счастливые для него минуты, а драматические моменты его лагерной жизни как бы отводит в тень.

Но ведь и о мере несчастья человека можно дать понятие, рассказав о том, что кажется ему счастьем. Все, к чему давно притерпелись глаза Ивана Денисовича, что вошло в его быт и стало казаться обычным, по существу своему страшно и бесче-

ловечно. И когда мы читаем в конце повести, что Шухов засыпал «вполне удовлетворенный», потому что на дню у него выдалось много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он «закошил» лишнюю кашу и т. д., — это приносит нам не чувство облегчения, но чувство щемящей, мучительной боли.

О том, что день этот для Ивана Денисовича был «почти счастливым», автор говорит без тени саркастической усмешки, со спокойной серьезностью. Шухов в самом деле доволен своим днем, хотя удачи его большей частью проявились, так сказать, в негативной форме; они состояли в том, что на этот раз он избежал обычных лагерных напастей: «не посадили... не выгнали... не попался... не заболел». И если все-таки сквозь строгую объективность рассказа проступает здесь горькая ирония, то это ирония самого положения вещей, самих обстоятельств, в которых такой день может считаться счастливым. В этом и состоит сила автора, что он смотрит на жизнь одновременно, вместе со своим героем и дальше, глубже его.

Если бы Солженицын был художником меньшего масштаба и чутья, он, вероятно, выбрал бы самый несчастный день самой трудной поры лагерной жизни Ивана Денисовича. Но он пошел другим путем, возможным лишь для уверенного в своей силе писателя, сознающего, что предмет его рассказа настолько важен и суров, что исключает суетную сенсационность и желание ужаснуть описанием страданий, физической боли. Так, поставив себя как будто в самые трудные и невыгодные условия перед читателем, который никак не ожидал познакомиться со «счастливым» днем жизни заключенного, автор гарантировал тем самым полную объективность своего художественного свидетельства и тем беспощаднее и резче ударил по преступлениям недавнего прошлого.

Сила этого простого эпического рассказа об одном обычном дне лагерного срока еще и в том, что, когда мы читаем, как Шухов встает, как завтракает, как ведут его на работу, как он работает, как обедает в перерыв, как возвращается с работы, — когда проходит перед нами весь этот обычный порядок трудового дня, мы не можем не думать о том, что и как делал бы Шухов, будь он на воле, и еще о том, чем тогда, в эти дни и часы, были заняты мы сами.

В повести точно обозначено время действия — январь 1951 года. И не знаю, как другие, но я, читая повесть, все время возвращался мыслью к тому, а что я делал, как жил в это время. Помню, ходил в университет на Моховой по утреннему скрипучему снежку мимо Кремля, любил смотреть на его красивые, недоступные, чуть подбеленные изморозью стены, сдавал зимнюю сессию, зубрил только что введенный курс «сталинского учения о языке», сочинял сценарий студенческого капустника, бегал на дружеские вечеринки... В том январе газеты писали о прокладке русла Волго-Дона и о скоростных плавках стали, об укрупнении колхозов и продвижении на север культуры грузинского чая, о близких выборах и о войне в Корее, о юбилее Алишера Навои и финальных играх на кубок по хоккею. Страна жила своими большими и малыми заботами, и мы жили всем этим вместе с нею.

Но как же я не знал об Иване Шухове? Как мог не чувствовать, что вот в это тихое морозное утро его вместе с тысячами других выводят под конвоем с собаками за ворота лагеря в снежное поле — к *объекту*? Как мог жить я тогда так мирно и самодовольно? Вроде тех девушек-студенток, что повстречались бригадиру Тюрину в поезде: «Едут мимо жизни, семафоры зеленые...»

Вот от каких мыслей труднее всего отвязаться.

2

Но тут я слышу голос, заставляющий меня вздрогнуть: «И все же хочется спросить: правы ли некоторые наши критики, безоговорочно принимающие образ Шухова таким, каким он дан в повести?» Это спрашивает Ф. Чапчатов из журнала «Дон» (№ 1, 1963). Немного озадачивает сама форма вопроса: можно подумать, что критик был коротко знаком с Иваном Денисовичем Шуховым еще прежде, чем прочел о нем в повести. Такой Иван Денисович, каким мы вместе с миллионами читателей узнали его из книги Солженицына, оказывается, не сходится с тем Иваном Денисовичем, каким рисует его воображение критика. Сугубо профессиональный феномен восприятия! Подобное раздвоение впечатлений вряд ли возможно у обыкновенного читателя, но в критике оно встречается.

<...> Отношение критики к повести «Один день Ивана Денисовича» сложилось не просто. Горячо поддержанная при появлении печатью (рецензии в «Правде», «Известиях», «Литературной газете»), повесть позднее в некоторых журнальных статьях получила не сходную с первоначальной, осторожно скептическую и даже откровенно отрицательную оценку. Никто, впрочем, не выражал сомнения в пользе открытого обсуждения в литературе столь острой темы. Критика повести пошла по другому руслу.

Выступившая с обзором прозы Л.Фоменко нашла, что повесть Солженицына «еще не дает всей правды о тех временах». «Повесть Солженицына при всей ее художественной отточенности и жестокой, горькой правде, — писала она в «Литературной России» (11 января 1963 года), — все же не раскрывает всей диалектики времени. Здесь выражено страстное “нет!” сталинскому порядку. В Шухове и других сохранена человечность. Но повесть не поднялась до философии времени, до широкого обобщения, способного обнять противоборствующие явления эпохи». Вскоре на страницах того же издания («Литературная Россия», 18 января 1963 года) это утверждение было оспорено. Г.Ломидзе здраво рассудил, что нельзя требовать от автора объять необъятное. Он обратил внимание Фоменко на то, что Солженицын написал не роман-эпопею, а всего лишь маленькую повесть. «Как это в одном дне жизни заключенного возможно схватить диалектику всех связей, борений и противоречий эпохи!» — возражал Г.Ломидзе.

Сочувствуя второму критику, нельзя, однако, признать сильным его аргумент. Сам того не желая, он принял какой-то извиняющийся тон и невольно прибег к той же нормативной системе понятий, что и его оппонент, пытаясь установить некую иерархию жанров, согласно которой роман-эпопея в отношении правды изображения заранее получает преимущество перед повестью. Но разве нельзя и в маленьком рассказе «подняться до философии времени, до широкого обобщения»? Разве это не аксиома, что художник, если он художник истинный, способен в малой капле отразить целый мир?

Что же до повести Солженицына, то удивляться надо, на наш взгляд, не тому, что он чего-то «не отразил» и «не обобщил»,

а тому, напротив, как широко захватил он жизнь, как много сумел рассказать в столь малых пределах, как один день одного лагерника. В самом деле, мы не только узнали обиход жизни заключенных, их подневольную работу и скудный радостями быт. Мы узнали там людей, в каждом из которых отозвалось что-то типическое, существенное для понимания времени.

Герои Солженицына, разделившие одну судьбу с Иваном Денисовичем, появляются в повести незаметно и просто, словно переступают бесшумно порог, не требуя особого представления со стороны автора; они не позируют перед читателем, погруженные в свои дела и заботы, часто всего лишь несколькими словами перекинутся с Шуховым и уступят место другим, а потом в течение этого долгого дня появятся еще не однажды, уже как хорошо знакомые и близкие нам чем-то люди — бригадир Тюрин, кавторанг Буйновский, герой Бухенвальда — Сенька Клевшин, Цезарь Маркович, мальчонка Гопчик... Крестьяне, солдаты, люди интеллигентного круга, они думают о многом по-разному и говорят о разном — не только о повседневном лагерном быте, но и о том, с чем связано их прошлое: о коллективизации, о войне, об искусстве, о том, как живет деревня, — и это очень важные страницы книги. Чего стоит одна история жизни бригадира Тюрина, рассказанная им самим, — поразительное по своей глубине и силе место повести!

Так можно ли упрекать писателя за бедность и неполноту его изображения? Перед нами предстал мир многосторонний и живой, со множеством своих связей, качеств, отношений, несводимых к одной лишь специфике «лагерной темы». Потому что, заклеив произвол, Солженицын показал и то, как люди, в обычной, «вольной» жизни различные между собою, в этих исключительных условиях с особой резкостью и открытостью проявляют заложенные в них и прежде свойства — будь то сила духа, уважение к труду, внутренняя честность или приспособленчество, жалкий паразитизм. В лагере Солженицына интересовал не только лагерь — его интересовали люди и эпоха, или, если сказать конкретнее, советские люди в эпоху культа личности. «Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве “зэков”, — замечал Твардовский, — читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках по-

слевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний». Не в этом ли истинный масштаб повести, широта ее обобщения?

Нельзя упускать из виду и то, что в художественном произведении в отличие, скажем, от статистического справочника достоинство полноты и многосторонности определяется не количеством затронутых тем, а качеством самого изображения. У настоящего художника в одной беглой, вскользь оброненной детали жизнь предстанет более многообразно, чем в торопливом «отражении» десятков тем в каком-нибудь пухлом иллюстративном романе.

Иначе считают авторы мелькающих время от времени в некоторых журналах придирчиво раздраженных отзывов о повести Солженицына. Отзывы эти обычно носят характер булавочных уколов исподтишка, и их вовсе не стоило бы замечать, если бы они не стали в последнее время слишком назойливыми. Критику «Огонька» ничего не стоит, например, расхваливая новый роман И.Лазутина — автора популярного детектива «Сержант милиции», с младенческой литературной безответственностью заметить: «В отличие от повести А.Солженицына “Один день Ивана Денисовича” роман И.Лазутина поворачивает перед нашими глазами множество граней жизни» («Огонек», № 39, 1963). Так и сказано, как о вещи само собой разумеющейся, что в отличие от повести Солженицына роман И.Лазутина многогранен. Что поделаешь, если автору этой заметки недорого его критическая репутация, но зачем он ставит в неловкое положение автора книги, которую хочет похвалить, и журнал, где он это печатает?

Вообще говоря, когда Солженицына упрекают в том, что он рассказал в своей повести не все, что можно было бы рассказать о лагерях тех лет и о жизни страны в целом, удивляет искусственный характер этих требований, род странной неблагодарности по отношению к писателю. Вместо того чтобы подивиться его таланту и гражданскому мужеству, тому, как глубоко и правдиво все в нарисованной им картине, где не найдешь, кажется, ни одной точки, ни одного штриха вымученного и фальшивого, — автора начинают укорять в том, что и за пределами

его картины осталось немало предметов и лиц, достойных изображения. Такая ненасытная требовательность еще понятна, когда она есть часть признательности художнику за его работу и поощрение к новым трудам, но она мелка и неумна, когда с помощью такого приема хотят бросить тень и на само произведение как на что-то неполноценное, недовершенное. И скверно выглядит тот критик, который, узнав от Солженицына о трагедии жизни Ивана Денисовича, пережив первое потрясение и едва дав ему устояться, спешит учить писателя, как надо было рассказать об этом, чтобы удовлетворить его сполна.

Тут надо сделать оговорку. Мы принимаем как нечто безусловное, что первым движением души любого читателя повести будет горячее сочувствие ее герою, чувство горечи и возмущения при виде безвинно осужденных на жесточайшие муки людей, негодование по поводу злодеяний поры культа личности. И трудно представить себе такого читателя, который в качестве главного впечатления от повести вынесет недовольство самим Иваном Денисовичем, его характером, образом мыслей, поведением в лагере и т. п. Трудно, но не вовсе невозможно, потому что такой читатель существует. Это критик Н.Сергованцев, написавший для журнала «Октябрь» статью «Трагедия одиночества и “сплошной быт”» (№ 4, 1963).

Указав вначале, что, на его взгляд, повесть Солженицына «содержит в себе немало глубоких противоречий», Н.Сергованцев предъявляет Ивану Денисовичу Шухову настоящий обвинительный акт, составленный по всем правилам нормативной критики и напоминающий о тех показательных судах, какие устраивались у нас в двадцатые годы в школах над литературными героями Онегиным и Печориным, когда ученики, поощряемые наставниками-педологами, учились искусству общественного поношения. Я приведу это рассуждение Н.Сергованцева возможно полнее, позволив себе лишь выделить в тексте некоторые места, на которые хочется обратить специально внимание читателя:

«Герой повести, Иван Денисович, не является исключительной натурой: это “рядовой” человек, притом “рядовой” в самом точном смысле этого слова. Его духовный мир весьма ограничен, его интеллектуальная жизнь не представляет осо-

бого интереса. Но в целом Иван Денисович в немалой мере интересен. Чем же?

Прежде всего тем, что именно “рядовой”, обыкновенный человек поставлен в центр трагических событий, что все события переданы сквозь “призму” его восприятий. Хочется знать, как же простой человек, выдвинутый автором в качестве глубоко народного типа, будет осмысливать ту потрясающую обстановку, которая его окружает.

И по самой жизни, и по всей истории советской литературы мы знаем, что типичный народный характер, выкованный всей нашей жизнью, — это характер борца, активный, пытливый, действенный. Но Шухов *начисто лишен этих качеств. Он никак не сопротивляется трагическим обстоятельствам, а покрывается им душой и телом (?). Ни малейшего внутреннего протеста, ни намек на желание осознать причины своего тяжелого положения, ни даже попытки узнать о них у более осведомленных людей — ничего этого нет у Ивана Денисовича.* Вся его жизненная программа, вся философия сведена к одному: выжить! Некоторые критики умилились такой программой: дескать, жив человек! Но ведь жив-то, в сущности, *страшно одинокий человек, по-своему приспособившийся к каторжным условиям, по-настоящему даже не понимающий неестественности своего положения.* Да, Ивана Денисовича замордовали, во многом обесчеловечили крайне жестокие условия — в этом не его вина. Но ведь автор повести пытается представить его примером духовной стойкости. *А какая уж тут стойкость, когда круг интересов героя не простирается дальше лишний миски “баланды”, “левого” заработка и жажды тепла».*

Здесь критик прерывает свой прокурорский монолог, чтобы сообщить читателю, что он не собирает «строго судить героя А.Солженицына». «...Мой жизненный опыт не дает мне на это права», — спохватывается он. Но, разделившись с литературными приличиями при помощи этой фигуры вежливости, молодой критик с удвоенной энергией обличает Ивана Денисовича, черты характера которого, как считает он, унаследованы «не от советских людей 30–40 годов», а от патриархального мужичка. «Не от советских людей...» — критический прием, слишком хорошо известный, но в последние годы не

практиковавшийся в литературе. Н.Сергованцев снова вводит его в оборот.

Даже когда Н.Сергованцев вспоминает, что с Шуховым мы знакомимся в условиях, мягко говоря, необычных, в каких мы впервые видим героя советской литературы, он делает это так, что все камешки опять-таки летят в огород Шухова: «Та суровая действительность, в которой жил Шухов, могла по-всякому изуродовать человека». Бросается в глаза, что, говоря о «суровой действительности», в которой «жил» Иван Денисович, критик выбирает здесь слова эпически спокойные, зато уж с Шуховым не церемонится — суровая действительность его «изуродовала», «планомерно вытравляя в нем, — как пишет дальше критик, — все человеческое».

Особенно настаивает Н.Сергованцев на «трагедии одиночества», якобы определяющей образ Ивана Денисовича. «Узость “жизненной программы” Ивана Денисовича, — пишет критик, — привела к тому, что он, в сущности, одинок. Ни Алеша-баптист, ни кавторанг Буйновский, ни Цезарь — его соседи по бараку — не смогли стать близкими ему людьми. Автор не раз подчеркивает, что Иван Денисович не понимает многих своих собратьев по несчастью... Не понимает Иван Денисович и жизнь, которая осталась за колючей проволокой. “Жизни их не поймешь”, — думает он».

И как окончательный вывод: «Нет, не может Иван Денисович претендовать на роль народного типа нашей эпохи».

Весьма необъективно расценив далее рассказы Солженицына «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» (в последнем критик усмотрел идею «сострадания к предателю»), Н.Сергованцев отнес произведения писателя к числу тех, которые «оставляют чувство глубокой неудовлетворенности, поскольку воссоздают жизнь односторонне, без исторической перспективы», и тут же заодно отказал им в художественности, поскольку «истинно художественное произведение открывает перед читателем необозримые горизонты жизни», а у Солженицына он этого не обнаружил.

Пусть не сердится читатель, что мы так подробно цитируем и пересказываем суждения Н.Сергованцева. Они интересны по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, статья Н.Сер-

гованцева единственная, в которой выражено прямое и безусловное осуждение всего творчества Солженицына в целом. Во-вторых, потому, что в своем отношении к образу Шухова он с наибольшей резкостью и определенностью выразил то, что высказывалось более смутно и осторожно в некоторых других статьях вроде уже упомянутой выше статьи в журнале «Дон». Таким образом, точка зрения Н.Сергованцева не является сугубо индивидуальной, субъективно исключительной. И хотя я не думаю, чтобы среди читателей нашлось много ее сторонников, она заслуживает внимания как выражение некоторой позиции, пусть не очень прочной, но упорной в своих пристрастиях, унаследованных от вчерашнего дня нашей жизни.

Пожалуй, первое, что отмечаешь в рассуждениях Н.Сергованцева, это его небрежно-ироническое отношение к самой задаче изображения «рядового» человека-труженика, «интеллектуальная жизнь» которого не представляет для критика интереса. Снисходительно, свысока отзываясь о духовном мире Ивана Денисовича, он выговаривает ему за невнимание к мнению людей «более осведомленных». Сам Иван Денисович выглядит здесь как безнадежно тупое и ограниченное существо, которому, по его крестьянской темноте, остается лишь внимать людям «активным» и «пытливым». Критик досадует, что у героя Солженицына не возникает даже потребности получить у этих людей необходимые указания и разъяснения насчет своей судьбы.

Что могли ответить на вопросы Ивана Денисовича «осведомленные люди» в Особлаге зимой 1951 года — об этом еще следует подумать. Для нас несомненно другое — заслуга писателя, выбирающего своим героем человека, условно говоря, рядового и обыкновенного.

Впрочем, рядовым человек кажется тому, кто торопливо проходит перед фронтом, не заглядывая в лица. Тому же, кто сам стоит в ряду, его положение не кажется ни рядовым, ни обыкновенным.

Появление в литературе такого героя, как Иван Денисович, — свидетельство дальнейшей демократизации литературы после XX съезда партии, реального, а не декларативного сближения ее с жизнью народа. Чехов говорил, что о Сократе легче

писать, чем о барышне или кухарке. Опыт показывает, что легче писать и об академиках-селекционерах, о секретарях райкома, о главных агрономах и директорах МТС, чем об Иванах Денисовичах и тетках Матренах. В годы культа личности многие литераторы привыкли больше интересоваться тем, что происходит в комнате правления колхоза, чем под всеми остальными крышами деревенских изб. Не оттого ли изображение Солженицыным героя рядового, обыкновенного воспринимается критиком как опасная новизна?

Спору нет, для советской литературы, как ни для какой другой, важна тема руководителей, организаторов и вдохновителей. Однако, если исходить из марксистско-ленинского взгляда на вещи, эта тема по меньшей мере неполна без изображения людей руководимых и организуемых, людей самых обыкновенных, несущих ношу каждодневного труда, составляющих, по выражению Ленина, «самую толщу широких трудящихся масс». Так что ирония по поводу «рядового», обыкновенного человека тут ни к чему.

«Рядовой» герой Солженицына кажется Н.Сергованцеву незаконно пробравшимся в литературу, и он старается возможно гуще очернить его, чтобы отказать ему в народности. Если подытожить кратко суждения критика о Шухове, то они сводятся к тому, что, во-первых, Иван Денисович примирился, приспособился в лагере, утерял человеческие черты; во-вторых, что животные интересы целиком подчинили его себе и не оставили места для сознательного, духовного; в-третьих, что он трагически одинок, разобщен с другими людьми и едва ли не враждебен им.

Такое толкование повести не должно удивлять, поскольку Н.Сергованцев, верный приемам нормативной критики, рассуждает как бы вне и вопреки тексту книги. Следя за его рассуждениями, в которых странное раздражение и демагогический пафос в избытке возмещают логику, начинаешь думать даже, что он перепутал и прочитал по ошибке другую вещь, а не ту, что написана Солженицыным и называется «Один день Ивана Денисовича».

Ведь в этой повести о Шухове и его судьбе говорится совсем иначе.

<...> В литературной критике есть разные способы выразить свое недовольство тем или иным героем, тем или иным произведением, точно так же, как в жизни есть разные манеры выказать свою неприязнь к человеку. Можно открыто осудить книгу, а можно с видом полного участия к ее замыслу попробовать развенчать близкого автору героя и тем самым опять-таки поставить под сомнение истолкование писателем явлений жизни.

По поводу Ивана Денисовича в той части критики, которая отнеслась к повести Солженицына скептически, сложился своего рода штамп. Критик подходил к повести осторожно, словно примериваясь, сожалел о горькой судьбе зэка и тут же спрашивал: но идеальный ли герой Иван Денисович? Сам себе спешил ответить «нет» и начинал сетовать на то, «до каких унижений опускается порой этот мастер-золотые руки ради лишней пайки хлеба, как въелись в него инстинкты звериной борьбы за существование, как в конечном счете страшна его примиренная мысль, завершающая этот мучительный день...» (я цитирую одну из газетных рецензий). Такую вольную трактовку образа Шухова можно было бы еще раз оспорить, но нам важнее сейчас обратить внимание на другое.

А почему, собственно, Иван Денисович должен быть идеальным героем? Мы видим достоинство Солженицына как художника как раз в том, что у него нет псевдонароднического сентиментальничанья, насильственной идеализации даже тех лиц, которых он любит, трагедии которых сочувствует*. У Шухова при желании можно насчитать немало реальных, а не выдуманных недостатков. Взять хотя бы то, как робко, по-крестьянски почтительно относится Иван Денисович ко всему, что представляет в его глазах «начальство», — нет ли тут черточки патриархального смирения? Можно, вероятно, найти у Шухова и иные несовершенства. Но недостатки Ивана Денисовича не таковы, чтобы переносить упор с его трагического положения на его якобы слабость и несостоятельность, с беды его на вину.

Тут пора внести одно уточнение. «Замечали ли вы, — писал в свое время Чернышевский, — какую разницу в суждениях о че-

* <Сноска опущена.>

ловеке, которому вы симпатизируете, производит ваше мнение о том, можно ли или нельзя выбиться этому человеку из тяжелого положения, внушающего вам сострадание к нему? Если положение представляется безнадежным, вы толкуете только о том, какие хорошие качества находятся в несчастном, как безвинно он страдает, как злы к нему люди, и так далее. Порицать его самого показалось бы вам напрасною жестокостью, говорить о его недостатках — пошлою бесчувственностью. Ваша речь о нем должна быть панегириком ему, — говорить в ином тоне было бы вам совестно». Другое дело, продолжал свою мысль Чернышевский, если страдающий человек сам может изменить свою судьбу, но не пользуется своими правами и возможностями — тогда не лишними будут укоризны ему.

Приняв этот критерий Чернышевского, что можем мы сказать о положении Ивана Денисовича? Если бы Шухов знал, в чем причина его трагедии, мог бороться со злом, сопротивляться беззаконию и не сделал этого — тогда счет к нему был бы, естественно, строже. Но что он мог знать, чему сопротивляться, с чем бороться?

Вся система заключения в лагерях, какие прошел Иван Денисович, была рассчитана на то, чтобы безжалостно подавлять, убивать в человеке всякое чувство права, законности, демонстрируя и в большом, и в малом такую безнаказанность произвола, перед которой бессилён любой порыв благородного возмущения. Администрация лагеря не позволяла зэкам ни на минуту забывать, что они неправы и единственный судья над ними — произвол. Им напоминала об этом плетка Волкового, который сек людей в БУРе, им напоминали об этом, лишая их отдыха в воскресенье и выгоняя на работу в неурочный час.

Попадая в лагерь и не зная со свежа всей меры произвола и собственной незащитности перед ним, считая происшедшее с тобой лично недоразумением, ошибкой, люди могли, как кавторанг Буйновский, горячо возмущаться происходящим. Вместе с Иваном Денисовичем мы сочувствуем этому взрыву протеста кавторанга, ощутившего в себе оскорбленное достоинство советского гражданина. «Вы не советские люди! Вы не коммунисты!» — кричит Буйновский, в запале ссылаясь и на «права», и на девятую статью Уголовного кодекса, которая запрещает издава-

тельство над заключенными. Но вместе с волной горячего сочувствия к этому чистому, идейному человеку приходит и острое чувство жалости.

При всем благородстве его порыва есть в нем что-то беспомощное. На Волкового выкрики кавторанга не производят впечатления, а сам Буйновский еще отсидит за это в БУРе. Тут даже не наказание горько, а полная бесцельность и бессмысленность протеста. Поэтому Иван Денисович и жалеет кавторанга как дитя малое, неразумное.

Солженицын не был бы Солженицыным с его жестокой реалистической правдой, если бы он не сказал нам о том, что кавторанг — этот властный, звонкий морской офицер — должен превратиться в малоподвижного, осмотрительного зэка, чтобы пережить двадцать пять лет отверстанного ему срока.

Неужели так? Как мучительно верить этому. Ах, как хотелось бы нам, чтобы он протестовал каждый день и каждый час, без устали обличая своих тюремщиков, не думал бы о холоде и о миске с кашей, сжался бы в один комок нервов — и все-таки продолжал борьбу.

Но есть ли в этом реальность? Не одно ли это благодушное пожелание?

Чтобы бороться, надо знать, во имя чего и с чем бороться. Сенька Клевшин знал, с кем он боролся в Бухенвальде, когда готовил восстание в лагере против немцев, а что ему делать здесь, если администрация Особлага — и в этом трагический парадокс — представляет его же родную советскую власть? Как разобраться в этом клубке противоречий?

За восемь лет лагерей Шухов, как и его товарищи по несчастью, мог убедиться, что его судьба — не исключение, не случайная ошибка: рядом сидело множество безвинных людей — коммунистов, простых тружеников, людей, преданных советской власти. Попытки добиться восстановления справедливости, письма и прошения, которые посылались заключенными в высшие инстанции, вплоть до адресованных лично Сталину, смягчения участи никому не приносили, оставались без ответа. А домой из лагеря никто не возвращался даже после конца срока. Для всех заключенных рано или поздно становилось очевидным, что закон «выворотной», что справедливости не докли-

чешься, сколько ни кричи, и что, стало быть, тут система репрессий, а не отдельные ошибки. Так возникал вопрос: кто же виноват во всем этом?

У иного мелькала дерзкая догадка о «бабышке усатом», другой гнал от себя, наверное, эти крамольные мысли и не находил ответа. Не в том ли и была для Ивана Денисовича и его товарищей главная беда, что на вопрос о причинах их несчастья *ответа не было*. Были догадки, но догадки не вооружают — вооружает знание. И потому, когда утихала первая боль обиды и оскорблений, оставалось только неотступное чувство совершенной над ними несправедливости.

Критики, которые хотели видеть Шухова «пытливым» и «активным», упрекали его в том, что он мало говорит и думает о причинах своего положения. Но зачем ему после восьми лет заключения устраивать самому себе безысходную нравственную пытку? Что он знал, то знал твердо, а чего не знал, того, к нашей общей беде, и не мог знать.

Конечно, и нам хотелось бы, чтобы Шухов и его товарищи осознали бы природу и последствия культа личности, сидя в лагере, и даже вступили бы с ним в борьбу. Но не выглядит ли это применительно к реальным условиям, о которых идет речь, самой беспочвенной утопией?

Вот почему упрекать Ивана Денисовича в том, что он не борется, не отстаивает свои права, что он «примирился» со своим положением зэка и не хочет думать о причинах своего несчастья, — значит проявить, говоря словами Чернышевского, «пошлую бесчувственность».

Достаточно и того, что в Иване Денисовиче с его народным отношением к людям и труду заложена такая жизнеутверждающая сила, которая не оставляет места опустошенности и безверию. И этот оптимизм тем более зрел и реален, что рассказ о судьбе Шухова вызывает в нас самое живое и глубокое возмущение преступлениями поры культа личности.

Наше представление об Иване Денисовиче как народном характере было бы, пожалуй, неполным, если бы Солженицын показал нам только то, что сблизает Шухова с его товарищами

по несчастью, и не увидел в лагерной среде своих противоречий и контрастов. Я говорю сейчас не о том очевидном различии, какое существует между «шпионами деланными», которые лишь по делам «проходят как шпионы, а сами пленники просто», и настоящими шпионами вроде маленького «молдавана», получившего законное возмездие. Я не имею здесь в виду и тайной вражды заключенных со «стукачами», подобными некоему Пантелееву, которого оставляют днем под видом больного в бараке и который внушает Ивану Денисовичу настороженное и брезгливое чувство.

Сложнее и деликатнее вопрос о взаимосвязях, внутреннем соотношении фигуры Шухова и таких значительных в художественной концепции повести лиц, как Цезарь Маркович или кавторанг. Тут светотени возникают так органически и ненавязчиво, что надо получше вслушаться и вдуматься в рассказанное, чтобы верно истолковать замысел автора.

Соблазнительно легким решением было бы противопоставить Ивана Денисовича, как человека с небогатой душевной жизнью, людям интеллигентным, сознательным, живущим высшими интересами. Такому соблазну поддался в своей статье «Во имя будущего» («Московская правда», 8 декабря 1962 года) И.Чичеров. С сожалением отметив, что «Шухов много не понимает», указав на «каратаевскую интонацию в раскрытии его духовного, и все же бедного, мира», критик дал писателю несколько советов, как ему улучшить свою повесть. «...Повесть была бы еще сильнее, еще крупнее и значительнее, — писал И.Чичеров, — если бы в ней более подробно и глубоко был развернут образ-характер кавторанга Буйновского или “высокого старика”. Может быть, этот старик и не был коммунистом. Но он был интеллигентом». И, перейдя от добрых советов к квалификации промахов автора, критик заявил без обиняков: «Существенным недостатком повести, на мой взгляд, является то, что в ней не раскрыта эта интеллектуальная и моральная трагедия людей остро думающих, и не только о том, что стражлась “бядя”, а и о том, как и почему все это произошло?!»

Не думаю, чтобы И.Чичеров всерьез рассчитывал на то, что Солженицын возьмется дополнять и поправлять повесть согласно его конструктивным предложениям. Эти советы и на-

реkania надо рассматривать скорее как риторическую фигуру, своеобразный прием критической укоризны, который все еще никак не выйдет из употребления, несмотря на давнее предостережение Добролюбова: «Если в произведении есть что-нибудь, то покажите нам, что в нем есть; это гораздо лучше, чем пускаться в соображения о том, чего в нем нет и что бы должно было в нем находиться». Жаль, что слова эти редко вспоминают. Не вспомнились они критику и на этот раз. Представляет, однако, интерес, что, рассуждая о том, как надо было Солженицыну написать повесть, И.Чичеров ясно выразил свое понимание ее конфликта, противопоставив Шухова людям «остро думающим».

Чтобы у нас не оставалось никаких сомнений в том, что именно не понравилось ему у Солженицына, критик объяснил: «Беспокоит меня в повести и отношение простого люда, всех этих лагерных работяг к тем интеллигентам, которые все еще переживают и все еще продолжают, даже в лагере, спорить об Эйзенштейне, о Мейерхольде, о кино и литературе и о новом спектакле Ю.Завадского... Порой чувствуется и авторское ироническое, а иногда и презрительное отношение к таким людям».

Итак, с одной стороны, «простой люд», «лагерные работяги», с другой — «переживающие» интеллигенты; с одной стороны, надо понимать, Тюрин, Шухов, Клевшин, с другой — кавторанг, Цезарь Маркович, «высокий старик».

Есть в таком подходе к делу что-то от старого и пошлого предрассудка, согласно которому «простые люди» — люди труда — и думают и чувствуют беднее, чем мы сами, рассуждающие о них с таким уверенным чувством превосходства. Вряд ли сам И.Чичеров, додумав свою мысль до конца, стал бы на ней настаивать. Более того, я думаю, что в применении к Солженицыну решительно непригодна сама попытка искать противопоставление в плоскости «народ — интеллигенция» и видеть в Иване Денисовиче героя «от сохи», суждения которого придадут, так сказать, «антиинтеллигентский» оттенок повести.

Взгляд на вещи у Солженицына не просто другой, но в принципе отличный от этого, возникающий на иной глубине понимания явлений жизни, исходящий из другой системы измерения, чем та, какой пользовался критик. Для Солженицына не

существует деления на «простой люд» и «интеллигентов», в лагере он видит более общее и важное различие — людей трудовых и людей, сознательно или бессознательно паразитирующих на чужом труде. Ту же мысль можно выразить и на более привычном для Ивана Денисовича лагерном жаргоне: речь идет, условно говоря, о работагах, «вкальвающих» на *общих* работах, и о *придурках*.

<...> Не только различия в объективном положении, но в самих внутренних побуждениях, моральных стимулах людей делают достаточно четкой границу, отделяющую «работяг» от «придурков».

<...> В самом главном, в отношении к жизни и к труду, что-то неожиданно сближает утонченного Цезаря Марковича с красилками из деревни Темгенёво. И точно так же вопреки ожиданию у интеллигентного, идейного человека Буйновского находится больше общего с Иваном Денисовичем, чем с Цезарем, несмотря на то, что тот в бригаде «одного кавторанга и придерживается», видя лишь в нем достойную себе компанию. Одно это начисто отвергает мысль о каком-либо противопоставлении народа и интеллигенции у Солженицына. Принцип деления тут другой.

<...> Отношение Шухова к придуркам, точно так же как его недоумение по поводу легкого промысла красилей, имеет в своей основе народное отношение к труду и к моральному долгу совместно работающих людей друг перед другом.

Обо всем этом стоит говорить подробнее, потому что, как ни удивительно, «придурки» тоже не остались в литературе без защиты и покровительства. В повести Б.Дьякова «Пережитое» («Звезда», № 3, 1963), написанной, видимо, не без влияния Солженицына и с внешним усвоением некоторых ее интонаций, по одному вопросу — вопросу о «придурках» — идет нескрываемая полемика с «Иваном Денисовичем».

Героя повести Б.Дьякова, собравшегося в первый день своего лагерного срока выйти на общие работы, урезонивает более опытный инженер. Он дружески советует ему поскорее устроиться руководителем художественной самодеятельности при лагере, чтобы избежать общих работ. Инженер предупреждает новичка, что в лагере сидят не только жертвы беззакония, но и

«настоящие мерзавцы», с ними-то и предстоит борьба. Сам же лагерный режим может показаться не слишком тяжелым, если вести себя умело: «В шахматы играете? Очень хорошо! Тогда вам известно: иной раз кажется — мат неизбежен, но... напряженные мысли, расчет, ход конем или рокировка, или пешку в ферзи и — жизнь выиграна!.. Вы, разумеется, понимаете аллегории?»

Эти аллегории понимают все. Но Шухова почему-то невозможно представить делающим «ход конем». И Тюрина. И кавторанга. Вспомним, что о своей болезни Шухов говорит в санчасти «совестливо, как будто зарясь на что чужое», и присаживается с градусником под мышкой на самый край лавки, «невольн показывая, что санчасть ему чужая». Герой же Б.Дьякова — мы не осуждаем его за это, а лишь констатируем — сначала лечит в лагерной больнице свою застарелую грыжу, потом устраивается библиотекарем, затем инсценирует роман для художественной самодеятельности и организывает подписку на заем среди заключенных. Словом, заботы эти иного сорта, чем те, что волновали Ивана Денисовича.

Что ж, разные, вероятно, были лагеря, разные люди в них сидели, и по-разному переживалось происходившее. Но вот прямое рассуждение, вложенное Б.Дьяковым в уста одного из героев повести: «Придурками в лагере называют тех заключенных, которые выполняют хозяйственные или канцелярские работы. Правда, есть ээки, считающие, что придурки — особо привилегированные, подхалимы и доносчики... Это неверно! Конечно, попадают и такие. А в основном придурок — знаете кто? Умный заключенный *при* дураке начальнике».

Наконец-то слово найдено, и сомнению не остается места. Придурок — умный заключенный, устроившийся при дураке начальнике, — должен чувствовать свое несомненное превосходство и над теми дураками работагами, которые на ледяном ветру, в мороз тяжелым трудом зарабатывают свою скудную пайку. Его душу не только не будет царапать совесть, но он испытает прямо-таки самодовольство при мысли, что придумал ловкий «ход конем», а какой-нибудь Шухов никогда до этого не додумается, так и будет таскаться на работу с бригадой — бедолага. Шкуропатенко, Дэр, разъевшийся завстоловой, я не говорю уже о нашем безобидном и добродушном Цезаре Марковиче, — все они

будут выглядеть в таком случае «умными заключенными» при дураках начальника, а Тюрин, Клевшин, кавторанг — недалекими зэками, которым поделом, что они трудятся «на общих», если приспособиться половчее ума не хватило. Но думать так можно, лишь вовсе не предполагая в человеке других интересов, кроме шкурных, и других побуждений, кроме тех, что подсказывает инстинкт самосохранения, какими бы высокими соображениями это ни маскировалось.

У Ивана Денисовича и у кавторанга, у Тюрина и у Клевшина иное отношение к людям и к труду, отношение, которое мы вправе назвать народным вне зависимости от того, принадлежат ли эти люди к «народу» или к «интеллигенции» в старом понимании слова. Это народность не внешняя, не показная, а глубоко коренящаяся в них, внутренняя, стойкая, которая особенно дорога Солженицыну и которая сообщает его книге тон мужественного оптимизма.

Солженицыну близки заветы русской литературы прошлого века — народность Некрасова и Щедрина, Толстого и Чехова. Но тот взгляд на народ, какой выражен в его повести, характерен именно для советского писателя и, больше того, для писателя, вошедшего в литературу в последние годы, ознаменованные важными переменами в нашей жизни.

В различных областях духовной деятельности, в том числе в литературе и искусстве, тоже есть свой тяжелый и серьезный труд сенокоса и свой прибыльный и легкий промысел красилей, работающих по модному трафарету. Отношение к труду может объективно сближать и разделять людей, независимо от того, колхозники они или интеллигенты, Шуховы или кавторанги. И Солженицын с новым правом мог бы повторить замечательные слова Чехова: «Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Народному отношению к труду противостоит еще ныне мещанское желание прожить полегче, устроиться поприбыльнее, поживиться на чужой счет. Но в каких бы формах ни проявляло себя мещанство — в грубо корыстных или возвышенно интеллектуальных, в раболепно смиренных или начальственно повелительных, — мы всегда в конечном счете распознаем его по отношению к труду и трудовым людям. Значение повести Солже-

ницына в том, в частности, и состоит, что она помогает ясно понять это.

Разоблачая беззакония, ставшие возможными при Сталине и противоположные всей природе социалистического общества, повесть «Один день Ивана Денисовича» отвергает и то отношение к народу, на котором основывалась идеология культа личности. Сталин отгораживался от народа государственными карательными органами и хотя в своих речах часто поминал и хвалил народ, сам относился к трудовым людям с плохо скрытым презрением. «Сталин не верил в массы, — говорил на ноябрьском Пленуме ЦК КПСС 1962 года Н.С.Хрущев. — Он состоял членом рабочей партии, но не уважал рабочих. О людях, вышедших из рабочей среды, он пренебрежительно говорил: этот из-под станка! Куда, мол, он суется!» Слово «народ» превращалось в устах Сталина в пустую абстракцию. Словно бы все вместе — были народ, а каждый в отдельности уже не имел к народу отношения.

Восстанавливая социалистическую законность, ленинские нормы общественной жизни, партия придала новую значительность и такому понятию, как «народность». С этой точки зрения появление в литературе повести Солженицына было заметным событием. «Такие произведения, — сказал об «Одном дне Ивана Денисовича» Л.Ф.Ильичев, — воспитывают уважение к трудовику человеку, и партия их поддерживает».

Солженицын написал эту повесть, потому что не мог ее не написать. Он писал ее так, как исполняют долг — без всяких уступок неправде, с полной открытостью и прямоотой. И потому его книга, при всей жестокости ее темы, стала партийной книгой, воюющей за идеалы народа и революции.

Нас могут спросить: а где же анализ мастерства автора, формы произведения? В самом деле, мы не говорили отдельно, как это обычно принято, о «художественных особенностях» повести, но убеждены, что мы все время говорили о них, едва лишь заходила речь об Иване Денисовиче, Цезаре, кавторанге, о самой атмосфере «счастливого дня» или о сцене работы на ТЭЦ, потому что искусство Солженицына — это не то, что выглядит как эффектное внешнее украшение, пристегнутое где-то сбоку к идее и содержанию. Нет, это как раз то, что составляет плоть и

кровь произведения, его душу. Неискушенному читателю может показаться, что перед ним кусок жизни, выхваченный прямо из недр ее и оставленный как он есть — живой, трепещущий, с рваными краями, сукровицей. Но такова лишь художественная иллюзия, которая сама по себе есть результат высокого мастерства, умения художника видеть людей живыми, говорить о них незахваченными, точно впервые рожденными на свет словами и так, чтобы у нас была уверенность — иначе сказать, иначе написать было нельзя.

Повесть «Один день Ивана Денисовича» прожила в нашей литературе всего год и вызвала столько споров, оценок, толкований, сколько не вызывала за последние несколько лет ни одна книга. Но ей не грозит судьба сенсационных однодневок, о которых поспорят и забудут. Нет, чем дальше будет жить эта книга среди читателей, тем резче будет выясняться ее значение в нашей литературе, тем глубже будем мы сознавать, как необходимо было ей появиться. Повести об Иване Денисовиче Шухове суждена долгая жизнь.

*Из статьи «Иван Денисович, его друзья и недруги»
(«Новый мир», 1964, № 1, с. 223–245).*

Владимир Скуйбин

<...> С некоторых пор я испытываю безотчетное, но неодолимое тяготение к литературе особого рода. <...> Это различного рода воспоминания, истории научных открытий, очерки об исследованиях и исследователях, письма замечательных людей. Почему? Это свидетельства очевидцев...

Существуют произведения художественной литературы, которым в полной мере свойственны упомянутые выше достоинства. И эти книги волнуют, а иногда и потрясают силой художественного воздействия, потому что за этими событиями я вижу глаза свидетеля и участника событий. Что характерно для авторов этих книг? При разнообразии их стилей и манер им всем присущи удивительная скромность средств выражения, лаконизм, а иногда даже и аскетизм за счет углубленного раскрытия человеческих взаимоотношений и событий.

Я назову несколько писателей, таких разных, но вместе с тем удивительно близких. Я назову Э.Казакевича, П.Нилина,

В.Некрасова, В.Тендрякова, Ю.Бондарева, Г.Бакланова... И, конечно, А.Солженицына. Вот уж писатель, произведения которого при необычайной силе и своеобразии языка обретают силу воздействия подлинного жизненного документа. Это потрясает до глубины души. Я не найду лучшего примера для иллюстрации своей мысли.

Тот, кому, возможно, доведется ставить фильм по повести «Один день Ивана Денисовича», должен будет думать не только о передаче смысла и проблематики вещи, но и о нравственном аспекте формы выражения. Потому что любая изысканность, любая попытка щегольнуть формой будет не только неуместна и бестактна, но и может быть оскорбительной к смыслу произведения.

<...> И поэтому литература с ее глубинным постижением жизни будет всегда питать своими соками кино.

*Из статьи «Глубинное постижение жизни»
(«Искусство кино», 1964, № 2, с. 54, 56, 58).*

Ю.Карякин

Речь идет о полемике, вызванной повестью А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ставшей звеном идеологической борьбы на международной арене. Два факта предопределили особую остроту этой полемики. Во-первых, открытое выступление руководителей КПК против мирового коммунистического движения (прежде всего против КПСС), их стремление использовать сегодня те самые «аргументы», которые вчера были монополией антикоммунистов. Во-вторых, разоблачение в повести некоторых *крайних* проявлений того, что названо «культом личности».

1. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЧУТЬЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Для определения социального смысла полемики вокруг повести обратимся сначала к такому объективному критерию, как «практическое чутье самих заинтересованных лиц» — представителей различных направлений, партий и классов (В.И.Ленин. Соч., т. 13, стр. 335). Антикоммунистам и раскольникам их практическое чутье продиктовало здесь ту же самую реакцию, что и по отношению к политике искоренения культа личности. О пре-

ступлениях, разоблаченных в повести, одни говорят: было *только* это; другие — этого *не* было. Одни — это *вся* правда о коммунизме; другие — это никакая *не* правда. Одни кощунственно спекулируют на этой трагедии, другие скрывают, что культ личности и означал такую трагедию. Одни злорадствуют, другие — боятся.

Антикоммунистическая пресса уверяет: повесть — беспросветна, природа русского народа — в долготерпении, у Ивана Денисовича Шухова нет ничего советского, лагерь — вот воплощение коммунизма.

Антикоммунисты восхваляют повесть как «победу литературы над политикой». Эти утверждения опровергаются как содержанием самой повести, так и отношением к ней ЦК КПСС. Н.С.Хрущев говорил, что повесть написана «*правдиво, с партийных позиций*» и что «*партия поддерживает подлинно правдивые художественные произведения, каких бы отрицательных сторон жизни они ни касались, если они помогают народу в его борьбе за новое общество, сплочивают и укрепляют его силы*». Такая оценка высказывается и коммунистами других стран. Сэм Рассел свидетельствует, к примеру: хотя буржуазная печать и надеялась нажить политический капитал на публикации повести, «этим надеждам не суждено сбыться. Ибо сама публикация этого произведения... является частью гарантий того, что ни советский народ, ни весь мир никогда больше не испытают нарушений социалистической законности» («*Дейли уоркер*», 31 января 1963 года).

Но вот что говорят некоторые люди, также называющие себя «коммунистами»: «Эта повесть написана, чтобы лишь угодить вкусу тех, кто ратует за ликвидацию последствий культа личности и клеветает на социалистическое общество и руководство партии». Это — «декадентское», «контрреволюционное произведение», в котором «отрицается сама советская власть». — Подчеркивая связь появления повести с политикой КПСС, с курсом XX съезда (и в этом они, несомненно, правы), они и выступают против повести, против этой политики, лично против Н.С.Хрущева, одобрявшего такие произведения, которые якобы «распространяют яд буржуазной идеологии». В этот «черный список», кроме «Одного дня Ивана Денисовича», входят поэмы А.Твардовского «За далью даль», «Василий Теркин на том свете», фильмы «Чистое небо» и «Тишина» и т. д.

У всех тех, кто фальсифицирует и ненавидит повесть, есть очень веские «основания» делать это. Можно сказать, что у них есть для этого даже значительно больше «оснований», чем подсказывает их чутье, которое отнюдь не способствует просветлению их разума или приобретению таких качеств, как объективность, добросовестность и пр.

2. Антинародность культа личности

Антинародность культа личности — такова основная идея повести А.И.Солженицына. Речь идет, следовательно, не только о трагедии людей, но и — это главное — о тех силах, которые позволяют преодолеть эту трагедию, об изживании культовых иллюзий и о вызревании народного приговора произволу и беззаконию. И все это, разумеется, обращено не только в прошлое. Повесть разоблачает те самые «идеалы» и порядки, которые и *сегодня* насаждаются защитниками культа личности — маоистами, их сторонниками и последователями. <...>

«Чем дальше, тем крепче утверждался»...

Подчеркнем еще раз: А.И.Солженицын дает социально-художественный материал для решения вопроса о культе личности в его *самом крайнем*, поистине *предельном* выражении. Если даже в лагере (с массой невинно заключенных) есть такие силы, которые могут противостоять нечеловеческим условиям существования, — значит, *тем более* нет оснований для вывода о «беспросветности», «пессимизме» и т. д.

Французский писатель-коммунист П.Дэкс отмечал: «Солженицын не из тех, кто царапает раны для того, чтобы их беречь... Этот лагерь несет в себе самом свое собственное разрушение с того самого момента, когда люди могут здесь побеждать... «Один день Ивана Денисовича» — это составная часть нынешних усилий, очищающих революцию от тех преступлений, которые ее грязнят, и более того: эта книга нацелена на то, чтобы вернуть революции все ее значение...» («*Леттр франсэз*» № 967, февраль-март 1963 г.).

Одних жестокость истины закаляет, поднимает на борьбу. Других расслабляет, пугает, принижает. А третьи закрывают на нее глаза или объявляют ее ложью и клеветой.

В повести нет ни одной нотки жалобы, никакого малевания ужасов. «Рассказывает без жалости, как не об себе» — эти слова Ивана Денисовича относятся ко всему произведению.

Художественность в повести гармонически соединяется с документальностью, символика — с предельной конкретностью. «Что» и «как» здесь слиты абсолютно. А.И.Солженицын вместе со своим героем презирает легкий промысел, вроде раскраски ковриков («наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки... Заработок, видать, легкий, огневой»). Перед нами живой протест против той небывалой инфляции слова, которая принимает размеры настоящего бедствия и развращает писателей, подчас малюющих книги, как красила — ковры, и читателей, скупающих эти поделки. Художник словно подключился к незатейливому, но по-своему глубокому и последовательному ходу мыслей Шухова. Так подслушивает иногда народный напев музыкант и очень осторожно, редкими искусными аккордами начинает его сопровождать, выявляя все, что хотел выразить певец, и в то же время несравненно больше. Автор ничего не навязывает читателю, а предоставляет ему возможность *свободного* размышления, трудную радость *сотворчества* — надежный признак настоящего искусства, которое делает из человека не потребителя, а будит в нем творца.

А.И.Солженицын не идеализирует никого из своих героев. Иван Денисович и в бога верует («как громыхнет — пойдешь не по-верь!»). «Обо всем за него начальство думает — оно будто и легче». Он соглашается: «Это верно, кряхти да гнишь. А упрешься — переломишься». Все эти качества — не только одно из следствий культа личности, но и одно из его условий.

<...> В таких, как Шухов, не только сила, но и слабость народа. Однако *главное, решающее, обнадеживающее* заключается в том, что Шухов «не был шакал даже после восьми лет общаго работ — и чем дальше, тем крепче утверждался». Это сказано не о нем. Это *он сам* о себе так думает. Это — его *самосознание*.

Конечно, народ далеко не исчерпывается шуховыми, но можно ли *противопоставлять* шуховых советскому народу, как это делают маоисты? Да, можно, если забыть о его человечности, о его труде, об отсутствии малейшей национальной нетерпи-

мости, о его вражде к паразитам, о том, что он сумел «себя поставить». Можно, если проглядеть неслучайную близость Шухова к кавторангу Буйновскому: в главном — в сохранении человеческого достоинства, в отношении к труду — капитан для него — *свой*, таких коммунистов он уважает и признает. Можно, если отбросить то, какую власть защищал на войне, почему он после ранения «доброй волею в строй вернулся». Да, все это можно. Но это уже один раз было: его уже однажды не признали за советского. Расправа над Шуховым в жизни и попытка лишить его советского гражданства в качестве литературного образа — это два крайних звена одной цепи. Ненависть нынешних защитников культа личности к Шухову имеет социальное происхождение. Они относятся к нему так именно потому, что он начал ставить опасные для них вопросы, и они *боятся* этих «наивных» (и убийственных) вопросов со стороны своих шуховых.

<...> Витторио Страда (Италия) пишет о «неотразимой силе», с которой А.И.Солженицын рассказал о народной трагедии: «Побежденные оказываются победителями... Гранитная тяжесть культа Сталина не уничтожила, не раздавила то лучшее, что было в массах...». «Солженицын... не провозглашает вечных добродетелей, абсолютное благо, абстрактную положительность. Он хорошо знает, что от начальника лагеря до чемпиона бюрократии тянется невидимая, но прочная нить и что страдает от этого только социализм». Что заставляет Шухова так вдохновенно трудиться? — спрашивает В.Страда и отвечает: «Как можем мы определить его сознание, если не социалистическим, “социализмом в самом сердце”!.. Книга эта непонятна для тех, кто ставит ее в разряд литературы только о концлагерях... На страницах произведения Солженицына я снова открываю ту истину, что причины превосходства социализма кроются лишь в нем самом. Я, может быть, “советизировался” настолько, что читаю Солженицына, как его читает большинство советских читателей? Тем лучше» («Ринашита», 6 июля 1963 г., «Еуропа леттерариа» № 26, 1964 г.).

Если появление повести немислимо без XX съезда, то, прочитав ее, мы еще раз убеждаемся, что этот съезд имеет глубочайшие корни в народе: партия выразила то, что народ уже начал сознавать.

<...> Наступит время, когда все услышат голос китайского Ивана Денисовича: «Зачем вы нас за дурачков считаете?», когда и в Китае по-своему пройдет свой XX съезд и появятся свои художники, разоблачающие культ личности, когда и там смешно и горько будет перечитывать сегодняшние номера «Жэньминь жибао» и трудно будет поверить, что вообще было возможно такое.

Так, несомненно, будет. А пока разворачивается серьезная борьба именно за то, чтобы так стало.

* * *

Повесть А.И.Солженицына, сам факт ее публикации оцениваются коммунистами как еще одна серьезная победа курса XX съезда и поражение его противников. Издержки от публикации повести (спекуляция на ней со стороны антикоммунистов и нынешних защитников культа личности — маоистов) неизбежны, как неизбежны они при всякой критике и самокритике коммунистов. Но эти издержки остаются и останутся позади. «Отдача» повести несравненно больше, и она растет. Марксистская критика разных стран все глубже и все успешнее разъясняет смысл повести. Она не требует восхваления, но опровергает злословие. Она не говорит, что тот, кто не признает повесть *выдающимся* произведением, тем самым оказывается сторонником культа личности, консерватором, ретроградом и т. д. Но она бескомпромиссно борется со всеми, кто уверяет, будто это — антисоветское, антисоциалистическое, антипартийное произведение. Логика реальной жизни, логика классовой борьбы показывает: чем дальше, тем больше повесть ненавидят и боятся, как ненавидят и боятся живого и сильного врага, — такой ненавистью к ней автор может только гордиться. Чем дальше, тем более деятельную роль играет она в борьбе и с антикоммунистами, и с маоистами — сторонниками казарменного коммунизма. Тем очевиднее становится ее дальний прицел и дальний прицел ее публикации, тем сильнее «обжигаются» на ней те, кто хотел бы на ней спекулировать. Никого повесть не оставляет равнодушным. А это самое главное. Как сказано у польского писателя Б.Ясенского: «Не бойся врагов — в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей — в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных — они не убивают и не предадут, но

только с их молчаливого согласия существуют на земле предательство и убийство».

*Из статьи «Эпизод из современной борьбы идей»
(«Проблемы мира и социализма», 1964, № 9, с. 79, 81–82, 85).*

Игорь Золотусский

<...> Из самой действительности, ожидавшей своего часа, вышла короткая повесть А.Солженицына.

Потомки оценят ее спокойно. Для них она не будет горящим куском железа. Они возьмут его в руку и сравнят с другими свидетельствами эпохи.

Мы предвидим их спокойствие и можем понять его. Мы сами находимся в их положении, когда говорим о прошлом.

Но сегодня мы чувствуем, как этот неостывший кусок жжется. Он жжется, как жжет больное сердце в груди, если оно — наше сердце.

*Из статьи «Подводя итоги»
(«Сибирские огни», 1964, № 11, с. 166).*

Читатель

ОБ ИСТОРИЧНОСТИ ПОВЕСТИ А.СОЛЖЕНИЦЫНА «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА»

О повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» уже много сказано в печати и еще того более будет написано в будущем. Со временем ее будут изучать не только литературоведы, но и историки, потому что это не только выдающееся художественное произведение, но и обличительный документ, относящийся к самому трагическому этапу в истории советского общества в России.

Вероятно, сейчас не найдется людей, включая совсем молодых, которые хотя бы понаслышке не знали о том, что в тридцатые-сороковые годы в Советском Союзе существовали лагеря заключенных. Что многие люди попали в заключение безвинно и были впоследствии реабилитированы, стало широко известно только в пятидесятых годах. О том же, что это были за лагеря, с каким режимом, сколько их было, где они располагались, — знали очень немногие, да и то по темным, подземным слухам.

И вот большой писатель, поразительный по единственности своей литературной манеры, открыл непроглядную завесу перед миллионами советских людей и показал один такой лагерь, нарисованный с подлинной художественной реалистичностью. И мы увидели другой мир, совсем еще недавно существовавший рядом с нами, но о котором до этого ничего не ведали или смутно догадывались. И этот мир отверженных встал перед нами в своем, казалось бы, будничном облике, но облике страшном и вдвойне трагическом именно вследствие этой будничности.

Таково первое, общее, потрясающее впечатление, которое оставляет книга «Один день Ивана Денисовича». Впечатление физической боли и горечи от мысли, что нет страшнее врага человеку, чем сам человек. И одновременно чувство глубокой благодарности к писателю, который всем замыслом своей книги, всеми художественными средствами призывает: «Люди, современники, опомнитесь, взгляните на себя, поглядите вокруг! Неужели вы допустите, чтобы Иван Шухов, Сенька Клевшин, тишайший Алеша-баптист снова очутились за тюремной решеткой?»

Социальное и нравственное значение повести А.Солженицына трудно переоценить: оно велико и очевидно.

Но что не сразу бросается в глаза, а открывается лишь при особенно внимательном прочтении повести — это поразительная насыщенность ее фактическим материалом. В этом отношении удельный вес «Ивана Денисовича» огромен. Поразительно еще и то, с каким блистательным мастерством автор сумел распределить этот материал в повести, не повредив ее художественной структуре, как он сумел густо пропитать ткань повествования фактами и вместе с тем избежать пестроты, измельчания основной темы своего страшного рассказа.

И, думается, что главный замысел А.Солженицына был не в том, чтобы через один день одного заключенного показать, как физически и нравственно гибли в лагерях и погибали для общества безвинные люди. Нет, этот замысел состоял в том, чтобы в историческом аспекте осветить большой отрезок того пути, по которому прошло советское общество, начиная от периода коллективизации сельского хозяйства, через годы войны, и кончая первым послевоенным пятилетием.

Поэтому нам кажется, что А.Солженицын прибегает к фактографии не как к литературному приему, способствующему наибольшей выразительности изображения описываемого предмета. Нет, он определил ей самостоятельную и куда более важную роль: фактам определена роль исторических документов.

И, действительно, если поставить себе задачу установить фактографическую ценность повести путем выборки и сопоставления, казалось бы, мелких фактов, сообщаемых будто бы скороговоркой, то из их сочетания вырисовывается огромная картина, проступающая на фоне изображения одного лагеря и расширяющая и углубляющая смысл этого изображения.

Получается так, как если бы из мозаичной картины вынуть отдельные цветные стеклышки, разложить их в том же порядке, что и на картине, и вдруг увидеть, как эти мелкие стеклышки сами собой выросли, слились и расположились уже в другой картине, несравнимо более монументальной, чем та, из которой они были вынуты.

И наблюдать это чудо — проступания исторического сквозь эмоционально художественное — доступно каждому, кто пожелал бы его увидеть. Для этого надо только внимательно прочесть «Один день Ивана Денисовича».

Допустим, что с повестью ознакомится человек, который понятия не имел о периоде сталинских репрессий в стране. Что узнает такой читатель из повести, разумеется, если он прочтет ее вдумчиво и беспристрастно сопоставит все факты, которыми она так богата? А узнать он может *историю советских лагерей* — как уродливое порождение сталинского кровавого режима. Автор умно и умело разместил в повести кости этого чудища. Попробуем же, как это делают палеонтологи, по этим костным остаткам восстановить его скелет.

1. Время повествования датировано очень точно: это январь 1951 года. «Начался год новый, пятьдесят первый...» (с. 23)*. Это важно запомнить, потому что указанная дата — отправная веха для отсчета шагов вспять в историю хождения советских людей по лагерным мукам.

* Здесь и всюду ниже ссылки на журнальное издание повести («Новый мир», 1962, № 11).

2. О том, где располагался лагерь Шухова, в повести прямо не говорится. Но указывается, что он находился в безлесной степи, где и летом ничего не родится. «Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло...» (с. 35). Стало быть, исключаются таежная и лесостепная полосы СССР, отпадают центральные, южные и восточные плодородные области. Остаются северные районы Средней Азии или окраины Сибири.

Но, пожалуй, точно знать местонахождение данного лагеря не так уж и важно. Существенно другое — лагерь этот был не единственный в стране. Об этом автор не говорит прямо, но мы узнаём из повести, что Иван Денисович, до того как попасть в Особлаг, сидел в лагере в Усть-Ижме. Усть-Ижма — это Коми АССР. Бригадир Тюрин побывал и в Усть-Ижме и на Печоре. Еще известно, что семь лет Шухов находился в северных лагерях «и как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж да шпальник» (с. 33). Значит, скорее всего он был в лагерях Архангельской области, где так развита заготовка лесоматериалов на экспорт.

Упоминается Тюриным Котласская пересылка, т.е. пересыльная тюрьма. И это тоже не случайно: Котлас — крупнейшая на севере узловая станция, от которой железные дороги идут на Коношу и Архангельск, на Воркуту, на Киров и на юг. Нетрудно догадаться, почему была создана Котласская пересылка, — отсюда эшелоны с заключенными шли в разные концы Союза. Но если оставить в стороне догадки, а придерживаться только фактов, отмеченных в повести, то все равно возможен лишь один вывод: лагерей и тюрем было много, очень много. Мы это опять усматриваем из самого текста: «Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов *в тюрьмах и в лагерях...*» (с. 17), «*по лагерям да тюрьмам* отвык Иван Денисович...» (с. 20).

Следовательно, лагеря были разбросаны на пространстве от далекого севера (Архангельская область, Коми АССР) до окраинного юго-востока (Особлаг, описанный А.Солженицыным).

3. В какие годы существовали лагеря? И на этот вопрос мы находим в повести точный ответ. Бригадир Тюрин в 1951 году в Особлаге отбывал свой второй срок, а всего двадцатый год заключения.

Из замечательного по своей малословности и предельной емкости рассказа Тюрина мы узнаем, что он в первый раз попал в лагерь как сын кулака в тридцатом году (с. 40–41). Первый бригадир Ивана Денисовича Кузёмин к 43-му году сидел уже двенадцатый год, стало быть, он оказался в заключении в 31-м или 32-м годах (с. 9). Следовательно, в 1930 году лагеря уже существовали, и не случайно, что и Тюрин и Кузёмин оба были раскулаченными: мужиками и членами их семей заполнялись лагерь в начале тридцатых годов.

Далее тот же Тюрин упоминает о кировском потоке заключенных тридцать пятого года и вспоминает одну каплю этого потока — девушку-студентку из Ленинграда, которую он встретил на Печоре. Кировский поток — это надо понимать так: провокационное убийство Кирова в 1934 г., послужившее предлогом для репрессий.

От Тюрина же мы узнаём, что были посадки заключенных в тридцать седьмом году: в Котласской пересыльной тюрьме он повстречал своего бывшего комвзвода, и тот ему рассказал, что и командир и комиссар полка, в котором Тюрин проходил действительную службу, оба были расстреляны в 1937 г. Самому комвзвода тогда же «...десятку сунули», т.е. десятилетний лагерьный срок.

Имеются и другие, не менее руководящие даты: сам Шухов попал в лагерь в 1943 году, латыш Кильгас — в 1949 году, кавторанг Буйновский в 1950 году (находился в Особлаге всего три месяца).

Отметим последовательно годы, на которые приходится заключение в лагерь разных лиц, упоминаемых в повести:

Тюрин —	1930 г.
Кузёмин —	1931/32 гг.
Студентка из Ленинграда —	1935 г.
Командир взвода —	1937 г.
Шухов —	1943 г.
Кильгас —	1949 г.
Буйновский —	1950 г.

Из сопоставления этих дат вытекает единственно возможный вывод: к 1951 году лагеря существовали в стране не менее 20-ти лет.

О непрерывности функционирования лагерной системы можно судить по тем «сынам Гулага» вроде старика Ю-81, старика Х-123 – «каторжанина по приговору» (с. 38), Тюрина, которые все эти двадцать лет провели в лагерях. Кроме того, есть в повести упоминание о том, что заключенные, у которых срок освобождения пришелся на годы войны, не были выпущены на волю, а содержались в лагерях до конца войны и даже позже, «...у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок шестого года. У кого и основного-то срока три года было, так пять лет пересидки получилось» (с. 32–33). Этим самым в нашей таблице заполняются пробелы от 1937 г. до 1943 г. и от 1943 г. до 1946 г.

4. Точные сведения содержатся в повести и о том, какие существовали категории лагерей: общего типа – бытовые и особые – особлаги (с. 33). Иван Денисович прошел и те и другие. Особлаги появились после войны, в 1949 г. Об этом вспоминает Шухов: «...когда эти лагеря зачинали в 1949 г.».

И еще из разговоров эков мы узнаём, что до войны срок заключения обычно не превышал десяти лет, а после войны при аналогичных составах «преступлений» стали присуждать 25-летние сроки. «Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла – всем по двадцать пять, невзирая» (с. 32).

О том, что Особлаг, описанный в повести, был каторжным, помимо прямых указаний (с. 33 и 64) свидетельствует множество примет: и ношение номеров, и то, что в нем содержалось много заключенных со сроками в 25 лет (Кильгас, баптист Алексей, помбригадира Павло). <...> И, наконец, самое существенное – в Особлаге были сосредоточены только осужденные по 58-ой статье УК РСФР: ни бытовиков, ни уголовников там не было (с. 24).

5. В повести имеется материал и для определения числа заключенных Особлага, в котором находился Иван Денисович. Действительно, по всему видно, что эки обычно регистрировались здесь по буквенным группам... а внутри группы – последовательно по числам от одного до тысячи: Шухов – Щ-854, ста-

рик каторжанин – Ю-48, другой старик – Х-123, молдаванин – К-460, и еще эки Б-832, Б-502, Х-990. <...>

6. Естественно возникает следующий вопрос: один ли был такой особый лагерь в Союзе? Ответ дает Шухов своим коротким замечанием: «...когда *эти особлаги* зачинали в 1949 году...» Итак, шуховский Особлаг был не единственным. <...>

Если в особых, каторжных лагерях счет эков шел на десятки тысяч, то какими же цифрами они исчислялись в лагерях общего типа, по всему Союзу? Очевидно – миллионами. Вот еще к какому выводу приводит нас книга Солженицына, повествующая, будто бы, об одном лагере.

Что приведенные цифры не завышены, а в отношении особлагов, напротив, крайне занижены, легко можно себе уяснить из рассмотрения общественных групп заключенных.

7. Для суждения о социальных и иных группах заключенных Особлага, а также о составе «преступлений», вменявшихся им в вину, мы опять находим в повести богатейший материал, здесь можно четко разграничить такие группы:

а) прежде всего – это военнопленные или военные вообще, что явствует из прямых упоминаний об этом. Сюда относятся Шухов, Семен Клевшин (с. 33), бывший Герой Советского Союза (с. 12), сибиряк Ермолаев (с. 62), кавторанг Буйновский. Еще более определенно позволяет судить о многочисленности военнопленных короткое словцо автора: «Шпионов в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион» (с. 51). Шуховская бригада, как, вероятно, и все другие, была невелика, 24 человека (с. 62). Следовательно, военнопленные составляли четвертую или пятую часть всех заключенных. История их окружения и затем взятия в плен в двух незабываемо-выразительных словах рассказана самим Шуховым (с. 33).

В этой группе самая трагичная судьба у Семена Клевшина: узник Бухенвальда, он бежал из фашистского лагеря смерти, чтобы попасть у себя на родине в Особлаг. Трагична и сама его фигура: глухой, и тем отделенный от товарищей по несчастью,

он, будучи в лагере, как бы заключен еще и в другую, более тесную тюрьму — духовный карцер.

б) Огромная группа заключенных, судьба которых так или иначе связана с войной: с проживанием на оккупированной немцами земле или с послевоенными государственными дележами территорий. Сюда относятся Гопчик, западные украинцы (помбригадира Павло и другие — с. 13), латыши (Кильгас — с. 25), эстонцы (с. 26).

в) Большая группа представителей интеллигенции: инженеры (десятник Дэр, с. 45), хозяйственники (Фетюков, с. 44), врачи (новый доктор Степан Григорьевич, с. 16), люди искусства (Цезарь Маркович — с. 19, Петр Михайлович — с. 59, трое художников — с. 18), студенты (Коля Вдовушкин — с. 16).

г) Кулаки и члены их семей. Этих, по-видимому, было уже немного: за двадцатилетие существования лагерей из них выжили только такие кряжи, как Тюрин.

д) И, наконец, в особую внесоциальную группу можно выделить лиц, осужденных за религиозные убеждения. Это была немалая группа, Алеша-баптист был одним из многих, «по воскресеньям всё с другими баптистами шепчется» (с. 24), «...вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились...» (с. 72).

8. В лагере находились люди самого различного возраста, включая стариков (Ю-81, X-123) и детей (Гопчик, мальчишка-молдаванин). Если вдуматься — как страшно видеть Гопчика-юношу, почти мальчика, в положении каторжанина! Он был осужден за то, что носил молоко бандеровцам в лес (с. 30). В 1951 году Гопчику было 16 лет, об этом есть прямое упоминание (с. 28). Остатки бандеровских групп были ликвидированы уже к 1950-му году, следовательно, когда Гопчика судили, ему было не более 14-ти лет. Дети попадали в каторжные лагеря со сроком в 25 лет! Вот какой еще содержится в повести материал, чтобы представить ту чудовищно бездушную административно-судебную мельницу, которая перемалывала в эков не только взрослых людей, но также подростков и детей!

9. В повести неисчислимы фактический материал, позволяю-

щий читателю узнать лагерный режим с его писаным и неписаным порядком и произволом лагерной администрации.

Жизнь эков Особлага была поистине каторжной: от подъема до сна они находились на ногах 17 часов, работали 11 часов, на сон им оставалось 7 часов. Зарплаты не получали ни в каком виде. Паек хлеба 550 грамм и три раза в день баланда. Утром каша-магара, или овсянка, и чай, в обед — похлебка из капустных листьев и мелкой рыбки, чай; вечером опять магара. Премииальные — лишние паек, или, по-лагерному, пайка хлеба 200 грамм. На работу ходили в строю, руки за спиной, по сторонам не глядеть. Собаки, охрана с автоматами, команда: «Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь *без* предупреждения!» (с. 22). Человек терял имя, которое ему заменяли каторжным номером, нашитым на шапке и на одежде — на груди, на спине и на колене. Голод, холод, истощение, болезни. Со знательное полнейшее угнетение индивидуального в человеке.

Невольно напрашивается сравнение Особлага Солженицына с «Мертвым домом» Достоевского. Оба великих художника нарисовали каторжный мир со стереоскопической выразительностью. И использованный ими большой жизненный материал делает нетрудным сопоставление характеристик каторги до-революционной и советской. И это особенно поразительно потому, что Достоевский в неторопливой, повествовательной манере описал *год* жизни Омского острога, а Солженицын всего лишь *один день* Особлага, да еще при этом отнюдь не повествуя, а как бы показывая читателю через диапозитив серию за серией моментально чередующихся художественных фотоснимков.

Сопоставление жизненных условий, в которых находились каторжане Омского острога и эки Особлага, можно было бы значительно расширить, так как фактического материала для такого сопоставления имеется достаточно. Но это привело бы нас к пересказу «Мертвого дома» и «Одного дня Ивана Денисовича». Гораздо важнее отметить черты сходства и различия в характеристиках каторги омской и особлаговской. А эти черты с несомненностью свидетельствуют об одном: каторга времен Достоевского существовала в условиях патриархальной и, несмотря на все кандалы и шпицрутены, простодушной пенитенциарной системы, а каторга, современная Солженицыну, — при сви-

репом режиме исправительно-трудовых лагерей, с его производственными бригадами и голодной шкалой питания, рассчитанными на физическое истребление заключенных через непосильную работу и измор.

1. У Достоевского сказано: «Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят — цифра почти постоянная» (т. 3, с. 396)*. «Я думаю, каждая губерния, каждая полоса России имела тут своих представителей» (с. 396).

Итак, в Омском остроге, куда ссылались каторжники (в том числе политические преступники) со всех концов России, содержалось всего лишь около трех сотен арестантов. В Особлаге, как уже говорилось, зэков насчитывалось свыше десяти тысяч.

2. «Главное основание всего острожного населения составляли ссыльнокаторжные...». «Это были преступники, совершенно лишённые всяких прав состояния... с проклейменным лицом для вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу на сроки от восьми до двенадцати лет...» (с. 397).

Особлаговским зэкам не клеймили лиц, как разбойникам и убийцам Омского острога, но и ребенку Гопчику и молодому Алеше-баптисту с их двадцатипятилетними лагерными сроками фактически было predetermined умереть на каторге, за то лишь, что один продавал молоко бандеровцам, а второй молился своему Богу... «Ты, Ваня, восемь лет сидел — в каких лагерях?.. Ты в бытовых сидел... А вот в каторжном восемь лет посиди! Еще никто не просидел...» (с. 33).

3. Арестанты Омского острога были закованы в ножные кандалы, ходили с наполовину бритой головой и с бубновым тузом на спине. Из всех этих атрибутов царской каторги зэки Особлага унаследовали лишь бубнового туза, превратившегося в каторжный номер. Но омские каторжане ходили на работу свободно, под присмотром одного-двух конвоиров, а во вне рабочее время могли отлучаться из острожных стен: «...я хожу где-нибудь один за острогом...» (с. 496).

А вот как шли на свой рабочий объект зэки: «А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками

ми серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками» (с. 21).

На зэках не было кандалов и внешних унижительных знаков каторжного состояния, но у них отнимали последнюю, каторжную свободу и унижали их более изощренно: «Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе только. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть... Сколько за ту шапку в кондей перетаскали...» (с. 14—15). «Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад — тоже строем» (с. 59).

4. Провинившихся арестантов прогоняли сквозь строй, и иногда забивали шпидерными на смерть. Зэки не знали розог, но наказывали их не менее страшно: сажали в карцер, или по-лагерному БУР — барак усиленного режима. «Сами клали БУР... стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни. ...Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой» (с. 69).

5. О вопиющей разнице в условиях труда и питания арестантов и зэков достаточно красноречиво говорят сопоставительные цитаты.

Но нельзя пройти мимо такого заключающего суждения Достоевского: «...бывают и такие, которые нарочно делают преступления, чтоб только попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле. Там он... никогда не наедается досыта и работал... с утра до ночи; а в каторге работа

* Цитируется по десяти томному собранию сочинений (М., 1956—1958).

легче, чем дома, хлеба вдоволь и такого, какого он еще и не выдывал, по праздникам говядина, есть подавание, есть возможность заработать копейку» (с. 441).

А вот сентенция Солженицына, афористично определяющая всю суть голодной жизни, или, точнее, медленного умирания особлаговских зэков: «Двести грамм хлеба жизнью правят» (с. 17). А как много смысла содержит его описание короткой сценки, когда кавторангу Буйновскому случайно досталась лишняя порция еды... «...Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путем. И он наклонился, *счастливый*, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, — над овсом и водой» (с. 38). Это мы подчеркнули слово «счастливый», потому что у автора в повести — этого нет, и он нам — своим читателям — предоставил самим судить обо всем, что им рассказано.

6. Не менее разительно несоответствие в условиях и обстановке отдыха арестантов и зэков. У Достоевского читаем: «Первые три дня я не ходил на работу, так поступали и со всяким новоприбывшим: давалось отдохнуть с дороги» (с. 411); «Неделя говенья мне очень понравилась. Говевшие освобождались от работ» (с. 625).

А вот что пишет Солженицын: «...если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят» (с. 58). «...Выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут — или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было, или расчистку двора. ...Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего им, наверно, досаждают, если зэк спит после завтрака» (с. 59).

Из приведенных сравнительных материалов со всей очевидностью явствует, что «Мертвый дом» Достоевского рядом с Особлагом Солженицына — это гуманное учреждение, о каком Особлаговские зэки могли бы только мечтать. А ведь Омский острог был одним из самых страшных мест заточения в России в девятнадцатом веке.

В конце своих знаменитых записок Достоевский восклицает: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все ска-

зать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? То-то, кто виноват?» (с. 701).

Голоса А.Солженицына мы не слышим в повести «Один день Ивана Денисовича», однако на каждой ее странице межстрок стоит тот же вопрос — кто виноват? И как Достоевский всем содержанием, всем настроением своей книги обвиняет царское самодержавие, так и Солженицын теми же средствами бичует сталинский диктаторский режим, характернейшей чертой которого было недоверие к людям. «...Пожале-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам...» — говорят зэки Солженицына.

И вся история искусственного насаждения массовой лагерной системы берет свои корни в этом негласно государственно узаконенном недоверии. Не могли поверить, что крестьяне добровольно согласятся работать на коллективной основе, — последовала великая выкорчевка мужиков с родных мест, возникли лагеря начала тридцатых годов. Страшен стал Киров, как возможный претендент на трибуну вождя народов, — прибегли к провокационному его убийству, и вот опять хлынуло в лагеря новое пополнение заключенных посадки 34–35 годов. Расширился круг недоверия — и в 1937–39 годах в его грандиозный диаметр уже вовлечены полчища «врагов народа».

В войну и в послевоенные годы недоверие симптоматически выражалось в шпиономании — крючьями беззакония в лагеря стали стаскивать армии военнопленных и целые народы.

Все сказанное не есть наш домысел, обо всем этом говорится в книге Солженицына. Чтобы не быть голословными, снова прибежем к цитатам, дополняющим ранее приведенные. Вот, например, как по жизненным перепутьям Тюрина высвечен ход коллективизации и далее одним штрихом обрисована грандиозная провокация — спектакль под названием «Враги народа». «Мне тогда, в тридцатом году, что ж, двадцать два годика было, теленок. — Ну, как служишь, Тюрин? — Служу трудовому народу! — Как вскипятится, да двумя руками по столу — хлоп!.. — Отец твой кулак, а ты скрылся, второй год тебя ищут!». «...Какая ж

у тебя совесть, — орет, четыре шпалы трясутся, — обманывать рабоче-крестьянскую власть? — ...Подписал приказ — шесть часов и за ворота выгнать... И лютую справочку на руки: “Уволен из рядов... как сын кулака”. Только на работу с той справкой». «...Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — обая расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: “Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьешь”» (с. 40).

Вот как вскрыта причина, почему Тюрин не «служил трудовому народу». А он, по незлопамятливости русского человека, грудью защищал бы свой народ на войне. Но ему не доверили, и весь свой двадцатилетний срок он был занят тем, что оставался жив.

В сложном переплетении судеб отдельных людей и судьбы всего советского народа имеется своя роковая логика. Тюрину уже в тридцатом году было предопределено не участвовать в будущей Отечественной войне, его полкового командира смертная пуля достигла не в бою, а в ежовских застенках, а все это во многом определило крестный путь русского народа в 1941—1942 годах вслед отступавшей армии.

Незабываемо живописует Шухов картину этих лет. И его рассказ вмещает несравнимо больше, чем простодушное размышление над изгибами собственной биографии в те годы. Нет, им нарисована картина преступной неподготовленности к войне и ее последствия. Снова нащупывается логическая связь: командир Тюрина не участвовал в войне потому, что был расстрелян, инженер Дэр и крупный администратор Фетюков не работали на подготовку обороны страны оттого, что находились в лагерях, а вследствие всего этого (и другого тоже, конечно) Шухов попал в плен. «Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околелших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Было б их пять, может, сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады, насчет побега» (с. 33).

И Шухову тоже не позволили вернуться в строй и снова воевать. А сколько было таких шуховых — об этом мы говорили уже раньше.

Лагерной темой не исчерпывается круг вопросов, затрагиваемых Солженицыным в повести «Один день Ивана Денисовича». Параллельно с нею, на приглушенных тонах, через восприятие Шухова читатель получает представление и о том, что происходило на воле. В частности, об обнищании деревни, ее расчленении, бегстве колхозников в города, на стройки — подальше от колхоза. А это тоже вехи истории.

Поэтому, заканчивая нашу заметку по поводу повести А.Солженицына, мы еще раз подчеркнем: «Один день Ивана Денисовича» — это *день*, в свете которого ясно видятся главные рубежи четвертьвековой мученической истории советского народа.

Произведение это — *художественно-историческое*.

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Уважаемый товарищ редактор! Прочитав в «Новом мире» повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», я был настолько потрясен, что едва смог в тот день отработать свое рабочее время.

В те годы, один день из которых описан А.Солженицыным, я тоже был там. Нет, не безвинно. Вор. Законнейший рецидивист.

Но не об этом речь. В лагерях и тюрьмах, в которых мне довелось побывать, я встречал многих Иванов Денисовичей, Тюриных, Клевшиных, Фетюковых и кавторангов. Я и мои дружки называли их «фашистами». Для вора в лагере всякий не вор — это «фраер», «черт» и т. д., то есть лицо, достойное презрения. Но «фашистов» мы еще не видели. Понимаете, я даже гордился тем, что хотя я и вор, хотя я ем ту же пайку, но все-таки я не изменник и не предатель. Сразу же оговорюсь: настоящих изменников и предателей я в лагерях в те годы встречал тоже немало. Но разницы между этими фашистами и теми «фашистами» мы тогда не видели и не понимали. Да никто нам и не старался объяснить. Наоборот: постепенно при каждом удобном случае нам, вора́м, старались дать понять, что мы для Родины все-таки еще не потерянные, так сказать, хоть и блудные, но все-таки сыновья. А вот «фашистам» на этой брэнной земле места нет и не будет во веки веков.

У воров смелость не на последнем счету. Но я и не подозревал тогда, какие мужественные люди находятся рядом со мной, сохраняя свою честь, достоинство и жизнь.

Нет, не повесть Солженицына раскрыла мне глаза на все это, а сама жизнь. Я уже давно не вор. Я начальник цеха. У меня есть жена, сын, я живу в благоустроенной квартире со всеми удобствами. По вечерам учусь. Все это мне дал честный труд. А труд этот и пути к нему мне помогли найти партия, наш советский строй и те, которых я когда-то называл «фашистами». Найдутся люди, которые сочтут эти слова пышной фразой. Нет, эти слова для меня кровные.

В моей жизни был один эпизод, который я буду помнить всегда.

Случилось это в 1949 году зимой, по пути из Воронежа в Котлас, везли нас в теплушках. Впрочем, слово «теплушка» звучало тогда злой иронией: от Воронежа до Котласа — три ведра угля. В лютый мороз. А коль мы воры, да еще «законники», то наше место у печки, а «фраерам» и всяким прочим — у дверей и по углам. Одного, который не послушал моего дружка, я от-

швырнул на нары. Был он весь какой-то твердый, сухой, словно из дубовых щепок, в лагерном, выдавшем виды бушлате, немецких ватных брюках и резиновой обуви на босу ногу (теплые портянки воры отняли). Я был молод, здоров, добротню одет (в карты выиграл).

Грубая физическая сила и нахальство — лагерный неписанный закон — были на моей стороне. Я слышал: тот, которого я ударил, сидел в Бухенвальде. Но никакой жалости у меня к нему не было. Много их тогда было — и бывших военнопленных, и «окруженцев», и из лагерей. Все считали их предателями. Я думал, что они просто ввали, изворачивались, чтобы скрыть свою измену. Но глаза того человека я запомнил. В них не было ни страха, ни ненависти, ни даже презрения. То были спокойные грустные глаза очень усталого, но честного и непоколебимого в своей вере человека. Это на меня подействовало, и я сказал «дружкам», чтобы они дали ему хлеба и масла. И допустил его к печке. Он взял еду, сел к печке и стал не торопясь есть. Но сколько я ни пытался с ним заговорить, он остался нем.

Ночью почти на каждой остановке нас будили молотками. У конвоиров были деревянные молотки с очень длинными ручками. Этими молотками простукивалась каждая доска вагона: не было ли побега на ходу поезда. Потом дверь с грохотом отодвигалась, в вагон влезали конвоиры, сгоняли всех на одну половину вагона и начинали считать, перегоняя в другую. Бухенвальдец, зацепившись за угол печки, упал посреди вагона. Конвоир, злой и промерзший (на тормозе тоже не сладко, даже в тулупе), ударил его молотком по боку. До сих пор не знаю, как это случилось, но я вдруг оказался рядом, вырвал молоток из рук конвоира, переломил палку о колено и вышвырнул ее за дверь. Я рисковал быть застреленным на месте. Но этого, к счастью, не случилось. На моих руках щелкнули «браслеты», и меня «понесли» в вагон-карцер.

Этого человека я больше никогда не встречал и не знаю, какова его судьба. Даже имени его не знаю. Но с тех пор моя воровская карьера пошла на убыль. Когда мне бывало очень трудно, я вспоминал спокойные и грустные глаза изможденного, сухого человека. Не могли быть у предателя такие глаза. В тюрьме глаз не спрячешь. Все, что было написано о фашистских лагерях,

я достал и прочитал. Не одного еще такого «предателя» я потом встречал. Но никогда больше не называл их фашистами. И только будучи уже на воле, после XX съезда партии, я понял окончательно, кого я тогда ударил и за что едва не поплатился жизнью. А когда я прочитал повесть А.Солженицына, то, как наяву, увидел человека, которого я когда-то накормил. Это был Сенька Клевшин. Да, я верю, что это был он, хотя в повести о нем сказано так мало...

Человеком стать мне помогли многие. И надо сказать, что на это ушло немало сил и энергии. Доля безымянного бухенвальдца в этом тоже есть. Когда-то я его ударил и отогнал от тепла. А повесть Солженицына ударила меня прямо в сердце.

Я не знаю адреса А.Солженицына, поэтому прошу Вас, товарищ редактор, передать ему от меня спасибо за повесть, за удар в сердце.

И еще хочу сказать в заключение. Мне очень хотелось бы прочитать как можно больше других повестей, рассказывающих, как наша партия и наш народ, ликвидируя последствия культа личности, строят светлое, справедливое коммунистическое общество. Со времени XX съезда партии прошло уже семь лет, и за эти годы так много сделано, чтобы уничтожить несправедливость, чтобы восстановить полностью ленинские законы нашей советской жизни. Надо, чтобы больше писалось книг об этих славных, благородных делах.

Ваше дело печатать или не печатать мое письмо, но не написать я не мог.

С приветом

*Г.Минаев, Сосногорск Коми АССР
(«Литературная газета», 22 января 1963 года).*

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ИЗВЕСТИЙ»,
гор. МОСКВА

Я, Захарова Анна Филипповна, сотрудник Министерства Охраны общественного порядка с 1950 года. Была комсомолкой, с 1956 г. — коммунист. Прочитав произведение А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», была возмущена до глубины души так же, как, я думаю, все читатели — сотрудники МООП.

Я хотела сразу писать в Государств. Изд-ство Худ. Литературы в Москву о своем возмущении, но все как-то времени не было свободного. А прочитав еще произведение Б.Дьякова о том же самом — «Повесть о пережитом», — решила написать, хотя и дорого время. Обсуждая статью, вернее, данные произведения с читателями — работниками МООП, я слышала ото всех только возмущение, горячее, негодующее. И у меня уже не стало терпения молчать.

Ну, поймите, чем виноваты сотрудники, офицерский состав, которых так порочат бывшие заключенные, хотя они и были невинно осуждены? Тем, что они призваны партией и народом нести самое тяжелое бремя нашего времени — работу с преступным миром? Мы, сотрудники, живя на периферии, лишены всех элементарных человеческих условий против жителей городов и районов. У нас подчас нет достаточного питания, жилья, не говоря уже о благоустроенных квартирах. Настоящих школ, библиотек. О театрах и различных спортивных учреждениях уж и речи не надо вести. Это для нас роскошь.

Мы работаем, собственно, с отходами общества — преступниками. Ведь представьте себе. Работает в одном из коллективов человек. Пьянствует, дебоширит, ворует, грабит, убивает и т. д. С ним коллектив помучается, помучается и как худшего из худших, мешающего нормально жить и работать, передает его в суд. И вот эти «сливки» общества в лагере, можете себе представить, каково с ними работать? А нам приходится. А мы что, не такие же советские люди, чтобы нормально жить и работать? Разве мы не такие же, как все, не должны пользоваться благами, которые завоевали наши отцы и деды? Мы тоже хотим жить спокойно, красиво, среди нормальных условий, среди нормальных советских людей, но нас призвала партия, народ вверил нам наитяжелейшую участь, и мы несем ее ради блага всего народа, ради спокойствия его. Так почему же нас чернят? И почему наши органы разрешают издеваться над работниками МООП? Втаптывать в грязь все их заслуги? Это нечестно! Ведь у нас многие офицеры — старые коммунисты, отслужили свое и ушли на пенсию с инвалидностью от этой ужасно трудной работы. И вот оскорбляют теперь его благородный труд, на котором он оставил свое здоровье, да и собственно — жизнь, да за что?

Если бы это был уже пройденный этап — тогда другое дело. Но ведь и в настоящее время еще преступность не ликвидирована. Сейчас также наказывают преступников, также есть лагеря, только не политические, а бытовые. Также есть охрана, работники лагерей, зоны и т. п.

При чем здесь, скажем, сотрудники? Они только выполняли, что с них требовали положения, инструкции, приказы и т. д., как в любом учреждении, на фабрике, на заводе. От себя, на месте, ничего не придумывали, пользуясь бесконтрольностью или временем культа личности. Это не наша вина, не вина рядовых работников, офицеров, коммунистов и т. д., что велась такая политика. Так за что же их оскорблять? За то, что нам здесь с каждым годом становилось все труднее работать с преступным миром? Так как они (заключенные), пользуясь гуманностью нашей политики, стараются всячески поиздеваться над сотрудниками лагерей и колоний. Они в любое время и любого работника могут оскорбить при всех, и им за это ничего не будет, кроме того, что предусмотрено небольшими возможностями начальника подразделения. Заключение могут каждого из нас свободно обозвать бериевцем, наговорить такое в адрес коммунистов, что и передать нельзя. И к ним меры не принимают, нужно действовать путем разъяснения. И ему разъясняют. Но разве закоренелый преступник поймет? Есть, конечно, часть осужденных, которые ведут себя примерно. Но в основном они все настроены враждебно.

В моем письме невозможно все рассказать, как нам с ними трудно работать. А благодарности, получается, никакой. Наоборот. Напишет один из заключенных письмо и такое насочинит на администрацию, так все события одно с другим сложит, что вышестоящее руководство принимает это все за чистую правду. Посылают комиссии, представителя от прокуратуры и проч., которые всё на месте проверяют, берут объяснительные с сотрудников, допрашивают и т. д. Этим самым нервируют работников, а после выяснения получается, что — факты не подтвердились, представляете? Как здесь можно нормально работать? И таких писак много. И так вот, в лихорадке почти все время приходится работать. Да разве можно все описать, объяснить? И может только тот понять, кто сам поработает с преступным миром хотя бы год-два.

Я уверена, что все сотрудники, кто прочитал эти произведения, возмущены до глубины души. Но не откликаются или потому, что, как и я, не могут выразить это на бумаге, или некогда, так как работа по перевоспитанию осужденных занимает очень много времени. Ведь у нас многие сотрудники работают не по семь часов в сутки, как предусмотрено законом о труде, а по 10–12–14 часов в сутки. Иначе не перевоспитаешь тех закоренелых преступников, которые находятся у нас. Все свое и рабочее, и личное время сотрудники почти целиком отдают зоне, большая часть, как я ранее сказала. Я 13 с половиной лет на трассе работаю с заключенными, так же, как и мой муж майор Захаров, он уже здоровье потерял, работая с преступным миром, так как здесь вся работа поставлена на нервах. Мы бы и рады уже отдохнуть, так как муж уже отслужил свое, но не отпускают. Коммунист-офицер, долг службы обязывает. А разве мы не имеем права жить и трудиться среди положительных советских людей? Разве мы не имеем права дать своим детям настоящего воспитания, если сами ничего не видели? У меня две дочери учатся в шестом классе. Я бы хотела, чтобы они занимались — одна в балетной, другая в музыкальной школе, участвовали в различных спортивных школах, т. е. воспитывались в ногу с нашим временем. Но здесь ничего подобного нет. И нам приходится мириться. Сознание того, что ты коммунист и должен работать там, где тебя партия найдет нужным поставить, заставляет мириться с недостатками.

А нас теперь за все наши невзгоды чернят, отбивают нам руки в дальнейшем работать. Как это несправедливо!

Перейду непосредственно к произведению Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Солженицын называет оперативного уполномоченного «кумом». Что это значит? — кто ему дал право оскорблять должность, названную по штатам МООП РСФСР? Или так положено у писателей — искажать? На этой должности кто-то обязательно офицер, большей частью коммунист. И в настоящее время они есть. И действительно он насчет «кума» загнул, как сам писатель выражается. По Солженицыну выходит, что если кто-то из заключенных более сознательных и осознал свою вину пе-

ред Родины, сделает, как ему совесть позволит, т. е. скажет оперативному уполномоченному, что кто-то из преступников замышляет или побег, или убийство, или еще какое преступление, то Солженицын считает, что это «береженье на чужой крови». Вот это патриот, нечего сказать.

Я работала с контингентом 58-ой статьи, и ничего подобного не было, как пишет Солженицын. Только то и было, что некоторые заключенные, как я выше сказала, более сознательные, вскрывали оперативному уполномоченному еще ряд преступлений перед Родиной — убийц, полицаев, предателей и т. д. Так за это советский народ должен сказать только спасибо этим осознавшим заключенным. А Солженицыну, видите ли, это не нравится.

Теперь о подъеме и отбое. Подъем и отбой — это распорядок дня, и без этого в лагере нельзя. Не будет распорядка дня — не будет и порядка в лагере. Распорядок дня также предусмотрен определенной инструкцией, и как было раньше, так продолжается и теперь. Да иначе и нельзя. А Солженицын хотел, вероятно, чтобы в лагере был хаос, не существовало никакого порядка. Такого быть не может.

А вот насчет градусника Солженицын часть правильно написал. Заключенные только и поглядывают на градусник, чтобы их побольше было, на работу не ходить. Это точно. А почему же вольные граждане и в 40–45 градусов работали? А заключенные уже знали, что им положено в 40 градусов не выходить на работу, и отступлений не было. Многие саботировали, не хотели вообще трудиться, честно искупать свою вину перед Родиной. Они знают, что хоть и пролежат, но их накормят. Страна наша богатая, даст хлеба, хоть и не заработанного, что его еще трудом зарабатывать. И конечно, абсурд, что в зоне обязательно администрация повесит плохой градусник. Это выдумки заключенных.

А насчет надзирателей, как Солженицын отзывается. «Раздевись до грязных гимнастерок». Можно подумать, что это были не в формах, предусмотренных МООП РСФСР, а какие-то бродяги, которые живут на необитаемом острове без начальства, командиров и т. д.

И что значит «надзиратели — дураки»? Они службу несут, и что от них требуют, они обязаны выполнять.

А что представляет собой герой произведения? Сразу можно догадаться, кто был этот Шухов, когда он, вымыв полы в надзирательской, бросил невыжатую тряпку за печь, а грязную воду вылил на дорожку, туда именно, где ходило начальство. Это говорит о том, как он уважает советских людей — коммунистов, и как он бережет социалистическую собственность. Если каждый заключенный будет так в бараках воду лить, что останется через пять лет от него? Погниет все, и государство опять строй, готовь народные денежки. А Солженицын доволен.

Понятно, что герой произведения Шухов с таким настроением к советским людям только и надеется на санчасть, чтобы как-то увильнуть от работы, от искупления своей вины перед Родиной. А ведь он находится в исправительно-трудовых лагерях, пусть даже и невинный, так он должен, как настоящий советский человек, как коммунист, показать всем пример, зажечь остальных, а не разлагаться и других не разлагать. Да и почему, собственно, человек должен увильнуть от физического труда, пренебрегать им? Ведь у нас основа советского строя — труд, и только в труде человек познает настоящую свою силу. А здесь, как мы видим, герои этих произведений боятся труда, со страхом к нему относятся, им кажется страшным идти на лесоповал. Миллионы наших советских людей трудятся на лесоповале и восхваляют этот труд, и не под винтовкой идут, а по велению сердца идут на этот тяжелый, но благородный труд.

Теперь о «шмоне» или обысках, как правильно нужно выражаться. Они и сейчас есть, иначе нельзя. Ведь заключенные все, что можно, стремятся унести за зону и продать или променять на чай, водку и т. д. Вокруг нас работают разные вольные люди, чаще всего такие же бывшие заключенные, и они любыми средствами хотят помешать лагерной администрации строить правильную работу в лагере. Поэтому заключенные стремятся унести лагерное имущество, а ведь оно государственное, разные письма с клеветническим характером на коммунистическую партию и советское правительство, а также по разным преступным связям и т. д. И администрация обязана оградить от этого, иначе она свою миссию не выполнит, не выполнит те указания, которые предопределены о режиме и содержании заключенных. А если бы это разрешили и не делали обыска, то заключенные бы

наделали таких преступлений, что народ долго бы помнил о своей ошибке все разрешать заключенным. Ведь сами авторы пишут, что были и преступники в лагере — грабители, убийцы, контрреволюционеры и невинные, а как администрация должна была отличать, кто виноват, а кто нет? Сейчас вон у нас сидят такие закоренелые преступники, по несколько судимостей, а спроси у них, за что они сидят, они вам скажут и не моргнут, что осуждены невинно, что это суд напридумывал им преступления. И 10% примерно из всех скажут честно, что он осужден за дело. Администрация имеет приговор и обязана ему верить, только приговору, который, собственно, и исполняет.

Солженицын так в своем произведении описывает всю работу лагеря, как будто бы там и партийного руководства не было. А ведь и ранее, как сейчас, существовали партийные организации и направляли всю работу, согласно совести. Ведь никто не знал, что велась неправильная политика, проводимая Сталиным, это отражалось только на суды, что невинно осуждали по 58-ой статье, и на режим содержания: были решетки на окнах, замки на бараках, номера на одежде, а сотрудники здесь при чем? Эти же люди, что работали тогда, в основном работают и сейчас, добавилось, может быть, процентов 10, и все. И за хорошую работу поощрялись не раз. Являются на хорошем счету как работники. Вот хотя бы взять т. Лихошерстова, о котором пишет автор статьи «Повесть о пережитом». В настоящее время тов. Лихошерстов — капитан, секретарь парторганизации, трудится на сельхозе, выполняет намеченное партией мероприятие по крутому повышению сельского хозяйства. И, представляете, как ему трудно сейчас работать, когда о нем такое пишут?

Вот сейчас, например, идет такой разговор, что Лихошерстова будут разбирать, чуть ли не привлекать. Да за что? Хорошо, если это только разговор, а не исключена возможность, что и додумаются до этого. Вот уж это произведет настоящий «фурор» среди сотрудников МООП, если можно так выразиться. Разбирать за то, что он выполнял все указания, которые давались сверху? А теперь он должен отчитываться за тех, кто давал эти указания. Вот это здорово!

Получается как в русской поговорке: «Всегда стрелочник виноват!»

И какой вздор пишет Солженицын, что начальник режима носил плетку, чтобы бить заключенных! Не знаю, где такое было. Я с 1950 года до 1954-го работала с политзаключенными, и у нас наоборот, с ними только гуманные отношения были. Попробуй только кто из администрации скажи что-нибудь на них грубое, так сразу с работы снимут или еще что, не то что телесные наказания. Ведь мы все прекрасно знаем, что телесные наказания отменены с приходом советской власти, а здесь Солженицын придумывает такое, что в лагерях было такое беззаконье, бесконтрольность и издевательства, как будто бы здесь работали не советские люди. Надо понимать так, что он специально натравливает народ на органы МООП, будучи сам озлобленным на них.

Или о конвое что пишет? Да как же иначе? Ему бы доверили этот участок, он точно так же нес бы службу, а если бы распустил всех с лагеря, значит, оставил бы партбилет, отдали бы под суд и т. д. Это вполне понятно. Конвоем поручена охрана преступников, и за каждого человека он несет ответственность. Над чем здесь издеваться? Каждый советский человек на своем посту и обязан отвечать за это. По Солженицыну должно быть, чтобы конвоем распустил всех на волю, а сам сел на их место. А народ страдай. Что бы тогда было, если бы всех преступников распустили?

Или солдат он называет «попками». Да что это значит? Советский солдат — и попка. Да что это за издевательство? Их призвали в ряды советской армии, одних направили в авиацию, других во флот, этих в охрану. Не по их воле или желанию. Им зачитан устав, и они как военнослужащие обязаны подчиняться воинскому уставу, где бы они ни были. А Солженицын над ними насмехается. И сейчас также существуют конвойные войска, также несут службу по охране преступников. Выходит, солдаты виноваты в том, что их при распределении направили в лагеря? Все равно кто-то должен здесь быть. Да и мне кажется, не позорно охранять мирный труд советских людей. А по Солженицыну получается, что ниже позора быть не может.

Как Солженицын унижает ряды советской армии? И почему это ему позволили? Наши доблестные советские войска, как их народ возвеличал, у Солженицына стали попками. Народ

гордится своими солдатами, а Солженицын ненавидит их, унижает, оскорбляет. Патриот Родины!

И почему так агрессивно настроены авторы этих произведений на администрацию лагерей? Они, видимо, сами не особенно отличались здесь. Ведь не особенно нужно ума, чтобы понять, что администрация не виновник того произвола, что творился во времена культа личности. И разве авторы и их герои не могли себя поставить на место администрации? Ведь и они точно так же исполняли бы те указания, которые поступали свыше. А у этих писателей получается опять по русской поговорке: «стрелочник всегда виноват».

Или еще один момент хочется отметить по произведению Солженицына. Как он говорит о питании заключенных? «Из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь». Пишет так, как будто бы начальник лагеря в этом хозяин. Существует единая норма всесоюзная, и начальник здесь никакого отношения не имеет, ему самому сколько выпишут на заключенных, столько он и получит. Будет вдвое больше норма, будет и начальник выписывать вдвое больше. Неужели, еще раз повторяю, здесь нужно иметь очень умную голову, чтобы додуматься хотя бы до этого?

Просто удивляешься, сколько желчи в этом произведении против администрации лагеря, насмешек, издевательств, унижений и т. д. Дальше об этом же. «Здесь воруют, и еще раньше на складе воруют»... Как будто бы вольнонаемные, советские люди, работающие в лагере, все собрались воры, как будто бы здесь и честных людей нет, контроля и т. д. Здесь, наоборот, каждый работает и знает, с кем имеет дело. И сам никогда на это не пойдет, потому что уверен, что и сам там же будет. Если кто и своровал где-то, может, и были такие случаи по Союзу, в Озерном, я знаю, не было, там такие работники давно сами за проволок. А Солженицын всех подряд обливает грязью и называет ворами.

Немного о произведении Б.Дьякова.

1. Петров — начальник лагеря дал работу писателю ассенизатором, который задал вопрос: «думаете сломить?» Да кто их хотел ломать? Да и зачем, для чего, спрашивается? Это выдумки,

домыслы самих заключенных. Они всегда всё стараются по-своему понять, всё перевернуть. Просто необходимо было дать работу всем осужденным, как требует того политика трудовых исправительных лагерей. А ведь в лагере нет таких работ, чтобы с ручкой сидеть или речи держать. В основном там все физические работы. А некоторые тунеядцы, приспособленцы старались местечко выбрать тепленькое, поэтому все старались попасть в хозяйственную службу. Но ведь туда всех не пристроишь, больше положенного процента нельзя в хозлагодолге держать, а заключенные этого не понимали. И обязательно думали, что если на физические работы послали, значит, злы на них администрации, сломить хотят, — какой вздор!

2. Подъем один из надзирателей делал на час времени раньше — опять вздор! Существует распорядок дня, все рассчитано по часам и минутам, и попробуй только надзиратель или кто другой нарушить этот распорядок, так за это понесет суровое наказание. На 5—10 минут — допускаю. Может, на вахте часы испортились, но чтобы на час и сознательно — вздор!

3. Обыск под праздник, как Дьяков выражается, тоже «шмон», и ругает надзирателей, администрацию. Детство просто, и все! А при чем здесь те и другие? Это приказ единый по всему Союзу. И попробуй не выполни его. Так же, как и любой директор завода не выполнит правительственное задание.

А для чего обыск нужен? Обычно, в праздничные дни заключенные, которые особенно враждебно настроены, всегда старались делать провокации, разного рода преступления именно в праздничные дни, чтобы показать свою враждебность к советскому строю. Поэтому они заранее приготавливали разные инструменты, оружие, вот поэтому необходимо было все лишнее изымать, чтобы предупредить те преступления, которые готовили заключенные. И что здесь удивительного, что администрация требовала все по инструкции? Если что неположено хранить, изымалось. Не администрацией это было придумано, и они не от советских стражей прятали, не от работников, как он выражается о работниках лагеря. «Ведь они, советские стражи, называют себя коммунистами, комсомольцами». Они и были ими. Был бы Дьяков на месте администрации, что ж, он не стал бы подчиняться приказу? Так, что ли, надо понимать? Если бы

по всей стране так не выполняли указания, приказы, то что ж бы получилось — анархия?

4. Пишет Дьяков о начальнике управления Озерного лагеря тов. Евстигнееве.

Всеми уважаемый начальник Управления бывшего Озерного лагеря, полковник Евстигнеев сейчас демобилизовался, работает заместителем начальника Братской ГЭС. Замечательный руководитель, с высшим образованием журналиста, скромный, выдержанный товарищ. О нем все сотрудники лагеря отзываются только с величайшим уважением. Тов. Евстигнеев всегда подтянутый, внешне и внутренне. А Дьяков пишет о нем, что он приехал в расстегнутой шинели, в заломленной папахе набекрень — вздор! Если уж он хотел писать правду, так пусть придерживается ее. Наш начальник управления перед сотрудниками, тем более перед заключенными, никогда не позволит себе вольности, особенно в форме.

Всего, что есть отрицательного в произведениях Солженицына и Дьякова, не опишешь в моем письме, а у Солженицына почти все отрицательное. У них, особенно у Солженицына, скрытая ненависть к коммунистам, к работникам лагеря злорадия. У него в каждой строке разлита такая желчь, что сразу бросается в глаза, как он агрессивен настроен против всего порядка в лагере. Над этим произведением нужно сидеть специально долгое время. Для меня, конечно, и высказывать свое мнение. Я и так пишу это письмо около двух месяцев, ухватывая ежедневно по полчаса, от силы по часу в день, иногда и в неделю. Но я хочу все-таки написать, высказать, хоть и не могу, как писатель, высказать свое мнение складно, красиво, я чувствую эту несправедливость сердцем, возмущаюсь, но высказать стройно не могу вкратце. Я в своем большом письме не высказала еще и тысячной доли, что бы хотела высказать.

Я так понимаю. Критиковать период культа личности нужно и необходимо, что мы все и делаем сейчас. Но не нужно трагивать тех, кто совершенно никакого отношения к этому не имеет. Все советские люди одинаково ощущали этот период, так зачем же некоторую часть людей винить за это? Вполне понятно, что этот период — результат политики определенной катего-

рии людей, а не всего народа. Так и нечего позволять порочить МООП таким писателям, как Солженицын и Дьяков.

Прошу редакцию «Известий» поместить мою статью в газету или в журнал «К новой жизни» МООП и призвать работников МООП на обсуждение произведения «Один день Ивана Денисовича» и «Повесть о пережитом».

Я почему-то уверена, что все работники МООП чувствуют именно так, как я, в чем я убедилась, беседуя с очень многими и многими. И все, с кем мне приходилось беседовать, только одного мнения — авторитет МООП окончательно подорван перед народом, и теперь его не восстановить.

Прошу редакцию «Известий» извинить меня за мое, может быть, нескладное письмо и не по адресу, но мне не приходилось еще с таким вопросом встречаться, так что если что не так, прошу поправить меня и подсказать, куда обратиться.

С глубоким уважением к Вам

А.Захарова

Мой адрес: Иркутская область, Чунский район, пос. Лесогорск, ул. Чкалова, 9. Захарова, Анна Филипповна

P.S. Еще хочу добавить один момент. Зачем, спрашивается, такие произведения в нашей литературе с лагерным жаргоном, который просто ухо режет? Сейчас мы должны пропагандировать все самое красивое, лучшее, чистое, чтобы прививать эстетические вкусы, коммунистическую мораль нашей молодежи. А мы поднимаем из глубины всю эту грязь о преступниках, просто неприятно читать все эти лагерные выражения, клички.

В настоящее время передают часто по радио, печатают в газетах лекции и беседы на тему: «За чистоту русского языка», предлагают пользоваться языком, каким разговаривал В.И. Ленин, Горький, Пушкин и др. А мы предлагаем в наше время в произведениях лагерный жаргон. Какое воспитательное значение имеют эти произведения? Да, молодежь или дети, прочитав эти произведения, обязательно будут пользоваться этим жаргоном, ссылаясь на эти произведения. Они обязательно скажут — раз есть в литературе, значит, можно им пользоваться в своей речи. Вот тебе и чистота русской речи и культура.

1 октября 1964 года

ВОКРУГ РАССКАЗОВ

*О рассказах «Матренин двор»
и «Случай на станции Кречетовка»*

*В первом номере журнала «Новый мир» за 1963 год
были опубликованы два рассказа А.Солженицына:
«Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка»,
а в седьмом номере — рассказ «Для пользы дела».
Но то, что «прощали» писателю, пока он говорил
о прошлом, — того не захотели прощать,
чуть только он заговорил о времени и обстоятельствах,
критика которых не была санкционирована свыше.*

Константин Лагунов

<...> **НАШЛИСЬ** люди, которые поспешили расставить вехи не вдоль широкой столбовой дороги развития советской литературы, а вдоль извилистой тропинки, ведущей в гиблое болото формализма, субъективизма, худосочного схематизма.

Что за вехи расставили они?

Это «Люди, годы, жизнь» И.Эренбурга, «По обе стороны океана» В.Некрасова, «Звездный билет» и «Апельсины из Марокко» В.Аксенова, «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка» А.Солженицына, «Бабий яр» Е.Евтушенко.

Что роднит эти произведения, разные по содержанию и форме? Они искажают нашу действительность, нарочито выпячивая ее теневые негативные стороны. <...>

Как-то недавно мне довелось беседовать с одним любителем литературы. Защищая «Матренин двор», он воскликнул: «Но ведь это правда. Солженицын написал то, что видел».

Не спорю. Больше того, я тоже уверен, что Солженицын видел все это. Но все ли увиденное есть правда? И всякая ли правда является правдой жизни?

*Из статьи «Вехи в пути»
(«Тюменская правда», 17 марта 1963 года).*

Семен Бабаевский

<...> В этой связи уместно сказать, что описывать плохое, темное и грязное значительно легче, чем воспевать хорошее, светлое и чистое. Легче показать опустошенность души, нежели ее величие и красоту. Всегда легче очернять, нежели обелять, легче разрушать, отрицать, нежели строить и утверждать новое. Чего проще взять, скажем, старуху Матрену, как это сделал А.Солженицын в рассказе «Матренин двор», и нарисовать ее

жизнь сплошь черными красками, и представить дело так, будто тут всему вина колхозный строй. Не видеть тех удивительных перемени, которые произошли в деревне благодаря колхозному строю, значит быть человеком слепым, значит обижать колхозников и колхозниц, таких, как Надежда Григорьевна Заглада, а их в стране миллионы. Но писателю в данном случае, надо полагать, нет дела до того, кого он радует и кого обижает и оскорбляет.

*Из статьи «Партия и литература»
(«Советская Кубань», Краснодар, 19 марта 1963 года).*

В. Панков

Недавно в устном выступлении на собрании критиков один из них, А.Македонов, теряя чувство реальности, провозгласил гениальным писателя, только что опубликовавшего повесть и два рассказа.

*Из статьи «От первой книги — только вперед!»
(«Комсомольская правда», 21 марта 1963 года).*

С. Павлов (первый секретарь ЦК ВЛКСМ)

Под предлогом борьбы против последствий культа личности и догматизма некоторые литераторы, кинематографисты, художники стали как-то «стесняться» говорить о высоких идеях, о коммунизме. Жонглируя высоким понятием «жизненная правда», извращая это понятие, они населяют свои произведения людьми, стоящими в стороне от больших общественных интересов, погруженными в узкий мирок обывательских проблем. И вот этих-то мещан иные авторы изображают с наибольшей симпатией!

Вред подобных произведений для воспитания молодежи очевиден. Подростку, не имеющему жизненного опыта, трудно критически разобраться в таких ущербных персонажах, тем более, что школа приучает его видеть в писателях авторитетных наставников. Вот и приходится нашим педагогам воевать с дурным влиянием некоторых книг, предназначенных для молодежи. Зато буржуазная пропаганда охотно берет такие произведения на вооружение, широко переводит и рекламирует их. На VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов представители американской, французской, итальянской и других делега-

ций рассказывали нам, что молодежь их стран часто спрашивает: почему в жизни мы встречаем хороших советских людей, а в некоторых советских книгах пишут совсем о других? И действительно, стоит почитать мемуары И.Эренбурга, «Вологодскую свадьбу» А.Яшина, путевые заметки В.Некрасова, «На полпути к Луне» В.Аксенова, «Матренин двор» А.Солженицына, «Хочу быть честным» В.Войновича (и все это — из журнала «Новый мир») — от этих произведений несет таким пессимизмом, затхлостью, безысходностью, что у человека непосвященного, не знающего нашей жизни, могут, чего доброго, мозги стать набекрень. Кстати, подобные произведения «Новый мир» печатает с какой-то совершенно необъяснимой последовательностью.

*Из статьи «Творчество молодых — служению великим идеалам!»
(«Комсомольская правда», 22 марта 1963 года).*

Виктор Полторацкий

Автор с глубоким сочувствием изобразил в этом рассказе горькую жизнь и слепую бессмысленную гибель своей квартирохозяйки Матрены Васильевны.

<...> Но в рассказе получилось как-то так, что вообще уклад деревенской жизни направлен к тому, чтобы причинять праведнице Матрене страдания и в конце концов привести ее к гибели.

<...> И вот, хотел того или не хотел А.Солженицын, но, усугубив страдания своей героини, он создал образ безропотной «Матрены-великомученицы», который вполне естественно вписался бы в бунинскую «Деревню» с ее беспросветностью бессмысленного и скудного бытия. Да и в самой сегодняшней деревне писатель как бы не заметил черт нового времени.

Думается мне, что тут дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть. И очень жаль, что именно талантливый человек выбрал такую точку зрения, которая ограничила его кругозор старым забором Матрениного двора. Выгляни он за этот забор, и в каких-нибудь двадцати километрах от Тально-ва увидел бы колхоз «Большевик» и мог бы показать нам праведников нового века — людей, вдохновенно преобразующих землю, утверждающих новые коммунистические отношения в общественной жизни.

Конечно, у каждого писателя есть право изображать то, что он хочет; но у него есть также и обязанности перед тем, к кому он обращается, для кого он пишет. Он должен понимать свое время, чувствовать его дух, его устремление и идеалы.

*Из статьи «Матренин двор и его окрестности»
(«Известия», 29 марта 1963 года).*

А. Дымишиц

А. Солженицын и в этом рассказе выступает как талантливый писатель. Но как же здесь узок угол авторского зрения, как тесны рамки показанной в рассказе жизни! Низкий «потолок» у этого рассказа, над ним не видно неба, света нашей жизни. Живет Матрена — страдальца, праведница. А вокруг нее почти одни духовные уроды, хищные стяжатели — люди, на которых словно бы никак не отразилось время, отмывшее многие крестьянские души от скверны мелкособственнических инстинктов.

Да, тяжело жила в ту пору деревня, голодно жила, во многих селах оставила свой страшный след вражеская оккупация. Видал я именно в 1953 году деревню, оставляющую очень грустные впечатления. Но в ней же я видел крестьян по-настоящему деятельных, почувствовал золотые сердца, уловил возможности улучшения жизни, которые в скором времени развернулись в новых исторических условиях. И это был не просто житейский случай, а жизненная правда. У А. Солженицына же все наоборот: жизненная правда обужена до житейского случая. И нельзя согласиться с писателем, что тип народного праведника, который он поэтизирует в образе Матрены, есть основа и опора всей земли нашей. Самый тип этот, если он и дожил до пятидесятих годов, есть не что иное, как анахронизм. И советская деревня, советская земля стоит и держится не на праведниках-страдальцах, а на активных творцах, на людях, способных, возделывая почву, переделывать мир. Писатель взглянул на жизнь с позиций отвлеченных нравственных представлений и сузил картину действительности, не заметил в характерах новых черт, рожденных эпохой.

*Из статьи «Рассказы о рассказах, заметки о повестях»
(«Огонек», 1963, № 13, с. 30).*

А. Семенова (завуч 6-й средней школы, учительница литературы)

<...> В отдельных произведениях писателей (Эренбург, Аксенов, Солженицын — «Матренин двор», Бондарев — «Тишина») тоже заметно отступление от главной линии, линии партийного воспитания читателя на бесконечных примерах трудового энтузиазма советского человека — строителя нового общества, в сторону надуманной неудовлетворенности жизнью, в сторону нарочитой обедненности психологии советского человека, в сторону копания в житейском мусоре.

*Из статьи «Фальшивым голосом»
(«Советская Клайпеда», Клайпеда, 9 апреля 1963 года).*

В. Колесов (агроном колхоза имени XVIII партсъезда Гатчинского района, Ленинградская область)

Вот и ходит любитель отбросов вокруг да около мусорной кучи, трепещущими ноздрями обоняет ее зловоние, со всех сторон наводит на нее фотообъектив. А попробуй сказать ему, что неправильно, мол, господин хороший, жизнь нашу изображаешь, — крику не оберешься:

— Как неправильно? Фотография не соврет! Это документ-с, это — правда-матка, как по-русски говорится...

И не докажешь ему, что не правда это, а ее подобие, которое скорее смахивает на кривду и клевету.

Как это ни горько, но некоторые наши писатели, посвящающие свое перо аграрной тематике, авторы всех этих «Матрениных дворов» и «Вологодских свадеб», стали за последнее время разительно напоминать заморских любителей нашего мусора.

Берут они самые исключительные по своей неприглядности обстоятельства из жизни деревни, выискивают в колхозной семье самых паршивых овец и говорят:

— Вот оно, смотрите, наше село, и вот его герои.

*Из письма в редакцию «Действительно, вокруг да около»
(«Советская Россия», 13 апреля 1963 года).*

В. Бушин

Вскоре после «Одного дня Ивана Денисовича» появились рассказы Александра Солженицына «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор».

Оба рассказа написаны с той же большой изобразительной

силой, что и «Один день...», в обоих рассказах перед нами снова живые, своеобразные характеры, и тот и другой рассказ читаются с неослабевающим интересом. <...>

Мы говорили, что в повести «Один день...» выбор автором главного героя сделан чрезвычайно удачно и точно, что именно такой выбор помог Солженицыну с наибольшей силой и глубиной выразить антинародную сущность культа личности.

То же самое мы беремся утверждать относительно рассказа «Случай на станции Кречетовка» и его главного героя.

Тема рассказа в сущности та же, что и в повести: культ личности, пагубное влияние его атмосферы на жизнь, на людей. Но на этот раз жизненный материал произведения совсем иной, и тема внешне решается совсем иначе, гораздо тоньше: в рассказе нет ни лагеря, ни конвойных, ни колючей проволоки, лишь в самом конце, в последних абзацах один-единственный арест...

<...> Писатель мог показать лейтенанта Зотова, погубившего честного человека, ограниченным, тупым службистом, бюрократом и шкурником, существом черствым и бездушным — и мог бы сказать нам: вот, мол, типичное порождение культа личности. Такое художественное решение вполне возможно, вполне правомерно, оно нередко встречается ныне в произведениях искусства, в той или иной мере затрагивающих тему культа личности, например, в фильме «Чистое небо» Г. Чухрая, в романе «Гранит не плавится» В. Тевекеляна и т. д. Это решение с позиции «эстетики самородков».

Имея теперь некоторое представление о характере художественного дарования А. Солженицына и его эстетической позиции, мы вправе ожидать, что и на этот раз он примет иное творческое решение — такое, которое основывалось бы на «эстетике песчинок».

<...> Образом Зотова, человека в основе своей положительного, имеющего так много в душе своей хорошего, доброго, чистого, как и образом Ивана Денисовича, писатель подводит нас к мысли об антинародной сущности культа личности, о его уродующем влиянии даже и на здоровые, нравственно чистые натуры.

Новое по сравнению с повестью «Один день...» заключается здесь в том, что писатель не только рисует, как атмосфера

культа личности уродует нравственно здоровую натуру, но и показывает, как такая натура в этой атмосфере невольно может стать орудием зла и произвола. Это шаг вперед в художественном разоблачении культа личности. Именно поэтому выбор героя и на этот раз представляется нам чрезвычайно убедительным и удачным.

*Из статьи «Герой — жизнь — правда»
(«Подзем», 1963, № 5, с. 116–117, 120).*

Беда рассказа «Матренин двор» усугубляется еще и тем, что трудная, безрадостная, без всякого просвета жизнь не встречает никакого противодействия со стороны героини. И эта пассивность, покорность судьбе, неумение да и нежелание постоять за себя, за свои права овеивается ореолом праведничества, возводится в ранг человеческой доблести. «Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село. Ни город. Ни вся земля наша». Такая философия решительно расходится не только со смыслом всей жизни нашей, но и с героическими традициями русской литературы, видящей духовную красоту человека из народа отнюдь не в рабской покорности судьбе.

*Из редакционной статьи «С партией, за коммунизм!»
(«Дон», 1963, № 5, с. 163).*

М. Михайлов

Это было необычное собрание. Колхозники артели им. Ленина на этот раз собрались в свой Дом культуры не для обсуждения очередных хозяйственных задач. На повестке дня — разговор о рассказе А. Солженицына «Матренин двор» и очерке Ф. Абрамова «Вокруг да около», опубликованных в первых номерах журналов «Новый мир» и «Нева».

Колхозники артели им. Ленина, ознакомившись с рассказом и очерком, оценили их как произведения, искажающие нашу действительность.

<...> «Писатель ответствен перед народом. Народ вправе требовать от своих писателей произведений, достойных нашей героической эпохи» — таково единое мнение колхозников.

— Пусть писатели больше бывают среди народа. Пусть они

приезжают в наш колхоз и посмотрят на нашу зажиточную жизнь, — сказала колхозница Т.Д.Куропятникова.

*Из статьи «Создавайте произведения, достойные нашей эпохи!»
(Слово колхозников о долге писателя)»
(«Волгоградская правда», Волгоград,
21 мая 1963 года).*

И.Мотяшов

<...> Гибель солженицынской Матрены неизбежно подготавливалась всей логикой ее существования, исключавшего какое бы то ни было противодействие силе использующих ее «абсолютную» доброту тунеядцев. Просчет В.Тендрякова и А.Солженицына был не в обращении к таким характерам, а в некоей аберрации писательского зрения: идеалом было ошибочно провозглашено то, что уже вследствие своей нежизнеспособности, многократно подтвержденной общественно-историческим опытом, идеалом быть не могло.

*Из статьи «Правда и “правдочка”»
(«Литературная газета», 4 июля 1963 года).*

В.Перцовский

<...> Тем не менее время культа личности все-таки оказывало влияние на ребят этого поколения — в особенности на тех, кто ничего не знал об арестах и убийствах невинных людей, для кого, как для Зотова в рассказе А.Солженицына «Случай на станции Кречетовка», тридцать седьмой год был только годом «испанской войны».

Собственно говоря, жизненное содержание рассказа значительно шире самого «случая». Тема так значительна и широка, что ее сведение к случаю с Тверитиновым кажется нам несколько искусственным; этот случай не концентрирует всех мыслей и чувств, которые вызывает первая часть рассказа; и в этом, пожалуй, главное его противоречие.

Но и взятый лишь в плане «случая», рассказ достаточно содержателен.

<...> Трагедия Зотова — трагедия *незнания*; это мы, читатели, теперь знаем подлинный смысл его поступка, его трагические последствия, и никак нельзя, как это делают некоторые, с

высоты нашего знания обвинять героя за его незнание. В чем вина Васи Зотова? В том, что он верил Сталину, верил тому, чему его учили: враги всюду, нельзя доверять никому? И когда это все вдруг нахлынуло на него — как тут устоять тоненькой ниточке человеческих отношений...

Нет, не осуждения, а сожаления достоин Вася Зотов: он в полном смысле слова «не ведает, что творит». Возникает классическая ситуация древнегреческой трагедии: вина без вины, добро совершает зло... Но эта ситуация вызывает у нас не бессильный упрек всемогущей судьбе, а неудержимый гнев против тех, кто обманывал таких светлых и чудесных ребят, как Вася Зотов, кто внес в нашу жизнь обман и ложь, освятив их великим именем Революции.

Смутная тревога, сомнения, вошедшие в душу Васи Зотова, — это в наших глазах первый шаг к преодолению трагедии, к прозрению; каждый советский человек рано или поздно совершил этот шаг, и общим итогом этого прозрения было изгнание из нашей жизни обмана, лжи и жестокости, преступно искажавших облик нашей действительности, наших людей.

Трагедия на станции Кречетовка не уничтожает того чистого и верного революции Васи Зотова, который так искренне, так ярко нарисован автором; она лишь *случай* в его жизни.

*Из статьи «Сила добра»
(«Вопросы литературы», 1963, № 11, с. 36, 37–38).*

В.Сурганов

В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрены вызывает у нас внутренний отпор, сколько откровенное авторское любовное нищенское бескорыстие и не менее откровенное стремление вознести и противопоставить его хищности собственника, гнездящейся в окружающих ее, близких ей людях.

*Из статьи «А надо помнить...»
(«Москва», 1964, № 1, с. 205).*

В.Труфанова

Рассказ вызывает чувство боли, протеста против той не-

справедливости, что обеднила духовный мир Матрены и в конце концов раздавила ее. Он учит гневу, а не смирению.

При чем же здесь бунинский «Суходол» и чеховские «Мужики»? Ведь это рассказ не о деревне, а о попорченной жизни.

Да если уж говорить о деревне тех лет, то все правда у Солженицына! И нет в рассказе никаких преувеличений. Если бы деревня была не такова, то что же в ней понадобилось бы исправлять?

*Из статьи «Политик, гражданин, художник»
(«Литературная Россия», 31 января 1964 года).*

Аркадий Первенцев

Да, на Кубани могут в пух и прах разбить никчемные доводы сторонников мутного взгляда на действительность, тех, кто ищет ответы на свои вечные сомнения в кофейной гуще «Матрениных дворов». Нечего заниматься гаданиями, когда вокруг блещет искрометная жизнь, бурлит энергия, и конфликты, естественно возникающие, как и в любой диалектической среде, взбуравлены в водовороте действительных, а не измышленных событий и, в конце концов, разрешаются в броске вперед, а не в топтании на месте, в унылом самораскапывании.

*Из статьи «Высокая миссия литературы»
(«Советская Кубань», 7 июня 1964 года).*

В. Баранов

<...> Между прочим, порою рассказы, наиболее интересные и острые по своей проблемности, отличаются рыхлостью, некомпактностью построения — к примеру, «Случай на станции Кречетовка» А. Солженицына. В нем центральный эпизод напоминает город, состоящий почти из одного пригорода, — предистории, которая слишком растянута, как-то автономна по отношению к главному событию.

*Из статьи «За жанровую определенность»
(«Литературная Россия», 3 июля 1964 года).*

В лучших произведениях о жизни тружеников села определяющим является утверждающее начало, и тем они отличаются,

например, от бесысходно-мрачных очерков Ф. Абрамова и П. Ребрина или от рассказа «Матренин двор».

*Из редакционной статьи «Искусство героической эпохи»
(«Коммунист», 1964, № 10, с. 33).*

Д. Стариков

Критике, ограничивающейся отвлеченными нравственными категориями, почти нечего сказать, к примеру, и о рассказе А. Солженицына «Случай на станции Кречетовка», — разве что констатировать, что умный, честный, совестливый герой его, лейтенант Вася Зотов, оказался в силу обстоятельств невольным пособником тех, кто насаждал в годы культа личности нравы взаимной подозрительности.

Отчаянный крик задержанного лейтенантом окруженца: «Ведь этого не исправишь!», многозначительная фраза следователя из узловой комендатуры, который на вопрос о судьбе Тверитинова отвечает: «Разберутся с вашим Тверитиновым (!). У нас брака не бывает», — бросают столь сильный трагический свет на фигуру Зотова, что вроде бы и в самом деле ничего другого нет в рассказе, кроме «случая», раскрывающего драму исторической ограниченности человека прекрасного, нравственнейшего, добрейшего и все же оказавшегося орудием жесточайшего беззакония, «винтиком» бездушной машины... И «мораль», которую можно отсюда вывести, кажется, звучит в полном согласии с нашим лозунгом «Человек человеку друг, товарищ и брат», вполне соответствует новому этапу нашей жизни, навсегда покончившему с беззакониями и произволом, с атмосферой «сверхбдительности» в силу якобы все обостряющейся классово-борьбы в стране победившего социализма.

Но парадоксально, что такое прямолинейное истолкование рассказа представило бы его в качестве произведения... крайне безнравственного! Ведь Зотов, поставленный в жесткие рамки своего времени, воспитанный в духе тогдашних представлений да к тому же находясь в условиях жестокой войны, когда и в самом деле нужна, необходима была особая бдительность, не мог поступить иначе. Видеть в этом историческом парадоксе современное содержание рассказа?! Хороша была бы борьба с последствиями культа личности, исходным принципом которой оказа-

лось бы признание его фатальной неодолимости... Хороша была бы нравственность, фетишизирующая обстоятельства, которые, по древнему изречению, «сильнее нас»... Хороши были бы ленинцы, революционеры, ратоборцы справедливости и чести, с серьезной, даже не без трагедийности, миной повторяющие нечто очень похожее на староинтеллигентское, высмеянное еще лет сто назад революционными демократами: «среда заела»...

Парадоксально также, что свести «Случай на станции Кречетовка» к проповеди взаимного доверия значило бы признать и очевидную в таком разе художественную неполноценность рассказа, его композиционную нецелестремленность: на самом деле, не растянута ли, не отягощена ли подробностями вся «предыстория» «случая» с Тверитиновым, занимающая добрых две трети текста? Не мог ли автор лаконичнее, без очевидных отклонений в сторону раскрыть и обстановку действия, и характер лейтенанта Зотова, чтобы нам ясна стала неслучайность происшедшего с ним «случая»? Что за охота скрупулезно, со вкусом, детальнейшим образом повествовать сперва про разные «другие случаи» из комендантской жизни и работы на станции Кречетовка: про то, как окруженцы атаковали эшелон с мукой и что по этому поводу думает тетя Фрося да старик Гаврила Никитич, и почему не стал Зотов жить у Авдеевых, и про радости и беды двух конвоев — транспорта 95 505 и транспорта 71 628?..

Стоит, однако, покинуть мнимо высокую абстрактно-нравственную точку зрения на рассказанный А.Солженицыным «случай», как все эти, неизбежные при ней, социальные и эстетические парадоксы развеются в дым.

Нет, не умен, не честен, не совестлив Вася Зотов — человек, которому «стыдно» стало возможной сплетни насчет любовных на него притязаний квартирантки Авдеевых, завстоловой Антонины Ивановны, «ненавистна» стала ее «откормленная воровская сытость», когда покусилась Антонина Ивановна на его постельную чистоту, и не стыдно, не ненавистно было до этого «случая» жить рядом с ней, терпеть на земле наглую и подлую воровку, греющую руки на горе народном (как позорно бежит Зотов ночью из своей комнаты, подхватив вещмешок и «ремень, отягощенный пистолетом!»); человек, который «ненавидит, как фашистов», людей типа Саморукова, кладовщика и ларечника

станционного продпункта — «здорового, раскормленного волка» с «жирными руками колбасника» — и ничего-ничегошеньки не может сделать, чтобы, не задерживая до утра, отоварить аттестаты транспортного конвоя, голодающего уже одиннадцатые сутки (как и в самом деле «подло» робеет он перед наглостью и перед тем, что «продпункт не подчиняется дежурному помощнику коменданта!»); человек, который по ночам штудирует первый том «Капитала» и мечтает «почему Сталин не издаст указа — таких Саморуковых расстреливать тут же, в двух шагах от ларька при стечении народа»...

Словом, высоконравственный и человеколюбивейший Зотов, душевный и правдивый, способный к самоотречению и самопожертвованию, не умеет практически претворить в жизнь высшие свои нравственные идеалы, оказывается бессильным перед реальностью, перед сложностью жизни, не может принять на себя никакой ответственности, кроме мизерной на фоне проходящих через его бытие людских судеб, нимало не помогающей им ответственности за себя, и только за себя! Думается, критике было бы бесполезно порассуждать о чистом и добром либерале Зотове, который столь же далек от жизненных требований современной, коммунистической нравственности, как далек был от идеала революционной демократии памятный всем нам «русский человек на rendez-vous», с таким блеском разоблаченный Чернышевским.

*Из выступления «Реальная нравственность»
(«Вопросы литературы», 1964, № 7, с. 29–30).*

Б.Сарнов

<...> Выражено то, что стало «фокусом», центром художественной и философской коллизии рассказа А.Солженицына «Случай на станции Кречетовка». Это рассказ о том, как человек, аскетически-честный, но принимающий упрощения за непреложные истины, посылает на верную смерть другого человека, не только ни в чем не повинного, но даже внутренне ему близкого, вызывающего у него искреннюю симпатию и смутное, неосознанное уважение.

Рассказ А.Солженицына — это рассказ о том, что хороший, честный человек, одушевленный ложной идеей, может

совершить преступление, ни на секунду не ощущая себя преступником.

Д.Стариков пытается нас убедить в том, что Василий Зотов — жалкий слизняк и законченный мерзавец. Какой убого-схематичной, фельетонно-плоской была бы идея трагического рассказа А.Солженицына, если бы это было правдой!

Пафос этого рассказа в том, что слепая одушевленность идеей не должна заглушать нравственное чувство. Это не только естественная норма нравственного поведения человека. Это в то же время и самая разумная, самая правильная норма его социального поведения. Такова потребность здорового общества. Потребность, диктуемая социальной гигиеной, потому что государственный деятель, который видит смысл своей деятельности в том, чтобы пропагандировать всеобщую подозрительность и недоверие, на деле подрывает социальные устои того государства, интересам которого он якобы служит.

Нравственное чувство человека, заставляющее его сомневаться в правильности своих поступков, вроде бы и нормальных с точки зрения принятой морали, — сигнал социального неблагополучия.

Сила нашей литературы в том, что она художественно осознала, осмыслила и обнажила взаимозависимость, глубокое диалектическое единство нравственного и социального бытия человека.

*Из выступления «Это было невозможно 10 лет назад»
(«Вопросы литературы», 1964, № 7, с. 35–36).*

А.Коган

Но когда признание социальной детерминированности доводится до фатализма, когда ссылаются на обстоятельства, чтобы уйти от личной ответственности за выбор *своего* пути в этих обстоятельствах, — это опасная позиция. К чему она может привести, хорошо показал А.Солженицын в «Случае на станции Кречетовка». Д.Стариков говорил здесь о персонаже этого рассказа Зотове, что это просто плохой человек, что настоящий, корчагинского типа коммунист и тогда не поступил бы так, как Зотов. Нет, дело сложнее. Зотов — не урод, а один из хороших людей своего времени, человек, который не ждет от революции

ни почестей, ни наград. <...> И в то же время он... сын своего времени, со всеми его сильными и слабыми сторонами; готовность отдать за революцию собственную жизнь доходит у него до пренебрежения чужими судьбами, бдительность — до подозрительности, и живой человек становится жертвой догмы, которую сам Зотов искренне считает революционной, и не он один тогда так считал, «тут ни убавить, ни прибавить — так это было на земле».

Наша сегодняшняя переоценка Зотова — это наша *вчерашняя* этика перед судом *современности* — судом, ведущимся с той исторической высоты, на которую нас подняли XX и XXII съезды КПСС.

И вот здесь моя полемика с Д.Стариковым приводит меня уже к непосредственной теме нашего разговора — о чертах литературы последних лет.

Эволюция героя — вот одна из этих черт.

*Из выступления «Герой и время»
(там же, с. 36–37).*

Г.Бровман

Итак, демократизация не в воспроизведении пассивности и непротивленчества, свойственного Матрене, а в утверждении и развитии коллективизма, общественного интереса, инициативы и энергии советского человека, строителя нового мира. Воспевайте Матрену и подобных ей сколько вам угодно, только не связывайте свои мадригалы с идеями XX партийного съезда и демократизацией нашей жизни и литературы. Никто не оспаривает права писателя рассказать и о Матрене, но не нужно при том бить в литавры. Для сего нет никаких оснований!

*Из статьи «Образ современника»
(«Наш современник», 1965, № 1, с. 111).*

Анна Ахматова

Когда вышла его большая вещь («Один день Ивана Денисовича»), я сказала: это должны прочесть все 200 миллионов. А когда я читала «Матренин двор», я плакала, а я редко плачу.

*Из статьи Никиты Струве «Восемь часов с Анной Ахматовой»
(Анна Ахматова. Сочинения. Т. 2. Мюнхен,
Международное литературное содружество, 1968, с. 343).*

В.Лакшин

<...> Критик, который любит «квалифицировать», но не любит анализировать, спешит вычитать из романа «идею», ему не терпится найти в тексте то место, где она прямо сформулирована. И обнаружив такую авторскую «формулу» или то, что показалось ему «формулой», он со злорадством или восторгом демонстрирует ее, считая дальнейшие разговоры лишними.

Так было, например, с рассказом А.Солженицына «Матренин двор», где автор имел неосторожность вспомнить к случаю старинную мудрость пословицы — «не стоит село без праведника». А-а-а, так вот кто его герои, он воспекает праведничество... И критика уже не интересуется произведение как органическое целое, не интересуется полнота его художественного содержания — для того, чтобы надлежащим образом «квалифицировать» рассказ, и этого достаточно.

Но в таком случае стоит ли затрудняться, скажем, разбором романа «Анна Каренина»? Достаточно взглянуть на эпиграф — «Мне отмщение, и аз воздам», — чтобы судить об идее и достоинствах сочинения Толстого.

Могут сказать, что пример неудачен: Толстой есть Толстой, недостижимая вершина, — к нему другая мера и подход иной. Это верно, но все это узнается обычно лишь издали, а современники судят проще. Не могу удержаться, чтобы не привести отрывок из частного письма 1876 года, когда «Анна Каренина» только еще печаталась в журнале. «Роман этот, — писала Ф.Достоевскому учительница из провинции, — настолько всех занимает, что вам следовало бы высказаться на его счет, тем более что, читая “разборы” его, так и хочется сказать: “но как же критика *хавроньей* не назвать”. Как странно, что в наш век скептицизма, анализа и разрушения нет ни одного порядочного критика, это просто какая-то насмешка судьбы! Не одна критика, впрочем, богата “хавроньями”, ими богато и общество: “почему, видите ли, Толстой не описывает студентов, не описывает народ?!” Точно можно художнику, подлаживаясь под ходячие требования, писать по заказу, точно Айвазовского, положим, можно упрекнуть за то, что он рисует море и небо, а не мужика и студента...» Заметим, что письмо это принадлежит перу известной украинской писательницы и деятеля народного просве-

щения Христины Алчевской, человека демократического круга, симпатии которого к народу и студенчеству несомненны. Но в ее суждениях заметно то глубокое, неупрощенное понимание природы искусства, какое воспитывал своими статьями в русском читателе еще Белинский.

Вернемся, однако, к «Матрениному двору». Критические страсти, кипевшие вокруг этого рассказа года два-три назад, остыли, улеглись, и появилась возможность спокойно рассмотреть этот становящийся уже достоянием истории литературы эпизод.

<...> Первым, если не ошибаюсь, о рассказе А.Солженицына высказался В.Полторацкий. В статье «Матренин двор и его окрестности» («Известия», 29 марта 1963 года) с подъемом говорилось об известном колхозе «Большевик», расположенном, по расчетам критика, в том самом районе, где жила и солженицынская Матрена. Об успехах передового колхоза было рассказано с должной мерой убедительности. Но анализ рассказа Солженицына этими качествами уже не обладал.

«Думается мне, — рассуждал критик, — что тут дело в позиции автора — куда глядеть и что видеть. И очень жаль, что именно талантливый человек выбрал такую точку зрения, которая ограничила его кругозор старым забором Матрениного двора. Выгляни он за этот забор — и в каких-нибудь двадцати километрах от Тальнова увидел бы колхоз “Большевик” и мог бы показать нам праведников нового века...»

Совет хорош, но трудно исполним. Выглянув за забор, увидеть то, что находится в двадцати километрах, можно лишь при феноменальной дальновзоркости, неизбежно сопряженной, как уверяют окулисты, с неким дефектом зрения, позволяющим не замечать все иное, что встретится на двадцатикилометровом пути от Матрениной избы до околицы передового колхоза. Критик предлагает автору строго выбирать — куда глядеть и что видеть. Но разве художник не вправе глядеть всюду и видеть все, что только трогает и волнует его на широкой дороге жизни? Унизительно положение писателя, который, отправляясь в путь, заранее примеряет себе шоры, чтобы не заглядываться по сторонам.

Начальная оценка рассказа складывалась явно не без влия-

ния тех явлений, какие мы ныне называем субъективизмом, когда существовала тенденция вопреки фактам доказать, что все в нашем сельском хозяйстве идет наилучшим образом, что мы вот-вот догоним Америку по маслу, мясу и молоку. В этих условиях такие произведения, как «Матренин двор», могли только раздосадовать: зачем показывать те или иные черты неблагополучия в деревне, когда все идет так хорошо?

Читатели, которых побудила высказаться о «Матренином дворе» статья В.Полторацкого, недоумевали, почему, как только литература начинает говорить о чем-то не совсем приятном, мы спешим объявить это неприятное выдумкой или сугубой односторонностью автора, вместо того чтобы задуматься, откуда взялось то или иное отрицательное явление — в хозяйстве ли, в людях или в быту, и как его поскорее изжить.

«С повестью “Матренин двор”, — писала Е.Измествьева из Ленинграда, — я “познакомилась”, прочитав фельетон Полторацкого. Фельетон мне не понравился, было непонятно, почему автор должен непременно писать о колхозниках богатого колхоза, а другие темы, иное восприятие заказаны».

«В своем рассказе, — отмечал москвич А.Дриневиц, — Солженицын описал частную жизнь одной больной женщины, рассказал, какой была эта жизнь в тяжелые *послевоенные годы*, когда мало чего было еще и в городах, не только в деревнях... Вы жалете, — обращается читатель к критику, — зачем Солженицын тратит зря свой талант на описание столь мало значительной жизни, не лучше ли было бы взять в герои передовых людей? Так ведь об этом уже много написано. Надо же кому-то писать и об обыкновенных людях».

«Критическая статья т. Полторацкого, на мой взгляд, необъективна и тенденциозна, — писал экономист А.Л.Хазанов из Брянска. — Мне, например, рассказ Солженицына “Матренин двор” очень понравился... Тов. Полторацкий сосредоточил все свое внимание на колхозной жизни того района, в котором развигивается действие рассказа, а центральная фигура его — Матрена — волей критика перемещена на задний план. В зарисовке автора рассказа “Матренин двор” Матрена выглядит вовсе не великомученицей, а человеком праведной жизни в лучшем смысле этого слова. Ее неписанный закон — побольше дать, поменьше

взять. И все, что ни делает Матрена, она делает от души, с улыбкой, несмотря на то, что личная жизнь ее сложилась весьма неудачно».

Позиция В.Полторацкого страдала столь очевидной слабостью и была такой устарелой по аргументации («Зачем писатель показал бедный, а не зажиточный колхоз?»), что никто позднее не рискнул повторить его доводов. Однако тень неодобрения упала на рассказ, и в некоторых последующих статьях «Матренин двор» был подвергнут критике уже с другой стороны.

Приоритет в разработке новой аргументации против рассказа Солженицына принадлежал, если не ошибаемся, А.Дымшицу. Свое рассуждение о «Матренином дворе», появившееся в обзорной статье «Огонька» (№ 13, 1963), он начал как бы с энергичного опровержения положений В.Полторацкого. «Да, тяжело жила в ту пору деревня, голодно жила, во многих селах оставила свой страшный след вражеская оккупация. Видел я именно в 1953 году деревню, оставляющую очень грустные впечатления. Но в ней же я видел крестьян по-настоящему деятельных, почувствовал золотые сердца, уловил возможности улучшения жизни, которые в скором времени развернулись в новых исторических условиях. И это был не просто житейский случай, а жизненная правда».

А ведь неплохо сказано! В самом деле — разве не крайним напряжением сил труженика-крестьянина жило наше сельское хозяйство в тяжкие послевоенные годы и разве не «золотые сердца» таких людей, как Матрена, бескорыстных людей труда, внушали нам веру в народ и перемены к лучшему? Но читаем статью Дымшица дальше и глазам своим не верим. Оказывается, и воспоминания о деревне 1953 года, и слова о «золотых сердцах», столь очевидно навеянные образом Матрены, понадобились ему лишь для того, чтобы сказать: «У А.Солженицына же все (?) наоборот: жизненная правда обужена до житейского случая. И нельзя согласиться с писателем, что тип народного праведника, который он поэтизирует в образе Матрены, есть основа и опора всей земли нашей. Самый тип этот, если он и дожил до пятидесятих годов, есть не что иное, как анахронизм».

Если бы трудовое бескорыстие Матрены, ее «золотое сердце», отзывчивое на всякую человеческую боль и несчастье, ока-

зались в самом деле анахронизмом, это было бы по меньшей мере печально — и мне непонятно в таком случае ликование критика. Но я не могу и не хочу верить в то, что лучшие душевные свойства Матрены анахронизм, — иначе, пожалуй, придется подумать, что нам ближе деятельный старик Фаддей.

Впрочем, о Фаддее А. Дымшиц вообще не вспоминал; вспомнили об этом герое и своеобразно дополнили аргументацию Дымшица его молодые коллеги и единомышленники. В. Сурганов написал в журнале «Москва»: «В конце концов ведь не столько облик солженицынской Матрены вызывает у нас (как водится, В. Сурганов говорит не от себя, а от имени “наших критиков и читателей”. — *В.Л.*) внутренний душевный отпор, сколько откровенное авторское любование нищенским бескорытием и не менее откровенное стремление вознести и противопоставить его хищности собственного, гнездящейся в окружающих ее, близких ей людям. Но ведь оба эти качества — лишь две стороны одной медали: одно вытекает из другого!» («Москва», № 1, 1964).

То, что критик уравнил хищность собственного и бескорыстие труженика, названное почему-то «нищенским», могло показаться надуманным парадоксом, неудачной шуткой, — но шутка эта имела непредвиденный успех у некоторых его собратьев по перу. О «Матренином дворе» стали говорить с той самоуверенной категоричностью, которая разрешает любые домыслы и натяжки, — будто рассказа Солженицына как реальности не существовало вовсе, а существовали лишь последующие комментарии к нему. Лариса Крячко в «Октябре» (№ 5, 1964) уже не столько оценивала рассказ сама, сколько составляла свою оценку из прежде сказанного. «Матрена и Фаддей, — писала она, — две стороны одной медали (это из Сурганова. — *В.Л.*), и ясно, что характер Матрены — анахронизм (а это уже из Дымшица. — *В.Л.*), не имеющий ничего общего с активным, целеустремленным характером нашего современника. Свое здесь одно — утверждение, что образ Матрены не имеет ничего общего с характером нашего современника. Да и то свое ли?»

Хорошо известна точка зрения, согласно которой в жизни нет и не должно быть многообразия характеров, а есть один монолитный — «активный и целеустремленный» — характер наше-

го современника. Собственно, в жизни-то, может быть, встречаются и другие — только литературе не след ими интересоваться. Других мы попросту знать не хотим — что нам до какой-то больной и несчастной старухи?

Говорят, что теория «идеального героя» уже не имеет литературного и общественного кредита. Попытки создания бесплотно-идеального лика, лучащегося всеми чаемыми добродетелями, признана неудачной. Но литературные критерии, возникшие на основе этой теории, возвращенные ею суждения и оценки изживаются слишком медленно. И если ныне считается неволевым требовать от художника создания идеального характера, то укорить его за несоответствие его героев воображаемому образу — дело вполне возможное.

Однако я беру на себя смелость утверждать, что критики, мнения которых приведены выше, и рядом не ходили с настоящей мыслью «Матрениного двора». Кажется даже, что она была им просто неинтересна. Иначе как могло случиться, что связь образов, единство авторской идеи, значение в общей картине мрачной фигуры чернобородого Фаддея — все это осталось в тени, заглушенное негодованием по поводу пассивности Матрены и злосчастной поговорки о праведниках?

Увлечись разоблачением Матрены, критики не заметили, что активным, целеустремленным характером в согласии с их требованиями обладает как раз Фаддей, и не потрудились объяснить это обстоятельство. Если бы это было сделано, то сразу стало бы ясно, что Солженицын не решает в своем рассказе вопроса об активности и пассивности — как не решает, скажем, и вопроса о свободе и необходимости, о вере и безверии и т. п. Этот вопрос искусственно, извне навязан автору критикой, как могли быть, впрочем, произвольно навязаны и любые другие вопросы.

У писателя есть своя задача, своя заветная мысль, которую при мало-мальской объективности нетрудно понять. Но прежде чем говорить о ней, не следует ли вновь обратиться к самому рассказу — иначе в мелочных спорах с критикой мы рискуем оказаться от мысли писателя, как это случилось с В. Полторацким, по меньшей мере в двадцати верстах.

Мало кто, я думаю, будет спорить с тем, что «Матренин двор» и среди рассказов Солженицына выделяется строгой художественностью, цельностью поэтического воплощения и выдержанностью вкуса во всех частностях, какую не всегда удавалось сохранить этому мастеру. «Матренин двор» в читательской среде, насколько можно судить по почте «Нового мира», был принят единодушнее, чем что-либо иное у Солженицына: во всяком случае среди многих десятков писем, в которых шла речь об этом рассказе, мне не встретилось ни одного отрицательного отзыва. Легко допустить, впрочем, что кому-то из читателей рассказ и не понравился, но они промолчали. Напротив, поток горячих, сердечных писем с выражением благодарности автору еще усилился после появления упомянутых выше статей профессиональных критиков.

Нельзя сказать, что и критика вовсе прошла мимо достоинств рассказа. «Да, рассказ талантлив», — оговаривались авторы самых придирчивых рецензий на «Матренин двор». «Рассказ правдив», — признавали самые упрямые оппоненты Солженицына. Но ведь талант писателя-реалиста заключен не в каких-то красотах описаний или слога, посторонних содержанию произведения. Талант есть власть. Власть писателя забирать нас целиком и заставлять горевать и радоваться по своей воле. Власть говорить правду в глаза, живописать жизнь и людей так, чтобы, прежде незнакомые тебе, они навсегда поселились в твоей душе.

Всем надоели плоские бумажные фигурки в роли героев рассказов и повестей. Сколько-нибудь искусственному читателю не так легко внушить, что книжный герой — живой человек, не «персонаж», не «образ», а натуральнейшее, во плоти, лицо. Никаким другим путем, как только *искусством*, нельзя убедить читателя, что герой — живой. Но если уж мы в это поверили, то с презрением отвернемся от всяких попыток посмотреть на образ как на искусственное создание, в котором без ущерба можно прибавить одно и убрать другое. «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча...» (И по тому же рецепту — если бы к характеру Матрены прибавить практичности Фаддея да сознательности председательши...)

При резкой и даже порой грубой реальности изображения

рассказ построен музыкально, как стихи. Всего несколько энергичных строк зачина, где сказано, что поезда на сто восемьдесят четвертом километре от Москвы долго еще замедляли ход почти до ошупи («Только машинисты знали и помнили, отчего это все. Да я»), — и нас охватывает смутное предвестие беды, обещание чего-то горького и страшного, что трудно и не хочется вымолвить сразу и о чем лучше начать говорить неспешно и издалека.

Вернувшийся из дальних мест учитель будто просит времени оглядеться, сосредоточиться, подумать и, захватив полные легкие воздуха, отойти душой в тишине от тяжелых переживаний прошлого. Он и нас приглашает к этому спокойному и несуетному, одинокому своему размышлению, заставляет жадно, как будто впервые, радоваться красоте среднерусской природы, полям и перелескам, народному говору, самим названиям деревень — Часлицы, Овинцы, Шестимирово...

В своем узнавании людей и событий рассказчик не разрешает нам забегать вперед, а размеренно, спокойно ведет за собою, будто восстанавливая шаг за шагом то, что когда-то для себя открывал в них он сам.

<...> Разбирая рассказы Чехова, Горький заметил как-то, что в человеке чаще всего борются два стремления — быть лучше и лучше жить. Можно ли сказать, что проблема эта решена для нас и осталась целиком в прошлом? Не думаю. Напротив, чем выше будет общее благосостояние, тем острее для каждого в отдельности и для всего общества встанет вопрос: как сделать, чтобы *быть* лучше, а не только *жить*.

И не в этом ли надо видеть главный смысл торжественно и гулко падающих последних фраз рассказа, что без таких людей, как Матрена, «не стоит село» — «ни город» — «ни вся земля наша»?

Близоруких критиков смутило и перепугало слово «праведник» — так пугались слова «жупел» купчихи у Островского. Можно, конечно, спорить относительно уместности применения автором этого слова — слишком сросся с ним религиозно-поучительный смысл. Но надо при этом помнить, что народ всегда отличал праведников от угодников. «Не нужны нам праведники, а нужны угодники», — говорит ироническая поговорка. Праведники — это не только люди «праведной жизни» в церковном смысле, но и «правдивые на деле», люди правды, как толку-

ет это словарь Даля. Угодники же всегда одно — «угождающие» богу или людям. Обличая «праведников», легко оказаться снисходительным к «угодникам».

Это ли, однако, имел в виду сам Солженицын, так ли точно он думал, как это истолковано нами? Не знаю. Но что же тогда дает мне право говорить об объективном смысле рассказа с такой уверенностью? Может быть, лучше было бы все-таки заранее расспросить автора, что он хотел сказать своим произведением, — и дело с концом? Нет, по правде говоря, мне хоть и не безразлично вовсе, но не так уж важно, какое объяснение даст им написанному сам писатель. В реалистическом произведении — это отмечалось не раз — язык образов бывает убедительнее и точнее языка логики и формул. Надо только уметь правильно и непредвзято его прочесть.

Автор будто предвидел, какие перетолкования и превращения ожидают в критической литературе его Матрену, и в своем рассказе заранее дал высказаться людям стороннего и недоброжелательного о ней суда. Золовка Матрены уже после ее смерти по разным поводам вспоминала умершую, и все отзывы ее были неодобрительные: «И нечистоплотная она была; и за обзаводом не гналась; и не бережнѣя; и даже поросенка не держала, выкармливать почему-то не любила; и, глупая, помогала чужим людям бесплатно (и самый повод вспомнить Матрену выпал — некого было дозвать огород вспахать на себе сохою). И даже о сердечности и простоте Матрены, которые золовка за ней признавала, она говорила с презрительным сожалением».

В сущности, критика мало что прибавила к этим отзывам золовки о Матрене. Что такое добро Матрены, ее бескорыстие, как не одна лишь «глупость» и слабость? Глупо, что она работала на других — на родственников, на подруг, на колхоз, где ей ничего не платили, глупо, что первой вызывалась помочь, глупо, что взяла воспитывать чужую дочь — Киру, глупо, что этой Кире отдала пол-избы, глупо, что помогала ее перевозить и погибла, — кругом все глупо. Ах, как все это знакомо: добро — глупость, доверие — глупость, бескорыстная помощь — пушная глупость, — так всегда говорит нам мещанин, в понятия которого о жизни не входят ни бескорыстие, ни благородство — все это какой-то отживший и смешной хлам чувств, недостойных современного челове-

ка. К несчастью, «житейская мудрость» смыкается здесь с криво понятой теорией. Слишком долго понятия добра, милосердия, сострадания к людям находились у нас под подозрением, как проявления «абстрактного» гуманизма. <...> Весь опыт общественного развития в нашей стране показал, как надо дорожить гуманным началом социалистического общества, как важно в самых острых классовых битвах сохранить и развивать его.

Вот почему, охотно признавая иные слабости и недостатки в характере солженицынской Матрены, мы высоко ценим нравственную основу ее характера, доброту и гуманность трудового человека.

Матрену укоряют за то, что она будто бы пассивна, бездеятельна, тогда как настоящий герой должен быть активен. Нам тоже по душе активные, деятельные люди. Но в применении к реальной жизни со всей конкретностью ее обстоятельств вопрос этот несколько сложнее, чем кажется.

Начать хотя бы с того, что сама по себе «активность», «деятельность», безотносительно к ее целям и качеству, не может считаться добродетелью. Старик Фаддей куда как «активен» — предприимчив, суетлив, деятелен, значит ли это, что он более «наш», чем безропотная Матрена? Мы справедливо протестуем против абстрактного понятия «добра», но ведь абстрактный «активизм», культ силы, потерявшей нравственные ориентиры, еще опаснее и разрушительнее.

Критики долго вспоминали по разным поводам хлесткую фразу молодого поэта: «Добро должно быть с кулаками». Иные рассуждения на этот счет явно клонились к тому, что главный признак добра — кулак. Были бы кулаки, а насчет своей доброты нам нечего опасаться.

Да, бездеятельное добро выглядит жалко. Но не надо дело и так понимать, что активность, воля — во всех случаях жизни качества высшие и более существенные, чем доброта.

Показателен в этом смысле один критический отзыв. Желая защитить рассказ Солженицына, Л.Жуховицкий истолковал его так: «...независимо от первоначальных намерений художника, рассказ показал бессмысленность, обреченность и даже аморальность праведнической морали, несмотря на прекрасные душевные качества самой Матрены. И не желание подра-

жать ей вызывает великолепно написанный образ старой крестьянки, а мысли довольно мрачные. Сколько зла на планете творится послушными руками таких вот праведников!» («Литературная Россия», 1 января 1964 года).

Тут что ни слово, то недоумение: почему доброта и бескорыстие Матрены бессмысленны, аморальны? И кто сказал, что мы должны «подражать» ей? И какое, наконец, зло творится ее «послушными руками»? Можно даже подумать, что не Фаддея мы должны больше всего ненавидеть в рассказе Солженицына, а именно Матрену, Матрену, которая всегда жила «в ладу с совестью своей», всю жизнь работала, помогала людям.

Сильно и резко прозвучавшая концовка рассказа — «не стоит село без праведника» — помешала понять его тем, кто кидается на формулы, «выжимки» и оставляет в стороне само искусство. В противном случае легко было заметить, что если Матрена и «пассивна», то пассивна она прежде всего по отношению к своей личной выгоде — поросенка не держала, «за обзаводом не гналась», имуществом своим не дорожила. Но как упрекнуть в пассивности женщину, которая взяла на воспитание чужого ей ребенка и стала ему настоящей матерью, как назвать «пассивной» женщину, безотказную в труде, в помощи соседям или колхозу?

<...> Я думаю о тетке Матрене: сколько вынесла она и выстрадала, скольких обула и накормила, — и пахала, впрягшись в соху, и в заимки ходила копать картошку, и не разгибала спины в войну. И всякий раз в случае неудач и стихийных бед не к этой ли тетке Матрене обращались мы за выручкой и за помощью, и она никогда не отказывала в ней, как не отказала председателю.

Но вызывает ли она «желание подражать ей», может ли она служить нравственным идеалом? — слышу я протестующие, возбужденные голоса Жуховицкого, Крячко или Дымшица. И спешу ответить: увы, она слишком далека от «идеала» — суеверна, малограмотна, обременена предрассудками... Но только все это не повод, чтобы литературе не замечать ее и не говорить о ней с глубоким уважением, сердечным сочувствием.

Матрене присуща «социальная инертность», заметил один критик. Может быть, это и не вполне верно, потому что отношение к труду — это ведь тоже социальное качество, и в нашем об-

ществе важнейшее. Но надо согласиться, что по части общественного сознания Матрена сильно уступает передовым героям нашего времени — энтузиастам, активистам, борцам. Нет у нее ни подлинной сознательности, ни широты идейных горизонтов. Только вот какой отсюда следует вывод? Будем ли мы винить ее за это? Или будем винить автора, что решился показать нам такого героя? А не умнее ли попробовать разобраться, отчего Матрена такая, а не иная, что определяло ее характер, ее сознание? Насколько выше или ниже (мы, кажется, убедились все же, что выше) ее сознание, чем у многих ее односельчан?

И если говорить о некоей «идейной ограниченности» Матрены, то не надо ли задаться вопросом: а что могла она, что от нее зависело? «Все! — ответит иной критик. — Все зависит от энергии и усилий простого человека». Но ведь, не говоря уж о старости Матрены и ее болезнях, сделавших ее инвалидом, существуют некоторые объективные, в том числе материальные, условия, от которых прямо зависит прогресс сознания. Матрена долгое время работала в колхозе не за деньги — за «палочки», «за палочки трудодней в замусоленной книжке». Так, может быть, она сама виновата, что за «палочки» работала, может быть, в этом и есть беда ее низкого сознания?

Вряд ли наши критики это имели в виду. Но тогда чего стоят их укоры?

<...> Я думаю, что сила Солженицына как художника заключается как раз в том, что он, не в ущерб трезвой правде изображения, умеет давать человечески симпатичные, положительные фигуры; он любит людей, любит своих героев, и читатель откликается на это живое чувство. Но авторское понимание жизни, его «идеал» проявляются не в одном каком-то лице или одной нравоучительной сентенции, а в общем строе рассказа, в расстановке фигур, в их освещении, в бесчисленных художественных «сцеплениях».

И в этом смысле нельзя обойти вниманием в «Матренином дворе» самого рассказчика, мир его мыслей и чувств — широкий, гуманный, с народной враждой к мещанству, с любовью к русскому быту, речи и с оптимизмом, выношенным в страданиях. И это нам в рассказе дороже всего, дороже, может быть, и самой Матрены, как ни сострадаем мы ее судьбе.

В своем уважении и любви к полуграмотной деревенской старухе рассказчик не позирует, не рисуется, и радостно думает: сколько добрых людей на свете. «Жизнь научила меня не в еде находить смысл повседневного существования», — говорит Игнатич в «Матренином дворе». Это редкое у героя Солженицына прямое признание как бы даже противоречит обычному вниманию автора к подробностям быта, описаниям еды, одежды, какой-нибудь незаменимой телогрейки или домашнего тряпья, «бесценного в жизни рабочего человека». Но так уж бывает — кто много толкует о возвышенном и бесплотном, о небесных кренделях, тот обычно вожделеет к кренделям вполне земным. Кто же не стыдится говорить о всякой беде и нужде голодающего и холодающего человека, тому ведома истинная высота духа.

И читатели почувствовали в рассказе эту искренность художника, его душу, которую, по замечанию Толстого, в конце концов одну только мы и ищем всегда в произведении искусства. Вот что писали они в редакцию. А.Ф.Ульянова из Ленинградской области: «Я и испытываю удовольствие, большое радостное волнение, восхищение и гордость за писателя... Читаешь — и воображение сразу создает как живых: добрую до наивности, сердечную Матрену, алчного Фаддея... а поминки!.. поминки — целая картина живых разных людей». Учительница А.И.Ларюшкина из Львова: «Сколько в этом рассказе любви к скромной, простой труженице-крестьянке, только в работе находившей радости жизни... Такие рассказы нужны, чтобы искоренять недостатки в нашей жизни». П.И.Пашенко из Киева: «Матрену Васильевну нельзя не любить. Она честна, правдива, проста, трудолюбива, не жадна, всем оказывает помощь и ничего и ни от кого не требует, хотя и живет в прескверных условиях». Каменщик М.Е.Троцкий (Ставропольский край): «...Передайте Солженицыну сердечно-душевное спасибо, и желаю ему многих лет жизни и счастья, и пусть его судьба хранит от всяких Фаддеев. Я имею в виду его героя из рассказа “Матренин двор”, у которого так много дел, которому надо бревна перевозить, которые лежат за развороченными путями, а все остальное для него мелочи, которыми заниматься стыдно и грешно». Директор школы И.А.Карандо (Черниговская область): «...Любуешься Матреной Васильевной, “по-глупому” работавшей на других бесплатно. Она не скопила иму-

щества к смерти. А стоит ли копить? Зачем? Так и живу, ничего не имея, кроме книг. Да и те собираюсь подарить школе. А рассказ еще подкрепил это мое убеждение. Но он помог мне увидеть и понять величие человека...» М.Вершинина из Иркутской области: «Какое же надо иметь израненное сердце, чтобы написать “Матренин двор”. И в то же время это теплая, солнечная, жизнеутверждающая вещь. А телогрейка действительно на все случаи жизни, — укутавшись с головою, поплакать можно, и ноги согреть, и кашу укрыть!» Токарь Востокэнергомонтажа А.Захаров из Норильска: «Очень и очень меня тронула вся правда. Короче говоря, не могу и выразить, как все меня взволновало».

Разные отзывы разных людей — одному из них понравилось одно, внимание другого остановило иное, но всех вместе привлекла к себе сердечность рассказа и его правда. Я не думаю, впрочем, как уже говорилось, что исключены отклики и иного рода. Районная газета «Ленинское знамя» 25 июня 1963 года (г. Гусь-Хрустальный) поместила, например, письмо читателя П.Журавлева, в котором о рассказе «Матренин двор» говорилось: «Мрачными красками рисует автор уголок своей родины. Ну а как живет на самом деле большинство крестьян в деревне Тальново и близлежащих деревнях, мы, гусевчане, хорошо знаем. Почти в любом доме — хорошая мебель, радиоприемники, телевизоры и т. д.». Хорошо, коли гусевчане довольны жизнью крестьян в своем районе. У нас нет никаких оснований подвергать сомнению этот факт. Жаль только, что читатель не уловил разницы между газетной корреспонденцией и рассказом; ведь Тальново, где воображение писателя поселило Матрену, и Тальново, о котором пишет П.Журавлев, могут совпадать лишь внешне, по названию. Еще обиднее, что П.Журавлев случайно проглядел главную мысль рассказа. Ведь если Фаддей, предположим, приобретет хорошую мебель или радиоприемник, вопрос, волнующий автора, не будет этим решен. Матрена, как помним, «не гналась за обзаводом... Не выбивалась, чтобы купить вещи и потом беречь их больше своей жизни». Но сохранила доброе, отзывчивое сердце и «нрав свой общительный». В этом ведь и была мысль рассказа, и так поняло ее большинство читателей.

Их не поставил в тупик и не озадачил вопрос, которым беспрестанно задавалась критика: можно ли видеть в Матрене об-

разец для подражания? А если нет, то не печальный ли анахронизм она сама?

<...> Если выйти из дверей редакции «Нового мира» близ Пушкинской площади и пересечь улицу, мы окажемся перед домом, на стене которого — барельеф, изображающий рабочего с молотом, и девиз: «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят». Эта надпись сделана здесь в первые годы революции.

Остановимся, прочтем ее не спеша, и пусть она напомнит нам, как учила уважать революция людей труда — будь то молотобоец, знатный доменщик или никому не ведомая Матрена в селе Тальново. Забывать об этом — нельзя.

*Из статьи «Писатель, читатель, критик»
(«Новый мир», 1966, № 8, с. 219–223, 226, 227, 228–231).*

О рассказе «Для пользы дела»

Юрий Барабаш

Так драматично и так необыкновенно сложилась писательская судьба автора «Одного дня Ивана Денисовича», так своеобразно и привлекательно его дарование, что теперь уже все, выходящее из-под его пера, не может не вызывать живейшего интереса. «Случай на станции Кречетовка» и «Матренин двор», как бы к ним ни относиться, показали, что перед нами талант, отнюдь не намеренный ограничиться рамками «лагерной темы». И вот — новый рассказ. И, кажется, «новый» Солженицын — современный город, партийные работники, молодежь...

<...> Реальные жизненные связи и соотношения нарушены, перед нами предстает искусственно сконструированный, условный мир, где честные, благородные, но слабые правдолюбцы оказываются беспомощными даже не столько перед Кнорозовым и Хабалыгиным, сколько перед некоей равнодушной, тупой силой, которая угадывается за плечами безликих и безымянных представителей безымянных учреждений («товарищ из Комитета по Дела», «инспектор по электронике из...»).

Предполагать, что эти серьезные изъяны в самой концепции рассказа А.Солженицына могли не сказаться на художественных его качествах, было бы ошибкой. Правда жизни — категория идейно-эстетическая, и малейшее отступление от нее чревато для

писателя поражениями в «чисто» художественной сфере. В рассказе «Для пользы дела» то там, то здесь — в отдельном живом штрихе, наблюдении, в каком-то слове — мы узнаем солженицынскую руку, но той пластичности и достоверности человеческих характеров, той естественности и органичности языка, которыми покоряли нас лучшие страницы его прозы, на этот раз нет.

Итак, неудача... Но разве застрахован от этого хотя бы один художник, тем более художник ищущий?

Конечно, нет.

И, быть может, не стоило бы говорить об этой неудаче А.Солженицына, если бы недостатки рассказа «Для пользы дела» не имели много общего с тем, что критика отмечала, например, еще в «Матренином дворе». Речь идет о попытках решать сложнейшие идейно-нравственные проблемы, судить о людях и их поступках вне реальных жизненных связей, оперируя абстрактными, не наполненными конкретным социальным содержанием категориями. Там — «праведница», без которой якобы не стоит ни село, ни город, ни «вся земля наша». Здесь — «маленькие» люди, расшибившие себе лбы в бесплодных попытках ответить на поставленный «вне времени и пространства», схоластический вопрос, что есть справедливость...

Казалось бы, «Для пользы дела» — самый современный из рассказов А.Солженицына, почти наши дни, но если вдуматься, если отбросить такие сугубо внешние приметы, как катамараны и пальмы на рубашках, да короткие ежики, да «архисовременные» суждения ребят о литературе, — если все это отбросить, то окажется, что взгляд писателя на жизнь, его позиция остались такими же несовременными, во многом даже архаичными, как и в «Матренином дворе». «Нового», подлинно современного Солженицына мы здесь не узнали...

*Из статьи «Что есть справедливость?»
(«Литературная газета», 31 августа 1963 года).*

Я — постоянная читательница «Литературной газеты», журналов «Новый мир» и «Иностранная литература». <...>

Идейно слабыми, а поэтоу и художественно слабыми, мне представляются три рассказа А.Солженицына. После «Одного дня Ивана Денисовича» от этого талантливого писателя я

ожидала большего, — герои его рассказов идейно ущербны и неполноценны.

Может быть, такие люди и существуют, но от литературы ждешь не голого описания каких-то случаев или каких-то случайно встреченных людей.

Я знаю, что есть люди, которые со мной не согласятся. Вот тут-то и должна сказать свое слово наша критика! Но насколько я могу судить, литературная критика почему-то не вмешивается в полную силу в этот читательский спор.

*И.Атаджанян, лаборант
(«Литературная газета», 1 октября 1963 года).*

М.Синельников

О том, как важно для произведения изображение активных героев, ведущих борьбу с пережитками старого, лишней раз напоминает рассказ А.Солженицына «Для пользы дела». Положительные персонажи рассказа — директор техникума Федор Михеевич и секретарь горкома партии Грачиков — это, по существу, все те же «праведники», чистые сами по себе, но в борьбе совершенно несостоятельные.

Грачиков, быть может, самая большая неудача рассказа. И прежде всего потому, что данная автором характеристика этого героя совсем не реализуется в его поступках.

<...> Психологическая непоследовательность, присущая образу этого героя, во многом способствовала созданию в рассказе атмосферы пессимизма, неверия в силу активных, волевых начал жизни, способных противостоять злу.

*Из статьи «Правда — без “приправ”»
(«Литературная газета», 8 октября 1963 года).*

Д.Гранин

Получилось так, что сперва я прочел рецензию Ю.Барабаша на рассказ А.Солженицына «Для пользы дела», а потом сам рассказ. Поэтому приступил я к рассказу с невольным предубеждением, настороженный серьезными упреками, как мне казалось, доказательной рецензии, тем более, что написана она в спокойно-доброжелательном тоне, внушающем доверие. Однако в этом поединке Солженицын переубедил меня, отстоял свою

правоту, более того, заставил взяться за перо, вступить в полемику, несмотря на мою неопытность как критика.

<...> Если же рассматривать случай не теоретический, а реальный, то, признаюсь, довольно трудно вообразить себе такую жизненную ситуацию, при которой возникает в наше время необходимость поистине аварийного размещения *нового(!)* НИИ в не приспособленном для этого помещении техникума. Все равно придется помещение перестраивать, да при этом затратить сумму почти в половину стоимости всего здания. Известно, что создание нового НИИ обычно решается не так-то просто и не так-то быстро.

<...> Вопрос о категориях справедливости и несправедливости поставлен в рассказе вовсе не отвлеченно, не «вне времени и пространства». Наоборот, рассказ представляется мне остро современным. На фоне усилий партии совершенно нестерпимо, когда работников — творцов дела — отстраняют от решения судьбы этого дела. Когда судят о пользе дела не те, кто его делал, не те, кто им помогал, а те, кто хочет прибрать эту пользу лично для себя. Демократизация нашей жизни знаменуется в последние годы стремлением делать все, чтобы открывать новые и новые формы участия каждого в управлении, в контроле, в самых разных областях партийной, советской работы. Есть люди, которым эта демократизация мешает. Почему мешает? Как они действуют, каковы их приемы, методы, какова их философия? Вот что изучает Солженицын.

Серьезно и мужественно он ставит нравственную социальную проблему — что значит «для пользы дела»? Он поднимает эту проблему на уровень высоких моральных требований коммунистического общества. Он страстно ратует за доверие к людям, творящим это дело и имеющим право судить о том, что полезно делу и что не полезно. Он обличает тех, кто, прикрываясь государственными интересами, устраивает свои собственные делишки во вред государству. Он требует справедливости, и как можно называть ее отвлеченно-схоластичной категорией, когда хочется защищать эту справедливость, помочь ей? Так может взволновать, затронуть лишь рассказ, наполненный радостью и болью узнавания нашей собственной жизни.

*Из статьи «Прав ли критик?»
(«Литературная газета», 15 октября 1963 года).*

<...> Какие произведения представляются мне идейно и художественно слабыми? Упомяну того же Солженицына, которого выше хвалила. Его рассказы «Случай на станции Кречетовка» и «Для пользы дела» сразу же показались мне идейно неправильными. Зачем, например, написан рассказ «Для пользы дела»? Полагаю, что такой случай, когда у студентов «для пользы дела» отняли построенный ими дом, мог быть, хотя даже польза-то сомнительна: ведь дом необходимо перестраивать. Ну, так надо было об этом случае написать фельетон, были бы приняты меры, инцидент был бы исчерпан. Но Солженицын пишет не фельетон, а художественное произведение, в котором ведь должно даваться обобщение, а не единичный случай. Я же не верю, что частенько можно наблюдать такие явления в нашей действительности.

*Н. Пузанова, Томск
(«Литературная газета», 19 октября 1963 года).*

*Н. Селиверстов (инструктор Дзержинского райкома КПСС,
Ленинград)*

<...> Читая рассказ А. Солженицына, я, признаться, ждал, что в нем развернется острый нравственный конфликт, что будет поставлен вопрос о долге перед обществом, о соотношении личных и государственных интересов. Вот здесь-то и мог бы писатель поразмышлять о том, как важно воспитывать молодежь правдой.

А что получилось? А. Солженицын как бы ушел в сторону от поставленной проблемы. <...> Понятия справедливости и несправедливости, которыми пользуется А. Солженицын, — неконкретны, абстрактны. «Нравственная сторона события», о которой говорит Д. Гранин, как раз и не прояснена, запутанна.

Искусственность исходных положений не могла не сказаться на всем произведении. Облегчая себе задачу, А. Солженицын жертвует многим и многим, что подсказывала действительность. Получается клубок противоречий. <...> Возможна ли сегодня в каком-либо коллективе та атмосфера пассивности, незащищенности, что описана у А. Солженицына? Не думаю. По крайней мере ни в одном из учебных коллективов, с жизнью которых я знаком, ныне не встретишь ничего похожего. Потому и трудно обнаружить в рассказе А. Солженицына это «узнавание нашей собственной жизни», жизни сегодняшней. Скорее тут

приходит мысль о жизни позавчерашней... Ни растерянность, ни пассивное смирение не определяют облика советского человека, не характеризуют и не могут характеризовать атмосферу нашей общественной жизни. Справедливость подлинная, завоеванная партией, всем нашим народом, — а не «абстрактная» справедливость — в наше время уверенно шагает по жизни и побеждает!

Всего этого не может не учитывать писатель, взявшийся за важную современную тему.

*Из статьи «Сегодняшнее — как позавчерашнее»
(там же).*

УДАЧА АВТОРА

Мы, старые пропагандисты, всегда считали, что очень важно поддерживать все правдивое и справедливое, как этому нас учит партия.

И особенно это важно сейчас, когда весь наш народ строит коммунизм — самое справедливое общество на земле.

А. Солженицын совершенно прав, подчеркивая в рассказе «Для пользы дела» эту сторону вопроса, когда речь идет о деле жизненно важном для такого большого и прекрасного коллектива, как девятьсот юношей и девушек, стоящих на пороге жизни. Это не абстрактная постановка вопроса о справедливости, как неправильно представляет себе Ю. Барабаш — автор статьи «Что есть справедливость?» («Литературная газета», 31 августа 1963 г.), а очень важная задача воспитания молодежи в духе указаний партии. Таких вещей не полагается забывать, особенно литературному критику.

Ю. Барабаш напрасно иронизирует по поводу названия рассказа «Для пользы дела». Автор рассказа прав. Действительно, часто чиновники (а они еще не перевелись у нас) свои бюрократические планы и действия прикрывают надуманными «государственными» соображениями «для пользы дела». И в данном случае А. Солженицын раскрывает именно такую ситуацию.

<...> Мы, старые коммунисты, считаем, что такие статьи, как статья Ю. Барабаша «Что есть справедливость?», дезориентируют широкого читателя и прежде всего нашу молодежь.

Вот и выходит на поверку, что «неудачи»-то А. Солжени-

цына, о которой пишет Ю.Барабаш, совсем и нет. Наоборот, «Для пользы дела» — новая удача автора и наша — читателей.

Е.Ямпольская, член КПСС с 1917 г.

И.Окунева, член КПСС с 1919 г.

М.Гольдберг, член КПСС с 1920 г.

г. Москва

(«Новый мир», 1963, № 10, с. 193–194).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Ю.БАРАБАШУ

Уважаемый товарищ Ю.Барабаш!

<...> «Что есть справедливость?» — так Вы назвали свою статью, но ответа на вопрос сами так и не дали.

<...> Именно с *государственной* точки зрения (а не абстрактно) стремится А.Солженицын решать острые нравственные проблемы. Вы же этого, тов. Ю.Барабаш, стараетесь словно не замечать. <...>

В том-то и реальность, и конкретность, и глубина нравственной проблемы рассказа, что в нем устанавливается непосредственная связь бесхозяйственного администрирования с демагогией, ложью, которые могут обернуться (и оборачиваются) самым пагубным унижением молодых душ.

Вы, товарищ Барабаш, односторонне и несправедливо заявляете: «Фраза “для пользы дела”, вынесенная А.Солженицыным в название рассказа, имеет явный саркастический подтекст, — эти слова скомпрометированы демагогом Хабалыгиным. Между тем есть в них не только спекулятивный, есть подлинный — главный! — смысл, но он *писателем игнорируется начисто*». Подчеркнутые мною Ваши слова особенно странны, парадоксальны. Ведь *весь* рассказ написан именно для того, чтобы демагогии, делячеству, карьеризму, укрытым высокими словами, противопоставить тот мир идей и чувств, которые существуют и должны развиваться, должны торжествовать поистине *для пользы дела*, страны, людей. *Весь* рассказ служит этой цели. Он написан для пользы Вашей, моей, для всех нас. Писателем не «игнорируется начисто» важнейшее, а всей системой образов и конфликтов это важнейшее утверждается, утверждается как благородство нелегкой борьбы за высшие государственные интересы, за торжество общего дела.

Вы не увидели в рассказе «реальные жизненные связи», зато увидели некий «условный мир, где честные, благородные, но слабые правдолюбы оказываются беспомощными... перед некоей равнодушной, тупой силой...». Почему же это «честные, благородные правдолюбы» в Вашей системе понятий отнесены к миру нереальному и почему весьма конкретные проходимцы, равнодушные деляги и вконец переродившиеся бюрократы аморфно охарактеризованы как «некая тупая сила»? Можно ли так вольно перетолковывать вполне конкретные образы и мысли художника? <...> Рассказ А.Солженицына не средневековый трактат на тему о добре и зле, а очень конкретное произведение, о сути которого уже говорилось.

<...> По *существу* Вы становитесь на сторону Кнорозова: ведь это он, Кнорозов, непререкаемо и жестоко *сам* решил, *что* должно быть «на пользу дела».

Он сам решил (уже распорядился) передать новое здание техникума еще не существующему НИИ, и Вы, товарищ Барабаш, согласились с этим. Не вижу я тут логики. Если действительно осуждать культ личности и все, что с ним связано, тогда нужно «смотреть в корень» и недвусмысленно разоблачать те негодные средства, поступки, действия, к которым прибегают кнорозовы, дискредитируя великое наше дело и нанося ему вред. <...>

Вы правы, называя талант А.Солженицына и крупным и честным. Бесспорно, любой талант нуждается в серьезной критике. Но согласитесь, что большой талант заслуживает прежде всего позитивного истолкования.

Крупный талант — это почти всегда талант сложный, требующий от критика особой осторожности, я бы сказал, особой *бережливости*. И менее всего, как представляется, следует судить о произведении, созданном таким талантом, с той «прокурорской» категоричностью, как это сделали Вы, заявив, что «Для пользы дела» — это «неудача» писателя.

«Для пользы дела» — вещь «солженицынская», трепетно напряженная, трагедийная и в то же время поистине оптимистическая. Рассказ А.Солженицына — свидетельство возросшей активности нашей литературы, глубокого вторжения ее в жизнь, в острейшие явления действительности, свидетельство роста нашего общественного сознания, в условиях которого все

труднее удержаться «на поверхности» всяким перерожденцам и карьеристам, догматикам и демагогам. <...> Уверен, что *для пользы дела* и ради торжества справедливости (то есть ради государственных интересов) следует всячески поддерживать появившегося у нас талантливого писателя, растолковывать силу его таланта — силу его произведений, а не дезориентировать читателей категорической и по существу неточной и несправедливой критикой. Поэтому я написал это письмо и надеюсь, что Вы поймете меня и согласитесь со мною.

*Л. Резников, доцент Петрозаводского университета,
г. Петрозаводск
(«Новый мир», 1963, № 10, с. 194–197).*

«ТАК НАДО?»

В «Литературной газете» опубликована большая статья заместителя главного редактора Ю. Барабаша «Что есть справедливость?» <...> Новый рассказ, резюмирует Ю. Барабаш, — неудача писателя.

Думается, однако, что в оценке конкретной ситуации, рассказанной писателем, Ю. Барабаш пал жертвой демагогии хабалыгиных, хорошо владеющих искусством прикрывать собственные корыстные цели имитацией борьбы за общегосударственные интересы.

<...> К сожалению, приходится еще сталкиваться с явлениями, когда во имя выполнения плана на том или ином участке производственной деятельности и, конечно же, «для пользы дела» кнорозовы и хабалыгины вырубают леса, отравляют водоемы ядовитыми сточными водами или крушат дорогие приборы, извлекая из них лишь небольшую, надобную им часть: словом, «добывают» изюм, выковыривая его из булки.

<...> Едва ли не большее возмущение, чем несправедливость нависшего вдруг грозовой тучей решения, вызывают обстоятельства, при которых оно подготавливается. Хотя мотивы организаторов этой операции до поры остаются неизвестными героям рассказа — что, по мнению Ю. Барабаша, делает менее обоснованной их отрицательную реакцию, — методы действий говорят сами за себя.

<...> Быть может, нам возразят, что вопрос о том, где и в ка-

кие сроки организовывать новый НИИ, находится вне компетенции преподавателей и тем более студентов техникума, у которых отбирают здание. Разумеется, это нельзя решать всеобщим голосованием. Но при данных обстоятельствах, когда новое здание соорудилось методом народной стройки, когда в большой степени именно вокруг этого общего дела сплотился дружный коллектив, включивший и комсомольцев, и преподавателей, непреложным требованием и этического и политического порядка было решать вопрос при участии этого коллектива, а не за спиной его. <...>

— Так не надо. Так нельзя, — говорит А. Солженицын своим рассказом, отстаивающим нашу советскую, коммунистическую справедливость, этические нормы морального кодекса, демократические основы нашей жизни.

*В. Шейнис, расточник Кировского завода,
ударник коммунистического труда.*

*Р. Цимеринов, машинист башенного крана, г. Ленинград
(там же, с. 197, 198).*

В. Чалмаев

<...> «Страдальческая струя», к сожалению, окрашивает и художественное мировосприятие А. Солженицына. <...> Зачем же искусственно архаизировать свой взгляд на народный характер, представлять его тенденциозно односторонним? Какой результат дает эта архаизация в творчестве?

В новом рассказе «Для пользы дела», опубликованном в «Новом мире» № 7, А. Солженицын весь во власти своей игры абстрактными понятиями. Живая жизнь бьет как будто снаружи в наглухо закрытые створки. <...>

Спорить с А. Солженицыным в пределах странного мира его странных героев — значит принять всерьез его идеалистическую концепцию добра и зла. Но вот этого и нельзя, невозможно принять. <...>

С А. Солженицыным спорит сама наша жизнь во всем богатстве, спорит современник, творящий добро в яростном, героическом мире. К этому «полюсу», к этой стихии следует идти писателю, отбросив свое архаическое представление о вечной тяжбе двух начал в бытии человеческом, о праведничестве как

форме нравственного подвига, о возвышении человека страданием и слезой.

*Из редакционной статьи «“Святые” и “бесы”»
(«Октябрь», 1963, № 10, с. 215, 216, 217).*

<...> Трудно предположить (и почта «Литературной газеты» подтверждает это), что в редакцию «Нового мира» пришли только письма, превозносящие рассказ...

*Из редакционной статьи
«Пафос утверждения, острота споров»
(«Литературная газета», 12 декабря 1963 года).*

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

<...> Таким образом, редакции журнала, по существу, предъявлено обвинение в фальсификации мнения читателей. Это вынуждает нас дать справку о почте журнала, посвященной рассказу А.Солженицына.

В связи с рассказом «Для пользы дела» редакция «Нового мира» получила всего 58 писем. Многие из них представляют собой, по существу, большие статьи в десять и двадцать машинописных страниц, с подробной и основательной аргументацией. Авторы 55 писем, три из которых опубликованы нами, решительно поддерживают рассказ Солженицына и полемизируют с его критиками.

Вот строки из писем:

«Новый рассказ Солженицына глубоко идеен, содержателен, актуален. Это несомненная удача автора» (Ю.Сулин и Ф.Селиванов, Томск). «Рассказ Солженицына написан “кровью сердца”, с большой любовью к людям, в первую очередь к молодежи — нашему будущему» (профессор В.П.Нехорошев, Ленинград). Рассказ «глубоко взволновал читателей (я работаю в активе библиотеки). Его читают “залпом”, и ни одного отрицательного высказывания» (Х.Л.Молчан, Харьков). «Наша семья из 4-х человек прочла с большим удовольствием это произведение. С критикой “Литературной газеты” мы не согласны» (тов. Золотницкий, Ужгород). «Считаю долгом поблагодарить вас за хороший рассказ “Для пользы дела”. Мне он помог еще лучше

почувствовать в себе коммуниста, свою ответственность перед народом» (тов. Федоров, Москва).

<...> Следует отметить, что 12 из этих писем читатели прислали в виде копий, оригиналы которых направлены в «Литературную газету». Два из напечатанных нами писем относятся к их числу. Таким образом, способ полемики, избранный «Литературной газетой», вряд ли кому покажется после этого «излишне демократическим». Конечно, всякая редакция может разойтись во мнениях о достоинствах того или иного произведения с большинством читателей и высказать точку зрения противоположную. Но в таком случае, вероятно, следует это делать открыто, разъяснять читателям ошибочность их позиции и не злоупотреблять ссылкой на читательское мнение.

<...> Только в одном из 58 писем (Н.Л.Марченко, станция Удельная Московской обл.) высказывается отрицательное отношение к рассказу Солженицына. Впрочем, в этом письме ни слова не говорится о самом содержании рассказа, его теме, его героях. Очевидно, для автора это лишь повод высказаться против творчества Солженицына в целом. Н.Л.Марченко считает вредным делом публикацию произведений этого писателя вообще.

Мы не считаем возможным цитировать это письмо потому, что оно написано в недопустимо оскорбительном по отношению к советскому писателю тоне, но в любой момент готовы представить его для сведения редакции «Литературной газеты».

*Из письма редакции журнала «Новый мир»
(«Литературная газета», 26 декабря 1963 года).*

ОТ РЕДАКЦИИ

<...> Никогда еще «арифметический» подход к сложным явлениям литературы не приносил пользы ни читателям, ни художнику, ни искусству в целом. Вдумчивый и целенаправленный идейно-эстетический анализ, широкое обсуждение, всестороннее рассмотрение самых разных точек зрения, самых разных мнений о произведении — вот единственно надежный и плодотворный путь к выяснению истины в литературе.

(Там же.)

В. Панков

Не удивительно, что рассказ «Для пользы дела» привлек острое внимание: в нем актуальна проблема утверждения справедливости, тонкого понимания духовных стимулов, поднимающих в людях энтузиазм во имя настоящей пользы страны и народа. Но ограниченность авторской позиции, акцент на страдальчестве вместо борьбы сузили и художественное раскрытие мысли о том, как «в людях надо коммунизм строить». И не следует скрывать это от писателя, интерес к которому тем более возрастает, что он переходит сейчас к нынешним животрепещущим темам.

*Из статьи «Исторический пароль»
(«Огонек», 1964, № 2, с. 25).*

Г. Бровман

В рассказе «Для пользы дела» — отзвук того же отвлеченного праведничества, какое было запечатлено в образе одинокой Матрены.

Разумеется, писатель располагает правом на личную точку зрения по всем затрагиваемым им вопросам. Надо лишь поразмыслить над тем, отражает ли этот взгляд действительное движение общества или является лишь иллюзорным представлением автора, который видит «отсюда досюда» и не раскрывает истинной сути фактов.

*Из статьи «Правда исторического оптимизма»
(«Москва», 1964, № 1, с. 187).*

Ан. Дремов

За последнее время появилось несколько произведений, построенных на основе предвзятой абстрактной идеи и поэтому маложизненных.

Несомненно, что ложная, заданная идея привела А. Солженицына к созданию псевдоидеального образа Матрены («Матренин двор») и фальшиво-гротескного образа Кнорозова («Для пользы дела»).

Особенно печально то, что такие произведения некоторыми известными литераторами не просто поддерживаются, а безудержно расхваливаются, как невиданный скачок, который якобы сразу ставит их авторов в уровень с Львом Толстым, а са-

ми произведения делает некоторым оселком для советской литературы. В интервью корреспонденту «Юнайтед Пресс Интернейшнл» главный редактор журнала «Новый мир» А. Т. Твардовский заявил: «“Один день” — из тех явлений литературы, после которых невозможно вести речь о какой-либо литературной проблеме или литературном факте, так или иначе не сопоставив их с этим явлением». А зачем, собственно говоря, сопоставлять, с какой целью? Не вернее ли было бы и «литературные проблемы» и «литературные факты» современности сопоставлять с такими, скажем, произведениями, как «Поднятая целина» и «Судьба человека» М. Шолохова, «Русский лес» Л. Леонова, «Ледовая книга» Ю. Смуула, с поэзией А. Прокофьева, Р. Гамзатова, Э. Межелайтиса, С. Маршака?

*Из статьи «Действительность — идеал — идеализация»
(«Октябрь», 1964, № 1, с. 206).*

Лариса Крячко

Творчество А. Солженицына волнует читателей. Недавно я получила читательское письмо, которое наталкивает на многие размышления. Валентин Курбатов, молодой человек, служащий в армии в Мурманске, пишет: «Прочел последнее творение Солженицына “Для пользы дела” в 7-й книжке “Нового мира” и до сих пор не могу успокоиться.

Во всем этом есть что-то в корне ложное. Но талантливо ложное, и оттого тем более непростительное и вредное. Если бы представленное нам хотя бы не типизировалось, все это было бы простительно, но ведь это моментально поднимается до грандиозных обобщений, до всечеловеческого, универсального, вечного. Жизнь в его рассказах статична по внутренней сущности персонажей: беспомощных добряков (без которых не стоит земля) сменяют карьеристы и негодяи. И перед нами уже начинает вырисовываться стена безнадежности, построенная на желчи и цинизме. В этом нет настоящего протеста. Он ложен в своей основе и потому не очень искренен и не очень убедителен. Если для него это борьба с ветряными мельницами, то зачем эта борьба?»

Получала ли такие письма редакция «Нового мира», опубликовавшая недавно читательские выступления в защиту рассказов А. Солженицына? Волнение молодого читателя естест-

венно. Публично, немалым тиражом идет последовательная проповедь «страстотерпчества». Из-за подчеркнута сдержанной интонации первых произведений писателя это угадывалось не сразу, но затем впечатление накапливалось, и, как ни странно, именно последний рассказ А.Солженицына «Для пользы дела» выкристаллизовал это смутное ощущение, сделал явной авторскую позицию.

В героях рождается протест. Но какой это робкий протест — как будто бы преодолеваются тонны рабства. «Ну, подожди», — бормочет столкнувшийся с тупым карьеризмом и беспринципностью добрейший Федор Михеевич. И даже этот протест «писком», выливающийся в абстрактную и бессильную угрозу, протест, звучащий, как рыдание, обессиливает автора как художника. Характеры героев прямолинейны, как схемы, в палитре лишь черная и белая краски, вся «положительная» масса здорового студенчества и их рыцарски благородных (но, увы, беспомощных) учителей полностью обезличена. Вся первая половина рассказа, рисующая идиллию, утомительна и сиропобразна. Автор обретает силу, только когда появляется надрывный конфликт. А для читателя он надрыт в двойне, потому что вызванная писателем лавина ненависти к «бюрократическому злу» приходит в невыносимое несоответствие с постным, робким разрешением. Лавина эта неудержима, она сминая пассивную авторскую позицию. Она требует выхода, молчание невозможно. Критикам, обратившимся к этому рассказу, нельзя уходить от «трудной темы». Ее надо решать активно, жизнеутверждающе.

К сожалению, полемика, развернувшаяся вокруг этого рассказа, нередко уходила в сторону. Выясняли, например, народнохозяйственную важность того института, который собирались открыть в городе. Как будто бы самая большая объективная необходимость в таком институте могла оправдать и роящиеся вокруг этого события тщательно замаскированные карьеристские расчеты секретаря обкома и директора завода и, главное, тот моральный удар, который был нанесен их циническим делачеством энтузиазму студентов, строивших здание.

А ведь в рассказе, правда, задеты только краем, не выявленные, не разработанные, содержатся несколько проблемных планов.

Здесь и разоблачение антигуманистической, антитворческой сущности бюрократизма и его растлевающего влияния, подрывающего веру людей в справедливость. Здесь и проблема дисциплины, уважения к людям, облеченным народной властью, и проблема честности, гражданского мужества.

Решение всех этих проблем, предлагаемое А.Солженицыным, не может удовлетворить читателя. Но сам выбор материала будоражит, привлекает внимание.

*Из статьи «Позиция творца и бесплодие мещанина»
(«Октябрь», 1964, № 5, с. 210–211).*

О рассказе «Захар-Калита»

С.Можнягу

«Польза дела» в условиях социалистического общества в целом совпадает с объективной истиной, что подтверждается историческим опытом. Поэтому одного «авторского зрения» недостаточно для подтверждения абсолютной достоверности изображения того или иного явления. Между тем у нас существует уже и «поэтика», противопоставляющая авторское видение историческому опыту общества. Она несет на себе явный отпечаток экспрессионистской манеры, допуская изображение событий в двух планах: идеальном и реальном, привлекательном и отталкивающим, символистическом и натуралистическом. В качестве примера можно было бы сослаться на рассказ А.Солженицына «Захар-Калита» («Новый мир» № 1, 1966).

<...> О чем этот рассказ? В чем его социальный и эстетический смысл? Какие эмоциональные и смысловые клады обнаруживает автор в теме, к которой обращались уже не раз?

На эти вопросы ответ может быть только один: несомненными в рассказе остаются только «неистребимые факты», что же касается блоковской «дистанции», которую автор пытается сохранить в своем созерцании исторического места, то она явно не выдерживается. У Блока богатейшая, сложная гамма переживаний (здесь и скорбь, и тревога, и решимость до конца вести бой). А Солженицын в своем рассказе только насмешлив и снижодителен. Вся его «морочная» символика не столько разбивается о «неистребимые факты», сколько разрушается иронией, в

1962-1964

которой угадывается подлинная авторская позиция. В силу этого повествование строится на предвзятых исходных данных, вторгающихся в тему извне. Объективно рассказ А.Солженицына звучит как подчеркнутое противопоставление идеального, легендарно-поэтического прошлого нашей Родины «прозе» и «будничности» современной действительности.

*Из выступления «“Литература факта” и натурализм»
(«Октябрь», 1966, № 7, с. 206, 207).*

1964-1966

*В декабре 1963 года повесть «Один день
Ивана Денисовича» была выдвинута на соискание
высшей литературной премии — Ленинской.
Создалась опасность закрепить
за повестью А.Солженицына славу значительного
художественного творения, и дискуссии в печати
был дан соответствующий крен.*

КАНДИДАТ НА ЛЕНИНСКУЮ ПРЕМИЮ

НЕ ПРИУКРАШЕН ЛИ ГЕРОЙ?

(Письмо в редакцию)

ВЫ ДОЛЖНЫ понять меня, мое беспокойство. Дело не только во мне — многие думают так же.

Жизненная правда, сама протокольная документальность бьет из повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Особый лагерь «особых» времен, невинные люди там, наши, советские. И страдания. Так было. Так случилось. Пришло время, и мы сказали об этом, как мужественные борцы, революционеры.

Культ Сталина — явление не литературное. Это было в жизни нашей. Солженицын дал нам правдивую картину из прошлого. Горько, тяжело узнавать или вспоминать ту действительность. Так, может быть, и не нужно ворошить старого, не ковырять булавочкой старые раны? Нет! «Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись» — так сказал о целях и смысле изображения правды прошлого Никита Сергеевич Хрущев. В этом — оправдание самому «горькому» произведению о прошлом, когда правда жизни дается не ради самой себя, не так просто — пощипать нервишки обывателю.

Правда в художественном произведении в отличие от правды в документах, протоколах, фотографиях и прочих свидетельствах должна быть освещена идеей. Ибо художественная литература, мыслящая образами, в отличие от документа не только информирует, учит, но еще и главным образом воспитывает.

«Один день Ивана Денисовича» — произведение ярко художественное. И все-таки первое, что было дружно отмечено всеми — критиками и не критиками, — это правдивость материала, документальность повести.

Нужна ли, дорога ли нам повесть А.Солженицына сама по

себе, как узнавание «той жизни»? Несомненно! Солженицын дал нам горькую бочку дегтя. И мы принимаем эту горечь и говорим: ничего, умнее будем, эта правда, эта память — «зарубка на века!» И сам Иван Денисович — правда, умен он или глуп, сложный он интеллект или примитив, симпатичен кому или нет, — он правдив и воспринимается как часть той правды, которую мы узнали.

Очень ценная книга в этом смысле! Такой ее оценили и отметили в нашей стране. Однако некоторым из критиков этого почему-то оказалось мало. Для «полноты впечатления», что ли, или по какой другой причине они принялись поднимать повесть, как они считают, еще выше — тем, что в Иване Денисовиче начали во что бы то ни стало искать того, чего в нем нет, стараясь неоправданно обобщить и типизировать его образ.

«Я думаю, — писал В.Чалмаев в статье “Я есть народ...” (“Литературная газета” № 37 за 1963 г.), — что А.Солженицын верно схватил в Иване Денисовиче некоторые подлинные черты русского народного характера в их исторически сложившемся качестве».

«Иван Денисович Шухов — характер воистину народный», — вторит ему на страницах журнала «Знамя» Феликс Кузнецов. И подчеркивает: «Удивительный человек...».

Народность, народные черты... Пожалуй, заманчивый комплимент литературному герою, если задаться целью представить его положительным. Хорошо. Ну, а какие же они, эти «некоторые черты»? В.Чалмаев пишет:

«А.Солженицын честно, правдиво, в пределах собственного жизненного и общественного опыта, воссоздал человека, который прошел через все рубежи исторической своей жизни, уцелел и на войне, и в мрачных пропастях земли, полагаясь на неиссякаемую свою любовь к труду как к первой потребности человека, на веру в справедливый общественный смысл труда, на неприязнительность своих жизненных запросов, выносливость, терпение».

Я не выписываю слишком много у названных критиков. Но и не хочу злоупотреблять выхваченными из контекста словами и фразами. Для меня ясно, что героизация героя идет путем приписывания ему некоторых черт характера русского народа вооб-

ще. Любовь к труду — это верно, очень верно! Но кроме того, подчеркивается «непритязательность жизненных запросов, терпение».

Я думаю об Иване Денисовиче. Да, его поведение, симпатии, размышления направлены к тому, чтобы сохранить себя, выжить. Пусть даже иногда «выжить физически» побеждает в нем «выжить духовно». Но дело сейчас не в этом, а в том, оправдано ли это реальной жизнью, условиями тех лет. Было ли так? Да, было — «тут ни убавить, ни прибавить». В «тех» условиях, видимо, не одному Шухову пришлось разрабатывать в себе до совершенства такие «удивительные черты характера народно-го», как терпение, непритязательность.

Но если я не сомневаюсь, что правда о прошлом, о людях, занумерованных в особлаге, справедливо переключалась в повесть Солженицына, то говорит ли это о том, что мы должны также без сомнения видеть в Иване Денисовиче олицетворение народа, положительного героя? Нет! Потому что терпение, непритязательность — негодные комплименты народу, который доказал, что он умеет не только и не столько терпеть. Разве русский народ за всю историю свою не доказал, что это не главное в нем, что он народ-борец, народ-революционер прежде всего?

Когда же среди прочих «замечательных» черт упоминается еще и непритязательность к жизни, то это уже звучит почти как оскорбление! Именно притязательность — тот рычаг, который поднимал народ на борьбу, на победы. В наши дни именно притязательность питает трудовую битву народа за материальное и духовное благосостояние, битву за претворение в жизнь величественной Программы Коммунистической партии!

Правда, в борьбе этой иногда бывает трудно, иногда нужно идти на риск, что-то потерять, что-то перетерпеть, с кем-то подражаться, ибо мы боремся не только за качество продукции, но и за качество руководства хозяйством, людьми. Но мы все-таки действуем! Бывает, что и шепнет тебе кто-то из угла, незаметный такой: «Молчал бы, затрут», «Не плюй против ветра» и т. д. Вот она, философия положительного терпеливца!

Допустим, в каждом из нас, от рядового коммуниста до члена ЦК, от стоящего у станка до министра, победил бы Иван

Денисович. Разве возможны были бы тогда огромные сдвиги в нашей духовной и материальной жизни за последнее десятилетие? Возможен ли был бы XX съезд нашей партии и победа его линии в дальнейшем, съезд, мужественно покончивший с духом культа личности в стране?

Нет, конечно!

Итак, спасибо А.Солженицыну за художественную правду о прошлом. А что касается товарищей критиков, натужно делающих из Шухова положительного героя, — увольте. Мы предпочитаем путь борьбы за свои идеалы, за коммунистическое общество!

А вот нам хотят представить Ивана Денисовича как идеал народного героя. Как все это принять нам?

Уже после того, как было написано это письмо, мне позвонили из редакции и сообщили, что повесть «Один день Ивана Денисовича» выдвинута на соискание Ленинской премии. Я искренне рад за талантливого автора, я лишь возражаю против непомерного, с моей точки зрения, расширительного толкования центрального образа повести некоторыми критиками.

*Виктор Иванов, рабочий завода имени Воровского,
Мелитополь
(«Известия», 28 декабря 1963 года).*

В.Иванов (литейщик завода имени Воровского, Мелитополь)

В конце прошлого года мне довелось выступить в «Известиях» по поводу образа Ивана Денисовича из повести А.Солженицына. Получил я после этого около пятисот писем. Но дело сейчас не в этом и не в сущности самого выступления. Просто я вспомнил одно письмо. Пишет пенсионер из Архангельска Н.Чебунин, пишет «от имени простых рабочих лесозаготовительной промышленности» и упрекает меня за то, что редакция якобы использовала мое имя рабочего, что я кому-то «подпеваю», и дальше в таком же духе. Заметили: «от имени простых рабочих»? Значит, понимает магическую силу этих слов! И дальше: «Если бы все это писал чувствительный интеллигент-романтик, но Вы-то ведь рабочий, человек правдивый...». «Мы тоже не раз писали в газеты и журналы с рабочей

и правдивой, справедливой критикой, но получали слащавые ответы, нас не печатают».

*Из письма в редакцию «Не простое это слово»
(«Известия», 19 августа 1964 года).*

НАШЕ МНЕНИЕ

Хочу высказать свое мнение о некоторых книгах, выдвинутых на соискание Ленинской премии.

Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» я прочитал залпом. Меня поразило ее драматическое содержание, выраженное сердечно, безыскусно. Я знаю, что такая завидная простота свойственна только настоящему мастеру. Повесть Солженицына — книга для многих и надолго.

Вот что по поводу этой повести пишет мне мой друг, ковровщица алма-атинской фабрики, студентка-заочница Галина Моторина: «...Прочла наконец “Один день Ивана Денисовича”. А я уже давно думала: как это может одно и то же произведение вызвать такие противоречивые суждения? Помнишь, я говорила, что одни из моих знакомых горячо одобряют книгу, а другие — Катюшка, например, — говорят совсем другое... И вот прочла сама. Поражает, как это Катюшка так плохо отнеслась к повести! Произведение потрясает правдой, и далеко не всякий писатель сумел бы эту правду передать с таким превосходным мастерством. Стиль непривычен, но он оправдан. Короче, произведение на меня произвело очень большое впечатление».

Я целиком и полностью разделяю ее мнение. Мне кажется, что произведение А.Солженицына достойно Ленинской премии.

*М.Лезинский, электрик швейной фабрики,
Севастополь
(«Литературная газета», 11 января 1964 года).*

Повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» по выходе в свет сразу привлекла к себе внимание, заставила заговорить об авторе, но, по-моему, дело тут было не столько в особых достоинствах повести, сколько в новизне темы, в изображении той стороны нашей недавней истории, о которой в свое

время говорили только шепотом. Именно новизна темы, ее «нетронутость» и неожиданность как-то отодвинули на второй план вопрос о том, *как* заговорил об этом автор.

Мы знаем, что произвол времен культа Сталина унес много настоящих советских людей, глубоко преданных народу ленинцев. Все происшедшее тогда — это трагедия всего нашего народа, моя и твоя трагедия, даже если ни я, ни ты не был в заключении и никто из родственников не пострадал. Память о погибших от произвола священна так же, как священна память о погибших на войне.

А.Солженицын олицетворяет тех, кто пострадал в годы культа личности, в образе Ивана Денисовича. Конечно, это дело автора, кого брать в герои. Но разве это не недостаток повести, написанной на такую ответственной тему, если в ней почти ничего не сказано о тех людях, кто выстоял, сохранив в себе все человеческие чувства, чья преданность высоким идеалам не была сломлена? Нет, Иван Денисович — это не тот герой, которого хотелось бы увидеть в книге на такую большую для всех нас тему.

*Н.Молчанюк, Таллин
(«Литературная газета», 11 января 1964 года).*

В.Паллон

Не раз приходилось мне бывать на борту легендарного крейсера «Аврора», поставленного на вечный прикол на Неве. И всегда я обращал внимание на худощавого, среднего роста офицера, подтянутого, с красноватым, обветренным лицом и седыми висками. На синем сукне кителя офицера — два ряда орденских ленточек. У него спокойные манеры, скупые жесты, точная речь.

Однажды я не выдержал и обратился к нему.

— Капитан второго ранга в запасе Бурковский Борис Васильевич. Начальник филиала Центрального военно-морского музея на крейсере «Аврора», — представился он.

Так мы познакомились. Разговорились.

— Помните ли вы кавторанга Буйновского? — спросил меня Борис Васильевич. — Одного из персонажей повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича»?

Я вспомнил, как кавторанг Буйновский рассказывал о своей печальной истории:

«Да, видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюту. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них. И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок “в знак благодарности”! Удивляюсь и проклинаю!.. И вот — все в кучу одну... С бандеровцами тут сидеть — удовольствие маленькое...»

В повести мы расстались с Буйновским при обстоятельствах для него печальных. Помощник начальника лагеря по режиму Волковой отправил моряка на десять суток в БУР — карцер — за то, что он протестовал против издевательского разделения заключенных на морозе. Автор повести ознакомил нас с тем, что представлял собой этот карцер, — промерзший каменный мешок, после которого многих навсегда одевали в «деревянный бушлат». Поэтому понятна та тоскливая тревога, с которой мы расстались с бывшим офицером флота. Не знаю, как кто, но, раздумывая над судьбой героев повести Солженицына, я часто вспоминал о Буйновском. Дальнейшая участь его мне представлялась трагической...

И вот он передо мной. Здесь, на «Авроре».

<...> Было почти так, как мы знаем это из повести «Один день Ивана Денисовича». Только события жизни Бурковского, перенесенные писателем на Север, происходили на Черном море. Во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года в Севастополь прибыли американские военные корабли. Капитан третьего ранга Б.В.Бурковский, хорошо владеющий английским языком, был назначен на эти корабли офицером связи. По службе он почти все время должен был находиться на этих кораблях, постоянно общаться с американскими офицерами, с адмиралом. Задание командования было выполнено, и Бурковский, отмеченный благодарностью командования, возвратился к своей службе.

Прошло четыре года. Борис Васильевич продолжал служить. Ходил в море. Совершенствовал свои офицерские знания. В короткие часы отдыха возился с дочерью и сыном.

А в это время готовилось гнусное преступление. Бурковского постигла трагическая участь многих. Приговор — 25 лет. Бурковскому казалось: прощай навсегда партия, флот, семья.

Что же делать? Отчаяться, пасть духом? Нет! Недаром Бурковского воспитывали партия, комсомол, флотская семья. Он нашел в себе силы остаться человеком.

— Вы спрашиваете, что было потом... Было, в общем, так, как в повести, — говорит мне Борис Васильевич. — Ну, конечно, не точь-в-точь. Но общая картина лагерной жизни да и многие детали были именно такими.

Мы сидим в каюте Бурковского. В медном круге иллюминатора видны зимнее невысокое солнце, угловатый лед, в котором стоит корабль. Капитан второго ранга курит, встает, делает два-три шага, потом опять садится в кресло.

Я расспрашиваю Бурковского о персонажах повести «Один день Ивана Денисовича». Он говорит о том, что некоторые, как, например, бригадир Тюрин, сам он, Буйновский-Бурковский, кинорежиссер Цезарь Маркович, баптист Алеша, дневальный лагерной столовой, очень напоминают конкретных людей. Другие — в меньшей степени. Заключение, который послужил прототипом Ивана Денисовича, капитан второго ранга не помнит. Должно быть, потому, что подобных было много, говорит он. В общем, все персонажи повести в той или иной степени — типы собирательные.

— Около четырех лет я прожил в одном бараке с Солженицыным. Это был хороший товарищ, честный человек. Он был молчалив, не ввязывался в шумные разговоры. Мне запомнилось, что он часто, лежа на нарах, читал затрепаный том словаря Даля и записывал что-то в большую тетрадь.

Меня сейчас часто спрашивают товарищи о моей истории с карцером. Действительно я сидел в промерзшем каменном мешке. Вышел я из БУРа, как говорили заключенные, «прозрачным и звонким». Меня шатало. И вот, когда я возвратился в барак, десятки рук потянулись ко мне с кусками хлеба, сахара, закутками табака. Я подумал: а людей-то в нас не затоптали... <...>

— Сидя в лагере, многие отвыкли загадывать наперед, — продолжает Борис Васильевич. — Вероятно, потому, что хорошего впереди не ждали. Думали лишь о дне завтрашнем — какая будет работа, как достать табачку, чем починить изодравшиеся рукавицы. И когда Александр Исаевич Солженицын, взяв свой

мешок, покинул лагерь — он вышел раньше меня, — я как-то не подумал, встретимся ли мы когда-нибудь.

Уже во второй половине 1953 года заключенные почувствовали, что бездушная система, рассчитанная на подавление в репрессированных всего человеческого, дала трещину. Нам разрешили читать газеты, чаще получать и писать письма. Заметно улучшилось отношение к нам лагерной администрации.

Читая газеты, мы узнали о той огромной работе по восстановлению ленинских принципов социалистической законности, которую провела партия.

Летом 1956 года я предстал перед комиссией, состоявшей в основном из партийных работников, которые приехали в лагерь пересмотреть наши дела. Впервые за долгие годы со мною говорили по-человечески. Через 45 минут после беседы меня вновь пригласили и сказали, что я полностью реабилитирован и пользуюсь такой же свободой, как все советские граждане.

Я не говорю о том, что пережил при этом, не рассказываю о том, как чувствовали себя другие заключенные, получившие свободу. Мне об этих переживаниях не рассказать, а вы не сможете, вероятно, понять этого в полной мере. Как коммунист, душой никогда не порывавший с партией, всегда безгранично веривший ей, я испытывал чувство гордости: правда, наша большевистская, ленинская правда восторжествовала!

Возвратившись в Ленинград, я был восстановлен в партии. За время, проведенное в заключении, я сильно отстал от современной военной техники, да и здоровье мое пошатнулось. Но расставаться с родным флотом не хотелось. И я начал работать в Центральном военно-морском музее, а потом возглавил его филиал на крейсере «Аврора».

Много людей приходит к нам на корабль революции. И вот однажды летом 1962 года я поднялся по трапу на верхнюю палубу, чтобы встретить новую группу экскурсантов. Мне кажется, что я прежде почувствовал, а уже потом увидел, что один из гостей, сухощавый, среднего роста человек, пристально смотрит на меня. Я поднял глаза и увидел знакомое лицо. Где мы делись — оба поняли одновременно. Шагнув друг к другу, мы негромко сказали: «Борис!», «Саша!», обнялись и крепко расце-

ловались. На прощанье мы обменялись адресами. Я дважды писал Солженицыну и получал ответ.

Недавно я прочитал в газетах о том, что повесть А.И.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» выдвинута на соискание Ленинской премии 1964 года. Это взволновало меня. Ведь отобразенный в повести лагерный день — это день и моего бытия.

Я не литературовед и не возьмусь разбирать повесть. Мною она воспринимается иначе, чем другими читателями. Но если бы меня просили дать ей оценку, я бы сказал, что это хорошее, правдивое произведение. Любому, кто читает повесть, ясно, что в лагере, за редким исключением, люди остались людьми именно потому, что были советскими по душе своей, что они никогда не отождествляли зло, причиненное им, с партией, с нашим строем. И я, и тысячи подобных мне были физически отторгнуты от партии и народа, а мысли и сердца наши были с ними. И еще одно ценю я в повести Александра Исаевича: как правдиво описан наш труд. Он был тяжел, изнурителен, но не унижал нас. Ведь подспудно мы сознавали, что и здесь работаем для Родины.

...Такова история кавторанга Буйновского. Он вернулся на корабль.

*Из статьи «Здравствуйте, кавторанг»
(«Известия», 15 января 1964 года).*

ЗА МАЛЫМ — МНОГОЕ

Надо отдать справедливость: за прошедший год ни одно литературное произведение не вызывало столько споров и откликов, как небольшая повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Находятся люди, которые говорят, что это — «шум», и притом «нездоровый»: все, дескать, идет исключительно от темы... Один мой знакомый, прочитав повесть, сказал раздраженно: «Не понимаю, что вы тут особенного нашли? Это мы и без него знали».

Да, знали. Знали, что были такие лагеря. XX и XXII съезды партии открыли нам правду о культе личности Сталина, обо всем том, что было с культом связано. Думаю, за то и обиделся

на Солженицына мой знакомый, что тот не «открыл» ему ничего неведомого, никаких там особенных тайн или ужасов, а все остальное его просто не заинтересовало. Но дело-то как раз в этом «остальном»!

А.Солженицын, сам пройдя сквозь суровые условия лагерной жизни, написал о них честную, талантливую книгу, далекую от сенсационности, от расчета на ажиотаж.

Среди критиков повести есть и такие, — в общем люди серьезные и доброжелательные, — кто винит Солженицына лишь за одно: за неправильный выбор героя.

Да, конечно, Иван Денисович Шухов — совсем не положительный герой в прямом смысле слова. Есть в нем нечто от «каратаявщины». Но, с другой стороны, как велик творческий заряд, заложенный в скромном, незаметном «зэке» Шухове! Именно благодаря этому повесть Солженицына постепенно из мрачнотрагической перерастает в подлинный гимн трудовой совести, человеческому достоинству и мужеству. Невольно думаешь: до чего же сильны духом наши люди, если *там* могли так работать!

А.Солженицын заявил о себе как писатель сложный, противоречивый. И все-таки литературный успех его бесспорен, потому что он не просто что-то «отразил» или «заострил», а дал нам галерею живых людей, своих современников — Ивана Денисовича, Буйновского, Сеньку Клевшина, Цезаря. Как бы мы ни относились к каждому из них, воспринимаешь их как социально определенные типы. И тут хочется подчеркнуть, на мой взгляд, самую сильную сторону дарования Солженицына — его умение через малое сказать многое.

Думаю, это очень хорошо, что мы снова обсуждаем повесть А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» — теперь уже в связи с выдвижением ее на Ленинскую премию.

*А.Ставицкий, научный редактор журнала «Электричество»
(«Литературная газета», 23 января 1964 года).*

С.Маршак

Автор повести «Один день Ивана Денисовича» А.Солженицын рассказывает нам чуть ли не обо всех минутах этого дня, и каждая из них оставляет глубокий след в душе читателя.

Повесть написана с тем чувством авторского достоинства, которое присуще только большим писателям. Никакой литературщины, никаких якобы обязательных, внешних примет героев или описаний природы.

<...> Странное чувство испытываешь, читая эту волнующую хронику одного дня. Сначала будто перед глазами мрак, а потом он постепенно рассеивается, или глаза привыкают к нему, и все яснее, все отчетливее различаешь обстановку и людей.

<...> Автор владеет тем подлинным народным языком, богатства которого еще далеко не исчерпаны литературой.

Нельзя заменить в его повести слово «удовольствие» словом «удовлетворенный» или «довольный». Невозможно заменить слово «глушь» словом «глухота» в том месте повести, где один из заключенных, глухой Сенька Клевшин «сквозь свою глушь» слышит обрывки долетающего до него разговора.

Повесть правдива, строга и серьезна. Потому-то мы узнаем из нее столько нового и важного о людях, о человеческих характерах и свойствах. <...>

В сущности Александр Солженицын написал повесть не о лагере, а о человеке. О самых обыкновенных советских людях, но в таких обстоятельствах, при которых человека можно увидеть без покрова каких-либо условностей, во всей наготе его характера, чувств и побуждений.

Люди как бы держали труднейший экзамен. Выдержат — выживут. Испытанию подвергались их терпение, воля, выносливость, человеческое достоинство и чувство товарищества, без которого и в лагере не проживешь.

В этом значительность повести А.Солженицына. В такие глубины человеческих чувств и ощущений мог заглянуть только проникательный и вдумчивый писатель, сам переживший все то, что пережили его герои.

*Из статьи «Правдивая повесть»
(«Правда», 30 января 1964 года).*

Много внимания участники обсуждения уделили повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

По своим литературным достоинствам, по своему общественному значению, сказал *В.Каверин*, повесть А.Солженицына

заслуживает высокой премии. Это — произведение, которое могло появиться только в наше время — время после XX съезда партии. Самой сутью своей говорит оно о неколебимой вере советских людей в справедливость, о доверии к человеку, о высоких нравственных нормах нашего общества.

Солженицын представляется мне крупным талантом, говорит *Д.Еремин*. Это честный, большой писатель. В повести его я вижу стремление к философскому осмыслению жизни, к возведению нравственных сил народа.

Однако, по мнению *Д.Еремина*, именно «философия творчества» А.Солженицына и побуждает к спору с писателем.

— Читая повесть, я невольно сопоставляю ее с «народными рассказами» Льва Толстого, с их преклонением перед пассивной святостью и кротостью «простого народа», — говорит оратор. — Солженицын и героя-то выбрал, исходя из того принципа, что «святая простота» выше любой мудрости. Такая «толстовская философия» по самой своей сути далека от ленинской философии, ее активного, боевого духа. Я убежден, что при всем добром отношении к повести, признавая ее значение, было бы принципиально неверно награждать ее Ленинской премией.

Полемизируя с *Д.Ереминым*, *Л.Копелев* замечает, что упрекать повесть в торжестве философии пассивности можно лишь при условии, если мы станем безоговорочно отождествлять автора и главного героя. Что было бы, разумеется, неверно.

С положительной оценкой повести выступили также *А.Исбах*, *О.Войтинская*, *И.Чичеров*, *М.Никитин*, *С.Рапопорт*. Были зачитаны письма *К.Чуковского* и *И.Эренбурга*, авторы которых высказываются за присуждение повести Ленинской премии.

Другие выступавшие высказали иную точку зрения. *Л.Фоменко*, *Р.Азарх*, *Г.Тушкан*, *Г.Марьяин* считают повесть крупным литературным явлением, однако возражают против стремления видеть в ней произведение, совершенное в идейном и художественном отношении.

Были и в нечеловеческих условиях лагерей настоящие волевые люди, способные бороться за более высокую цель, чем просто выжить, говорит *Г.Тушкан*, выражая сожаление, что

именно такие герои не привлекли пристального внимания писателя.

Г.Марягин считает, что значение повести А.Солженицына снижено самим выбором центрального героя. Не согласен он и с восторженными оценками языка произведения.

А.Андреев резко критикует повесть «Один день Ивана Денисовича». Он считает совершенно необоснованным сопоставление ее с произведениями классиков, которым оперируют некоторые литераторы. Ряд выступавших полемизировал с А.Андреевым.

В связи с обсуждением повести А.Солженицына Л.Фоменко обращает внимание на односторонность статьи В.Лакшина «Иван Денисович, его друзья и недруги», опубликованной в только что вышедшем первом номере журнала «Новый мир». По мнению оратора, в этой статье неверна сама постановка вопроса: автор любого критического высказывания в адрес талантливой повести неизбежно зачисляется в разряд ее «недрузгов»; статья похожа на окрик, она выдержана в духе времен нормативной критики... С такой оценкой общей направленности статьи В.Лакшина не согласился И.Чичеров.

*Из обзора «Взыскательность.
Московские писатели обсуждают произведения,
выдвинутые на соискание Ленинских премий»
(«Литературная газета», 8 февраля 1964 года).*

ОТ КОМИТЕТА ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Комитет по Ленинским премиям в области литературы и искусства сообщает, что из всех работ, представленных на соискание Ленинских премий 1964 года, после их рассмотрения секциями и пленумом Комитета отобраны для дальнейшего обсуждения следующие кандидатуры:

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ

<...> 6. *Солженицын А.И.* Повесть «Один день Ивана Денисовича».

Представлена редколлегией журнала «Новый мир», Центральным государственным архивом литературы и искусства. <...>

(«Правда», 19 февраля 1964 года.)

В КОМИТЕТ ПО ЛЕНИНСКИМ ПРЕМИЯМ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
гор. Москва

Считаю необходимым, как читатель и практический работник, высказать свое мнение в порядке обсуждения о повести *Солженицына А.И.* «Один день Ивана Денисовича», которая представлена редколлегией журнала «Новый мир», центральным государственным архивом литературы и искусства на соискание Ленинской премии 1964 года.

Это же поддерживает и писатель С.Я.Маршак в своей статье газеты «Правда» — «Правдивая повесть», в которой писатель оценивает повесть, как написанную с «авторским достоинством, которое присуще только большим писателям».

Когда читаешь эту повесть и думаешь, как *Солженицын* мог в такой форме описать «Один день Ивана Денисовича», ничего не дающей для целей воспитания лиц, кто еще в нашем обществе намеревается прожить за счет других, портить настроение советских граждан, совершая преступления, и для перевоспитания тех лиц, которые в настоящий период отбывают срок наказания и отбывших назначенный срок за свои преступления.

Больше того, в этой повести *Солженицын* выступает, на наш взгляд, против порядков исправительно-трудовых учреждений и работников, выполняющих трудную, но почетную задачу по исправлению и перевоспитанию правонарушителей.

Обратимся к самой повести.

Обычный день заключенных, но не «зэков», начинается с подъема и кончается отбоем. Весь день насыщен отрицательным поведением заключенных лагеря, о которых идет речь в повести, без показа роли администрации, а если и говорится, то только отрицательно. Содержание заключенных в лагере не является причиной периода культа личности, а связано с исполнением приговора, но отдельные персонажи повести могли содержаться

в лагере по необоснованно предъявленным обвинениям того периода.

А вот как показаны надзиратели: «А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно» и дальше: «В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастеров, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был, в перепоянном тулупе и валенках, спал на узкой лавке».

Чем хороша эта критика?

Оперработник назван в повести «кумом», как могут называть отдельные отрицательные заключенные.

Надзиратели показаны грубыми, что видно из их выражений: «Падло», «ты! гад! потише!», «ты хоть видал когда, как твоя баба помыла мыла, чушка?», «ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить».

А вот как искажены правила поведения: «Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали».

В неприглядном виде описаны в повести приемы пищи заключенными, которые называют ее «баландой», что характерно выражениям только заключенных. Все лагерные жаргоны должны изживаться, а не популяризироваться в нашей литературе.

Главный персонаж повести Шухов показан отрицательным, как и все другие, которые, как видно из повести, вносили дезорганизацию в лагерную жизнь и пытались прожить только обманом. «Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести и свое брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылок не получает — без сала не сидит. Кто из бригады получит — сейчас ему дар несет. А иначе не проживешь».

А чего стоит такое указание в повести?.. «Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, *отер* его оставил. Опять будет стучать на кого-то. Днем его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал. А проводят по санчасти».

Отрицательное отношение заключенных к администрации

и в первую очередь к надзирателям и конвою указывается *Солженицыным* на протяжении почти всей повести, что не отвечает поставленным задачам в настоящее время.

«...подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой... крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонявшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери...». «Волкового не то что зэки и не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельму метит, фамилицу дал! — иначе, как волк, Волковой не смотрит».

«— Вы не советские люди! — долбаёт их капитан. — Вы не коммунисты!»

«А конвоиров понатыкано!.. автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат... Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэкми». «Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую “молитву”:

— Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Шаг вправо, шаг влево — считается побег...»

«Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже зэки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже зэки все, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят)».

В повести Солженицын в оскорбительном тоне, языком Шухова Ивана Денисовича, высказывается о конвоирах-солдатах. «Уж, кажется, на всех шести вышках попки сидят — опять в зону не пускают. Бдительность травят».

«...И если начкар умный — тут же и трогает, знает, что зэку бежать некуда и что те, с вышек, колонну нагонят. А какой начкар дурак — боится, что ему войска не хватит против зэков, и ждет».

«Вот собаки, опять считать!». И далее: «Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая».

На требование конвоя раздаются возгласы: «Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь?»

«Нет уж, хрен вам теперь — побыстрей! Хрен тебе — “шире шаг”».

Как воспримет советский воин, призванный на службу в конвойную охрану, эти, с позволения сказать, «словечки», ска-

занные в его адрес? Нам, работникам ИТУ, необходимо воспитывать у солдат и сверхсрочнослужащих чувство ответственности в исполнении служебного долга по надежной охране преступников, не нарушая, при этом, социалистической законности. Мы всегда говорим, что воины, охраняющие исправительно-трудовые учреждения, выполняют почетную и ответственную задачу.

Работая в исправительно-трудовых учреждениях, нам практически приходится бороться с попытками насаждения некоторой неустойчивой частью заключенных старых лагерных привычек и жаргона, о чем, кстати сказать, ничего не сказано в повести, а наоборот, они насыщают повесть.

Вот некоторые из них: «стукачи», «чума», «шкодник», «шущера», «сука позорная», «мерзотина», «стервоза», «падло», «баланда», «сволочь», «блевотина», «паскуда», «придурки» и т. д. и т. п. Не показан в повести положительно и трудовой процесс заключенных, как основа перевоспитания. Заключенные по повести творили произвол не только в быту, но и на производстве, что ни в какой мере не совместимо с целями перевоспитания, хотя бы и в описуемый период.

Разве соответствуют целям перевоспитания в настоящее время события в повести такого характера: «Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще» (имеется ввиду от работы).

«Теперь вот грезится (Шухову): заболеть бы недельки на две, на три, не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, — лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады». «От работы лошадидохнут. Это понимать надо». «Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьича не обманывай. И будешь жив».

«Пока начальство разберется — приткнись, где потеплее, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Эх, к печечке бы!», «...начальство боится, как бы эки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались — а у эков день большой, на все время хватит... и в норы заюркивают. А остальная 104-я сразу в сторону, и деру, деру».

«— Эх, буранов давно нет!.. Что за зима?! — Да... буранов... буранов... — перевздохнула бригада».

«А все равно любят эки буран и молят его» (чтобы не выходить на работу).

«...Ваня, если б начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?»

«...С вышки заметят — это ничто: у попок только та забота, чтоб эки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все щиты на щепки поруби. — И работягам всем на эти сборные дома наплевать, и бригадирам тоже. Печется об них только прораб вольный, да десятник из эков...»

«Волочи день до вечера, а ночь наша. — В лагере бригада — это такое устройство, чтобы не начальство эков понукало, а эки друг друга... Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло! От процентовки больше зависит, чем от самой работы... Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже... Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребают да своим лейтенантам премии выписывают».

Повесть научает небрежному отношению к социалистической собственности: «— Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?.. — Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу». «Ценнейшие доски... заключенные на дрова рубят и в обогревалках сжигают...».

Такой, с позволения сказать, труд не отвечает требованиям сегодняшнего дня в ИТУ.

Еще раз хочется отметить, что Солженицын в своей повести очень отрицательно и в грубой форме отзывается о работниках лагеря.

«Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого».

«Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают: тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и натаскивают, да без толку».

«— Ну! ну! — рычал надзиратель».

Можно привести еще ряд примеров из повести, которые говорили бы об отсутствии ее воспитательного значения.

Чем же закончился «Один день Ивана Денисовича»?

«Засыпал Шухов, вполне удовлетворенный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок

бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся».

Не в этом, по нашему мнению, должно быть содержание одного дня пребывания в лагере Шухова.

Если эти отрицательные действия заключенных и имели место, то с ними велась большая работа по их искоренению, о чем ничего не сказано в повести. А сколько положительного было и есть в действительности, что следовало бы показать! Разве можно было допускать таких недозволённых действий со стороны заключенных, предоставленных, якобы, самим себе? Где роль администрации? Не могла она не принимать мер и выступать только в отрицательном виде.

Без освещения этих вопросов повесть не отвечает целям и задачам исправления и перевоспитания правонарушителей.

Положительное влияние повесть имела бы в том случае, если бы она отвечала задачам, поставленным перед исправительно-трудовыми учреждениями.

А.И. Григорьев,

п. Мошино, Нелидовского района, Калининской области

25 марта 1964 года

ВЫСОКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ

(Из редакционной почты)

С каждым годом все более широкие круги читателей участвуют в обсуждении произведений литературы и искусства, выдвигаемых на соискание Ленинской премии. Советские люди, для которых создаются эти произведения, высказывают свое мнение о них, оценивают их достоинства и недостатки. Большой интерес представляет огромный поток читательских писем. Пишут со всех концов страны люди самых различных профессий.

В нашей редакционной почте много писем посвящено повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Как и следовало ожидать, повесть эта по-разному воспринята разными читателями. Есть письма, в которых «Один день

Ивана Денисовича» характеризуется только положительно, и авторы их одобряют выдвижение повести на соискание Ленинской премии. И есть письма, в которых столь же определенно высказывается противоположная точка зрения, повести выносятся целиком отрицательная оценка. При чтении и тех и других писем сразу обращает на себя внимание односторонность во взгляде на разбираемое произведение, авторы таких писем в полемическом запале не заботятся об объективности своих суждений, о точности доводов и оценок. Но таких писем немного.

Объективное читательское мнение о повести А. Солженицына несомненно выражает третья, самая большая группа писем. В них ведется серьезный, по-хозяйски строгий и выскательный разговор о путях развития советской литературы, содержится глубокий и беспристрастный анализ произведения, определяется его место в ряду других, созданных и опубликованных в минувшем году. Эти письма наглядно демонстрируют, какой зрелой и квалифицированной стала критическая мысль массового читателя, как выросли его эстетические вкусы и запросы.

Отмечая бесспорные достоинства повести, отдавая им должное, авторы писем указывают и на ее существенные недостатки, проявляя высокую требовательность, живейшую заинтересованность в повышении идейно-художественного уровня нашей литературы. Все они приходят к одному выводу: повесть А. Солженицына заслуживает положительной оценки, но ее нельзя отнести к таким выдающимся произведениям, которые достойны Ленинской премии.

Приток таких писем особенно усилился после появления за последнее время рецензий и статей, где хорошему и полезному произведению писателя давались явно завышенные оценки, настойчиво подчеркивалось, что оно бесспорно достойно самой высокой награды.

Большинство наших читателей отмечает, что в свое время о произведении А. Солженицына было сказано в нашей печати немало добрых слов. Но эта справедливая поддержка никак не означает, что все в повести безоговорочно хорошо, что она может служить высоким образцом, чуть ли не эталоном литера-

турного творчества. Ценные качества повести «Один день Ивана Денисовича» очевидны, и их немало. Однако она, разумеется, не принадлежит к числу тех произведений, на которые призвана равняться вся наша литература и которые обозначают собою, как вехи, путь всего советского искусства. И это хорошо понимают читатели, обращающиеся в «Правду» со своими письмами.

Что является самым характерным и примечательным в этих письмах? Ответить на это можно одной фразой: глубочайшее понимание всей ответственности выдвижения произведений на соискание Ленинской премии. Вот как говорят об этом сами читатели:

«Тема повести нужная, своевременная, — пишут в своем письме *Л. Спиридонов* и *Н. Власенко* (г. Витебск). — Есть в повести и сильные стороны. Но ведь это еще не значит, чтобы каждому более или менее удачному произведению непременно присуждалась Ленинская премия». Об этом же говорится и в письме читателя *В. Субботина* из г. Куйбышева: «Нельзя за каждое хорошее произведение присуждать Ленинскую премию». О необходимости более взыскательного подхода к выдвижению произведений на Ленинскую премию пишет и член КПСС с 1919 года *Л. Крацкин* (г. Свердловск).

Читатели призывают к всестороннему, глубокому анализу произведений, выдвинутых на всенародное обсуждение. «По поводу произведений, выставленных на соискание Ленинской премии, принято писать хорошее. Нам кажется, этого совершенно недостаточно. Надо посмотреть также и другую — отрицательную сторону произведения», — замечает инженер *Д. Лебедев* из г. Сарапула, высказывая ряд критических замечаний по повести «Один день Ивана Денисовича».

Доцент Московского библиотечного института *А. Поликанов*, характеризуя повесть как книгу «самобытную, по-своему талантливую, но противоречивую», напоминает при этом, что «Ленинская премия дается не за один только талант, а за высокие художественные творения, духовно обогащающие нашего человека, просветляющие его разум и чувства, вливающие в душу живительную энергию и бодрость». А этих качеств в данной книге он не находит.

Слесарь *И. Сибгатуллин* из г. Казани в присланном им пространным письме, положительно оценивая повесть «Один день Ивана Денисовича», в то же время задает вопрос: «Не поспешно ли она выдвинута на соискание Ленинской премии? Произведение, претендующее на такую высокую премию, должно вдохновлять читателя на борьбу за идеи добра, социалистической нравственности и справедливости, оно призвано выразить идеал (идеал — это не обязательно идеальный герой), стремление к которому облагораживало бы человека и делало его сильным. Вот этим-то требованиям не отвечает “Один день Ивана Денисовича”».

«Повесть действительно за душу берет, ни одну строчку в ней нельзя читать без волнения, — делится своими впечатлениями заслуженная учительница БССР *Е. Вичуро* (г. Могилев). — Может быть даже, я особенно остро восприняла все, что в ней излагается, потому что и сама потеряла мужа (а мои трое детей — отца) в 1938 году. Но к Ленинской премии книгу эту я бы не представляла. Ей не хватает тех художественных достоинств, которые так необходимы произведениям, представляемым к этой большой награде». Эту же точку зрения поддерживает и читатель *И. Быстров* (Мурманская область). «Достоинства повесть имеет, — заявляет он, — но литературные ее качества не на уровне произведения, которое можно было бы поставить на красную полку книг, удостоенных Ленинской премии».

Почему с такой определенностью читатели настаивают на этом своем мнении? Причин здесь много.

Серьезный недостаток повести некоторые читатели видят в упрощенном подходе к обрисовке характера советского человека, его духовного мира. Этот характер, даже в тех тяжелейших условиях, которые описывает автор, проявлялся значительно полнее, содержательнее, сильнее, чем это показано в повести.

Об этом пишут в «Правду» ветеран Великой Октябрьской революции *А. Конторщикова* из г. Электрогорска, учительница Нижне-Шунской школы Кировской области *Ф. Агламзянова*, считающая, что писатель «обеднил духовный мир своего героя, он как бы не решается показать высокую идейность в рядовом

советском человеке. Нужно быть более высокого мнения о нем, показать его духовное богатство». Вслед за этими читателями «довольно примитивный внутренний мир героя повести» отмечает москвич *С.Савин*, член КПСС с 1919 года. Эти же мысли высказывают в своих письмах участник Великой Отечественной войны врач *С.Смирнов* (г. Сочи), журналист *К.Смальцев* (г. Фрунзе) и многие другие читатели.

Заведующий коммунальным отделом исполкома Красноярского горсовета *В.Голицын* считает, что в образе Ивана Денисовича не выражен светлый идеал народного героя, который увидели в нем некоторые литературные критики.

Читатели не могли не заметить в повести и очевидной противоречивости авторских позиций. Она сказывается прежде всего в подчеркнуто добреньком, жалостливом и уравнительном гуманизме, при котором у автора заслуживают одинакового сердечного сочувствия и честные, хорошие люди, ставшие жертвой несправедливости и беззакония, и преступники, предатели, получившие заслуженное ими наказание. Словом, как пишет *А.Красносельский* (г. Москва), автор будто не различает среди своих героев «благородных и жуликов, хороших и плохих людей». В уже упомянутом письме *И.Быстрова* отмечается как одна из основных черт героев повести всеобщее «праведничество страдальцев».

Почти в каждом читательском письме содержатся весьма серьезные критические замечания и по поводу языка повести А.Солженицына. Надо прямо сказать: автор не встречает здесь поддержки читателей, которые выражают большую неудовлетворенность тем, что писатель не следует в своем творчестве лучшим традициям русского литературного языка, забывает о его весьма важной эстетической воспитательной роли.

Получаемые редакцией письма свидетельствуют, с каким вниманием к процессу развития нашей литературы, с каким уважением к писательскому творчеству принимают участие советские люди в обсуждении волнующих их проблем дальнейшего развития нашей художественной культуры.

(«Правда», 11 апреля 1964 года.)

Л.Греков

ДОСТОЙНА!

Недавно совет СКЛ, библиотека института и редакция газеты «За медицинские кадры» организовали обсуждение выдвинутой на соискание Ленинской премии повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Ведущему диспут И.В.Молчанову не пришлось «агитировать» выступать присутствующих. Замечательная повесть Солженицына глубоко потрясла миллионы читателей в нашей стране и за рубежом. Никого не оставила она равнодушным, ибо с огромным художественным мастерством осмыслила то, что было вскрыто на XX и XXII съездах партии, — чудовищные беззакония, столь обычные во время культа личности Сталина. Собравшиеся на диспуте сотрудники института, студенты, гости единодушно отмечали большое гражданское мужество, высокий гуманизм и беспощадную правдивость повести, снимающей, по словам Твардовского, с души «бремя невысказанности». Споры вызвала своеобразная новаторская форма произведения. Кое-кто из выступавших не заметил за внешней непритязательностью формы огромную внутреннюю силу, большую психологическую глубину, богатство оттенков, сочность, колорит. Были выступления, «осуждающие» главного героя повести Ивана Денисовича Шухова за то, что он не оказался «героем» в том смысле, в котором это слово привыкли употреблять применительно к произведениям, написанным во времена культа личности. Некоторые даже сравнивали Шухова с толстовским Каратаевым. С этой точки зрения спорили очень многие участники диспута, весьма убедительно доказывая высокое гражданское звучание образа Шухова, сумевшего в нечеловеческих условиях, в которые он был поставлен, сохранить свое человеческое достоинство, мужество, доброту, трудолюбие.

Интересное обсуждение длилось более двух часов. Было принято решение поддержать выдвижение выдающейся повести Солженицына на соискание Ленинской премии. Она этого вполне достойна!

(«За медицинские кадры», Ростов-на-Дону, 14 апреля 1964 года.)

Участие широкой общественности в ежегодном обсуждении произведений, выдвинутых на соискание Ленинской премии, — необходимое условие выработки наиболее справедливого решения. Тысячи писем поступают в Комитет по Ленинским премиям, в редакции газет и журналов. <...>

Живейшие отклики вызвали два... произведения, стоящие в списке лучших книг года: «Шаги по росе» В.Пескова и «Один день Ивана Денисовича» А.Солженицына. <...>

Сравнительный анализ провела работник «Внешторгиздата» т. Шалунова... «Правдивый показ условий жизни в лагерях политических заключенных при культе личности — это, безусловно, большая заслуга автора, но ему недостает еще мастерства в создании художественных образов, таких образов, без которых в произведении не может торжествовать высокая правда жизни... Язык повести порою неоправданно груб. Разве можно произведению с такими недостатками присуждать Ленинскую премию?..»

Перекликается с письмом т. Шалуновой письмо заведующей библиотекой Т.Рокасуевой: «Но каким же языком автор написал свою повесть! Чего только нет! И переделанный “для приличия” мат, и слова и выражения, которые иногда просто непонятны, ставят в тупик читателя. В каждой книге есть герой — или положительный, или отрицательный. А кто же Иван Денисович? Кого хотел показать автор? Русского человека, который умен и смекалист и в любой обстановке остается человеком, или приспособленца, который выживет в любых условиях?»

Конечно, такого характера отзывы о книге А.Солженицына соседствуют с другими. В том числе с такими, авторы которых вообще не хотят видеть в «Одном дне Ивана Денисовича» никаких недостатков. Но подобную односторонность трудно выдать за объективность!..

*Из обзора «Добрая строгость»
(«Труд», 14 апреля 1964 года).*

ОДНОСТОРОННОСТЬ

С неудовлетворенным чувством закрыл я последнюю страницу книги А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Все внимание автор сосредотачивает лишь на суровом лагерном режиме и характере основного героя — Ивана Денисовича, стремящегося вместе со своими товарищами по несчастью поскорее скоротать день за днем и мечтающего лишь о наполнении своего желудка.

В годы культа Сталина я лично испытал все ужасы лагерной жизни. Я видел в лагерях и тюрьмах людей большевистской выдержанности, кристальной честности, нравственной стойкости. Поэтому мне ближе и дороже такие произведения, как роман В.Тевекеляна «Гранит не плавится» или проникновенно и правдиво написанное «Пережитое» Б.Дьякова. Эти произведения являются острым оружием в идеологической борьбе, в разоблачении культа личности. Повесть же Солженицына, на мой взгляд, таким идеологическим оружием в полной мере служить не может.

*С.Савин, член КПСС с 1919 года,
Москва*

(«Литературная Россия», 27 марта 1964 года).

*В октябре 1964 года Никита Хрущев
был отстранен от власти. Его критика
культы Сталина и времени Сталина
начала постепенно затухать.*

*Стало меняться отношение
и к творчеству А.Солженицына.*

НАЧАЛО ТРАВЛИ

Н.Волгин

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ литература, обличающая произвол периода культа личности Сталина, вызывает вполне понятный и объяснимый интерес советского читателя. Это часть нашей жизни, нашей истории. Оговоримся заранее, что этот здоровый интерес ничего общего не имеет с тем интересом, который вызывает эта литература у наших открытых врагов и у современных раскольников.

Враги есть враги, и отношение к ним у нас не изменилось и не изменится. Враг всегда рад возвести в десятую степень любой факт, который мы сами открыто и честно осуждаем и этим осуждением очищаемся от всего негодного.

Нас, советских людей, не может удивить, что литературу, в которой советские писатели обличают произвол периода культа личности, враги нашей Родины пытаются, применяя, конечно, негодные средства, взять на свое вооружение, злобно клеветая, в связи с появлением таких произведений, на нашу Родину, на наш строй. Повторяем, враги всегда остаются врагами.

<...> Вернемся к тому, с чего начали статью. Мы утверждаем, что литература, осуждающая произвол периода культа личности, вызывает большой интерес советского человека. Конечно, среди читателей находятся люди, которые свое главное внимание обращают на беззакония, на мучительно трудные условия тех, кто стал жертвой этого произвола. В этом свете известная повесть А.И.Солженицына, пожалуй, сыграла, кроме положительного, и свою отрицательную роль. В этой повести, а это отмечалось не раз в нашей печати, упор сделан на мучительно трудных условиях, в которых оказались те, кто был честен перед партией и народом. Читая «Один день Ивана Денисовича», чувствуешь весь кошмар той обстановки, в которой были «герои» этой повести. Из песни, даже пусть самой печальной, как говорят, слов не выкинешь.

Да, это было очень трудное, невероятно трудное испытание

для верных сынов народа. А.И.Солженицын в повести «Один день Ивана Денисовича» отошел от суровой правды жизни. А правда жизни состоит в том, что и в этой нечеловечески трудной обстановке (и никто не собирается оспаривать этой истины) несгибаемые, честные люди, закаленные в огне борьбы, оставались прежде всего и раньше всего людьми мужественными, возвращенными ленинской партией и глубоко верящими, что пройдет, обязательно пройдет это мрачное время произвола.

*Из статьи «Всегда в строю солдаты революции»
(«Красноярский рабочий», Красноярск,
27 сентября 1964 года).*

Состоялось отчетно-выборное собрание Рязанского отделения Союза писателей РСФСР. С отчетным докладом на нем выступил ответственный секретарь отделения Н.Е.Шундик.

В его почти полуторачасовом докладе содержались глубокие раздумья о кардинальных вопросах развития советской литературы, о творчестве рязанских прозаиков и поэтов.

<...> Далеко за пределами не только Рязани, но и нашей страны стали известны произведения А.Солженицына. О направлении его творчества много спорили на страницах центральных газет и журналов. Касаясь этого вопроса, Н.Шундик отметил, что, хотя книги А.Солженицына, несомненно, большая литература, им не хватает еще глубоких обобщений.

*Из статьи «Высокий долг писателя»
(«Приокская правда», 17 декабря 1964 года).*

Горячий привет от сельских тружеников Кубани передал делегатам съезда агроном колхоза имени Кирова В.И.Лапин. Рассказав о том, как живут и работают его земляки, он подчеркнул, что жизнь советской деревни находит правдивое отражение во многих произведениях советской литературы.

<...> Оратор перечисляет книги писателей Кубани, которые с интересом были встречены читателями.

— Однако, — отмечает В.И.Лапин, — в произведениях некоторых писателей не всегда полно и всесторонне освещается наша действительность. Нередко в книгах жизнь колхозов показывается в черных красках, а люди — духовно обедненными.

Это, видимо, объясняется тем, что люди, пишущие о селе, не всегда хорошо знают эту жизнь, не проникают глубоко в духовный мир нашего хлебороба.

<...> Посмотрите на кубанских колхозников, жителей наших станиц. Разве у них есть что-нибудь общее с героями рассказа Солженицына «Матренин двор»? Нет. Это совсем другие люди — сильные, грамотные, настоящие хозяева земли.

*Из отчета о Втором съезде писателей РСФСР
(«Литературная газета», 5 марта 1965 года).*

На трибуне первый секретарь московского городского комитета партии Н.Г.Егорычев.

<...> Отвечая нашим идеологическим противникам, которые, выдавая желаемое за действительное, усиленно болтают о так называемых «московских настроениях», Н.Г.Егорычев со всей решительностью подчеркнул: — Московские писатели твердо стоят на позициях ленинской партийности и народности в своем творчестве, являются боевым отрядом российской писательской организации, а московские коммунисты помогают им преодолевать недостатки, успешно решать стоящие перед ними задачи.

<...> Но было бы неправильно рисовать положение в творческих союзах Москвы, в том числе и в Союзе писателей, в эдаком розовом свете. Да, общая обстановка хорошая. Но появляются, наряду с талантливыми, яркими, и слабые, серые произведения. Появляются произведения спорные, которые вызывают острые дискуссии, что само по себе вполне естественно, но в ходе этих дискуссий, в запальчивости, а то и по другим причинам допускаются неправильные высказывания, даются необъективные оценки. Н.Г.Егорычев ссылается, в частности, на субъективизм оценок, проявившийся при обсуждении спорной в идейном и художественном отношении повести А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

(Там же.)

Н.Егорычев (секретарь МК КПСС)

<...> Необходимо высказать претензию в адрес той части нашей творческой интеллигенции, которая иногда слишком увлекается описанием произвола периода культа личности,

моральных переживаний и физических лишений невинно осужденных людей. Это тяжелые страницы прошлого. И хотя оцениваемый только через эту призму тот или иной период нашей истории дезориентирует советских людей, особенно молодежь, такого рода произведения порой безудержно и незаслуженно захваливаются, а критика их считается недопустимой. Например, кое-кто и до сих пор явно переоценивает безусловно спорное и в идейном и в художественном отношении произведение А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

*Из статьи «Воспитание молодежи – дело партийное»
(«Коммунист», 1965, № 3, с. 18).*

Ю.Барабаш

Но никак не можешь согласиться с одним: с попыткой сделать Ивана Денисовича чуть ли не знаменем советской литературы последних лет, воплощением современного народного характера, героем-эталоном, с которым якобы и связано все то новое, знаменательное, истинно живое и народное, что пришло в нашу литературу после поворотного XX съезда партии. Слишком много в Иване Денисовиче Шухове такого, что противоречит нашим представлениям о подлинном герое, представлениям, отнюдь не являющимся плодом умозрительных, кабинетных предписаний, а опирающихся на жизнь, на сегодняшний живой художественный опыт.

*Из брошюры «“За” и “против”»
(М., «Правда», 1965, с. 34).*

Е.Вучетич

Один журнал решил отметить свой юбилей. Журнал этот солидный, есть у него заслуги перед советской литературой и общественностью, он внес свой вклад в становление и развитие социалистической культуры. Так что повод для празднования, конечно, был. Как был повод и для того, чтобы с юбилейной вышки обозреть путь, пройденный изданием, отметить его успехи, проанализировать ошибки и промахи, заглянуть вперед, определить свое отношение к творческому процессу, к жизни. Так появилась в первом номере «Нового мира» за этот год ста-

тья его главного редактора Александра Твардовского «По случаю юбилея».

<...> В статье называется немало литературных имен и произведений. Со многими оценками автора я согласен, хотя и не могу не отметить известной доли пристрастия А.Твардовского к тем литераторам, что вышли из-под его крыла и утвердились в призвании писателя на страницах журнала «Новый мир». Но в этом большой беде, в общем, нет. Смущает меня лишь категоричность автора, когда он пишет о первом произведении А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича», выдавая его за своеобразный эталон современной прозы. Думается, что Александр Твардовский здесь просто заблуждается, и время уже показало это... Я помню, какой в начале тридцатых годов огромный резонанс вызвали некоторые модные тогда произведения. Тогда тоже находились критики, утверждавшие, что без этих произведений литература якобы была бы неполна. Но кто их помнит теперь? Разве только старички-библиографы...

*Из статьи «Внесем ясность.
Некоторые мысли по поводу одного юбилейного выступления»
(«Известия», 14 апреля 1965 года).*

С.П.Павлов (первый секретарь ЦК ВЛКСМ)

Сегодня на пленуме мы не можем не высказать ряд принципиальных замечаний по поводу некоторых тенденций, имеющих место в литературе и искусстве и мешающих, на наш взгляд, советской молодежи объективно разобраться во многих явлениях нашей действительности и занять правильные идейные позиции.

С легкой руки редакции «Нового мира» со страниц многих журналов буквально хлынул поток так называемой «лагерной» литературы. Нас не может не беспокоить, что место подлинных героев, людей, способных к активным действиям, к борьбе и подвигу, стали занимать политически аморфные личности, замкнувшиеся в скорлупу индивидуальных переживаний, бравирующие своей общественной и гражданской пассивностью.

*Из выступления на VIII пленуме ЦК ВЛКСМ
(«Комсомольская правда», 29 декабря 1965 года).*

Григорий Бровман

В минувшем году читатели познакомились с рядом новых произведений прозы, затронувших трагическую тему, связанную с культом личности. Стало очевидно, насколько неверно было мнение, что исчерпывающее представление о людях, томившихся в бериевских лагерях, дается образом Ивана Денисовича с его духовной ограниченностью, внутренней пассивностью и отрешенностью от каких-либо общественных идеалов.

Из статьи «Нравственная требовательность и историзм» («Октябрь», 1965, № 1, с. 200).

М.Алексеев

Запретных тем для советской литературы не должно быть. Но все темы должны быть запретными для тех, кто рассматривает литературу исключительно с точки зрения заработка или временного поветрия!

Как известно, культ личности Сталина партия решительно осудила. Борьба с последствиями культа — дело всего народа и в том числе писателей. Тема культа в разных аспектах нашла свое отражение во многих произведениях последних лет, однако решалась она не всегда с позиций партийной объективности и исторической правды. Именно так произошло с повестью А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вещь эта поначалу была встречена довольно благожелательно нашей критикой — и, может быть, прежде всего потому, что автор коснулся материала, который до того считался неприкасаемым. Но потом некоторым товарищам почему-то потребовалось выдать это произведение чуть ли не за эталон для всей советской литературы: с нее, мол, с этой повести, и началась подлинная литература, раскрытие подлинной правды жизни. Это не могло не насторожить. На повесть было обращено более пристальное и вдумчивое внимание, и тогда-то стало очевидно, что она не лишена серьезных недостатков: автор ее в разработке острейшей темы не смог подняться над личной трагедией.

Из статьи «Этапы большого пути» («Литературная Россия», 22 апреля 1966 года).

В.Кожевников

Мы сталкиваемся с явлениями, когда отдельные наши литераторы попытались взять в творчестве Льва Толстого самое реакционное, то, что связано с каратаевщиной, то, что было осуждено еще до революции передовой русской мыслью. Эта каратаевщина была в произведении А.Солженицына «Один день Ивана Денисовича» не только в идеологической позиции, но и в системе художественных приемов, которыми был обрисован этот образ.

Из отчета «За Давыдовых и Корчагиных наших дней. С пленума правления Союза писателей РСФСР» («Литературная Россия», 6 мая 1966 года).

Н.Абалкин

...Уезжая из Барвихи, зашел к Маршаку проститься. Он сидел за столом в насквозь, казалось, прокуренной палате, низко склонившись над книжкой «Нового мира»: он совсем плохо видел.

— Перечитываю вот Солженицына, — поясняет Маршак.

Зачем ему надо было тратить на это последние рабочие часы своей жизни?..

Из воспоминаний «На добрую память» («Знамя», 1966, № 10, с. 240–241).

М.В.Зимянин (главный редактор газеты «Правда»)

Сейчас большое место в пропаганде капиталистических государств занимает Солженицын. Это тоже психически ненормальный человек, шизофреник. Он был в плену, а затем за дело или без дела был репрессирован. Свою обиду на власть он высказывает в своих произведениях. Лагерная тема — единственная в его творчестве, и он не может выйти за ее пределы. Она, эта тема, его навязчивая идея. Произведения Солженицына направлены против советского строя. Он выискивает в нем только язвы и раковые опухоли, ничего положительного в нашем обществе он не замечает.

Мне по роду службы приходится читать неопубликованные произведения, и я читал пьесу Солженицына «Пир победителей». В пьесе речь идет о репрессиях, которые обрушились на

1964-1966

возвратившихся с фронта. Это самое настоящее антисоветское произведение. За такие в прежние времена сажали.

Понятно, что мы не можем его печатать. Требование Солженицына о том, чтобы его творения печатали, удовлетворено быть не может. Будет писать произведения, отвечающие интересам нашего общества, — будут его и печатать. Куска хлеба его никто не лишает. Солженицын — преподаватель физики, вот и пусть себе преподает. Он очень любит публичные выступления и часто выступает в различных аудиториях с чтением своих произведений. Такая возможность ему дается. Считает себя гениальным писателем.

(Из выступления 5 октября 1967 года.)

1966-1969

ПИСЬМО IV СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПИСЬМО А.СОЛЖЕНИЦЫНА
IV СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР
(Вместо выступления)

В Президиум Съезда и делегатам
Членам ССП
Редакциям литературных газет и журналов

НЕ ИМЕЯ доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:

I. то нетерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и потому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем Главлита тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признаётся права высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Осенью 1965 года на квартире у друзей А.Солженицына органами КГБ был конфискован его личный архив. Вопреки воле писателя некоторые произведения из этого архива стали распространяться в среде высокопоставленного начальства. Протесты А.Солженицына, требовавшего возвращения своих рукописей, остались без ответа. 21 мая 1967 года в Москве открылся IV Всесоюзный Съезд советских писателей. В своем письме к Съезду Солженицын сделал попытку во всеуслышание сказать о том, в какое положение поставлены в стране писатели и литература.

Отличные рукописи молодых авторов, ещё никому не известных имён, получают сегодня из редакций отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устояли перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали их блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их содержание и свой творческий метод. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически-вредный», «порочный» и т. д.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархистствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» увядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилёв, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или невскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются и стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

Они любить умеют только мёртвых!

Но позднее издание книг и «разрешение» имён не возмещают ни общественных, ни художественных потерь, которые несёт наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения ху-

дожественного сознания. (В частности, были писатели двадцатых годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа личности и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили, вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырьё.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого века и в начале нынешнего, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бедней, площе и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если б её не ограничивали и не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми несгеснёнными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — всё мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем идёт, приобрело бы новую устойчивость, взросло бы даже на новую художественную ступень.

Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от повинности получать разрешение на каждый печатный лист.

II. ...обязанности Союза по отношению к своим членам.

Эти обязанности не сформулированы чётко в Уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выявилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с три-

бун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснением и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключённых из Союза, либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артём Весёлый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и другие»: мы узнали после XX съезда партии, что их было **более шестисот** — ни в чём не виновных писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот ещё длинней, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтётся нашими глазами: в нём записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времён Ягоды-Ежова-Берии-Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять со старыми руководствами ответственность за прошлое.

Я предлагаю чётко сформулировать в пункте 22-м Устава ССП все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям, — с тем, чтобы невозможно стало повторение беззаконий.

Если Съезд не пройдёт равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1. Мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года как снят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его редакционное движение. Напротив, ещё

при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома, этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Добиться публичного чтения, открытого обсуждения романа, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах. Мой роман показывают литературным чиновникам, от большинства же писателей прячут.

2. Вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Закрывается «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обречённые на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей **никто** не выступил против репрессий), давно покинутая, — эта пьеса теперь приписывается мне как самоновейшая моя работа.

3. Уже три года ведётся против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награждённого боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок как уголовник или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведётся на закрытых инструктажах и собраниях людьми, занимающими официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление СП РСФСР и в печать! Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Напротив, в последний год клевета с трибун против меня усилилась, ожесточилась, использует искажённые материалы конфискованного архива — я же лишён возможности на неё ответить.

4. Моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Простором» и «Звездой»).

5. Пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6. Киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, ко-

торый в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», «Как жаль», серия крохотных) не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7. Мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельной книгой ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, «Библиотека Огонька») и, таким образом, недоступны для широкого читателя.

8. При этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочсть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута и обоглана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмётся или не возьмётся IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполняю при всех обстоятельствах, а из могилы — ещё успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение её я готов принять и смерть. Но может быть, многие уроки научат нас наконец не останавливать пера писателя при жизни?

Это ещё ни разу не украсило нашей истории.

А. Солженицын
16 мая 1967 г.

В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Письмо А.И.Солженицына ставит перед съездом писателей и перед каждым из нас вопросы чрезвычайной важности. Мы считаем, что невозможно делать вид, будто этого письма нет, и просто отмолчаться. Позиция умолчания неизбежно нанесла бы серьезный ущерб авторитету нашей литературы и достоинству нашего общества.

Только открытое обсуждение письма, обеспеченное широкой гласностью, может явиться гарантией здорового будущего нашей литературы, призванной быть совестью народа.

Сообщить свою точку зрения съезду мы считаем своим гражданским долгом.

Члены Союза Писателей СССР:

<i>К. Паустовский</i>	<i>А. Аникст</i>	<i>Ю. Левитанский</i>
<i>В. Каверин</i>	<i>Н. Адамян</i>	<i>Е. Голышева</i>
<i>В. Тендряков</i>	<i>А. Гладилин</i>	<i>В. Коростылев</i>
<i>Г. Бакланов</i>	<i>Н. Ильина</i>	<i>А. Тарковский</i>
<i>В. Солоухин</i>	<i>Ю. Давыдов</i>	<i>Т. Литвинова</i>
<i>Б. Балтер</i>	<i>Л. Лазарев</i>	<i>Л. Левицкий</i>
<i>Ф. Искандер</i>	<i>Г. Семенов</i>	<i>Н. Оттен</i>
<i>В. Аксенов</i>	<i>В. Огнев</i>	<i>А. Шаров</i>
<i>А. Гладков</i>	<i>Г. Садовников</i>	<i>Н. Панченко</i>
<i>Ю. Трифонов</i>	<i>Л. Пинский</i>	<i>А. Рыбаков</i>
<i>К. Ваншенкин</i>	<i>Е. Старикова</i>	<i>А. Эфрон</i>
<i>Б. Сарнов</i>	<i>Ю. Стрехнин</i>	<i>М. Лорие</i>
<i>В. Войнович</i>	<i>Ю. Мориц</i>	<i>В. Бушин</i>
<i>Ю. Сотник</i>	<i>А. Соснин</i>	<i>Я. Волчек</i>
<i>В. Корнилов</i>	<i>Н. Тарасенкова</i>	<i>С. Бондарин</i>
<i>М. Поповский</i>	<i>Р. Облонская</i>	<i>В. Богомолов</i>
<i>С. Крутилин</i>	<i>Н. Долинина</i>	<i>Н. Ивантер</i>
<i>С. Ермолинский</i>	<i>Л. Тоом</i>	<i>Н. Волжина</i>
<i>А. Смирнов-Черкезов</i>	<i>И. Фрадкин</i>	<i>А. Берзер</i>
<i>Н. Коржавин</i>	<i>Б. Окуджава</i>	<i>Д. Николаев</i>
<i>В. Максимов</i>	<i>Г. Свирский</i>	<i>М. Роцин</i>
<i>Б. Можяев</i>	<i>В. Чешихина</i>	<i>И. Борисова</i>
<i>Ф. Светов</i>	<i>И. Варламова</i>	<i>А. Галич</i>
<i>Ю. Кагарлицкий</i>	<i>Ю. Вронский</i>	<i>М. Туровская</i>
<i>Э. Герштейн</i>	<i>В. Амлинский</i>	<i>Н. Давыдова</i>
<i>К. Богатырев</i>	<i>Н. Жаркова</i>	<i>Б. Слуцкий</i>
	<i>А. Ивич</i>	<i>В. Быков</i>

ТЕЛЕГРАММЫ ПИСАТЕЛЕЙ IV СЪЕЗДУ

*Москва Воровского 52**Четвертому съезду советских писателей*

Поддерживаем письмо Александра Солженицына. Настаиваем на обсуждении письма съездом.

Члены Ордена Ленина Союза Писателей СССР

*Владимир Войнович**Владимир Корнилов**Феликс Светов**Москва Кремль Президиуму Съезда писателей*

Дорогие товарищи, не имея возможности по тяжелым семейным обстоятельствам и состоянию здоровья присутствовать на съезде, довожу до вашего сведения, что считаю совершенно необходимым открытое обсуждение съездом известного письма Солженицына, с основными положениями которого я вполне согласен.

*Делегат Съезда, член Президиума
Валентин Катаев*

В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Копия: Редакции «Литературной газеты»

Дорогие товарищи!

Не имея возможности выступить на съезде, прошу приложить к материалам съезда мое нижеследующее открытое письмо:

Подводя итоги пятидесятилетия развития советской литературы, каждый из нас должен отдать себе отчет в том, что, несмотря на ожесточенные репрессии, клевету, гонения и преследования со стороны различных чиновников государственного и партийного аппарата, лучшие представители советской литературы, такие, как Ахматова, Пастернак, Есенин, Цветаева, Зощенко, Булгаков, Мандельштам, Солженицын и многие другие,

руководствовавшиеся не постановлениями, сочиненными в различных ведомствах, а только голосом своей собственной гражданской совести, одержали в борьбе с чиновниками полную победу, завоевав любовь и признание читателей Советского Союза и всего мира.

Из этого факта мы должны сделать вывод, что пришло время покончить с иллюзией, будто государственные или партийные служащие лучше, чем художники, знают, что служит интересам партии и народа, а что вредит этим интересам. Сколько их было в России, разных Бенкендорфов, Ильичевых и Поликарповых, безуспешно пытавшихся задушить и поработить русское искусство! А сколько их и сейчас еще от имени партии и правительства диктует нам, как сочинять книги, писать картины, ставить кинофильмы, и определяют, какие произведения искусства должны стать достоянием народа, а какие следует скрыть от народа.

Нынешний съезд должен назвать своим подлинным именем такое явление, как бюрократический реализм, который у нас стыдливо и лицемерно называется социалистическим реализмом. Только то, что угодно чиновникам и служащим различных ведомств (в том числе и такого бюрократического ведомства, как Союз писателей), получает спасительный ярлычок социалистического реализма, а все, что не угодно чиновникам и не укладывается в их бюрократическом понимании, объявляется противоречащим социалистическому реализму.

Нынешний съезд может иметь какое-нибудь значение только в том случае, если он во всеуслышание заявит, что нам, советским писателям, не меньше, чем служащим государственных и партийных учреждений, дороги интересы народа и родины; что мы не нуждаемся ни в чьей опеке. А тот литератор, который не чувствует своего права самостоятельно творить, тот, кто по своей глупости, невежеству, неопытности или трусости испытывает необходимость в подсказке, руководстве и опеке, тот попросту не достоин носить высокое звание писателя.

*Член Союза советских писателей**Д. Дар**Ленинград**19 мая 1967*

В ПРЕЗИДИУМ IV ВСЕСОЮЗНОГО СЪЕЗДА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Я получил письмо А.И.Солженицына о цензурном произволе в нашей литературе и должен заявить, что полностью разделяю всю тревогу и боль, которыми переполнено это письмо.

Цензура наша есть вопиющее нарушение нашей Конституции. Она не подконтрольна обществу, конъюнктурна и не несет никакой ответственности за изуродованные и погубленные художественные ценности. Писатель лишен даже такого элементарного права, как лично встретиться с цензором и в диалоге защищать свою точку зрения и истинность своих положений. Явным признаком цензурного произвола является зависимость от географии места. Чем дальше от Москвы, тем ужаснее условия литературной жизни.

С презрением к самому себе должен заявить, что эта «цензура», это угнетение ею художественного сознания уже оказали на меня, на мой разум и творчество, вероятно, необратимое влияние. Внутренний цензор говорит знаменитое «не пройдет» еще до того, как приступаешь к работе. Таким образом, цензура, имея беспредельную власть, нравственно развращает писателей с первого дня их появления на литературный свет. Потери от этого для общества невосполнимы и трагичны.

В юбилейный год советской власти цензурный произвол и самодурство достигли апогея, что является кошмарным.

Итак, я полностью присоединяю свой голос к выступлению А.И.Солженицына. Вопрос о цензуре должен быть включен в повестку дня Съезда и обсужден. Я не согласен только с тем, что вопрос этот возможно формулировать в такой максималистской форме, как это сделано А.И.Солженицыным: «упразднение всякой — явной или скрытой — цензуры на художественные произведения». Вероятно, формулировка должна быть выработана коллективно. Ибо во всех государствах, при всех режимах, во все века была и необходимо еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура. Я предлагаю Съезду добиться запрещения уродливой формы негласной цензуры, дать автору право личной встречи с цензором и право апелляции в высшие цензурные инстанции и в конечном счете к правитель-

ству. Я считаю также, что Союзу писателей должно быть гарантировано право вмешательства в цензурные тяжбы и он должен защищать произведения своих членов перед правительством.

Я полностью согласен с каждым словом второго раздела письма-выступления А.И.Солженицына.

По третьему разделу я должен заявить, что только вчера, из письма А.И.Солженицына узнал о том, что он обращался в Правление СП РСФСР с просьбой о защите от клеветы, хотя я должен был быть информирован о таком заявлении русского советского писателя, ибо являюсь членом ревизионной комиссии Правления.

Все вопросы, поднятые А.И.Солженицыным в его письме на имя IV Съезда советских писателей, есть корневые и главные вопросы нашей литературы, а значит, и нашего народа, нашей страны. Время их решения назрело с беспощадной исторической необходимостью. Никто никогда не простит делегатам Съезда, если они опять уйдут от сложности этих вопросов в кусты.

*Член Ревизионной комиссии
Правления СП РСФСР, член Правления
Ленинградского отделения СП РСФСР
В.Конечный
20 мая 1967 г.*

В ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

Копия — А.Солженицыну

Уважаемые товарищи!

Я, как и вы, получил письмо Александра Солженицына и хочу высказать свое суждение по всем пунктам этого письма.

Я осмеливаюсь напомнить съезду, что не рапорты о наших блистательных победах, не выслушивание приветствий иностранных гостей и не единение с народами Африки и борющегося Вьетнама составляет главную задачу писательских съездов, но прежде всего — единение со своим народом, прежде всего — разрешение собственных наболевших проблем, без чего не может жить далее и развиваться советская литература. Она все-таки не может без свободы творчества, полной и безграничной свободы высказать любое суждение в области социальной и

нравственной жизни народа, какими бы ругательствами мы ни поносили это законное требование всякого мало-мальски честного, мыслящего художника. Без нее — он чиновник по ведомству изящной словесности, повторяющий зады газетных передовиц, с нею — он глашатай, пророк в своем отечестве, способный воздействовать духовно на своего читателя, развить его общественное сознание либо предупредить об опасности, пока она не надвинулась вплотную и не переросла в народную трагедию.

И я должен сказать — такая свобода существует. Она осуществляется, но только не в сфере официально признанной цензурной литературы, а в деятельности так называемого «самиздата», о которой вы все, вероятно, осведомлены. Из рук в руки, от читателя к читателю шествуют в машинописных седьмых и восьмых копиях неизданные вещи — Булгакова, Цветаевой, Мандельштама, Пильняка, Платонова и других, ныне живущих, чьих имен я не называю по вполне понятным соображениям. Могу лишь сказать, что и моя вещь усыновлена «самиздатом», не найдя пристанища в печати. Время от времени она возвращается ко мне, и я поражаюсь не тем изменениям, какие привнес в нее очередной переписчик, а той бережности и точности, с которыми все-таки сохраняется ее главное содержание и смысл.

С этим ничего не поделаешь, — как ничего нельзя поделать с распространением магнитофонных записей наших менестрелей, трубадуров и шансонье, не узаконенных радиокомитетом, но зато полюбившихся миллионам. Устройте повальный обыск, изымите все пленки, все копии, арестуйте авторов и распространителей, и все же хоть одна копия да уцелеет, а оставшись — размножится, и еще того обильней, ибо запретный плод сладок. Помимо неподцензурных песен и литературы есть неподцензурная живопись и скульптура, и я даже предвижу появление неподцензурного кинематографа, как этого кинолюбительская техника станет доступной многим. Этот процесс освобождения искусства от всяческих пут и «руководящих указаний» развивается, ширится, и противостоять ему так же глупо и бессмысленно, как запретить табак и спиртное.

Лучше подумайте вот о чем: явно обнаруживаются два искусства. Одно — свободное и непринужденное, каким ему и по-

лагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое, но только угнетенное в той или иной степени, но только стесненное, а подчас и изувеченное всяческими компрачкосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор», — наверное, самый страшный, ибо он убивает дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств в конце концов победит, предвидеть нетрудно. И, волей-неволей, но приходится уже сейчас сделать выбор — на какую же сторону из них мы встанем, которое же из них поддержим и отстоим.

Я прочитал многие вещи «самиздата», и 9/10 из них, могу сказать со всей ответственностью, — их не только можно, их должно напечатать. И как можно скорее, пока они не стали достоянием зарубежных издательств, что было бы весьма прискорбно для нашего престижа. Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один художник, здравый умом, никогда не помыслит, — но в них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни, а подчас в них слышится боль и за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся ярыми его друзьями и охранителями.

Разумеется, все вышесказанное относится и к неизданным вещам Солженицына. Я имел счастье прочесть почти все им написанное — это писатель, в котором сейчас больше всего нуждается моя Россия, кому суждено прославить ее в мире и ответить нам на все большие вопросы выстраданной нами трагедии. Не знаю иного автора, кто имел бы больше права и больше силы для такой задачи. Не в обиду будь сказано съезду, но, вероятно, 9/10 его делегатов едва ли вынесут свои имена за порог нашего века. Александр же Солженицын, гордость русской литературы, несет свое имя много подалее. И если ему сейчас физически трудно выполнить свою задачу по причинам достаточно вам известным, изложенным в его письме, то не дело ли Съезда, не честь ли для него — защитить и оберечь этого писателя от всех превратностей его индивидуальной судьбы?

Запрещение к печати и постановке, обыск, конфискация архива, «закрытые» издания вещей, к изданию самим автором

не предназначенных, вдобавок еще гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну... — читать об этом больно и мучительно стыдно. Это происходит в пролетарском государстве. Это происходит на 50-м году Революции. Это происходит, наконец, в цивилизованном обществе во второй половине XX века. Не хватило духу объявить писателя «врагом народа», — в конце концов, это был бы честный бандитский прием, к которому нам ли привыкать! — нет, воспользовались приемом сявок, недостойных находиться в приличном доме, подпустили слух исподтишка, дабы скомпрометировать писателя в глазах его читателей, хоть как-нибудь объяснить его вынужденное молчание... Такого парадокса еще не ведала история демагогии — официальные общественные организации, пушающие анонимку на честного человека. Ведь даже Чаадаев был объявлен сумасшедшим высочайше, то бишь открыто.

И вот я хочу спросить полномочный съезд — нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? Солженицын свою задачу выполнит, я верю в это столь же твердо, как верит он сам, — но мы-то, мы здесь при чем? Мы его защитили от обысков и конфискаций? Мы пробили его произведения в печать? Мы отвели от его лица липкую зловонную руку клеветы? Мы хоть ответили ему вразумительно из наших редакций и правлений, когда он искал ответа?

Мы в это время выслушивали приветствие г-на Дюрренматта и г-жи Хеллман. Что ж, это тоже дело, как и единение с борющимся Вьетнамом и страдающей Грецией. Но пройдут годы и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать?

Письмо Солженицына стало уже документом, который обойти молчанием нельзя, недостойно для честных художников. Я предлагаю Съезду обсудить это письмо в открытом заседании, вынести по нему ясное и недвусмысленное решение и представить это решение правительству страны.

Извините все резкости моего обращения — в конце концов, я разговариваю с коллегами.

Уважающий Вас

Г.Владимов
Москва, 26 мая 1967 г.

СЕКРЕТАРЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ТОВАРИЩУ ПЕТРУ НИЛОВИЧУ ДЕМИЧЕВУ

Уважаемый Петр Нилович!

В числе других делегатов нашего съезда я тоже получил известное письмо от писателя Александра Исаевича Солженицына, и оно взволновало меня так же, как некоторых других товарищей.

Как старый писатель и как коммунист, я считаю себя обязанным поделиться этими чувствами с Вами.

Александр Солженицын представляется мне писателем на редкость талантливым, растущей надеждой нашей реалистической литературы, наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Льва Толстого, Алексея Максимовича Горького. Такими деятелями нашей культуры необходимо дорожить. Критика опубликованных произведений Солженицына поражала своей пристрастной несправедливостью, своей малой доказательностью.

Изъятие рукописей Солженицына, о чем подробно говорится в его письме, представляется каким-то невероятным происшествием, недостойным нашего социалистического общества и нашего советского государства. Это тем более ужасно, что несколько лет тому назад то же самое произошло с рукописью второй части романа покойного Василия Гроссмана.

Неужели такая расправа с рукописями наших писателей рискует превратиться в узаконенный обычай у нас?

Этого не может и не должно быть!

Такая жестокость по отношению к произведениям искусства несовместима с нашими основными законами и немыслима в любом нормальном человеческом общении.

Если в произведениях Солженицына есть что-либо спорное или неясное, если в них обнаружены политические ошибки, их должно подвергнуть открытому обсуждению нашей общественности. Таких возможностей у писателей много.

Я работаю в литературе пятьдесят лет. За плечами у меня и книги и целая жизнь, на долю которой всего пришлось вдоволь.

Бывали в ней и времена жгучей тревоги за судьбы всей нашей литературы, а также и за отдельных товарищей — Булгакова, Пастернака, Тициана Табидзе — я вспоминаю тех, что были мне близки.

Прожив эту жизнь, я никак не мог представить себе, что такая тревога возникнет уже на склоне моих дней, да еще накануне нашей великой и славной даты!

Если советский писатель оказался вынужденным обратиться к своим собратьям по перу с таким письмом, как Солженицын, это означает, что все мы в ответе перед ним и перед нашими собственными читателями. Если он не может сказать читателям своей правды, то и я, старый писатель, лишен права смотреть открыто в глаза читателям.

Павел Антокольский

В ПРЕЗИДИУМ IV СЪЕЗДА ПИСАТЕЛЕЙ

За несколько дней до начала съезда я получил письмо А.Солженицына по поводу положения дел в литературе. Из этого письма следует, что оно послано и в Президиум съезда.

Прошло уже три дня нашей работы, а Президиум съезда хранит загадочное молчание, будто этого важного документа не существует в природе.

Я разделяю многие положения, выдвинутые А.Солженицыным на обсуждение, считаю их чрезвычайно важными для судеб искусства и прошу Президиум съезда не утаивать письма А.Солженицына от делегатов.

По сути дела хочу добавить:

1. Нынешняя цензура, кроме исполнения традиционных цензорских функций (изъятие публикаций, наносящих ущерб обороне, выпадов против власти, пресечение порнографии и агитации войны), бесконтрольно вмешивается решительно во все художественные компоненты произведения. О компетенции такого вмешательства приведу только один факт из многих сотен. В картине «Знойный июль», которая, к несчастью, была закончена съемками в тот месяц, когда сняли т. Хрущева, — были вырезаны все эпизоды, где было видно кукурузу.

2. Произвол цензуры усугубляется тем, что по некоему положению служащие «Главлита» входят в контакты с авторами не имеют права, а мы, писатели, должны делать вид, будто этой цензуры не существует. В моей книжке «Я читаю рассказ», после всех корректур и виз, из перечня современных советских рассказчиков кем-то без моего ведома была вычеркнута фамилия А.Солженицына. Кем именно это сделано, я так и не мог дознаться. Редактор книжки заявила, что фамилия Солженицына, очевидно, не помещалась в строку.

3. Произвол цензуры поощряется и тем, что она действует анонимно, а потому и безнаказанно. История с изъятием романа А.Бека из «Нового мира» — романа, который был признан московскими прозаиками на специальном заседании одним из лучших произведений этого автора, — необъяснима. Кто за это должен отвечать персонально — вряд ли станет известно.

4. Непоправимый ущерб от незаконной цензуры терпит не только литература. До сих пор «лежат на полке», то есть, попросту говоря, запрещены Комитетом по делам кинематографии, который, по существу, давно выродился в одно из цензурных ведомств, такие фильмы, как «Приключения зубного врача» (режиссер Климов), «Земные звезды» (по повести О.Берггольц), «Скверный анекдот» (режиссеры Алов и Наумов), «Страсти по Андрею» (режиссер Тарковский) — картины, которые получили подавляющим большинством голосов аттестационной комиссии высшую категорию по качеству. А талантливая работа молодого режиссера Кончаловского была запрещена даже для просмотра в Клубе писателей.

О том, что творится в смысле отбора творений на выставки у художников и скульпторов, — и говорить противно.

5. В результате того, что функции цензуры беспредельно расширились, и каждый рядовой служащий под видом «бдительности» может эти функции бесконтрольно и безответственно присваивать, судьбами советского искусства ведают не творцы этого искусства, а мало смыслящие в этом деле чиновники или бесталанные деятели искусств, выродившиеся в чиновников. К чему это приводит, показывает, среди множества других прискорбных фактов, и факт несправедливого, позорного отно-

шения к одному из самых талантливых наших писателей — А.Солженицыну.

Прошу Президиум съезда дать мне возможность прочесть это письмо на съезде или довести это письмо до сведения делегатов.

С. Антонов

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР

(Из письма В.А.Соснора)

<...> Письмо, которое должно было стать на съезде одним из программных, — скрыли. Чего этим добились? Письмо за две недели уже распространено в тысячах экземпляров. Еще через две недели не будет ни одного человека в России, и не только в России, который не прочитал бы это письмо.

Сейчас можно делать все, что мы умеем, чему нас учили и чему научили: сделать вид, что ничего не произошло, применять к писателям и читателям любые меры воздействия (психологического и административного), но не съезд двух тысяч (конечно, реверанс — был там кое-кто и из писателей), а письмо Солженицына стало действительным общественным фактом.

Один из единственных писателей, по самому большому счету представляющий сейчас Нравственность и Совесть страны, — не был избран делегатом съезда.

А не был он избран делегатом по причинам ясным и недвусмысленным: писатель, который все что-то пишет, все за кого-то думает, мучается и болеет, — он и недопустим, он враждебен. <...>

В мощной организации, состоящей из шести тысяч членов, мы, члены, не имеем даже права публично заявить о своем мнении. Мы, как графоманы-пенсионеры, пишем почти подпольные молитвы-письма, и куда же? в свой собственный Секретариат!

Потеряна всякая литературная этика.

<...> Слесарь, создатель гайки, имеет возможность наблюдать реальные плоды своего труда, его гайка применяется на производстве.

Писатель, создатель талантливых произведений, всеми силами своими стремящийся помочь всему нашему строительству,

работает безрезультатно, работает в стол десятилетиями, он лишен всяческого общения с читателем.

А иногда его рукописи использует абсолютно враждебная ему иностранная пресса.

Лучшие книги, которые ходят сейчас в рукописях, это — золотая кладовая русской литературы. И скрывать это богатство от читателей — непростительное преступление литературных чиновников.

Мне тридцать один год.

Из них три года я служил в Армии, шесть лет работал слесарем на заводе, остальные годы — блокада, партизанский отряд, послевоенный голод и страшная десятилетка — школа 44—54 годов. 15 лет я пишу ежедневно и профессионально (под профессиональностью я понимаю не публикацию, а качество).

Я опубликовал две книги стихотворений, в двух книгах — три тысячи строк. Как и все книги, мои книги вышли тщательно кастрированные всеми двенадцатью инстанциями.

Все лучшее, что я написал, — не опубликовано, хотя ни из чего и никогда я не делал тайны, и все, что написал, предлагал чуть ли не всем журналам страны.

У меня не опубликовано: 24 поэмы, составляющие 12 тысяч строк, роман и шесть повестей в прозе — сорок печатных листов, 3 пьесы и литературоведческие эссе. Все это тоже потихоньку ходит в рукописях. Но рукопись не является литературным фактом. Поэтому и обо мне у читателей мнение ложное.

Мое имя смутно. Мой голос слаб.

Но как член Союза Писателей я считаю себя вправе обратиться в Секретариат с требованием публично обсудить предложения Солженицына и письма, следовавшие за его письмом. Я считаю, что Секретариат обязан вынести положительное решение. Другого решения я не представляю, ибо наше время благоприятствует созданию правильной обстановки в литературе.

С уважением —

Соснора Виктор Александрович

*В.Каверин*РЕЧЬ, НЕ ПРОИЗНЕСЕННАЯ
НА IV СЪЕЗДЕ ПИСАТЕЛЕЙ

Вероятно, мне не следовало выступать на этом съезде, зная, что при избрании делегатов (за полтора года до съезда) были допущены несомненные и грубые нарушения Устава. Тем не менее я надеялся, что съезд не обойдет насущных вопросов нашей литературы, ее положения, которое можно смело назвать трагическим, что съезд не пройдет мимо глубоких произведений, появившихся за последние годы, что в результате их обсуждения появится общая картина нашей литературы, в которой давно и остро нуждаются писатели нового поколения. Этого не произошло. Более того — съезд отразил не состояние литературы, а состояние настороженности, неизменно встречающей каждый открывающийся разговор о нашей литературе. Проще говоря, съезд отразил не жизнь литературы, а страх перед подлинной, набирающей силу, литературой. Заранее подготовленное, тщательно взвешенное изгнание литературы из огромного собрания писателей, съехавшихся со всех концов страны, и заставляет меня занять ваше внимание.

Самый факт этого изгнания представляет собой бросающийся в глаза анахронизм. Это не просто пренебрежение к истории советской литературы, в которой за столетия произошло так много полных глубокого смысла событий. Это слепое стремление не видеть того, что в ней происходит в настоящее время, закрыв глаза, сделать вид, что все обстоит благополучно. Именно так — без сомнения ввиду приближающегося праздника пятидесятилетия — были построены все доклады. Ни анализа литературной жизни, ни единой попытки объяснить сущность намечающихся литературных направлений, ни защиты писателей от неслыханного разбоя цензуры. Декламация, восклицательные знаки, лживая риторика, — все это прозвучало звонко, но пусто, складно, но оскорбительно.

Я просил слова, чтобы сказать то, что я думаю о нашей литературе. Но самый факт поставленного как театральное представление, разыгранного, как по нотам, съезда заставляет меня прежде всего сказать несколько слов о Союзе писателей.

Что представляет собою эта шеститысячная организация, имеющая свои отделения во всех крупных городах страны и обходящаяся государству в миллионы? Я — член этой организации со дня ее основания, и перед моими глазами прошли все стадии ее развития. Этот процесс можно характеризовать как непрерывное, то замедляющееся, то ускоряющееся отдаление от литературной жизни и ее интересов. Даже в самые худшие времена сталинского произвола сохранялась некоторая видимость связи между Союзом писателей и литературой. Происходили обсуждения, в секциях обсуждались меры, необходимые для поддержки писателей или их произведений. Но непрерывно действующая центробежная сила с каждым годом относилась Союз писателей в сторону от литературы, превращая его в громадный, действующий на холостом ходу аппарат. Между членами Союза писателей и подлинными профессиональными писателями образовалась пропасть. Литературные собрания, дискуссии, встречи не только прекратились, но самая мысль о них встречает у руководителей Союза сопротивление. Причина этой боязни ясна: руководители Союза боятся, что на любом из этих собраний может вспыхнуть спор, в котором с полной отчетливостью отразится несогласие большинства серьезно работающих писателей с литературной политикой, которую проводит Союз. Не защита и поддержка писателей, а защита от писателей — вот атмосфера этой политики. Союз с его аппаратом, с его сложной административно-хозяйственной жизнью, с его внутренними интригами и карьерами, живет своей жизнью, нигде не скрещивающейся с жизнью литературы. Его руководителям, которые всецело подчиняются другим руководителям, кажется, что они управляют литературой. Это ложное впечатление. Литературой нельзя управлять. В лучшем случае это самообман, необходимый для более чем благополучного существования все той же литературной иерархии.

Можно — и это было сделано в сталинские времена — построить макет литературы, выпуская в миллионах экземпляров рептильные, насквозь фальшивые произведения. Где они теперь, кто читает эти книги, у кого есть охота и время разыскивать в этой самодеятельности, озаренной искусственным солнцем, крупинцы таланта! С литературой ползающей, пошло-

восторженной, с литературой, понимающей общественное служение как прямую линию между двумя точками — между идеей и ее воплощением, — покончено. Но ничему не научил этот провалившийся опыт.

И то сказать: никто теперь не заказывает пьес и романов — заранее известно, что их не станут смотреть и читать. Выстроить новую мнимую литературу невозможно — и не только потому, что в современной общественной атмосфере она мгновенно рухнула бы, как карточный домик. Она невозможна, потому что ее место заняла новая, подлинная литература.

Вот об этом-то и надо говорить на съезде писателей. Что ни месяц — по крайней мере так было до недавнего усиления цензуры, — появлялись новые имена. Они всем известны — и я не буду их называть. Литература начинает приобретать блеск оригинальности, появилась надежда, что ей удастся в ближайшие годы выйти на мировую магистраль. Определились направления. Нет возможности в этом кратком выступлении нарисовать внятную картину их особенностей, их происхождения и развития. Можно дать лишь их слабый очерк, вероятно, во многом неточный. Прежде всего следует указать философско-реалистическое направление. Наиболее сильным, оригинальным и талантливым представителем его является А.И.Солженицын. Не буду говорить об «Одном дне Ивана Денисовича», произведении, заслуженно представленном в свое время на Ленинскую премию, о его первоклассных рассказах, печатавшихся в «Новом мире». Скажу лишь, что «Матренин двор» по своей глубине, по силе и отчетливости социального значения представляет собою подлинный шедевр. Обратимся к другим его произведениям, еще не опубликованным (по причинам, о которых я скажу в дальнейшем), но достаточно известным широкому кругу литераторов. Я имею в виду повесть «Раковый корпус» и роман «В круге первом». Есть общая черта, соединяющая оба произведения, — это могучее стремление к правде, опирающееся на чувство внутренней свободы.

Что такое внутренняя свобода? Мы, писатели старшего поколения, в течение многих лет как бы скрывали от себя трагическое положение литературы, запутывались в противоречиях, с трудом различая в хоре фальшивого оркестра редкие ноты само-

отречения, жертвенность призвания. Я никогда не соглашался с тем взглядом, что история советской литературы оборвалась в конце двадцатых годов и возобновилась в шестидесятых. Она продолжалась: разве это не становится очевидным, когда мы читаем Цветаеву, Булгакова, Ахматову, Андрея Платонова — книги писателей, сопротивлявшихся идее ложного благополучия, мнимого духовного расцвета? Это сопротивление, тесно связанное с революционным взлетом двадцатых годов, развивавшее, как это ни было трудно, русский ренессанс первой четверти XX века, нетрудно обнаружить не только в голосах писателей, заговоривших после тридцати-сорокалетнего молчания. Будущие историки советской литературы найдут его в творчестве Тынянова, Пастернака, Заболоцкого, Шварца. В замаскированном виде оно когда-нибудь будет обнаружено и в книгах, переиздававшихся неоднократно.

Так вот, новая наша литература свободна от сомнений, колебаний, самоуговоров, попыток всеми средствами сохранить святость своего призвания. Ей не надо доказывать свою преданность революции. К ней как нельзя лучше подходит мысль Пастернака, выраженная в его письме к Табидзе: «И если бы Вы этого даже не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой, надейтесь только на себя! Забирайте глубже земляным буравом без страха и пощады, но в себе, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, если бы мы даже и не знали искавших по-другому. А разве их мало? И плоды их трудов налицо».

Самое важное в этой мысли, к которой я в последнее время неоднократно возвращаюсь, — увидеть в себе народ, найти в себе отражение его надежд, радостей и страданий, его пробудившегося и все возрастающего стремления к правде. Правда о прошлом — вот дуга, упруго перекидывающаяся от одного произведения Солженицына к другому. Наивно представлять себе, что все, что происходило в 30—40—50-х годах с двухсотмиллионным народом, можно сразу забыть по чьему-то приказу. Для этого необходимо пустить в ход громадное, сложное, дорогостоящее устройство лжи, маскировки, искажений. Но, во-

первых, оно неизбежно будет давать и уже дает — осечки, подрывающие престиж нашего государства. А во-вторых, нет более верного способа усугубить в сотню раз интерес к прошлому, чем попытаться скрыть это прошлое или исказить его, что делается, в общем, весьма бездарно. Но вернемся к Солженицыну.

В чем заключается главная мысль повести «Раковый корпус»? В толстовской «Смерти Ивана Ильича» перед лицом смерти стоит только он один, Иван Ильич; сноп лучей неизбежности, железной необходимости устремлен в одну точку. В повести «Раковый корпус» перед лицом смерти стоят люди разных профессий, разного социального положения и значения, разного интеллектуального уровня. Героев много, но среди них почти нет очерченных приблизительно, неясно. Каждый из них как бы вскрыт беспощадным, умным ланцетом автора. Это психологическая секция, достигающая необычайной силы. Это социально-философский разрез, мимо которого, конечно, мы не можем пройти, потому что каждый из нас когда-нибудь окажется перед лицом смерти. Так вскрыт Русанов — воплощение мертвого идола сталинизма. Так вскрыт Вадим Зацырко, о котором на обсуждении «Ракового корпуса» в Союзе писателей Карякин умно заметил, что этот образ еще страшнее Русанова, потому что Вадим принимает эстафету от Русанова, не замечая, что он ее принимает.

Но значение «Ракового корпуса» не только в «психологической анатомии», а в том, что герои повести устремлены к самопониманию. Таков Ефрем Поддуев, задумывающийся, читая Толстого, над смыслом своего разбойничьего, животного существования, почувствовавший болезнь как наказание, как расплату. Таков Костоглотов, в котором главное не только вера в жизнь, но не боязнь смерти. В этой фигуре выражена мысль глубоко поучительная, потому что именно не боязнь смерти была основой нашей победы в тяжелой войне, была порукой сохранения науки и искусства в сталинские годы, была порукой сохранения человеческого достоинства в самых тяжелых, трагических обстоятельствах концлагерей и тюрем. Вот почему так трогательны и естественны все сцены любви в этой повести. Костоглотов не боится смерти, он имеет право любить.

Возвращение к чистоте революционной идеи — вот чем дышит повесть «Раковый корпус».

Произведения огромного, всеобщего значения редко получают немедленное признание. Успех и посредственность — понятия более близкие, чем гениальность и признание. Но я ни минуты не сомневаюсь в том, что размах и неожиданная новизна романа «В круге первом» сразу же поставили бы Солженицына на одно из первых мест в мировой литературе. Прежде всего, это роман народный. Более того, «В круге первом» заставляет окинуть все творчество Солженицына новым взглядом, и становится ясно, что он, его книги, самая его личность являются ответом народа на то, что происходило в стране в годы сталинского произвола. Вот откуда эти все новые, до самого конца возникающие герои, вот откуда их разнообразие, социальная глубина, их определенность. Никто не обойден, все круги советского общества представлены в романе — крестьянство, рабочие, интеллигенция, аппарат принуждения: от младшего лейтенанта госбезопасности до Сталина. В глубоком вертикальном разрезе с ясной до боли отчетливостью видна судьба каждого из них.

Среди ученых (действие происходит в закрытом научном институте, где работают заключенные) — много талантливых, один — гениален. Из заколдованного круга единственный выход — по этапу обратно в ссылку или лагерь. В замкнутой, почти вещественно-плотной атмосфере все обостряется, доходит до предела — и отдающее гениальностью терпение (Потапов), и мужество перед новыми испытаниями, желание этих испытаний, желание испить чашу до дна не во имя христианской жертвенности, а во имя познания (Нержин), и подлинно русский характер, с которым можно сделать все — и ничего нельзя сделать, потому что он неизменно остается самим собой (Спирidon), и чувство воплощенной истории, исторического пути, который насильственно искажен, направлен в тупик (Рубин).

Рассказывая об этих книгах, я чувствую, что невольно снижаю их значение, представляя героев Солженицына в чернотонах. Между тем сила впечатления, которой они производят, прямо пропорциональна психологической сложности. Здесь и слабость сильных и сила слабых. Действие большого романа происходит в течение двух дней с нарастающим напряжением. Замысел воплощен до конца. В книге нет и тени отчаяния. Напротив, она проникнута торжеством человечности и надеж-

ды. Вы закрываете книгу с чувством благодарного изумления, скрепящая размышления о ней с размышлениями о себе.

Но довольно о Солженицыне. Он не один, направление, к которому он принадлежит, объединяет многих талантливых писателей, задумавшихся над судьбами страны. Их произведения проникнуты историзмом, над ними — независимо от жанра — стоит знак времени. Среди них Семин, Домбровский, Владимов, Зальгин, Бек, Максимов, Грекова, Бондарев — я не перечислил и десятой доли. Именно это направление в ближайшие годы станет, мне кажется, главенствующим в нашей литературе. За ним — будущее, потому что нравственная идея, исконно присущая русской литературе, с каждым годом все глубже проникает в сознание нового поколения.

Обратимся к другому направлению, которое можно, мне кажется, назвать гротескно-драматическим. Во главе его, с опозданием на сорок лет, встал Михаил Булгаков, фигура замолчанная, заслоненная и ныне заявившая о себе громким голосом, который услышал весь мир. Вот что он писал в 1930 году правительству СССР: «Борьба с цензурой, какой бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, — мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я — горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-нибудь из писателей задумал доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода...» И дальше: «...ныне я уничтожен. Уничтожение это было встречено советской общественностью с полной радостью и названо “достижением”... Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие... Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР...»

Загнанный в тень, в небытие, он продолжал работать над пьесами, которые в наши дни вошли в репертуар многих театров, над романом «Мастер и Маргарита», получившим мировое признание. Мне уже не раз случалось говорить и писать о той своеобразной традиции литературы XIX века, которую продолжал с блеском развивать Булгаков. Начиная с загадки гоголевского «Носа», через Сухово-Кобылина с его канцелярскими фантомами, вырастающими до понятия Рока, к Салтыкову-Щедрину, которого Булгаков недаром считал своим учителем. В «Мастере

и Маргарите» эта традиция вспыхнула с новым блеском, сохранив свою определяющую черту — идею справедливости, подчас искусно замаскированную и достигающую громадной силы как в обороне, так и в нападении. В романе действуют написанные с выразительностью Гойи силы зла, воплотившиеся в людей обыкновенных и даже ничтожных. Превращениям, чудесам, мрачному издевательству Сатаны над людьми нет предела. Но в самой слабости, с которой этому преступному всевластию противопоставлена простая история Христа, заложена основа нравственной победы.

Этот роман появился после того, как он почти тридцать лет пролежал в архиве покойного писателя. Поэтому — и не только поэтому — мне трудно назвать хотя бы несколько имен, которые следовало бы отнести к булгаковскому направлению. Рядом с ним можно смело поставить Шварца, искусно пользовавшегося кажущейся отдаленностью своей фантазии от реального мира. Но именно эта отдаленность и позволяла ему называть вещи своими именами. Изящное и глубокое искусство Шварца продолжает действовать в нашей литературе. Его меткие афоризмы проникли в разговорный язык.

В письме Булгакова, которое я цитировал, он сомневался (в 1930 году) в возможности сатирической литературы в СССР. В нашей сложной современности эту мысль опровергают талантливые произведения Фазиля Искандера и Можаяева, по-разному развивающие направление, о котором идет речь. Трудно судить о будущем, но, если эта струя не затерялась, не погибла в годы, когда сотни членов Союза писателей спокойно взирали на ни в чем не повинного Зощенко, который корчился и бился в немоте и пустоте всеобщего равнодушия, она найдет свое место в панораме развивающейся жизни и литературы.

Наконец, третье направление, определившееся давно, — романтическое — связано с именем Паустовского, с его школой. Появление этой школы объясняется не только неустанной деятельностью Паустовского, который терпеливо учил молодых писателей, вернувшихся с войны, «преображению» того, что они видели и пережили, — он учил их искать и находить литературную форму этого преобразования, уводя от фактографии, от блокнота военкора к подлинному искусству. Позиция Паустовского,

которую приняли его ученики, тесно связана с поэтическим отношением к действительности — черта, характерная для Тендрякова, Казакова, Бакланова, Балтера, вопреки их полному несходству в стиле, композиции, выборе тем. К стати сказать, меня бы ложно поняли, предположив, что эта черта — затушевывающая, смягчающая краски, озаряющая действительность розовым светом. Как раз наоборот: поэзия — кратчайший путь к правде, одна из немногих возможностей взглянуть на действительность по-орлиному — зорко.

Нельзя сказать, что эти три направления уже определились в полной мере. Кристаллизация продолжается так же, как продолжается и плодотворная борьба между ними. Ей сопутствует оживление в литературной теории, вспомнившей глубокие начала, заложенные ОПОЯЗом в двадцатых годах. Так и должно быть: литературная борьба должна опираться на теоретическую основу.

Но есть другая борьба, в которой подлинное искусство ждуг и поражения и победы. Борьба между литературой искренней и выспренной, между литературой, которая действует потому, что она не может бездействовать, и литературой, которая создается во имя собственного благополучия, славы. Между литературой, упрямо поднимающейся в гору, и литературой, напоминающей неподвижного великана на глиняных ногах. Между удачами быстрых литературных карьер и мнимыми неудачами, связанными с новым зрением в искусстве.

Здесь своевременно перейти к явлению, получившему в последние годы неслыханный размах. Я имею в виду «американизацию» литературы, подстегивание интереса к картонному искусству детектива, тоже озаренному «романтическим» светом, к маленьким загадкам обыденной жизни, к «полезным советам», облаченным в форму короткого рассказа, к «кроссвордам быта», поднявшим тираж некоторых журналов до пяти-шести миллионов. Это явление мировое, сетовать на него бесполезно, тем более что оно все равно не в силах заслонить истинного искусства. Изучать это явление должны, мне кажется, социологи, а не историки литературы. Для социолога условное разделение литературы на две литературы — интеллектуальную и мнимоинтеллектуальную — вполне естественно, в особеннос-

ти если он сумеет подключить ко второй телевидение и радиовещание.

Но как быть с третьей литературой, представляющей собой еще не виданный феномен как с исторической, так и с художественной точки зрения? Как быть с литературой машинописной, ходящей по рукам и увеличивающейся с каждым годом, несмотря на запретные меры, воплотившиеся ныне в форму закона? Увеличивается она не только потому, что свирепая цензура и перепуганные руководители издательств и журналов запрещают, отказываются печатать первоклассные произведения, которые, без сомнения, стали бы гордостью не только нашей, но и мировой литературы. Она увеличивается и будет увеличиваться потому, что страна вступила в новый период — в период *вглядывания в себя*, в то, что случилось с нею в прежние годы. Отражение этого народного «вглядывания» — вот что породило так называемый «Самиздат», подвергающийся преследованиям и запретам. Писатели поняли, что без этого «вглядывания» невозможно воспользоваться собственным опытом жизни, — а ведь этот опыт неслыханно, необозримо богат! Писатели поняли, что нужно отрешиться от всякой целенаправленности и думать только о воплощении правды, а не о том, будет ли напечатана книга. Каждый из них — если он подлинный художник — является общественным деятелем, который вольно или невольно участвует в борьбе против страха, искажающего контуры искусства, против произвола и бессмыслицы, все еще господствующих в нашей литературе. Каждый из них произнес мысленно десятки речей, направленных против этого страха и этого произвола. Эти немые речи не пропали даром. Они приучили — в данном случае я говорю о себе — оставаться наедине с собой, а ведь одна из тяжких сторон работы писателя как раз и заключается в том, что он почти никогда не остается наедине с собой. Всегда присутствует третий — государство в любой форме, иногда незаметной, и поэтому оскорбительно опасной. Но ведь невозможно изображать других, если не увидеть, не узнать, не понять себя — без свидетелей. В основе любого искусства лежит независимость, и немногое выигрывает художник, видя себя испуганным или притворяющимся. Впрочем, даже и таким он способен верно изобразить себя, если ему не мешают. Об исключительности

прожитой жизни нечего и говорить. Так что же — так и оставить ее неразгаданной, непрочитанной, непонятой — ни тобой, ни другими?

Вот в чем одна из важных причин появления и роста машинописной художественной литературы. Подчеркиваю — художественной, потому что в ней встречается немало и сенсационного вздора. Замечу, что подлинная литература, остающаяся до поры до времени в рукописном виде, отнюдь не направлена против революционной идеи, во имя которой, подчас с мучительными тяготами, растет и развивается наша страна. Она с существенной остротой направлена против сталинского произвола и роковых пережитков этого произвола. Она вскрывает недостатки современного положения дел, но вскрывает их искренне и с желанием добра. Зато наша литературная политика — вот пункт, против которого она направлена, можно сказать, самим фактом своего существования.

Что же делать с этой новой, не желающей лгать и притворяться литературой? Что делать с писателями, отказывающимися признавать ошибки, которых они не совершали? Что делать с писателями, которые перестали бояться, которые заняли нравственную позицию в жизни и литературе — позицию, которая дороже для них, чем сама жизнь? С ними ничего нельзя сделать. Они работают и будут работать — в безвестности, в одиночестве, в безмолвии, лишённые поддержки и воодушевляемые лишь сочувствием интеллигентного круга, который становится все шире и глубже.

Так как же убедить тех, от кого это зависит, что политика запретов, сдерживания, насильственных сокращений вредна и не достигает цели? Тираж радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» был уничтожен, осталось 18 экземпляров — и это не помешало книге стать могучим орудием развития русской общественной мысли.

В любой области культурной жизни страны широко используется предшествующий опыт. Так почему ничему не научила нас история с романом «Доктор Живаго»? с «Крутым маршрутом» Аксеновой? Почему запрещают у нас первоклассные произведения, зная почти наверное, что они попадут за границу и будут использованы как бесспорное свидетельство гонений на

советскую литературу? Примеры общеизвестны. Они множатся и будут множиться, если те, от кого это зависит, не возьмутся наконец за ум и не пересмотрят со всей серьезностью, что «нельзя», а что «можно» и «должно».

Картина нашей литературы сложна. В ней можно найти, например, сторонников полной изоляции, основанной на идее православия. Можно найти вольных или невольных пособников фашизма. Я призываю лишь к одному — *увидеть* эту картину, не стоять перед ней с закрытыми глазами. Понять наконец, что если литература изменилась и продолжает изменяться вместе со страной, так должны измениться и принципы ее «управления» ею, если уж оно действительно необходимо. Электрическую лампочку нельзя, как известно, зажечь с помощью спички. Не слепое сдерживание во что бы то ни стало, а размышление должно стать основой литературной политики. Не казенный оптимизм, а стремление умно и точно взвесить ту пользу, которую может принести литература духовному развитию народа.

Товарищи, я выступил с этой речью не потому, что надеялся, что мне удастся убедить руководящих деятелей нашей литературы в своей правоте. Мне уже случалось излагать эти соображения в ЦК КПСС. Меня вежливо выслушали, но ничего не изменилось. Я выступил здесь потому, что эти мысли, от которых я при всем желании не мог освободиться, мешали мне спокойно работать.

*Летом 1966 года в редакцию журнала «Новый мир»
была сдана первая часть новой повести
А.Солженицына «Раковый корпус».
Осенью того же года
повесть обсуждалась на секции прозы
Московской писательской организации.*

БОИ ЗА «РАКОВЫЙ КОРПУС»

СТЕНОГРАММА
РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ БЮРО
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЗЫ
МОСКОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СП РСФСР

16 ноября 1966 года

Председательствует Г.С.Березко

Г.С.Березко

РАЗРЕШИТЕ начать заседание Бюро объединения прозы. На повестке дня обсуждение рукописи первой части нового романа Солженицына.

Я очень рад, что заседание Бюро, обычно не столь многочисленное, сегодня такое многолюдное. Это очень хорошо, это говорит о неослабевающем интересе ко всему новому в литературе.

Прежде чем мы начнем наш разговор, я бы хотел сказать несколько слов о характере наших обсуждений рукописей. Мы их проводили в прошлом, будем проводить и в будущем. Причем я и мои товарищи в Бюро объединения считаем эту форму работы одной из самых важных и необходимых для литераторов. Чаще всего необходимость в таком обсуждении рукописи возникает тогда, когда возникает какая-то дискуссия между писателем и издателем, между писателем и редакцией. Тогда слово писательской общественности бывает уместным и иногда действенным. Это не всегда получается, но иногда бывает действенным. Все мы самим существом своей работы обречены на одиночество. Пока мы пишем, мы одиноки. У многих из нас в процессе работы возникает желание посоветоваться с товарищами, с близкими людьми, с друзьями, товарищами по ремеслу или по искусству — это зависит от точки зрения, как называть.

К нам обратился с просьбой писатель Солженицын — обсудить рукопись его нового романа. Мне лично очень приятно, что наша первая встреча с этим сильным, интересным, очень талантливым писателем происходит на такой рабочей, деловой основе. Нам предстоит сегодня обсуждение еще не законченного романа. Я очень надеюсь, что это обсуждение будет плодотворным, интересным и для нас и для автора.

А.И.Солженицын

Я бы только хотел заметить, что считаю это не романом, а повестью.

Г.С.Березко

Первое слово имеет А.М.Борщаговский.

А.М.Борщаговский

Я хочу сделать прежде всего чисто читательское признание. Когда я готовился к сегодняшнему обсуждению, я раздобыл на какое-то короткое время экземпляр первой части романа Солженицына (потому что читал эту рукопись несколько месяцев назад) и был убежден, что просто пролистаю, вспомню какие-то нужные мне вещи и буду готов к выступлению. Но случилось так, что я не мог просто пролистать рукопись, я всю ее жадно, не пропуская ни одного абзаца, прочитал.

Я это говорю к тому, что эту книгу, написанную на труднейшем материале, который по первой мысли как бы должен с трудом входить в тебя: онкология, обреченные, умирающие люди, но это трудное, это сложное до такой степени меня забрало, до такой степени стало мне необходимо граждански, человечески, — эту книгу я вторично прочитал всю, от первой до последней страницы, по всем этим ступенькам. И думаю, когда книга выйдет, я с еще большим уважением к заключенной в этой книге истине буду читать ее.

Конечно, трудно обсуждать незаконченную книгу. Там есть вещи, которые, как ни думай, сам не решишь. Как произойдет суд смерти или жизни над этими героями? Как сложится жизнь одного из главных героев, Костоглотова? Удастся ли прекрасному врачу, в которого влюбляешься, читая эту книгу,

пройти через этот ужас? Есть наивности простые сюжетные для квалифицированного читателя, но есть вещи более серьезные, на которые полный ответ даст вторая книга. И тем не менее мне представляется, что есть в первой части повести на 340 страницах настолько значительное, настолько необычное, весомое и, я бы сказал, радостное по моему восприятию художественности этой вещи, ее нужности людям, что вряд ли мы скоро дождемся обсуждения столь необходимого литературе, как сегодняшнее.

Конечно, я думаю, что все здесь не случайно, не случайный материал, вероятно близкий биографически автору. Не случайно, что он выбирает самый трудный разрез жизни, и в этом мне представляется еще одно доказательство того, что для меня лично стало аксиоматичным — выдающийся характер дарования Александра Исаевича Солженицына. Я говорю это, понимая, что легче такое говорить в отсутствие автора, но тем не менее это истина, и наша литература выиграет от того, что вещь глубины «Смерти Ивана Ильича» или «Иудушки Головлева», с такой глубиной всечеловеческой, когда социальные категории и приметы времени сочетаются с такими размышлениями, когда это может жить долго.

Я думаю, что наша литература идет к этому. Она идет к этому и по главным дорогам, и по обочинам, она возникает где-то у вологодского автора В.Белова, это возникает у Можая в разных измерениях — это бесконечно ответственное глубокое вглядывание в человека как он есть, а не такого человека, которого можно сконструировать.

Конечно, первая часть повести «Раковый корпус» в этом смысле очень круто написана, она очень сильно захватывает своими внутренними антитезами, правдой человеческого существования. И получается поразительная вещь. Я все время думаю над этим, как много мы спорили, бились, что отрицательные герои получают, а положительные не получают. Это было каким-то постоянным предметом забот и рассуждений. И вот литература о положительном герое. Я говорю это, понимая всю узость этого определения, потому что что такое Ефрем Поддубев? Это человек, который мыслит крайними категориями, не так красиво он прожил жизнь. Но он положительный в том

смысле, что этот человек, который пусть поздно, пусть за 10 шагов до смерти, у которой...^{*} пусть за три дня до окончания жизни, но задумался над тем, над чем человеку полагалось задумываться раньше, к чему мы должны его толкать, внутренне, не насильственно приводить. И он такой живой в своей биологической сути, в плоти живой, в реальности, что я чувствую его шаги по палате, я чувствую себя связанным с ним. Он вырастает и в человека, который мне преподает какой-то нравственный пример. Говорю это совершенно серьезно. Да, преподает, если он в состоянии задуматься и сказать, что в царство небесное он не может войти, потому что разорил много баб. Но дело не в одном Ефреме.

Я думал, когда читал эту книгу, как просто, как органично входят эти оценочные категории, разные нравственные позиции. Не знаю, удастся ли всем, каждому критику этой книги, разгадать, когда говорится об этой палате, когда она видится глазами Русанова, а когда об этом говорит Костоглов. Когда смотрит на нее Русанов, он видит быдло, чувствует запах гноя. Страдания, гной — это так, это есть, это окружает здесь людей. Но вот этот казах, этот узбек, немец с белой шеей, которого все-таки будут оперировать, — хотя никто из них не прокламирует лозунг дружбы народов, у них возникает необходимость общественных отношений. Возникает образ людей — наших современников, лучших людей, несмотря на их бедственное состояние, темноту, отсутствие образования. Мы видим душевную тонкость, внутреннюю деликатность, которая рождается изнутри.

Для меня эта атмосфера, атмосфера палаты, в которой лежат люди, приговоренные к смерти не произволом автора, а самой действительностью, поскольку это только частица тех миллионов людей, которые умирают от этой страшной болезни, — для меня эта атмосфера в стремлении понять друг друга, смысл жизни, в этих простых изначальных оценках и мерах человеческих. И в этом для меня огромная нравственная высота книги, подтвержденная выдающимся талантом автора. Иначе это неразрешимая задача. Иначе эту обстановку, этот круг жизни описать было бы невозможно.

^{*} Тут в стенограмме пропуск.

На том экземпляре, который я читал ночью (я уже говорил, что раздобыл экземпляр на короткое время), были пометки неизвестно кем сделанные, красными чернилами. В общем, если отрешиться от течения жизни многоструйной, пометки цензора. Где-то фраза: ах, это, оказывается, уже после смерти Сталина. Где-то подчеркнута резкая, раздраженная фраза Костоглового, который имеет право на резкость, раздраженность. Это не значит, что общество может принять раздраженность, но он купил это ценой страданий, жизни. Это фигура необыкновенно для меня привлекательная, сильная, выражающая очень многие прекрасные черты моего современника. Если бы можно было выстраивать людей на шеренги, импонирующих тебе в полной мере, он бы сейчас потеснил бы многих и стал одним из первых в этом ряду, потому что это очень высоко...

Конечно, есть, как всегда в каждой книге, тем более написанной языком нетрудным, но как бы огрубленным, прозаическим, не желающим льстить ничему, ни внешнему миру, ни деталям пейзажа, ни человеческому портрету, есть недостатки. Это проза, у которой одна забота — донести мысль и детали таким пластическим выражением мира, при котором он был бы очевидным и неотразимым.

Я думаю, что такого рода пометки цензорского характера, они раздражали меня почему? — Цензура есть цензура, она существует, и приходит деловой нормальный черед, когда книга издается, печатается. Но мне показалось, если бы цензорами стали мы, писатели, то, наверно, мы были бы хуже профессиональных цензоров-нелитераторов, наверно, школьники лишились бы многих книг, которые они в школах изучают — иногда любят, если хороший преподаватель, не любят, когда их втолковывают. Но мне кажется, что этот взгляд на книгу Солженицына (я, будучи прирожденным полемистом, как рыба на лед выброшен в качестве первого оратора, мне не с кем полемизировать) — это неправильное чтение, это перескакивание с льдинки на льдинку, при котором можно потонуть, если бы прыгающий не был подвезан прочно, с вертолета.

Время романа очень точно обозначено — это февраль 1955 года. И это не потому, что так безопасно. Нет. Это потому, что вся атмосфера книги, весь пафос утверждения Костоглового, весь

пафос утверждения и отрицательной фигуры Русанова — все это точно отвечает этому кануну той очистительной грозы, того партийного форума, который называется XX съезд партии, которому верен весь коммунистический мир, идущий вместе с нами, который будет верен до конца. Поэтому здесь не в льстивых словах, без приспособления, без подготовки чего бы то ни было, возникает картина именно этой поры. И тут-то раскрывается фигура Русанова. Я не скажу, что Русанов мне представляется абсолютной удачей книги. Мне даже кажется, наоборот. Именно здесь прямая и гражданская понятная ненависть к человеку, этому рыцарю анкетного хозяйства, человеку, немало посадившему безвинных людей, корыстному, — непосредственно авторская нелюбовь так велика, что она, как художника, его немного лишила как бы тех оттенков человеческих, тех толстовских подходов, при которых он бы тоже стал абсолютно живым человеком, а не казался иногда публицистическим порождением, чуть-чуть карикатурным.

Все, что связано, в этом смысле, с литературой, мне как-то совсем не пришлось по душе, и не потому, что я, как все пожарники считают, что о пожарных плохо писать нельзя, я как литератор считаю, что о литераторах плохо писать нельзя. Вся эта тема, независимо от рассуждений о рифме, о поэме, о сборниках, вдруг схлестывается с фельетонным разговором о литературе, вывернутой наизнанку пресловутой традицией «Тли», когда фигуры, фамилии замешиваются, как в бетономешалке, и не поймешь, хорошо это или плохо.

Называются книги случайные, никак не выразившие время. И я не верю, чтобы Дёмка (он для меня совершенно живой мальчик в его порыве, но и в его тугодумности) набрел на статью об искренности и затевал такие дискуссии.

На мой личный вкус, есть в тексте книги какие-то натуралистические излишества. Я не против того, чтобы так впрямую, так отчетливо, так зримо вступал этот мир опухолей, наступающих на человека, потому что это правда, и нет такой правды, которой следует бояться. Но я не думаю, чтобы такие образы, такие выражения, как, например, «отрезанные ею груди могли бы составить холм», были удачны. Это может быть и правда, это может быть действительно так, если врач много лет оперирует. Но

это образ, это выражение, которое, на мой вкус, выходит за пределы того, что нужно. Я понимаю, что это субъективно. Я говорю это не потому, что мог бы написать лучше, но потому, что, когда автор сталкивается с читателем, и читателем-профессионалом, автор неизбежно выслушивает, а читатель высказывает и такого рода вещи, чисто критические, без подтверждения собственной страницей или собственным абзацем.

Русанов. Это интересная фигура. За вычетом этого педалирования нелюбви к нему, почему все-таки эта фигура, если говорить о нем в целом, если мыслить его в истории, необычайно важна и нужна нам в литературе?

Все сказано в партийных документах о главном, о времени, породившем Русанова. Но только писатель, примитивно размышляющий о жизни, может думать, что таким образом решена задача. И мне дорого, что А.И.Солженицын в своей книге возвращается к этой фигуре, уже примелькавшейся в книгах, в журналах, возвращается для того, чтобы сделать то, что литература сделать обязана, что является ее долгом перед народом, что необходимо людям. Потому что мало сказать, мало сформулировать вредность Русановых для нашей жизни. Важно воспитать непосредственное к ним отношение, воспитать ненависть к русановым, — ненависть, которая является святой ненавистью, знание всех приспособлений, даже смехотворных приспособлений, такого рода людей. В этом смысле совершенно поразительна глава, возвращающая нас к прошлому, к практике Русанова. Сон Русанова, вся атмосфера этого сна очень точно отражает то, что литература еще долго будет отражать, не во имя копания в прошлом, а во имя борьбы с ростками русановщины, борьбы с живой русановщиной, потому что такого рода вещи не умирают от постановлений, от кратковременной борьбы, от административных мер.

Литература этот подвиг должна совершать спокойным шагом, не отрываясь от этой своей задачи.

Мне представляется, что тут очень большой гражданский принципиальный успех. Вот поэтому, подытоживая все эти свои размышления, я могу сказать, что, на мой взгляд, это выдающееся произведение, которое, конечно, увидит печатный станок и которое прочтут читатели, произведение, которое вносит чрез-

вычайно много нового в наше понимание жизни, произведение, которое по своим литературным чертам приближает к тем рубежам, на которых существуют такие гипнотизирующие на протяжении десятилетий и веков вещи, как «Смерть Ивана Ильича», произведение, без которого нравственное общество не может быть до конца здоровым.

В.А.Каверин

Когда работаешь в литературе очень много лет, начинаешь думать о ней и видеть ее не глазами месяца или даже года, а глазами десятилетия, пятидесятилетия, двадцатипятилетия.

Глядя на то, что происходит в нашей литературе сейчас, я вижу, что мы незаметно для себя вступили в совершенно новый, другой период нашей литературы. Это произошло как-то неощутимо, и это напомнило мне одну прогулку с моим близким другом и учителем Тыняновым, когда мы гуляли с ним за городом, и навстречу шел грузовик. Я посторонился от пыли, а он сказал: стоит ли? Пыль, как время, нам кажется, что она далеко, а мы уже дышим ею.

Так мы дышим. И сегодняшнее обсуждение, и роман Солженицына, и личность Солженицына — все это относится к новому периоду нашей литературы.

Трудно, конечно, сказать в нескольких словах характерное отличие старой литературы от новой, но для меня ясно, что с литературой рептильной, ползающей, литературой, понимающей общественное служение как прямую линию между двумя точками, идеей и ее воплощением, — с этой литературой кончено. Никто не помнит о тысячах экземпляров, тысячах страниц, которые издавались в миллионных тиражах и которые служили идее лжи, искажения, восхвалявшие Сталина прямо или косвенно, и бесконечно далеких от правды. Покончено с позорившим нашу страну чучелом Лысенко. Я много лет имел дело с миром науки, и я знаю, кем был этот человек для нашей культуры.

Из литературы имеют огромный успех и издаются, к счастью, хотя далеко не полностью, книги устоявших или замолчавших писателей, т.е. сопротивлявшихся этой идее лжи и искажений, книги Тынянова, Бабея, Булгакова, Платонова, Заболоцкого, Тарковского и очень многих других.

Наша литература приобретает блеск оригинальности, она постепенно начинает выходить на мировую магистраль, и выйдет, если этому не помешают.

Я не могу сейчас, да и не надо перечислять множество новых имен, огромное количество новых талантов. Что ни месяц, появляются новые имена. Что ни месяц, появляются книги, которые заставляют задуматься, заставляют переоценить пройденный путь, заставляют даже завидовать, потому что такой полноты, такого откровения мы давно не видели в литературе. Я не буду называть этих имен, среди них Казаков, Конечкий, Можяев, Домбровский. Я на первое место среди них ставлю Солженицына.

В чем сила его таланта? Не только в умении воплотить пережитое, в простоте и выразительности средств, не только в литературном искусстве, которое иногда достигает у него необыкновенной высоты. Я имел случай здесь говорить об «Одном дне Ивана Денисовича», о высокой гармонии этого произведения. Не буду называть других первоклассных его произведений, все вы их знаете прекрасно, но кроме этого у Солженицына есть две драгоценные черты, к которым должен присмотреться каждый серьезно работающий в литературе. Это — внутренняя свобода — первая черта, и могучее стремление к правде — вторая черта.

Что такое эта внутренняя свобода?

Мы, старшее поколение, в течение очень многих лет как-то скрывали себя от самих себя, запутываясь в противоречиях, стараясь пробраться среди них к истинной литературе. Это все было естественным следствием сталинского двадцатилетия. Слишком много было сомнений, колебаний, отчаяния, самоубийств, попыток любыми средствами сохранить святость своего призвания. Солженицын да, к счастью, и вся новая литература — если не вся, то лучшее из новой литературы, — свободны от всего этого, отрешены от любой целенаправленности, кроме жажды рассказать правду.

Вот что писал Пастернак своим друзьям Табидзе: «И если бы Вы этого даже не хотели, революция растворена нами более крепко и разительно, чем Вы можете нацедить ее из дискуссионного крана. Не обращайтесь к общественной благотворительности, друг мой, надейтесь только на себя! Забирайте глубже

земляным буравом без страха и пощады, но в себе, в себя. И если Вы там не найдете народа, земли и неба, то бросьте поиски, тогда негде и искать. Это ясно, если бы мы даже и не знали искавших по-другому. А разве их мало? И плоды их трудов налицо».

Самое важное в этой мысли, к которой я в последнее время неоднократно возвращаюсь, — это увидеть в себе народ, вольно или невольно найти в себе отражение его надежд, радостей и страданий, стремления к правде.

Вот откуда эта вторая черта Солженицына. Наивно представлять себе, что все, что происходило в течение 30—40—50-х годов с двухсотмиллионным великим народом, — что все это может быть в один день забыто по чьему-то приказу. Отражение всего этого неизбежно, оно будет происходить. Александр Михайлович был прав, когда он говорил об этом. И сколько бы ни свирепствовала цензура, это будет происходить потому, что это происходило всегда, с библейских времен. Система сдерживания лишь обостряет интерес к тому, что было.

Солженицын очень большой писатель. От него зависит, станет ли он великим писателем. Но тайна, секретность вокруг него, это сдерживание и то, что мы сегодня собрались в этом зале, а не в большом зале, который был бы полон, — это поможет ему сделаться великим писателем (*оживление в зале*).

Мы знаем, что существует машинописная литература, среди этих машинописных вещей, которые ходят по рукам, есть множество превосходных произведений, которые должны были быть давно напечатаны, которые бессмысленно держать в рукописях. Кстати, между ними я хотел бы указать на первоклассный рассказ Солженицына «Правая кисть». Это произведение, отнюдь не подлежащее новому указу. Это произведение, украшающее нашу литературу, и умнее было бы опубликовать его возможно скорее.

Почему мы сегодня обсуждаем рукопись, а не книгу? Почему роман Бека, единодушно одобренный самыми крупными писателями, до сих пор не опубликован? На одной чаше весов было мнение первоклассных литераторов, работающих в литературе по 30—40 лет и посвятивших ей всю свою жизнь, а на другой чаше весов было мнение какой-то дамы, и это мнение дамы перевесило, и роман Бека, первоклассный роман, до сих пор лежит

в рукописи. Умно ли это? Этого нет нигде, ни в промышленности, ни в науке. Везде прислушиваются к мнению первоклассных специалистов. Но я далеко отклонился от романа «Ракковый корпус». Хочу теперь сказать несколько слов о нем.

Какова, мне кажется, идея этой книги, еще не законченной (что, конечно, затрудняет ее обсуждение)? Идея, как мне кажется, поставить людей разных профессий, разного социального значения, разной нравственной тонкости перед лицом смерти. В «Смерти Ивана Ильича» он один. А здесь огромный замах, задача громадная, и у меня много надежд, что она будет решена Солженицыным.

Все герои книги как бы психологически вскрыты умным ланцетом автора. Это психологическая секция, обнаруживающая неведомые для них самих глубины. Это разрез социально-психологический, достигающий огромной глубины, которая, конечно, не может не затронуть нас, потому что все мы имеем отношение к тому, о чем пишет Солженицын, потому что мы все когда-нибудь окажемся перед лицом смерти.

В «Ракковом корпусе» дело не только в том, что характеры написаны, а в том, что они устремлены к самопониманию. Таков Ефрем Поддуб, глубоко задумывающийся, читая Толстого, над смыслом собственной жизни: «Чем люди живы?» Человек, наконец почувствовавший болезнь как наказание за жизнь. Таков Костоготов, в котором главное не только вера в жизнь, но не боязнь смерти. В нем выражена мысль великая и глубоко поучительная, потому что именно не боязнь смерти была основой нашей победы в этой тяжелой войне, не боязнь смерти была порукой сохранения науки и искусства в годы террора, не боязнь смерти была порукой сохранения человеческого достоинства в самых тяжелых трагических обстоятельствах концлагерей и тюрем. Вот почему так трогательны и естественны все сцены любви в этом романе между Костоготовым и Зоей. Он не боится смерти, он имеет право любить.

Тем же скальпелем неизбежной смерти вскрыт Русанов. Это первый раз, когда секция происходит в подлинном смысле этого слова, патологоанатомическая секция. Он в сущности не отличается от тех блатарей, о которых с таким отвращением рассказывает Костоготов. Возможно, что Русанов написан

слишком прямолинейно, об этом я тоже подумал, читая роман, и согласен в этом смысле с Александром Михайловичем. Но сила этой фигуры в том, что скальпель смерти вскрывает и страх разоблачения доносчика и убийцы. Он, конечно, очень сильное воплощение мертвого идола сталинизма, может быть, сильнее еще написан во сне, чем наяву, потому что вскрыты какие-то глубины его существа.

Так раскрывается Вадим Зацырко. Перед смертью он думает об относительности времени. Мысль глубокая, которая, мне кажется, должна быть развита во второй части романа.

Так и кончается первая часть: относительностью времени, ощущением жизни и уверенности новых глубоких перемен. Поэтому супруги Кадмины, которые всему радуются в ссылке, не случайно оказываются в конце первой части. О них слишком много написано...

(Г.С.Березко: По-моему, мало!)

Об этом трудно говорить. Во всяком случае, эта глава важная и далеко не случайная. Не уровень благополучия, а отношение к жизни создает счастье людей.

Также важно в первой части ощущение шагов истории, которое чувствует Костоготов, вспоминая свою полусвободу, свой ссыльный мир.

Трудно судить о незаконченной книге, но следует ждать глубоко значительного произведения, беспощадно правдивого, полного той силы совести, которая всегда одушевляла русскую литературу. Она и заставляет переворачивать, не отрываясь, страницы повести, в которой, в сущности говоря, ничего не происходит, почти ничего. Вот почему и не хочется говорить о таких ее сторонах, как композиция. Читая ее, я вспомнил Л.Н.Толстого, который сказал, что в произведениях, рожденных жизнью, форма подчас приходит сама собой.

И еще раз — почему не напечатана до сих пор эта рукопись? Найдутся ли нравственные уроды, которые будут защищать бессмысленный террор Сталина или Берия, или не захотят заметить в этой повести, в «Одном дне Ивана Денисовича», как и в других повестях, всю полноту благородства, желания добра, мужества и все то, на чем была замешена революция и о чем сейчас говорится многими, ничего не выражающими словами? Солже-

ницын и вся наша новая литература возвращают этим словам их подлинное значение. Вот почему я смело могу перебросить мост между литературой 20-х и 60-х годов, не разделяя взгляда, что наша литература где-то оборвалась. Она продолжалась, хотя и в трудных обстоятельствах. И вот почему все желание замолчать Солженицына натывается на неудачи.

Можно лишь позавидовать нравственной свободе Солженицына, его инстинктивному знанию того, что нужно людям, каждому из нас.

И.Ф.Винниченко

Товарищи, я начну с маленького предисловия. Я испытываю некоторое смущение, решившись выступить на этом собеседовании, во-первых, потому, что я решительно не готовился к выступлению и я просто, как обыкновенный читатель прочитал рукопись вздох перед самым собранием, во-вторых, меня смущает, что я работаю в литературе недавно по сравнению с предыдущими ораторами. Поэтому мне не удастся сделать глубокого анализа этого произведения. Тем не менее это произведение затронуло мои писательские и читательские струны, и я хочу высказать все, что я о нем думаю.

Я не совсем согласен с Кавериним, который выразил сожаление, что мы обсуждаем не готовое произведение, а рукопись. Я считаю, что это счастливый случай для нас, что мы имеем возможность прикоснуться к самому творчеству писателя, имеем возможность принять участие в творческом процессе, потому что, если говорить о работе нашего объединения прозы, то я вполне согласен с Березко, что мы должны и в дальнейшем по возможности чаще заниматься обсуждением рукописей, пока они еще не напечатаны.

Теперь о самой вещи. Тут уже много говорилось о силе таланта автора, об его особенностях, его мастерстве. Я опять-таки не очень уверен, что надо сразу объявлять его великим писателем, — это не на пользу самому автору. Но несомненно, спору нет, что это выдающийся писатель, обладающий огромной художественной силой.

Я как-то привел слова одного умного человека, что нельзя врать правду. Этот писатель как раз и принадлежит к той кате-

гории писателей, которые органически не могут врать правду, они ее выкладывают такой, как она есть.

Мне хотелось бы начать с художественных достоинств этого произведения. Именно потому, что мы обсуждаем еще не напечатанное произведение, есть смысл говорить и о больших и малых приметах его.

Прежде всего об языке. Мне бросилось в глаза, что автор несколько отошел от своей первоначальной манеры. Его первые произведения были перенасыщены самобытными, очень яркими словами, они принадлежали только Солженицыну, восхищали нас своей точностью, красочностью, хотя иногда, может быть, затрудняли чтение. В этой рукописи Солженицын несколько отошел от этой своей манеры, язык его приблизился к более усредненному нашему литературному языку. Тем не менее это не снизило художественной ценности произведения, потому что язык его служит основной цели, поставленной писателем, — цели проникновения в характеры, проникновения в явления, которые он затрагивает в своей повести.

Мне бросились в глаза великолепно написанные диалоги, это редкость для прозаического произведения, особенно диалоги Костоглотова с молодым врачом Верой Гангарт, с Зоей. Эти диалоги могли бы украсить любое драматургическое произведение.

Характеры людей написаны так, что теряешь ощущение, что это написанные персонажи, они представляются нам реальными людьми, которых мы наблюдаем в жизни.

Прежде чем я прочитал эту рукопись, я слышал много суждений о ней. Многие говорили о том, что в этой вещи слишком много натуралистических подробностей, которые вызывают даже какое-то несколько брезгливое чувство. Я не могу с этим согласиться. И в этой части писатель остался верным себе и показал жизнь такой, как она есть, и в этом тоже достоинство его произведения.

Говорилось и о том, что вряд ли педагогично, что ли, преподносить рядовому читателю такое произведение, где вскрывается вся правда об этой страшной болезни, о раке.

Я хотел бы заметить, что просто поражает осведомленность автора в смысле обстановки подобного рода лечебных учреждений, глубокая эрудиция в онкологии. Тут есть над чем подумать,

принимая во внимание, что повесть еще не закончена окончательно. Мое личное мнение, что и в этом отношении не следует бояться правды. Но тем не менее автору стоит об этом подумать и в какой-то мере учесть возможные упреки, реакцию рядового читателя в этом отношении. Может быть, это нужно. Конечно, каждому грамотному человеку, который читает популярные статьи, слушает выступления врачей, известно, что онкологи еще не в состоянии лечить эту болезнь по-настоящему, что каждый заболевший обречен. Но когда эта обреченность так зримо, так образно представлена, — это производит действительно огромное впечатление. Но я не согласен, что это написано пессимистично. Ярким опровержением этого является образ Костоглотова. Верись, что он будет жить. Он верит в науку, в врачей. Этим самым как бы уравнивается эта несколько пессимистическая нотка, которая в какой-то части повести прозвучала.

И еще одна важная ситуация вызывает большое сомнение у некоторых читателей, — это то, что здесь присутствует так называемая пресловутая лагерная тема. У нас появилось много произведений на эту тему, которые вызвали глубокий интерес читателей, а потом вдруг появилось мнение: а стоит ли развивать эту тему, нет ли здесь некоторого пережестота? Если появляется много произведений, написанных с недостаточной силой правды и т. д., то это уже может превратиться в какое-то зло. В данном случае мы имеем дело с настоящим художественным произведением, которое по-настоящему вскрывает эти раковые опухоли нашего общества. Все дело, как это написано и как это анализируется. Я лично считаю, что некоторым нездоровым креном в такого рода литературе явилось лишь то, что, разоблачая пороки, присущие периоду культа личности, мы обращали внимание главным образом только на крайние его проявления, на все эти вещи, связанные с репрессиями, с осуждениями невинных людей, и мало обращали внимания на другую сторону дела, что культ личности принес огромный ущерб нашему обществу и в экономике, и в теории, и в нравственном отношении. Эта сторона дела как-то замалчивалась многими нашими писателями.

И мне кажется, что и в этой части автор подошел ближе к этой теме, показывая не только этот произвол, но и тот мораль-

ный огромный ущерб, который причинил культ личности нашему обществу.

Присоединяясь к мнению, что по сравнению с Костоготовым образ Русанова написан несколько более схематично и заданно, мне хотелось бы высказать еще такую мысль.

Мне лично показалось неестественным, что такой человек, как Русанов, который сажал заведомо невинных людей, — что он мог делать эти деяния с женой, дочерью и т. д. По-моему, это даже психологически не очень точно. Это как-то еще больше подчеркивает схематичность и прямолинейность, однозначность этого образа. Я так представляю себе эту сцену. Приходит к Русанову жена и сообщает, что выпустили Родичева, и она в панике, что отберут комнату, которую они захватили. Она не знает, что именно муж посадил его, и он не говорит ей об этом. Но его мучают кошмары, и он переживает это в другом плане.

(С места: Они вдвоем с Капой написали донос.)

Мне кажется, что это не тонкий прием. Мне кажется, что было бы тоньше, если бы она не знала. Лобового разговора нет, ее волнует только квартира, а он мучается по-другому. Совершенно неестественно, чтобы дочь, которая была в то время маленькой, чтобы она была в курсе того, что отец писал эти доносы, а теперь она приходит и его успокаивает. Это можно было бы написать не так лобово, а гораздо более тонко и интересно.

Я считаю, что все высказывания о литературе, какие-то выпады, вложенные в уста этой девицы Авиеты, производят несколько странное впечатление. Этот образ не удался автору, особенно по сравнению со всеми остальными.

Конечно, трудно судить о всей вещи только по первой части. Мне хотелось бы, чтобы автор (он несомненно выступит на нашем заседании) хотя бы в общих чертах рассказал, как мыслит дальнейшее развитие событий в этом романе, чтобы мы имели возможность представить его в целом, как он должен прозвучать в окончательном виде.

Н.А.Асанов

С точки зрения психологии, которую мы воспитываем у себя свыше сорока лет, давалось бы право писателю выступать со своими произведениями, не требуя такого рода обсуждений.

Мне думается, мы достаточные редакторы и сами для себя, редакторы своих книг. И мне думается, что только странное недоверие к нашему клану заставляет нас, собравшись в таком большом количестве, обсуждать произведение, которое явно выше большинства написанных нами книг. Оно выше по многим обстоятельствам, о которых уже говорили: по правде, по силе, по характерам героев, по точности выше того, что мы написали. Но есть это недоверие, с которым мы обязаны считаться и, может быть, пытаться иногда восставать, не восставать в большом плане, но восставать в меньшем плане, защищать нечто, что неожиданно нуждается в защите.

Мне не очень понравилась часть выступления Борщаговского, когда он говорил, что мы, если бы нас посадили цензорами, вероятно, были бы строже. С этого момента сам Борщаговский перешел на позиции подсказчика, редактора или советчика, те самые позиции, на которые мы сейчас в сущности поставлены...

(Г.С.Березко: Это разные вещи!)

Конечно, советчик или цензор — это разные вещи. Мы стараемся помочь, но даже цензор старается помочь, не обязательно он все режет, иногда он пытается найти какой-то способ, может быть, вырезать что-то самое сильное, но дать вещь хотя бы в таком виде.

Надо сказать, что произведение А.И.Солженицына чревато опасностями во многих смыслах.

Начнем с самого главного, с того, о чем обмолвился И.Ф.Винниченко: раковая опухоль того времени. Это же сразу сближается — название повести с временем, о котором произведение написано. Сближается ощущение неизлечимости рака. А если мы вдруг говорим об обществе, то мы же в какой-то мере оперировали, и мы надеемся, что общество излечится. И все эти ассоциации, которые возникают, может быть, и неосознанно в голове читателя, они порой бывают опаснее, чем прямое указание красными чернилами, отчеркнутое на страницах.

Речь идет о том, чтобы книга, которую мы сегодня обсуждаем, с нашей помощью, если понадобится, вошла в жизнь, а для этого, чтобы она вошла в жизнь, мы обязаны подсказать, с нашей точки зрения, мысли или некоторые примеры не-

удобств, испытываемых нами, автору. А вдруг он что-то из этого примет.

Если мы возьмем, что наиболее сильно написано и что наиболее тягостно читать, то это день доктора Донцовой. Представьте себе врача, человека, который заведует корпусом, отвечает за сотни больных. Это врач, который уже чувствует приближение рака, она еще не верит, но она чувствует. И жизнь ее за пределами корпуса настолько нищая и настолько ужасная, что мгновенно переносясь все эти ощущения на общий план жизни. Мы же понимаем, что мы здесь сидим, писатели, рядом работают врачи, инженеры, и мы чувствуем, что положение с интеллигенцией в нашей стране очень тягостное. Интеллигенция у нас мало зарабатывает, она, в сущности, отвечает за все, может быть, кроме управления государством, она делает все в этом государстве, то, что требуется технической мысли, а как она живет? Вот это ощущение тягости жизни врача, человека, который отвечает за жизнь 200 людей, остается у меня комом в горле.

Я не говорю, что это надо переписывать. Я говорю, что это наиболее сильная часть книги — день врача.

Очень сильна связанная с Костоглотовым линия, и в то же время я бы сказал, действительно слабее Русанов со всеми дополнительными подробностями, которыми вы его наградили. Не нужно было делать его женой такой же предательницей. Здесь прав Иван Федорович — не нужно было знать дочери. Другое дело, что мать посоветовалась по поводу тревоги. Тогда Авиета может появиться и сказать: я же их видела, они же ничего не требуют. (А мы действительно, вернувшись сюда, ничего не требовали. Я говорю о себе.)

Я бы сказал, что все литературные реминисценции, связанные с Дёмой, все литературные экивоки, что тройка Кожевниковых пишут плохие романы, — это все надо выбросить потому, что это не стоит выеденного яйца по сравнению с тем, что вы написали в вашем произведении. Это вызывает некоторую усмешку, потому что мы знаем, как воспринимаются в литературной среде ссоры и вздоры.

Я бы сказал, поскольку, по-видимому, во второй части повести главную роль помощницы Костоглотова будет играть врач Гангарт, может быть, не стоило сблизать эти две женские фигу-

ры — Зою и врача Гангарт. Они настолько различны, одна настолько выше другой, что здесь возникает какое-то ощущение неловкости за Костоглотова, прожившего в монастыре столько лет, — он мог бы поискать для себя чего-то более сильного. Но это моя точка зрения.

Я бы подумал, нужно ли Ефрема Поддубева делать с первых страниц повести столь беспощадно грубым, хотя мне это понравилось, тем более, что его беспощадность обращена на крайне неприятного мне Русанова. Но, может быть, есть смысл где-то эту грубость чуть-чуть снять, чтобы создать более сильное впечатление.

Я не думаю, что нужно кончать первую часть повести этим литературным спором между Авиетой и Дёмкой, этим ненужным кокетливым заявлением Авиеты: ну уж детским-то писателем стать самое простое дело! Я не думаю, что это обогащает вашу прекрасную повесть. И я бы не как цензор, а как товарищ по профессии, сказал: лучше это снять.

Я совершенно убежден, что Вадим, который погибает, потому что не могут достать коллоидное золото (врачи должны достать коллоидное золото из Москвы, посылая гонцов по друзьям и приятелям, таким же врачам), — я не думаю, что Вадим должен говорить: вы столько в него вложили.

«Смерть Ивана Ильича» — смерть одного человека, но если вы даёте смерть двадцати шести человек, то нужно было бы учесть еще одно обстоятельство: нужно было бы ввести в поле зрения автора и читателя, мир, который окружает этот корпус. В одном только случае вы это сделали, в случае, когда описывается место ссылки Костоглотова и описываются явно ущемленные, уже почти убитые и еле-еле воскресающие люди. Но если мы посмотрим на Донцову, на то, сколько сил она отдает людям, всю линию Вадима, его матери, Москву, поиски спасательных средств, — то мы увидим, что вы сами обеднили себя тем, что слишком ограничили и символизировали (я подчеркиваю это второе понимание названия) этот Раковый корпус. Ведь он окружен, я надеюсь и считаю, что раковый корпус окружен здоровой землей, и эта здоровая земля должна быть показана хотя бы по касательной. А касательной, которую вы провели к Костоглотову, оказываются люди уже, по сути, сломленные. А сам Костоглотов — он же здоров, он даже считает, что ссылка — это уже

есть свобода. А ощущение того обстоятельства, что свобода приближается, им чувствуется так остро, что мы вместе с ним по первой строке, по первому объявлению в газете, начинаем думать, вопреки Русанову, что происходит нечто, что принесет свежий ветер оздоровления и выздоровления самому Костоглову.

Признаться, мне хочется, чтобы эта вещь немного обросла плотью нашего времени за стенами корпуса. Это, может быть, неправомерное желание, но мне думается, что тогда сама вещь стала бы более движущейся к печати работой (*оживление в зале*). Я очень хочу узнать, что будет во второй части.

А.М.Медников

Мне кажется, что А.М.Борщаговский сделал наиболее обстоятельный разбор самого произведения как такового, и вольно или невольно придется всем идти по его следам.

В своем разборе он упомянул об интернациональной теме, и я хочу на этом остановиться. Там довольно много немцев среди врачей и среди больных. Я вообще к этой теме имею личное касательство потому, что в начале войны я был бойцом истребительного батальона НКВД, и в ряде всяких дел — тушения зажигалок и проч., была одна ночь с особым заданием — мы выселяли всех немцев из Москвы. Это было довольно тяжелое дело. Я помню, нам дали адреса, и мы за два часа предупреждали, что надо собраться, какое-то количество килограмм вещей можно взять, и всех немцев выселяли. Это было тяжело, тяжелее даже первой бомбежки, потому что выселяли и членов партии, и женщин, и детей. Я не вхожу сейчас в детали того, насколько эта примитивная мера была нужна тогда. Но я всегда думал, как эти люди будут жить там, куда их высылают.

Когда я прочитал роман Солженицына — я увидел этих людей (правда, я видел их раньше в Башкирии). Там есть такой персонаж Федеру, и Русанов удивляется, что это человек с партбилетом, ему это кажется диким. Там есть отличный выписанный персонаж Вера Гангарт, врач, которая там работает. Какой это в общем светлый и хороший образ!

Тут говорили о Кадминях, которые там живут после лагеря. Мне понравилась фраза автора: «Не уровень благополучия дает счастье, а отношение сердец и наша точка зрения на нашу

жизнь». Это несколько толстовская формулировка, но тем не менее эта позиция дала возможность Солженицыну нарисовать целую серию отличных положительных образов. Об этом говорил Александр Михайлович, и я хочу всячески к нему присоединиться. Мне кажется, ни в одном произведении Солженицына, которое я читал, не было еще таких образов людей очень светлых, чистых, и это очень многообещающе в его творчестве. Это первое, о чем я хотел сказать.

Второе — относительно ракового корпуса. Я тоже думал: почему раковый корпус? И даже не в том дело, что это раковый корпус и больница. В этой вещи речь идет о переломном времени 1954—55 гг., когда ломается общественная атмосфера, и в общем те главные события, о которых идет речь, они могли быть и в институте, и в шахте, и на заводе. Дело же не в этом. Просто писатель взял раковый корпус для того, чтобы это обнажить, показать нравственную суть людей в крайних обстоятельствах, что ему очень удалось.

Я не буду говорить о Русанове. Я тоже считаю, что это резко утрированный образ, он мог бы быть сделан несколько мягче.

Что касается Костоглова, который мне нравится, — мне нравится его любовь с этой медсестрой, все это сделано очень хорошо, во все веришь. Но когда Александр Михайлович произнес такую фразу, что Костоглов выражает прекрасные черты нашего современника, я подумал, что в повести не так много материала для таких обобщений. Мне кажется, этот образ выражает собой главным образом авторскую позицию. Я абсолютно верю и полностью удовлетворен как читатель всем тем, что связано с ним как с человеком, с его страданиями, его любовью. Но нравственно-общественная его позиция недостаточно прояснена. Какое-то чувство неудовлетворенности у меня возникает. Я о тридцать седьмом годе знаю не по литературе, это коснулось меня и моей семьи. И я знаю, что, в какой бы ситуации я ни находился, я думал как-то масштабнее, не только о своей личной судьбе, грубо говоря, а о политике, о судьбе страны, о том, что куда идет. Где-то у Костоглова мне этого не хватало. Я помню, в повести есть сцена, когда Костоглов узнает, что сняли Маленкова. Но все это как-то глухо. Не хватает какого-то мировоззренческого взгляда на вещи. Есть полная возможность показать этого человека и с этой стороны.

Последнее, что я хотел сказать в своем кратком выступлении: соглашаясь или не соглашаясь с Солженицыным, приветствуя его художественное направление или нет, — его читают все писатели. Он занял такое место в нашей литературе, в нашей общественной жизни, что его нельзя не читать. Критики со временем разберутся в этом и скажут, почему так получилось. А мое личное мнение, мое ощущение такое, что Солженицын — писатель трагической темы, и не потому, что его судьба сложилась так трагически, так круто. Даже если бы его личная судьба была более благополучной, — он все равно оставался бы писателем трагической темы. А так как я думаю, что всякая эпоха имеет свое трагическое, — кто-то должен об этом писать.

Л.И.Славин

Я читал с карандашом в руках потому, что я знал, что будет обсуждение, и поскольку эта повесть очень значительна по многим признакам, и в то же время в пределах моего вкуса, я обнаруживаю в ней некоторые промахи. Я считаю, что об этом не надо молчать.

У меня было очень своеобразное ощущение от начальных страниц повести, потом я не сразу от этого отделался — я начал находить и в себе симптомы рака, я стал прислушиваться к каким-то болям и рассматривать какие-то бугорки. Это говорит о какой-то дотошности и скрупулезности писания, а не о художественной силе, которая в другом. Это ощущение, которое бывает, когда читаешь медицинские книги, или это бывает у первокурсников. Сила повести в том социальном диагнозе, который она ставит, и ставит очень точно. Это есть какой-то разрез общества через опухоли, и в сущности эта повесть — это некий поединок со смертью. вспомните страшный портрет Ефрема или страшный образ кур — куры чувствуют, что у каждый нож над горлом, а тем не менее они кудахчут и ищут корм. Солженицын это делает с совершенно свойственной ему беспощадной искренностью на фоне некоторого демократизма смерти.

Читая эту повесть, я, в общем, интересовался и с волнением ждал, кто кого, — найдет ли автор в людях, которых он описывает, что-то такое, что преодолеет смерть, и в чем он найдет это преодоление, или он поддастся смерти.

И вот образ Русанова. Я, не будучи прирожденным полемистом, должен сказать, что я не согласен с теми, кто находит образ Русанова недостаточным или слишком прямолинейным. Это, по-моему, одна из наибольших удач этого произведения, наряду с образом Донцовой и некоторыми другими. Вообще неудач там мало, и я, вероятно, удивлю, что меньше всего меня удовлетворяет образ Костоглотова. Русанов — это действительно образ замечательный, образ удивительный по меткости, по своей объемности и по самому своему развитию. В начале этот крепкий мещанин, бюрократический середняк, постепенно вырастает в образ гада, который губил невинных людей ради своего материального благополучия. Можно задать вопрос: а может быть, в нем есть какая-то идейность, потому что он иногда раздражается идеологическими сентенциями? Но ведь в его идеологии критический момент наступает только тогда, когда что-то угрожает его привилегиям. Такого образа в нашей литературе еще не было. Мы его ждали. Он появился, и это просто замечательно. вспомните, например, опасения Русанова, что его сын вступит в неравный брак, или что он ходил на второй этаж у себя на работе в уборную не общего доступа.

вспомните его жену с замашками барыни, его сына, в котором есть погашенность, и мне кажется, что во второй части на этой почве что-то вырастет. вспомните его дочь Авиету, о которой я скажу потом.

образ Русанова действует с тем большей силой, что автор показывает его как бы сочувственно, как бы несколько любясь им, и это в силу закона контраста действует с тем большей силой, образ приобретает еще большую убедительность, большую неотразимость. Единственным промахом в образе Русанова является его бредовый сон, который для него слишком реалистичен, он больше от беллетристики, в нем нет художественной строгости, которая есть во всей замечательной повести Солженицына.

не буду много говорить о Донцовой. совершенно замечательный образ.

И Дёмка, его замечательный разговор с Асей, полный грустной откровенности и откровения, беспощадности. Это выступает как отдельный рассказ.

Сила образности в этой повести достигает огромной высо-

ты. Помните, когда Донцова решает не выписывать еще Сибгатова, с ничтожной надеждой, что ошибется все-таки смерть, а не врач. Нужно уметь так сказать!

Или протест Дёмки против бога за то, что он все страдания наваливает на одного человека, а не распределяет их по справедливости.

Вообще, этой своей в лучшем слове неуклюжестью, меткостью языка Солженицын напоминает Лескова, а силой, жесткостью, резкостью, энергичностью — скорее Бунина. Солженицын — резкий автор. Чехов называл Бунина резким писателем. Вообще, конечно, Медников прав, — Солженицын принадлежит к жестокой линии нашей литературы, трагической линии нашей литературы, линии Достоевского.

Несколько слов о Костоглотове, который занимает такое большое место в повести.

Почему Костоглотов не достигает такой силы выразительности? Я сразу обратил внимание на то, что его речь становится очень похожей на авторскую речь. Он сливается с автором. Автор слишком много себя, очевидно, вложил в этого героя, и от этого герой теряет конкретность. Это один из тех образов в литературе (а они бывают у очень хороших авторов), когда нет дистанции между автором и героем. Так это было у Л.Н.Толстого с образом Левина.

Конечно, есть вещи небезукоризненные в этой повести. Временами натыкаешься на ненужную, хотя и блестящую, щегольскую образность. — Порок, от которого не свободен и такой блестящий писатель, как В.Катаев. Вызывает протест, когда у Костоглотова в очень светлый для него момент, когда он чувствует радость жизни, возникает воспоминание о симфонии Чайковского. Это не на уровне повести.

Кое-что переходит в очерковость, например рассуждения о поздних лучевых изменениях. И в этом смысле «Матренин двор», или «Один день Ивана Денисовича», или «Случай на станции Кречетовка» обладают большей художественной цельностью, чем эта повесть в смысле мастерства, потому что они свободны от разводящей беллетристики, от той памфлетности, которая врывается в конце этой повести в образ Авиеты и переводит эту повесть на какой-то более низкий уровень, пото-

му что в этом месте, несмотря на искусное оснащение персонажа очень живыми приметами, все-таки видна калька, виден тот рисунок, та схема, которая предшествует картине. Она не выдернута, она осталась.

Конечно, перед нами только первая часть, и, может быть, последующее течение повести оправдает то, что сейчас нам кажется промахами. Но даже сейчас можно считать, что перед нами произведение одно из самых сильных и нужных нашей литературе, с которым я могу сравнить только «Новое назначение» Бека.

*З.С.Кедрина**

Мне представляется, что то, что мы можем разговаривать здесь о произведении далеко не ординарном, не должно восприниматься как-то болезненно, что ли. Мне кажется, что это есть естественная наша работа, и мне кажется, что если этого будет больше, то от этого будет лучше всем нам — и литературе в целом, и авторам в отдельности. И поэтому я думаю, что такие полемические приемы или излишества, как постановка вопроса о канонизации данного автора, отношение болезненное к тому, чтобы как бы что-то к<t>o-то не сказал того, что может не понравиться автору или кому-нибудь из нас, — это не деловая постановка вопроса. Мы здесь работаем, и работаем доброжелательно, т. е. с желанием, чтобы данное произведение было лучше и чтобы данный автор развивался наиболее естественным для него способом и наиболее успешно.

Поэтому мне кажется, что нам нужно говорить об этом произведении очень серьезно, об авторе безусловно талантливом, без всяких скидок и боязни, что ах, мы скажем что-то кому-то не совсем понравившееся. Это излишне. Это нужно, когда мы имеем перед собой нервного, начинающего автора, которого мы можем травмировать, оттолкнуть и проч.

Поэтому мне представляется, что этот разговор уместен, разговор должен быть серьезный, творческий, исключаящий наши перехлесты в ту или иную сторону.

Мне очень интересно поговорить о той почве традиции

* З.С.Кедрина — литературный критик, была одним из общественных обвинителей на процессе А.Синявского и Ю.Даниэля.

русской литературы, на которой растет этот очень своеобразный автор. Все невольно должны были говорить о Толстом, в этой вещи, может быть, даже больше, чем в отношении других, хотя мне представляется, что она менее сложившаяся, менее выговорившаяся, чем то, что мы видели в печати, что естественно, потому что, когда автор проходит через споры с редакцией, он выявляет себя с большей полнотой... (*Смех, шум в зале...*) Да, да, потому что или он отстаивает то, что считает нужным, — значит, он тверд, или он что-то теряет, значит, он не тверд. Работа с редакцией — это не то, что пришел какой-то дядя, который больше нас знает, а это творческий спор автора с редактором. Если автор хороший и редактор хороший, — то в этом споре автор иногда проясняется очень хорошо и отчетливо.

Это правильно, что эта вещь связывается со «Смертью Ивана Ильича». Это нужно, интересно, то, что для Толстого было интересно, что для него было нужно, — изображать людей разных, контрастных, поставленных на грани жизни и смерти. И очень важно, чтобы было все то, что должно быть у всякого наследника самого большого писателя. Как развивается эта традиция, как она в чем-то преодолевается. Мне показалось очень интересным, очень важным, что автор не просто развивает тему «Смерти Ивана Ильича», но и преодолевает то, что касается непротивления злу насилием, преодолевает то, что автор на современном этапе должен преодолеть. Но здесь не совсем полно автор выражает свои позиции. Тут есть то, что вызывает те противоречия, которые возникают у разных товарищей, выступавших здесь. Одни говорят: Костоготов — очень хорошо, убедительно написан; Русанов — менее удачно. Другие наоборот, как предыдущий оратор, не удовлетворены фигурой Костоготова. В чем дело? Мы не согласны с Костоготовым в его ненависти к Русанову? Безусловно согласны. Русанов в тех качествах, которые названы, есть то, в защиту чего у нас, я думаю, не найдется человека, который бы встал на его защиту... (*Шум в зале.*) Но как выражено в Русанове зло? Здесь мы предъявляем к художнику законные требования. Много в Русанове только названо, многое взято в таком количестве, в каком выразить художественно было невозможно. Поэтому-то автор и прибегает ко сну. Мне сон не понравился. Со времен снов у Чернышевского мы уже насто-

рожены к ним. Сон Русанова настолько логичен, настолько в нем видна конструкция, что он представляется мне эквивалентом того, что недовыражено в образе.

Да, Русанов предавал. Но настолько это просто и прямолинейно и для него и для его супруги: надо было комнату захватить, и они кого-то предавали. Он для меня был бы гораздо более убедительным, если бы он с ужасом думал: а что скажут дети?.. А здесь Авиета привлекается для того, чтобы охарактеризовать литературную обстановку не с лучшей стороны.

Мне представляется это не этой рукой написанным, и мне это не нравится. Мне кажется, что тут и Л.Толстой ни при чем как родоначальник и основоположник такого направления в литературе.

Теперь о Костоготове. Что в нем представляется очень интересным? Изображение человека, своей биографией страшно подавленного до почти физической смерти, и вместе с тем жаждущего жизни, пробивающегося сквозь все к этой жизни. Это очень интересно и убедительно дано. Но что меня в противостоянии этих двух лиц не устраивает? Что Русанову бесконтрольно и полностью дано говорить и думать о самых святых вещах, никак не снятых. Он единственный, кто хочет скорее получить газету. Я понимаю, что тут автор хочет сказать: вот он прикрывается правильными вещами. Да, хорошо прикрывается. А кто эти правильные вещи, то, что ведет наше общество, кто это в какой-то степени полноты отражает? Есть атмосфера вещи. Есть очень хорошо написанные, проникнутые глубоким гуманизмом образы врачей — врача-хирурга, Донцовой, Веры. Эти образы написаны по-настоящему, с большой любовью и перспективой. Но ведь есть еще страсть общественная, общественный идеал, который в такой активной вещи, противопоставляющей два мира, должен быть отражен в каком-то герое. Здесь Костоготов мне представляется очень хорошо выражающим жажду жизни вообще, но общественную жажду времени — недостаточно. И поэтому мне кажется, что происходит такое разночтение в оценке двух характеров потому, что тот и другой в чем-то недочерпывают, как они задуманы.

Затем сама тема Толстого, которая входит сюда, мне представляется очень убедительной в фигуре Ефрема, который уми-

рает и который хочет, чтобы поверили, что люди живы не заботой о себе, а любовью. И он это хочет внушить другим. Я чувствую, я слышу, что автору этого мало, и мне бы хотелось более активного опровержения этой позиции Ефрема.

Тут есть и натуралистические детали. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но они есть, и излишества есть, и я думаю, что автор это увидит. Но в целом-то автор не натуралист, и поэтому вся трагическая тема молодежи, этой Зои, девчонки — это не просто так мило и весело живут люди. Это же трагическая тема. Эти девушки, женщины, обездоленные войной, трудностями времени, даже радость жизни видящие не там, где это нужно. Но автор, когда он заставляет Костоглотова в чем-то почувствовать, что ему Вера ближе была бы, чем Зоя, — где-то он подходит ближе к этой теме. Когда автор пишет что видит, то можно помириться, что один симпатичный образ подан в таких условиях, и нет оценки от автора в лоб, а это повествование. А где автор хочет сказать правду — он должен более ясно осветить эту серьезную проблему.

В одной статье было написано, что автор пишет, как будто бы вода капает: кап-кап... Здесь иначе все написано. Здесь автор все время хочет сказать свое слово, указать путь, и поэтому не может быть такого сглаженного отношения.

Относительно образа больной девушки. Мне думается, не очень много было в то время таких танцулек, которыми охарактеризована эта девушка. И очень хотелось бы, чтобы автор более отчетливо выразил свое отношение к этой стороне жизни довольно большой части нашей молодежи.

Мне представляется, что вещь эта очень интересная. Я не сомневаюсь, что она будет напечатана. Но мне кажется, что тут еще очень много требуется работы. Не по такому методу, что мы должны автору помочь от чего-то освободиться, не для того, чтобы это где-то прошло, а для того, чтобы автор прежде всего свою общественную позицию более конкретно обозначил.

А.И.Солженицын

Я хотел бы дать справку, так как из нескольких выступлений явствует, что у некоторых читавших повесть создалось впечатление, что о «подвигах» Русанова знали жена, Авиета и дру-

гие дети. Только жена. Это часто бывает в семьях по разным поводам, что жена знает то, что знает муж, а дети не знают, и только тогда, когда возникла новая ситуация, — родители открылись Авиете. Только ей. Потому что Авиета умна и только что приехала из Москвы, знает обстановку.

Л.Р.Кабо

Прежде всего мне хотелось бы поделиться непосредственным ощущением прочитанной повести (ни к какому обстоятельному разбору я не готова) и соображениями, которые пришли мне на ум здесь, в процессе обсуждения.

Когда начинаешь читать, — все протестует. Читать вначале необыкновенно трудно. Тебя вводят в мир страданий, в мир смерти, в мир какой-то физиологической обнаженности. И у тебя внутри все протестует: не хочу, чтобы меня мучили. Но вдруг на какой-то странице происходит чудо, наступает взрыв, наступает то, чего ждешь в данную минуту меньше всего: необычайное просветление. Начинаешь видеть во всем выражение человеческого духа и всего того, что мы называем человечностью. В самый неожиданный момент и в той обстановке, где она меньше всего казалась возможной. И вдруг лицом к лицу со смертью, со страданиями, герой данной повести, и мы вместе с ним, начинаем думать о самом главном, о чем мы не очень приучены думать нашей советской литературой, о том, что же такое жизнь, в чем конечный смысл ее, не в том прямолинейном толковании, которое частенько навязывается нам, а в самом глубинном понимании, для чего человек живет на земле, как он строит свои отношения с другими людьми. И в эти размышления вместе с героями повести включается читатель.

Тут кто-то из выступавших, кажется Николай Александрович, сказал, что ему не хватало мира за стенами больничного корпуса. Я этого не ощутила. Здесь лицом к лицу с самыми важнейшими проблемами человечества стоят люди самых различных социальных категорий, самого различного жизненного опыта, они все уравниваются здесь одинаковым страданием и одинаковой опасностью. И как же по-разному они рассуждают и как одинаково активно включаются они в этот громадный, значительный духовный процесс. Тут многие вспоминали повесть «Смерть Ивана Ильича». Если говорить о Толстом, то я вспом-

нила другое, я вспомнила госпиталь на Бородинском поле, где лежит страдающий Анатолий Курагин; и этого человека, который так много испортил в его жизни, Андрей Болконский, страдающий рядом с ним, прощает, амнистирует во имя человечности. Я думаю сейчас другое. Я думаю, насколько иным является восприятие нашего современного автора, который и здесь, и на краю смерти, и на краю страданий не амнистирует никого и ничего. Он вершит свой суд, суд страстный и суд пристрастный. Это вносит еще особую краску в восприятие этой повести, потому что говорит с нами, с одной стороны, человек, умеющий взлететь на самые вершины человеческого духа, и в то же время остающийся с нами на земле, испытывающий наше отвращение, наше неприятие и нашу ненависть и все те чувства, которыми пусть уж грешат и впредь земные люди.

Я хотела сказать о нескольких образах. Здесь мало говорили о Вадиме. Говорили, что не хочется, чтобы он умирал. Да, очень не хочется, чтобы этот человек с огромнейшим зарядом жизни, мечты, талантливости, не претворенной в дело энергией, — чтобы этот человек оставил жизнь. С жизнью расставаться трудно, и к образу Вадима это применимо потому, что он очень молод и его, может быть, жалче всех. Но я поразила зоркости писателя, который открыл в Вадиме какие-то черты опасные, и опасные именно в нашей современности, опять-таки оставаясь человеком глубочайше нам современным. Я имею в виду душевную глухоту и...*

Он очень худо разбирается в людях, он готов Русанова причислить к честным трудягам, и о Костоглолове он говорит с некоторым высокомерием, не вникая в глубинные корни нашей жизни. Он судит по поверхности, и этого нельзя в нем не заметить и не осудить. В нем есть элементы этакого суперменства, которым грешат сейчас очень многие из интеллигенции технической. Это наблюдаешь в молодежи сейчас с большой тревогой. И, повторяю, тем более отрадно видеть в авторе боевого нашего современника.

Тут говорили о Костоглолове разное. Меня больше всего поразило в нем (я считаю Костоглолова огромной удачей автора и не согласна с теми, кто это отрицает) активное самоутверждение.

* Тут в стенограмме пропуск.

Оно во всем. И в том, как он борется за право распорядиться своей личностью, хотя, казалось бы, чего проще — довериться врачам. А он желает распорядиться своей судьбой сам. Это так естественно при той биографии, которая предшествовала больнице, и это так жизненно здорово. Об этом никто здесь не сказал.

В связи с Костоглоловым мне хотелось бы не согласиться с Н.А.Асановым. Простите меня, но я не разделяю такого взгляда на любовь, к которому нас приучила дорогая наша советская литература: так все разумно и резонно, и если ты больше заслуживаешь, тебе больше дадут. А между прочим, и это совершенно поразительно, в этой повести выходит на сцену полноправная человеческая, земная, чувственная, плотская любовь, на полных правах, без всякого ханжества, без всякой недоговоренности. И это просто необыкновенно, когда духовно тонкой Гангарт предпочитается Зоя, — очень хороший человек, не знаю, чем она Асанову не понравилась.

И как свободно дышится в этом произведении, где не довлеют никакие выработанные традиции, где писатель абсолютно владеет жизнью и смотрит на нее свободно и непредвзято.

Хотелось бы мне сказать еще о женщинах. По-моему, здесь поразительно все. И поразительно прежде всего тем, что написаны они не только с теплотой, не только с лиризмом, что было бы естественно, но написаны они, кроме всего прочего, еще и с глубочайшим состраданием, глубочайшим пониманием. — Это такая новая, щемящая нота. И опять, как хорошо, как вольно дышится читателю в этом произведении.

Что касается Русанова, то он, на мой взгляд, написан неровно. Кое-где он написан необычайно тонко. Я просто зашла вся, если можно употребить такой вульгаризм, когда прочитала в том месте, где Русанов начинает рассуждать о том, что человек живет идеей и служением обществу (он вставляет свое слово в спор — чем люди живы): «И выкусил самый сладкий хрящик в суставе» (он в это время ел курицу). Это так хорошо стоит рядом, что и слов не найдешь.

Великолепно то место, где говорится, что Русанов и его жена не стеснялись своей молодости и даже пели «Кирпичики» на семейных вечеринках, а сейчас жена Русанова сидела в приемной больницы, заняв сразу три места.

Вот какие-то такие вещи, которые сразу запоминаются.

И в то же время кое-где есть публицистический перехлест, и действительно автора за горло хватает все пережитое, и естественно накопившаяся ненависть к такому явлению, которое воплощает в себе Русанов. Да, перехлест есть, да, разрывается художественная ткань произведения, но как легко и хорошо дышится в произведении, где автор также страстен и так же пристрастен, как и современный читатель.

Что еще сказать? Насчет Русанова. Мне кажется, есть одно очень точное место в этом образе, где он (еще рабочий макаронной фабрики), еще не развернувшийся Русанов, где он, вместе со своим приятелем Яном, идет судить, чистить интеллигенцию. Есть такой эпизод в его фабричной биографии. По-моему, это очень здорово, потому что здесь, может быть, корни многого, что мы пережили в 1937 г. и в последующие годы, может быть, корни были заложены где-то в конце 20-х, в 30–31 гг., когда началась подготовка к неправому суду, когда шло это через чистку аппаратов, через чистку интеллигенции. Мне кажется, что это очень точно, и за это я хотела бы автора поблагодарить.

Я не буду затягивать свое выступление, а еще раз хочу сказать, что рукопись производит громадное впечатление. Конечно, она найдет своего читателя в виде книги — в этом никто из здесь сидящих не сомневается. Я, пожалуй, только вынуждена присоединиться к тем, кто выражает неудовлетворение последней главой. Мне показалось, что здесь Александр Исаевич немного мельче себя в этом перенесении нашей литературной зрешней борьбы на громадное произведение, исполненное для нас такого большого смысла.

Б.М.Сарнов

Виктор Борисович Шкловский в одной из давних своих статей заметил, что Булгарин вовсе не травил Пушкина. Он просто давал ему руководящие замечания. С тех пор как Булгарин давал руководящие указания Пушкину, прошло много лет. Отменили крепостное право. Произошла великая революция. Случилось немало других событий исключительной важности. Но и сегодня Асанов и Кедрин давали руководящие замечания Солженицыну (*оживление в зале*)...

(*Г.С.Березко: Зачем же сравнивать с Булгариным?!*)

Можно сказать: зачем сравнивать с Пушкиным? Но, простите. Зоя Сергеевна Кедрина сказала, что Солженицын не начинающий писатель и что он, по-видимому, с должным мужеством выслушает ее замечания. Я тоже думаю, что с должным мужеством выслушает. Но не в том дело — молодого автора обсуждают или крупного и сложившегося писателя. Дело в том, что, как правильно сказал Каверин, к сожалению, мы обсуждаем не книгу, а рукопись, и обсуждаем неспроста. Мы же не на семинаре в Литературном институте, чтобы обсуждать рукопись, которую можно было бы прямо печатать.

Литературная судьба писателя Александра Солженицына, мягко говоря, необычна. В сущности, это уникальная судьба. Лет десять назад мне довелось слышать такое суждение: великая русская литература закончилась на Бунине. Затем наступил период безвременья. И вот только теперь, после 1956 года появилась молодежь, писатели, на долю которых выпала задача возродить великую русскую литературу.

Я думаю, что суждения такого рода обусловлены прежде всего невежеством, не всегда даже злонамеренным. Нет нужды напоминать о достижениях русской литературы советского периода тем, кому известны имена Бабея, Зоценко, Булгакова, Платонова, Василия Гроссмана, Ахматовой, Пастернака. И все-таки, даже среди этих имен, Солженицыну принадлежит несколько особое место.

Среди многочисленных читательских писем, опубликованных в связи с появлением повести «Один день Ивана Денисовича», мне особенно запомнилось одно. Автор письма упрекает Солженицына в том, что тот ввел в свою повесть словечки и выражения грубые, чуть ли нецензурные. Он указывал, что до Солженицына наша литература обходилась без таких выражений.

Никто не догадался ответить автору этого письма, что до Солженицына наша литература, к несчастью, обходилась без многого такого, что именно благодаря Солженицыну стало ее неотъемлемым достоянием.

Л.Н.Толстой записал однажды у себя в дневнике: «Ехал верхом лесом, и было так хорошо, что думал: имею ли я право

так радоваться жизнью? И отвечал себе: да, имел бы право на радость жизнью всякий человек, если бы не было греха, не было страданий, производимых одними людьми над другими...»

Эта нравственная высота всегда была присуща великой русской литературе.

Прочитав «Один день Ивана Денисовича», мы испытали гордость и счастье от сознания, что русской литературе возвращена эта высота, что великая русская литература продолжается.

Я не поставил бы новую вещь Солженицына рядом с «Одним днем Ивана Денисовича». Но и в этой вещи Солженицын открыл перед нами целый мир, огромный мир, дотоле неведомый читателю, подобно тому как Горький открыл русскому читателю неведомый ему мир ужаса, боли и страдания одним коротеньким рассказом «Страсти-мордасти».

Я не буду дотошно анализировать вещь, говорить о ее достоинствах и недостатках. Я хочу лишь подчеркнуть одно: нельзя говорить о писателе Солженицыне просто как об одном из многих советских писателей, кажется, даже не имеющим чести быть членом бюро какой-либо из творческих секций.

Чтобы пояснить свою мысль, я дам небольшую историко-литературную справку.

В 1934 году, вскоре после I съезда советских писателей, вышла в свет юмористическая книжка «Парад бессмертных». В ее создании принимали участие Михаил Кольцов, Ильф и Петров, Валентин Катаев, Кукрыниксы и другие выдающиеся юмористы того времени. В одном из фельетонов была предложена шуточная, разумеется, но вместе с тем и не совсем бессмысленная табель о рангах для писателей.

Согласно этой табели писатель с гостевым билетом получал кубик младшего лейтенанта, писатель — делегат съезда — три кубика старшего лейтенанта, писатель, упомянутый в докладе, — шпалу, писатель, дважды упомянутый, — две шпалы, член редакционной и мандатной комиссии — ромб, член секретариата — два ромба, член президиума — три ромба и т. д.

Я сейчас не смог бы вспомнить и перечислить всех писателей, входивших в секретариат и президиум съезда, хотя история советской литературы — моя профессия. Помню только, что среди генералов и маршалов советской литературы, избранных в

президиум и секретариат съезда, рядом с Горьким и Алексеем Толстым были Кирпотин, Караваева, Чумандрин.

С другой стороны, из опубликованных недавно воспоминаний С.Ермолинского, я узнал, что Михаил Афанасьевич Булгаков не получил на съезд даже гостевого билета.

Кто из читателей сейчас помнит, что написал писатель Чумандрин? А кто написал «Театральный роман» и «Дни Турбиных», читатель знает прекрасно...

(Г.С.Березко: Зачем же охаивать Чумандрина — прекрасно-го писателя?)

Может быть, я ошибаюсь...

(Г.С.Березко: Не может быть ошибаетесь, а именно ошибаетесь!)

Но я все-таки не сравню этих писателей с А.Толстым и Горьким, которых я упомянул.

(Г.С.Березко: Мы сейчас не занимаемся установлением табели о рангах для писателей.)

А роман Булгакова «Мастер и Маргарита» журнал «Москва» печатает в одиннадцатом номере нынешнего года и в первом номере будущего, 1967 года, видимо сильно рассчитывая с помощью этого, тридцать лет назад написанного, романа поднять подписку на свой журнал.

Я думаю, что из такого рода фактов (а их множество) не мешало бы извлечь кое-какие уроки.

Еще одна историко-литературная справка. Она тоже имеет отношение к обсуждаемому нами предмету.

В 1932 году писатель Евгений Замятия обратился с письмом к Сталину. Письмо начиналось так:

«К вам обращается человек, приговоренный к высшей мере наказания...»

Замятин, как вы знаете, ни к какой мере наказания приговорен не был. Речь шла не о расстреле. Речь шла о том, что писатель жив, когда его книги доходят до читателя. Что невозможность напечатать свою книгу у себя на родине является для писателя самой страшной карой — высшей мерой наказания.

К сожалению, такие неизвестно кем вынесенные и приведенные в исполнение приговоры «к высшей мере» случаются и поныне.

Приведу только один пример.

Незадолго до смерти Василий Гроссман написал рассказ «Тиргартен». Рассказ этот при жизни писателя так и не увидел света. Так же как и его «Армянские записки». Недавно рассказ был напечатан в журнале «Наш современник». «Армянские записки» были напечатаны в «Литературной Армении». Что же произошло после опубликования этих вещей? Враги не вылезли из своих нор, и обороноспособность нашей Родины ничуть не пострадала. Наоборот, читатель получил радость соприкосновения с замечательной литературой, с прекрасными, глубоко патристическими произведениями прекрасного советского художника. Все прекрасно. Только вот одна беда — Гроссман так и не увидел эти вещи напечатанными. Не дождался. Умер. Неоснованный, бессмысленный, чудовищный приговор «к высшей мере наказания» был все-таки приведен в исполнение.

Я желаю Александру Исаевичу Солженицыну долгих лет жизни. Я верю, что он увидит дошедшим до советского читателя все им написанное. Но все-таки...

Книга, любая, даже замечательная, даже великая книга, имеет возраст. И то соображение, что «Театральный роман» увидел свет, хоть и с опозданием на четверть века, не вполне меня утешает. Прекрасно, что книга увидела свет. Этой книге суждена долгая жизнь. Но какой бы долгой она ни была, двадцать пять лет из срока, ей отпущенного, у нее украли.

«Раковый корпус» Солженицына должен быть напечатан.

Ю.Ф.Карякин

В своем Завещании Ленин высказал страстную жажду надежды на людей со следующими четырьмя качествами: нам нужны люди, которые, во-первых, ни слова не скажут против своей совести, во-вторых, не поверят никому на слово, в-третьих, ни в какой трудности признаться не побоятся, в-четвертых, не побоятся никакой борьбы за поставленную перед собой цель.

У нас много пишут о Завещании Ленина, но эту тоску и надежду, эту жажду по таким людям забывают. Мне кажется, что А.И.Солженицын как раз принадлежит к таким людям, которые отвечают по всем статьям.

Еще я вспомнил, что в «Записках» Достоевского есть такое замечание: что было бы, если бы Толстой и, кажется, Гончаров

соврали? — Какая безнравственность, — сказали бы другие, — уж если эти то же самое...

Я не сторонник всякого рода фраз. Но одну фразу, которую я слышал, хотел бы повторить: Солженицын не солжет.

Эту на вершинах культуры и на вершинах политики жажду абсолютно бескомпромиссной правды самое важное, учитывая мою специфику не как литературоведа, не как критика, хотелось бы подчеркнуть. Эта повесть Солженицына отвечает этому критерию.

Меня поразило, что Маркс, автор «Капитала», создатель и руководитель Интернационала, вдруг задумал, но не осуществил, к сожалению, написать драму о братьях Гракхах. Есть такие разрезы действительности, такие аспекты ее, которые просто непознаваемы без искусства. Другого способа нет познать эти человеческие отношения, их нельзя познать, не прибегая к искусству, не прибегая к «Смерти Ивана Ильича» или чему-то подобному.

Я помню статью Дымшица об «Одном дне Ивана Денисовича», которая мне очень понравилась. Там сравнивался «Один день Ивана Денисовича» с «Записками из Мертвого дома». Если бы мы переиздавали «Один день Ивана Денисовича», я бы сменил предисловие Твардовского на эту статью.

И вот мне совершенно ясно, и это очевидно всем, что повесть должна увидеть свет. Но мне хотелось бы высказать несколько чисто политических аргументов, потому что в конце концов это будет решать вопрос ее опубликования.

Сначала одну маленькую справку. Мне пришлось несколько лет назад собирать едва ли не все зарубежные отзывы на «Один день Ивана Денисовича», их были многие сотни, и я поразился, что единодушное осуждение эта повесть получила на страницах троцкистской, албанской, корейской и китайской печати.

Я думаю, что те люди, которые и сейчас иной раз ее осуждают по политическим соображениям (я с ними не расхожусь в вопросе — нужно применять политические критерии или не нужно), забывают, что Ленин говорил, что политика — это не арифметика, а алгебра. Если учесть всякого рода эти критерии, то запрещение и осуждение только по политическим мотивам, на мой взгляд, это — не политика, а политиканство. В этом заключается, как в шахматах, многоходовая комбинация.

Я хочу сообщить, что подавляющее большинство положительных отзывов на «Один день Ивана Денисовича» принадлежит самым выдающимся марксистам нашего времени, самым преданным коммунистам из зарубежных партий. Эта повесть своей правдой и своим жизнеутверждением приобрела нам колоссальное количество союзников, она вернула то, о чем говорил Каверин, вернула подлинность тех идей, которые были до того русановыми так испохаблены, что Ефрем говорил: «раз идея — значит, заткнись».

Я думаю, что при расчетах, которые должны быть произведены, — что мы получим и художественно и политически при публикации этой повести, мы должны учесть печальный урок «Одного дня Ивана Денисовича», потому что я убежден, что люди, которые повторяют (я тут согласен, что это не по злему умыслу) такие вещи, должны знать, что с этого начинается «хунвэйбиновщина».

Учитывая эту оценку, нужно сказать, что это следствие отнюдь не злонамеренности этих людей, а просто то, что более дальновидная политика подменяется политиканством. Это первый довод, который мне бы хотелось четко сформулировать.

Теперь перейду к повести. Мне представляется, что образ Вадима — это образ страшнее Русанова. Он принимает эстафету от Русанова, даже не замечая, что он ее принимает. Он же молодец! Как он формулирует свое кредо? Копашающееся какое-то количество, в то время как человек движется пресловутым качеством. Этот образ мне представляется страшным. К сожалению, очень перспективным. Ну вот, пожалуй, о нем все. Это — большая находка автора.

О Русанове. Тов. Кедрина уверяла нас, что с Русановыми покончено, что сейчас не найдется никого, кто бы русановых защищал. Это тоже, я не могу сказать злонамеренное заблуждение, но это неправда. Я слышал о том, что все зло от реабилитированных. Русановщина — это не вчерашняя опасность. Русанов, который даже перед смертью, даже в раковом корпусе ничему не научился, — это страшная опасность, которая еще мечтает о своем дне, но которая, как свидетельствует сегодняшнее обсуждение, все же утопична.

Но в то же время я хотел бы сказать вот о чем, и это, пожа-

луй, единственное мое внутреннее несогласие с Александром Исаевичем. Здесь мы видим человека, который не может простить Русанову, это заражает, и мы не можем простить все, что он совершил. Однако здесь я рискую заслужить упрек в толстовстве. Камю при получении Нобелевской премии сказал, что самое большое искусство не прокурорно, оно не осуждает. У самого Солженицына говорится в «Одном дне Ивана Денисовича», что человека можно повернуть и так и эдак. Все же Русанов повернутый человек. Мы видим, как он повернут *так*. И я уверен, — и в этом будет состоять величайшее мастерство художника, что нужно показать не только нам, но и Русанову, то человеческое, что было в нем когда-то, что было повернуто *так*, а не эдак. Мне думается, что все остальное, вся та святая ненависть, о которой здесь говорили, от этого укрепились бы, а не ослабла, потому что если из Русанова невозможно сделать человека, то получается первородный грех.

Меня потрясло отношение к Фетюкову в «Одном дне Ивана Денисовича». Вы помните, он там окурки подбирает, и кавторанг ему замечает: сифилис губы обмечет. И вдруг в конце повести в бараке появляется Фетюков, слез своих не скрывает, и Денисович говорит: а разобраться, так жаль его. И это высшая мера наказания искусства, не такая, как бывает высшая мера наказания людская,

(*Г.С.Березко*: Очень правильно, хорошо говорит!)

потому, что высшая мера наказания искусства — это, если угодно, — расстрелять, покарать, а потом в общем помиловать, но не по тому счету социальному и политическому, а так, чтобы потом либо как Иуда — вешаться, либо иди искупись.

И вот мне кажется, что это намечается где-то, и это с огромным тактом сделано во сне, потому что все его человеческое, даже страх, оказались загнанными в подкорку, когда в бреду, во сне что-то начинает проясняться. (*Аплодисменты.*)

Е.Ю.Мальцев

Когда я ехал на это обсуждение, я внутренне готовился, много думал потому, что только вчера кончил читать эту замечательную книгу. Потом мне показалось, что говорить не о чем потому, что другие как-то очень полно высказали то, что мне

хотелось сказать, но в процессе обсуждения мне самому захотелось выступить, и я попросил слова.

Поначалу я хотел бы сказать о том выступлении, которое меня не устроило. Я не собираюсь учить Сарнова, который здесь выступил, и в общем меня не удивишь никакой остротой — я сам выступаю здесь так, как я чувствую, но мне кажется, что человек, выходящий на это ответственное обсуждение, должен более ответственно выбирать слова, потому что сегодня, мне кажется, идет обсуждение очень хорошее, серьезное, и мне понравилось, как выступил Каверин, который говорил вещи очень суровые, очень серьезные, но они не вызывали протеста, потому что ты внутренне чувствовал единомышленника. А когда выступил Сарнов и начал проводить эти параллели, то почувствовалась лихость какой-то безответственности. Мне думается, что она в данном случае никак не может помочь. Это мое глубочайшее убеждение. Он говорил обо всем, а о самой вещи не сказал, я даже не понял, как он к ней относится. Если он вышел для того, чтобы сравнить двух выступавших ораторов с работниками III отделения, то и выходить, в общем, не стоило. Это мое глубочайшее убеждение.

Теперь по существу этой вещи. На меня, так же как и на всех, эта вещь произвела глубокое впечатление. Я прочитал ее два раза и должен сказать, что, читая второй раз, находил в ней все большие и большие оттенки той большой темы, которую избрал для своего произведения А.И.Солженицын.

Главное, что меня больше всего взволновало, что пронизывает всю эту повесть, — это мысль об ответственности человека перед жизнью, перед обществом, перед самим собой. Люди, поставленные в сложную обстановку, должны ответить на вопрос: как они жили, для чего они в этой жизни появились: просто для того, чтобы мять траву, или был какой-то смысл в этой трудной и сложной жизни.

Так как эта тема пронизывает все произведение, то постепенно, как правильно говорила Любовь Рафаиловна, после оторопи перед жестокостью, беспощадностью, переходишь к какому-то просветлению. Очень разные люди поставлены перед лицом смерти. И автор отвечает на главный вопрос: как трудно быть в этой жизни человеком до конца. Этот мотив для меня является главным.

Я не буду сейчас повторяться, потому что уже многие говорили о каждом образе, о каждом характере. Я бы хотел только ответить на одно высказывание, которое здесь прозвучало в устах нескольких ораторов. Об этом говорили и Винниченко, и Асанов. Была высказана такая мысль: главное, что здесь есть, это символика, которая доходит до таких размеров в этой повести, что, по существу, идет речь о раковой опухоли нашего общества. Я понимаю товарищей, которые могли так воспринять это произведение. Но мне это кажется ошибочным. Если бы действительно наше общество болело такой неизлечимой болезнью, то мы с вами не сидели бы в этом зале и не обсуждали бы эту великолепную повесть. Поэтому я хотел бы начисто отмести любые сопоставления такого рода. (*Аплодисменты.*)

Второе замечание по одному характеру. Речь идет о Костоглодове. По-разному этот характер воспринимается. Кедрина считает, что он, как бы поставленный в центр этой повести наряду с Русановым, этот характер не выражает как бы тенденции времени, он не выражает основной ведущей идеи того времени, а он должен выражать в противовес, что ли, отрицательному характеру, каким является Русанов. Мне кажется, что это замечание неправомерно по той причине, что автор здесь не ставил задачу поставить в центр характер, который бы аккумулировал тенденции общества. Не нужно забывать, на каком отрезке жизни мы встречаемся с Костоглодовым, не надо забывать, что он ссыльный и он не может с особенной свободой выражать свои мысли даже в этом раковом корпусе. Но то, о чем он говорит, то, о чем он спорит, даже какими-то обрывками, какими-то мазками, — мне совершенно достаточно, чтобы почувствовать, что это образ замечательного человека, который прошел через такие страдания, унижения и не потерял ни веры в людей, ни веры в самого себя, а главное, он наиболее стоек перед лицом смерти.

Мне кажется, что это явление новое, в этой повести особенно новое, потому что оно не только присутствует в Костоглодове, оно присутствует в молодом парнишке Прошке и в Дёмке, да и других характерах, даже в Ефреме. И мне кажется, что наличие такого большого количества отличных, хороших людей, страдающих, мучающихся в этом корпусе, — это как-то делает для меня эту вещь очень широкой.

Я люблю все другие вещи Александра Исаевича, мне это близко и дорого, но здесь, мне кажется, в этой вещи, все его мотивы и все его мысли получают какое-то более широкое объективное выражение, как отражение нашей действительности.

Что меня где-то не устраивает и как-то царапнуло и задело? Я принадлежу к тем ораторам, которые считают, что Русанов где-то излишне прямолинеен и однозначен. Я даже испытал чувство неловкости от того, что он где-то оглуплен, видимо сознательно. Мне казалось, что, взяв такой нетронутый пласт в нашей литературе, в нашей жизни, — что это все гораздо сложнее, и мне бы хотелось эту сложность почувствовать, когда я буду читать эту рукопись уже напечатанной.

Мне также кажется, что все разговоры о литературе мельчат рядом с этой большой темой, поставленной в этой вещи.

И последнее — о судьбе этой повести. Как-то не так давно мы собирались в объединении прозы и обсуждали роман Бека. Те, кто присутствовал на этом обсуждении, помнят его. Там выступали очень серьезные литераторы, объективно разбирали эту вещь, говорили о достоинствах и недостатках, но ни у кого не возникало сомнения, что эта вещь может не быть напечатанной. И как-то не верится, что мнение одного человека может оказаться сильнее общественного мнения целой организации. Я верю, что вещь Бека будет напечатана.

(А.Тарковский: Хорошо бы напечатать, а не верить.)

Я думаю, что то, что мы сегодня делаем, ради чего собираемся, свидетельствует о том, что идет процесс демократизации нашей жизни, и я убежден, что, если на время и будет побеждать точка зрения субъективная или догматическая, она рано или поздно потерпит поражение.

Я хотел бы в ближайшее время увидеть эту повесть напечатанной. Думаю, что у всех нас такое же желание. Я очень рад, что сегодня познакомился с Александром Исаевичем. Думаю, что все испытывают такое же чувство. Знакомство это не просто визуальное. Мы сегодня по-настоящему впервые встречаемся с автором, вокруг творчества которого идут страстные споры, потому что мы встречаемся с явлением большим, незаурядным, и от этой встречи я испытываю огромное чувство радости, праздничности.

П.А.Сажин

То, что здесь происходит, мне кажется, вообще для литературы нормальная жизнь, потому что если мы окинем взором прошлое советской литературы, то увидим, что обстановка была почти одинаковая с сегодняшней в том смысле, что очень трудно проходили писатели необычного таланта, нерядовой способности.

Три дня назад я видел по телевидению большую передачу о Булгакове. При его жизни был бы невозможен такой разговор, а сейчас это был очень большой и серьезный разговор. Сейчас несколько театров ставят его пьесы, издается его проза. Такая судьба была у Зощенко, у Анны Ахматовой, у Пастернака. Не буду перечислять всех.

Я не могу отделаться от сомнения — правомочно ли выносить какие-то суждения о повести, давать какие-то советы автору, одобрять или не одобрять, говорить об удаче или неудаче, потому что это ведь только первая часть повести. За первой частью должна последовать вторая. Но одно мы можем сделать, и те, кто это делал, делал правильно, — это отметить удачу его повести.

Повесть Солженицына необычна и интересна хотя бы тем, что автор — не знаю, сознательно или случайно — собрал своих героев в той обстановке, которая иногда бывает последней в жизни человека, — в больнице. Те, кому приходилось бывать в госпитале, в больнице, знают, что это обстановка, где люди очень быстро сходятся, становятся общительными. Эта обстановка описана в повести просто изумительно — тонко, ярко.

Когда я читал эту повесть, то мне вспоминалась такая вещь. Год или два года назад была запись по радио выступления А.А.Ахматовой, она говорила о Блоке. Я тогда записал следующие слова. — Бенедикт Лившиц (был такой поэт в Ленинграде), который на вопрос Анны Андреевны — почему он такой мрачный — сказал: знаете, я как-то плохо себя ощущаю. Почему? — Мне мешает писать Блок. (*Смех.*) Вот вы усмехнулись, а это вопрос очень серьезный.

Я думаю, что появление в наших рядах Александра Исаевича Солженицына должно мешать нам писать. Мы должны писать по-иному, относиться с большей ответственностью и с большей требовательностью к самим себе. Вот мне кажется, что

этот вопрос необычайно важный, и я так рассматриваю благотворное появление в нашей среде, не говоря уже о больших задачах литературы, Александра Исаевича Солженицына. Не собираюсь его никак переоценивать, возвеличивать, но во всяком случае благотворное его влияние на меня существует.

(*С места: Не надо себя недооценивать!*)

Это можно отнести к моему характеру. Если я заметно себя недооцениваю — меня товарищи могут поправить. (*Аплодисменты.*)

Что мне еще хотелось сказать? У нас иногда в нашей среде раздаются жалобы, что мы никак не можем наладить настоящую творческую жизнь, не можем собрать людей на серьезное обсуждение, не получается серьезного разговора и т. д. И вот сейчас, смотрите, сколько людей собралось! Конечно, есть элемент некоторой сенсационности потому, что рукопись пока переживает трудную судьбу, а всякая рукопись, переживающая трудную судьбу по непонятным причинам, — она уже привлекает к себе внимание. Мы по своему общественному характеру стремимся узнать, помочь и вникнуть в это дело. Каждый ожидает для себя такой судьбы, никто от этого не свободен. Поэтому мы все собрались. Но мне думается, что тут есть и другая причина. Нам надо обсуждать, в общем, рукописи талантливые, интересные, и тогда мы будем собираться в таком большом составе.

Александр Исаевич, по выражению одного из героев, слушает нас вбирчиво. Хорошо, что он сумел отбросить то, что мы от неумелости ораторской наговорим лишнего. Я абсолютно покорен этой повестью, но могу присоединиться к тому, кто говорил относительно, на мой взгляд, слабости образа Русанова. Мне кажется, что тут автор на этом участке фронта не развернул всех своих легких и тяжелых сил, чтобы выписать этот образ. Поскольку время ограничено и уже нельзя приводить примеры и утруждать ваше внимание, я просто высказываю это как свое мнение. Надеюсь, что автор примет это мнение. Но во всяком случае мы можем сами себя поздравить, что у нас в литературе есть такая удача, и хотелось, чтобы за первой частью последовала вторая.

(*С мест: Правильно!*)

Г.С.Березко

Обсуждение наше было очень интересным. Только выступление т. Сарнова огорчительно прозвучало здесь. Оно шло не в плане литературного разговора, а в плане лично-оскорбительном. Нельзя сравнивать советских писателей с деятелями III отделения. Это недопустимо. И я не могу об этом не сказать.

Слово предоставляется Е.Б.Тагеру.

Е.Б.Тагер

Поскольку почти все выступавшие сходились в одном, что перед нами явление художественно-поразительное, то те затруднения, которые, как мы слышали, имеются с напечатанием рукописи, могут объясняться только тем, что в этой повести нашло место изображение отрицательных, темных сторон нашей действительности. По этому поводу я могу сказать: весь опыт мировой литературы учит тому, что никогда изображение зла не способствовало его укреплению и, наоборот, замалчивание, игнорирование этого зла вело к расцвету и укоренению его. (*Голоса с мест: Правильно.*)

У Толстого в романе «Воскресенье» есть глава, занимающая две-три страницы, в зависимости от формата издания. В этой главе впервые рекомендованы читателю 15 персонажей; в этой главе говорится о тюремной камере, в которой живут 15 товарищ Катюши Масловой, — молодых, старых, привлекательных, безобразных, циничных, пьяных, несчастных. Эти 15 человеческих характеров и судеб, с их физическим обликом, их прошлым и будущим, связаны в единый пучок, и вместе с тем они раскрывают картину страны, России.

Это та традиция, — великая, мощная и живая, которой следует Солженицын, причем нужно заметить, что он находится на уровне этой традиции и вместе с тем не растворяется в ней. Он умеет связать в узел, свести к фокусу один день («Один день Ивана Денисовича»), один вечер («Случай на станции Кречетовка») или в данной повести — одну больничную палату. Множество характеров, множество человеческих историй, взятых в разнообразных аспектах и разрезах психологических, национальных. И эта всеобразная раскрывающаяся картина большого мира, большой действительности встает перед нами.

Ни в коей мере нельзя согласиться с теми, кто говорил, будто бы Солженицын заключил нас в какие-то тесные и узкие рамки палаты. Из этой палаты мы вырываемся в широкий многообразный социальный исторический мир. Солженицын вводит бесконечное количество персонажей, иногда отмеченных 1–2 чертами: какие-нибудь две санитарки Нелля и Елизавета, какая-нибудь тетя Стефа, какой-нибудь персонаж, не фигурирующий на сцене, выступающий в воспоминаниях действующих лиц, тот же самый инженер Родичев, которого посадил Русанов (я не имею возможности сейчас это экспонировать), — они все здесь существуют и запоминаются.

Я считаю, что Александр Исаевич — крупнейший эпик в нашей литературе, мастер поразительного эпического стиля, действительно толстовского размаха.

Товарищи, искусство Солженицына требует внимательно и серьезного разбора. Я хочу только сказать, что те условные кирпичи, из которых строится модель реального мира и которая обладает совершенно особой весомостью и значимостью, иногда гораздо более ощутимой, чем элементы реальности, у Солженицына обладает необычайной магией выразительности. Тут можно перечислить огромное количество деталей, вещей. Без этого не было бы произведения, без этого мы бы не разговаривали о том, прав ли Костоготов, Русанов и т. д.

Коснусь еще последнего. Мы ценим в искусстве способность к художественным открытиям, это повседневные наши критические пожелания и замечания. К сожалению, очень часто мы больше всего ценим те открытия, которые мы предвидим заранее и которых ждем, поэтому страшно гневаемся, когда наши пожелания не оправдываются, что и прозвучало в некоторых выступлениях. Но подлинно художественное открытие всегда не предусмотрено и всегда ведет нас к неожиданности. Сила Солженицына заключается в том, что эти неожиданные открытия следуют одно за другим. Встречается Дёмка с ангелом Асей, золотоволосой Асей, которая вдруг покоряет этого кристально-чистого Дёмку, и в конце концов, оказывается, действует на него развращающе...

Но это вскользя. Главных же два открытия — это создание образов Ефрема Поддуева и Русанова, которого, на мой взгляд,

не поняли те, кто обвиняет Александра Исаевича в отсутствии добротной художественной ткани, чрезмерной прямолинейности, который взят гораздо сложнее, чем это представляется многим выступавшим здесь, и который являет собой первое и очень глубокое обобщение образа не только просто доносчика и клеветника, а человека, искренне впитавшего в себя ту атмосферу лжи, при которой стала возможной система доносов и клеветы.

А.М.Турков

Я думал сначала, что самое трудное поле боя, который берет на себя Солженицын, — это раковый корпус, болезнь, смерть. Но это обсуждение убедило меня в том, что самое трудное поле боя — это столкновение с нормативной эстетикой, с тем, как мы хотим, чтобы писали о народе. То, что происходит у Солженицына с его героями, напоминает мне фразу одного из героев Андрея Платонова: «Без меня народ неполный». Это стремление восполнить представление о народе (то представление, которое у нас существовало и существует, в значительной мере абстрактно) привлекает меня в работе Солженицына.

Здесь очень правильно говорил Е.Б.Тагер, что маленькое столкновение двух образов санитарок уже открывает какие-то серьезные проблемы. Переосмысление такого якобы героического образа, как Вадим, тоже дает нам очень много.

Мне кажется, в этом все дело, в том, что здесь раскрывается своеобразие народных миров, а мы, сталкиваясь с этим своеобразием, начинаем писателя в какой-то мере поучать и тащить к готовым схемам. (*Аплодисменты.*)

Г.Бакланов

Что должна отражать литература — сложившееся представление о жизни или самую жизнь? В общем, известно, что должна отражать самую жизнь. Тем не менее судят ее по образу сложившихся представлений, и если произведение не соответствует определенным представлениям — значит, это не то произведение. Так, к сожалению, до сих пор относятся к литературе. А между тем, литература создана не только для того, чтобы отражать жизнь. Литература — часть жизни, так же как и хлеб — хлеб насущный и хлеб духовный. Там, где сейчас находят на рас-

копках стоянок обугленные от времени зерна, там же находят и первые наскальные рисунки, и у тех же костров впервые слагались легенды, и люди создавали свои первые рассказы, может быть, даже при помощи жестов. Это — часть жизни, и так надо к ней относиться.

Есть ли у общества иной способ изжить свои недостатки, свои беды, кроме как публично передать их? На мой взгляд, нет иного способа. Только публично пережив их, публично переболел, можно изжить то, что произошло. Этим задачам как раз отвечает произведение Солженицына.

Армия меня твердо приучила, что когда начальство советует со мной, то это не значит, что оно спрашивает совета. Тут некоторые товарищи злоупотребляли терпением рядового Солженицына, подавая ему много советов.

Я прочел роман, и хочется сказать — то великое чувство меры, к которому все писатели стремятся всю жизнь и, как правило, не достигают и которое к писателю типа Солженицына приходит само собой, — это чувство меры, присутствующее в «Одном дне Ивана Денисовича», в «Случае на станции Кречетовка», тут присутствует не везде. Оно полностью присутствует в спокойном описании Уш-Терека. То, что кажется людям наиболее значительным, наиболее существенным сегодня — проходят годы и десятилетия, и выделяется еще что-то, что, люди знали, что существует над этим. Эта мудрость есть в Уш-Тереке, в Ефреме.

Конечно, больно, что второе поколение Русановых идет в литературу. И вот когда второе поколение Русановых в повести идет в литературу, то это тоже факт жизни. Мне кажется, что здесь вы, Александр Исаевич, просто рассердились. Вы умеете спокойно и мудро говорить о причинах, а тут вы неожиданно рассердились и кое-где секли наследницу Русанова. Отсюда мне показалась излишняя публицистичность.

А главное, это, конечно, просто стыдно это не печатать. Надо печатать!

Г.С.Березко

Александр Исаевич, мне кажется, что я выражу желание товарищей, если попрошу вас использовать свое слово не только для ответов, но, может быть, что-то рассказать об этой кни-

ге, как эта книга писалась, может быть, коснуться немного второй части. Поневоле все это будет очень лаконично.

А.И.Солженицын

Товарищи, я начинаю с главного чувства, которое я сегодня пережил, это — чувства благодарности. Я действительно очень тронут тем вниманием, которое секция прозы Московской писательской организации уделила моей книге, тем интересом и теми очень высокими оценками, которые здесь среди других произносились.

Разумеется, в Рязанской писательской организации, где я состою, я и тени такого обсуждения получить не мог. Разумеется, при условии, когда я пишу книгу за книгой и ни одну из них, а не только «Раковый корпус», не могу увидеть в печати, — пока единственное есть средство услышать профессиональное мнение о своих вещах. И мне очень жаль, что некоторые очень профессиональные ораторы сегодня вынуждены были комкать свои выступления. Может быть, они смогут помимо этой трибуны восстановить упущенное, может быть, дадут почитать тезисы. У меня нет другого способа получить профессиональную критику.

Тут говорили, что у меня своеобразно складывалась писательская судьба. Действительно так. Были плюсы и минусы, как она складывалась. Плюсы были те, что мне год за годом не приходилось задавать вопрос: а пройдет ли, а как к этому отнесутся. Я имел стол, бумагу и себя. И так шли не годы, а десяток лет. С момента, когда я стал печататься, была утеряна та позиция. Но оказывается, в ней, кроме плюсов, были и очень серьезные минусы. Оказалось, что в многолетнем единоборстве с бумагой, когда число твоих читателей не превышает число пальцев на руках, неизбежно теряешь настоящую, подлинную требовательность к себе. И сколько бы ты ни откладывал свою рукопись, чтобы потом, вернувшись, посмотреть на нее другим взглядом, — все равно чего-то недосмотришь. Поэтому при выходе на эту публичную арену я почувствовал, чего мне не хватало. Мне не хватало профессионального обсуждения. Его и сейчас не хватает, потому что я не могу печатать свои произведения. Сегодня я в чрезвычайной степени удовлетворен, получив такое разнообразие высказываний, мнений, за которые весьма благодарен.

Некоторые товарищи говорили: может быть, я не прав, потому что вещь не закончена. Может быть, я не прав. Теоретически говоря, может быть и так. Но практически я, принеся свою рукопись в Секцию прозы и обращаясь к руководству с просьбой обсудить ее, имел в виду, что мне было бы интересно рассматривать эту вещь как хотя и не законченную, но претендующую на обсуждение. Бывали случаи, когда вторая часть не писалась автором или уничтожалась... Мало ли что происходило со вторыми частями. Мне чрезвычайно важно знать этот веер мнений, эти разносторонние оценки. Я просил обсудить мою рукопись такой, как она есть. И я никогда не обижу ни на кого из выступавших, что они судят, не зная второй части.

Я настолько польщен многими высказываниями, что у меня есть только одно желание: я постараюсь уровнем второй части оправдать эти оценки.

Я не собираюсь мелко полемизировать, соглашаться или не соглашаться с отдельными высказываниями. Я хочу только несколько вопросов поставить.

Прежде всего, символ или не символ раковый корпус? Дано ли это название с таким сознанием, что это символ? Некоторые ораторы говорили, что была раковая опухоль в нашем обществе. Была. Но я не имею в виду это. Когда я пишу: «Раковый корпус», я имею в виду именно болезнь, борьбу с болезнью. Я смело поставил это в название, потому что рассчитывал, что я не угнету и не доведу читателя до отчаяния. Если бы я думал или хотел дальше раздавить читателя, я такого названия бы не поставил. А поставил именно потому, что я рассчитываю его преодолеть в вопросе борьбы за жизнь против смерти. Поэтому я совершенно спокойно ставлю название. Только и всего. Что я буду выражать извилистым названием?

Я в последнее время убедился, что литература никогда не сможет описать всего мирового пространства, она никогда не сможет схватить все; ни отдельные авторы, ни вся литература. Но существует одно свойство. Приведу одно математическое сравнение. Мне кажется, что всякое произведение может стать пучком плоскостей. В математике пучком плоскостей называется совокупность плоскостей, проходящих через заданную точку. Я выбираю из пространства одну точку, каждый автор выбирает такую

точку соответственно своему жизненному опыту, своим наклонностям. Но через каждую точку может проходить бесчисленное количество мировых плоскостей, секущих во всех направлениях.

Так вот, собственно говоря, всякое произведение имеет возможность быть пучком плоскостей. Тему можно взять какую угодно. Мне подсказала эту тему моя болезнь, и поэтому я смог почти профессионально познакомиться с этим вопросом, контролировать, как меня лечат. Можно было брать не раковый корпус, а все, что угодно, но если хочешь выйти за пределы ракового корпуса, то эти плоскости — и всюду и везде они есть... В каждой точке пространства все плоскости могут быть воображены и проведены.

Что касается Русанова, то почти ни один из выступавших не минул его, что-то мне не сказав. И до этого люди, которым я давал читать, и в редакциях, все говорили о Русанове. Большая часть высказываний, 90% высказывающихся говорят, что я с Русановым что-то сделал не так. Спорить против такого процента я не смею. Значит, не так. Однако, когда я пытался понять конкретно, конструктивно, что именно не так и в каком направлении они видят его, я пока не получил ясности. Пока остается как императив оставить для себя, что что-то может быть не так.

Сегодня очень важную мысль высказал Ю.Карякин, суждение, которое выходит за пределы русановского образа и этой повести. Это суждение о том, как в произведении должны быть уравновешены современность и вечность. Это самые трудные весы, с которыми в каждом произведении приходится работать. Когда слишком дашь на чашку вечности, — современность теряет плотность, и теряется связь с читателями. Когда дашь слишком на чашку современности, произведение мельчает, не будет долго жить. И это чувство гармонии хотелось бы воспитать, достичь равновесия.

Я пытался Русанова всеми силами рисовать с симпатией, пытался его всеми силами оправдать... ну, не всегда всеми силами... (*Смех, оживление в зале.*) Но где-то срываешься на отрицательное отношение, где-то не хватает. Известно такое выражение: когда рисуешь негодя — давай побольше хорошего; когда рисуешь хорошего — давай побольше негодя. А где же точка зрения вечности?! Очень правильно говорили: зачем сечете следствие, а надо причину. В общем это верно. Упрек этот при-

нимаю. Надо было бы в «Раковом корпусе» Русанова дать не только как следствие, а показать причины, которые его создали и дали возможность жить десятилетия. До этих причин надо было бы дотянуться художественно. Не дотянулся. Может быть, судьба повести не стала бы от этого легче... (*Оживление в зале.*) Но надо стараться. Надо стараться Русанова показать человечнее. Во второй части и при доработке первой части я обязательно это учту.

Сюда же относится вся история с Авиетой. Говорят: фельетон. Согласен, — да. Говорят: фарс. Согласен, да. Но вот в чем дело: фельетон-то не мой, фарс-то не мой. Если бы вы захотели, я бы мог взять речь Авиеты и показать: это говорил такой-то критик, а это говорил такой-то критик. Я их просто цитировал. Речь Авиеты состоит из цитат из произведений известных ведущих критиков. Говорят: не надо сердиться на литературу. Да, с точки зрения вечности, конечно, не надо. С точки зрения вечности этой главе здесь не место. Но в течение некоторого времени эти цитаты произносились не Авиетой, глупенькой девчонкой, а людьми уважаемыми, с трибун побольше этой и в аудиториях побольше этой, и в печатном слове. Справедливо ли забыть это? Эти весы между вечностью и современностью очень трудные, сложные. Конечно, в этой главе я откровенно пренебрегаю чашкой вечности, откровенно даю фельетон и фарс. Но говорю: не мой.

Я хотел сказать несколько слов совсем уже не принципиальных.

Тут говорили, что Костоготов — это автор, и оценки костоготовские относились к авторским. Мне не трудно убедить, что автобиографичность бывает в каждом почти герое произведения, какие-то кусочки жизни ты разбрасываешь туда и сюда. Конечно, они есть в Костоготове, но я не старался Костоготова сделать выражением автора. Наоборот, в биографии, в уровне интересов и в направлении интересов я старался отдалиться. Если это не удалось — буду стараться больше выдержать эту дистанцию. Я не считаю его автобиографическим образом, так же как ряд автобиографических моментов я использую в ряде героев.

Теперь о некоторых мелких замечаниях. Статья об искренности. Я сам десятки лет не видел журналов. Приезжаю в раковый корпус, и вижу: ходит по рукам затрепанная книжка, и вот

Юра Маслов, с которого написан Дёмка, пришел советоваться насчет этой статьи. Не я это придумал. Когда я писал эту повесть, я просмотрел литературную жизнь 1954 года. Эта статья в том году была мишенью, нападением, вокруг нее были споры, она звучала всплеском, и для литературной истории того времени она характерна. И взяв ее сюда, я не считаю, что поступил неправильно.

И толстовскую книжку я не подгонял. Этот том 28-го года был в палате. С тех пор я его не видел, 10-й том огоньковского издания. Я в академическом издании не нашел такого полного набора толстовских «моральных» рассказов, как в этом 10-м томе огоньковского издания. Иногда не можешь бороться против своих воспоминаний. Помнишь героя черным, надо было бы писать белым, а пишешь черным. Так и тут со статьей об искренности.

Я кончаю тем, с чего начал, — благодарностью.

Могу сообщить, в каком положении находится первая часть. Неудачные переговоры с «Новым миром» привели к тому, что я взял рукопись, передал ее в «Простор» в Алма-Ату, в «Звезду» в Ленинград. Пока они меня ничем не обнадежили.

Я над второй частью, тем не менее, работаю. Сейчас не хотел бы давать авансов. Как удастся, так удастся.

Мне чрезвычайно важно все, что я сегодня услышал. Я за это всех вас благодарю. (*Аплодисменты.*)

Г.С.Березко

Поскольку я был строг в соблюдении регламента, то и я вас, к сожалению, не задержу, но мне хотелось бы кое-что сказать не столько о повести Александра Исаевича (о ней уже много говорилось), сколько о нашем обсуждении.

Мне кажется, что у нас нет оснований жалеть, что мы это обсуждение организовали. Мне кажется, что оно было интересным, серьезным и значительным для нас, и это будет прекрасно, если большой писатель Солженицын о чем-то еще подумает после того, что он услышал на этом обсуждении. Конечно, речь идет не о том, чтобы давать Александру Исаевичу элементарные советы: вот тут сделать несколько светлее, а там это убрать. Дело идет, может быть, о несколько большем, о чем здесь почти не говорилось. Мне очень понравилось и даже обнадежило то, что

Александр Исаевич сказал в своем слове, что «я не собираюсь угнетать до конца и доводить до отчаяния читателя».

Если же говорить о собственном ощущении, то первая часть повести Александра Исаевича произвела на меня оглушительное впечатление. Это написано чрезвычайно сильно, высокохудожественно. Если здесь в чем-то были правы товарищи, говорившие о некоторой неполноценности образа Русанова и его дочери, то, по-видимому, Александр Исаевич к этому все-таки прислушается, поскольку у всех возникает это впечатление... (*Голоса с мест: Не у всех!*) У большинства.

Когда я кончил читать первую часть этой повести, у меня создалось впечатление, что рядом с нами, где-то близко от меня, существует огромное и безысходное несчастье. Может быть, виноват не столько автор, сколько какая-то особенность моего восприятия. Но я думаю, что не только у меня это ощущение возникает.

Можно ли печатать и нужно ли печатать эту повесть? Об этом не может стоять никакой вопрос: конечно, печатать.

тов. Смирнов

Сегодня было не просто обсуждение. Сегодня было заседание Бюро объединения с активом. Какое примет решение Бюро?

Г.С.Березко

Сейчас скажу.

Очень трудно судить о вещи по первой части. Очевидно, во второй части судьбы людей преобразуются в иных условиях. С книгой будем жить. С книгой людям делать дело жизни. И очень важно, я хочу об этом со всей убедительностью сказать, чтобы и эта вещь, написанная большим и сильным художником, автором рассказа «Матренин двор», который, я считаю, по цельности и ясности образа, данного в нем, может быть поставлен в ряд больших классических произведений, оказалась такой, с которой можно жить дальше.

Что касается решения Бюро, то надо послушать по этому поводу мнение членов нашего Бюро. Мое мнение сводится к тому, что, конечно, эту вещь нужно печатать. Само обсуждение, стенограмма которого здесь велась, убедительное доказательст-

во того, что повесть эта имеет права на существование и должна осуществиться как книга.

Мы, очевидно, в этом смысле примем соответствующее решение в нашем Бюро, на основании всего того, что здесь говорилось, на основании стенограммы.

Л.Копелев

Стенограмму сегодняшнего обсуждения надо направить в те редакции, где находится рукопись.

Г.С.Березко

Обязательно.

О.Войтинская

Я думаю, что мы должны помочь этому писателю, помочь реально. У нас есть наш московский журнал «Москва», есть «Советский писатель», мы должны собранием, а не только Бюро, принять решение о поддержке этой рукописи.

(*С мест: Правильно!*)

Г.С.Березко

Я думаю, что мы примем за основу такое решение:

1. Послать стенограмму этого обсуждения в редакции, которые вели переговоры с А.И.Солженицыным.

2. Просить ускорить издание этого произведения. Возможно, потребуются еще что-нибудь другое, но нужно, чтобы автор работал с ориентацией.

Принимается решение в таком плане? (*Принимается.*)

А.И.Солженицын

Я делаю такой вывод из нашего обсуждения, что я окончу вторую часть и смогу принести ее в Московскую писательскую организацию? (*Аплодисменты.*)

Г.С.Березко

Обязательно. Я бы просил от своего имени и от вашего имени почаще Александра Исаевича у нас бывать, участвовать в нашей жизни, в наших дискуссиях!

ПИСЬМО А.ТВАРДОВСКОГО К.ФЕДИНУ

Дорогой Константин Александрович!

Пишу Вам после нашего — какого уже счетом — собеседования в Секретариате по вопросу, связанному с «Письмом» А.И.Солженицына.

Это не докладная записка Первому секретарю Правления Союза писателей СССР, хотя я отнюдь не хочу в данном случае отделять глубоко мною уважаемого писателя К.А.Федина от его должностей и званий. Но я попытаюсь обойтись без всяких условностей формы и говорить с Вами напрямую, как если бы мы говорили с глазу на глаз — по образцу наших бесед под барвихинскими кущами, или у Вас на даче, или еще где-нибудь. Начну с главного: о ком или о чем, в сущности, идет речь, когда мы касаемся этого до сих пор не решенного «солженицынского вопроса», который питает неумолкающие и никак не сказать, чтобы выгодные для руководства Союза писателей толки и перетолки в литературных — и не только литературных — кругах.

Вряд ли кто возразит против того факта, что фигура А.И.Солженицына с особой резкостью вычерчивается на общем литературном фоне, что этот писатель вызывает к себе особо горячие симпатии — с одной — и особо жесткую неприязнь, с другой стороны. Не будем, покамест, спорить, какая сторона преобладает, просто отметим самый факт, свидетельствующий, по крайней мере, об очевидной незаурядности этой фигуры.

Действительно, необычность литературной судьбы А.И.Солженицына, между прочим, и в том, что он дебютировал в зрелом возрасте и вполне зрелым, самостоятельным мастером. «Литературное чудо» — так озаглавил свою рецензию на рукопись «Ивана Денисовича» К.И.Чуковский, многоопытный старец, которого, как говорится, на мякину не приманишь.

Покойный С.Я.Маршак, чьи суждения были так авторитетны в литературном мире, поместил в «Правде» статью об «этой правдивой, полной веры в жизнь» книге. К.М.Симонов в «Известиях» приветствовал появление в литературе нового замечательного таланта.

Нет надобности перечислять всех более или менее маститых, своих и зарубежных, тепло или восторженно встретивших

*Зимой 1968 года первые восемь глав «Ракового корпуса»
были набраны в журнале «Новый мир».
Однако публикация не состоялась.*

первую повесть нового писателя, назову два имени: Ваше, Константин Александрович, и М.А.Шолохова. Ваша высокая оценка рукописи, поступившей в «Новый мир» от безвестного автора, сыграла свою роль в ее судьбе: ставя вопрос об опубликовании ее, я особо ссылаюсь на Вас в своем письме на имя тогдашнего Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева («Иван Денисович», как известно, был напечатан «с ведома и одобрения ЦК КПСС»).

М.А.Шолохов в свое время также с большим одобрением отозвался об «Иване Денисовиче» и просил меня передать поцелуй автору повести.

Из представителей более молодого и более многочисленного поколения писателей, пришедших в литературу из окопов Отечественной войны, назову Г.Бакланова, строки из статьи которого запомнились мне: «С выходом в свет повести А.Солженицына стало ясно, что писать так, как мы до сих пор писали, нельзя». В этих словах, разумеется, нет никакого «зачеркивания» всей советской литературы известного периода, но они отражали не только личное настроение этого писателя.

Кстати, отдавая все должное Солженицыну, я не считаю его явлением таким уж исключительным и беспрецедентным в нашей литературе. Нельзя, например, забывать, каким смелым, поворотного значения литературным фактом были «Районные будни» В.Овечкина, появившиеся в «Новом мире» еще в 1952 году. Свежестью и остротой жизненного материала выделялись повести В.Тендрякова «Не ко двору» и «Тугой узел». Новым, углубленным подходом к военной теме отличалась «Пядь земли» того же Г.Бакланова. Многие страницы мемуаров И.Эренбурга, может быть, впервые в нашей литературе касались таких фактов прошлого, о которых принято было умалчивать. Можно было бы, конечно, привести и другие примеры. Не мне напоминать, но было бы «самоуничижением паче гордости», если бы я не имел в виду, что некоторые главы «Далей» и «Теркин на том свете» (в первой редакции не увидевший света) были известны задолго до Солженицына. Но сейчас я лишь напоминаю, какое большое впечатление произвела первая повесть Солженицына как таковая.

Были, правда, и совсем иные отклики на выступление

Солженицына в литературе, относившие огромный успех его лишь к «сенсационности лагерного материала», — один из руководителей Союза писателей говорил, что «через три-пять месяцев об этой повестушке забудут». Однако так не случилось. В короткий срок «повестушка» принесла автору необычайную и все возрастающую популярность в стране и за рубежом, имя его — хотим мы этого или не хотим — приобрело мировую известность как имя одного из крупнейших писателей современности, — у меня есть все основания утверждать это, и мне не возразит никто из товарищей, более моего бывавших за границей или следивших за иностранной прессой. Между тем, например, повесть Б.Дьякова, написанная на том же «сенсационном материале», что и повесть Солженицына, действительно, уже не занимает внимания ни читателей, ни писателей — ее как бы и не было.

Нельзя, Константин Александрович, уклоняться от того очевидного факта, что Солженицын — с его «Иваном Денисовичем» — это не частный случай литературной жизни, хотя бы и примечательный как явление редкого художественного дара. Это тот случай, когда небольшое по объему и как бы непритязательное по своим задачам произведение делает в литературе погоду, влечет за собой далеко идущие последствия. Русская классическая литература знает такие примеры, — мне незачем называть их Вам. И в данном случае мы имеем не что иное, как факт благотворного воздействия на нынешнее развитие литературы — чему надо только радоваться — солженицынского образца.

Я утверждаю, что такие, наиболее значительные по идейно-художественным данным произведения последних лет, как повесть С.Залыгина «На Иртыше» и «Соленая падь», как роман Чингиза Айтматова «Прощай, Гюльсары!», во многом обязаны прозе Солженицына. Тут речи нет о подражательности, а лишь о развитии на ином материале и своими средствами того же принципа правдивости, который не боится жизненных сложностей, но идет на смелое до конца раскрытие их — и достигает, таким образом, уровня художественного мастерства и силы воздействия на читателя, несоизмеримых с «однодневной» беллетристкой, приглаживающей и обедняющей действительность по очередной заданной схеме. Мне уже приходилось говорить, и я повторяю здесь, что самый объективный анализ названных про-

изведений мог бы только подтвердить эти наблюдения человека, подписавшего в печать рукописи и Солженицына, и Залыгина, и Айтматова.

Когда я говорил выше о резком различии отношения к Солженицыну в литературной среде, я не хочу неприязнь и даже какое-то недоброе отношение к нему отнести только за счет завистничества, впрочем, неизбежного в любой среде искусства при столь большом и непредусмотренном успехе коллеги. Суть дела здесь в том, что известная часть литераторов предпочла бы, вопреки тому, что говорил Г.Бакланов, писать по-старому, — так оно легче и привычнее. Но и эти люди, желающие писать по-прежнему, не могут не видеть, что читать по-прежнему их уже не хотят, — не хотят даже те из читателей, которые в своих высказываниях способны поддержать самую неприязненную критику Солженицына. Словом, очень он осложнил литературную жизнь, этот вдруг появившийся на свет писатель.

Надеюсь не быть понятым так, что я принимаю Солженицына «целиком без изъяна» и вижу в нем идеальное совершенство художника, недоступного никакой критике и не имеющего никаких слабостей. Но об этом мы всегда успеем поговорить.

Самое важное сейчас и неотложное — понять, что он занимает нас уже не просто сам по себе, — как бы высоко ни оценивался он сам по себе, — а потому, что волею многосложных обстоятельств он находится на *перекрестии* двух противоположных тенденций общественного сознания и нашей литературы, устремленных либо *туда*, назад, либо *сюда*, вперед — и в соответствии с необратимостью исторического процесса.

Так обстоит дело, и что именно так, а не иначе, ближайшим и нагляднейшим образом подтверждается многомесячным прохождением у нас «дела Солженицына», как уже само собой обозначается для краткости содержание длинного ряда узких, расширенных и широких заседаний в Секретариате.

Характер этого «прохождения», надо сказать прямо, не делает чести ни Секретариату, ни кому бы то ни было, от кого, как выражается один чеховский персонаж, «это будет зависеть».

Первая беда, определившая непродуктивность и несостоятельность этого «прохождения», в том, что все внимание, возмущение и осуждение обращены на «поступок» Солженицына, на

форму его обращения со своим «Письмом» к делегатам съезда писателей. Форма действительно заслуживает осуждения, — здесь я согласен со всеми. Но как бы ни была дурна форма, нельзя же из-за этого начисто исключать содержание, точно его и нет вовсе.

Оно есть, оно четко и пунктуально представлено в «Письме», и я не помню даже попыток опровергнуть хотя бы один из его пунктов, объявить их ложными, надуманными, своекорыстными, идущими во вред советской литературе и т. д. Почему? По той простой причине, что они в основе своей неопровержимы, и что касается лично меня, то я бы подписался под ними обеими руками. И Вы знаете, что я в этом смысле не исключение, хотя до сих пор не писал и не подписывал никаких «документов» по поводу «Письма», считая, что все связанные с ним вопросы следует решать в нормальном порядке коллективного обсуждения на Секретариате. Вы тоже знаете, что я неоднократно высказывался и здесь (в Секретариате это зафиксировано) и в ЦК, в Вашем присутствии, — например, по вопросу о цензуре, да и о том, что касается личной судьбы Солженицына, — пожалуй, резче, чем он.

Не ясно ли, что принять какое-либо решение по «Письму», имея в виду лишь его «форму», а «содержание» считая как бы несуществующим, или, по крайней мере, несущественным, невозможно, ибо оно существует и оно существенно. Так ведь, Константин Александрович?

Другая беда — это безнадежные попытки «закрытым» способом решить вопрос, приобретший огромное общественно-политическое звучание, заслонивший собой пустопорожнее, за немногими исключениями, словоговорение на съезде писателей, получивший международную огласку и вызвавший не утихающие до сих пор горячие «прения» в литературной среде, и много шире того. Но решить этот, как его уже называют, «вопрос вопросов» сегодняшней деятельности Союза писателей и вообще дальнейшей литературной жизни путем келейного «волхования» над ним нельзя. И налицо — попросту топтание на месте, безрезультатные наши пререкания в закрытом помещении и удручающая молчанка вовне, невозможность заключить: что же все-таки думает руководство Союза писателей, с чем оно спо-

собно выйти на трибуну к большой аудитории или на страницы печати, чтобы наконец «закрыть дело».

Выходит, что Солженицын со своими претензиями к Союзу писателей готов в любой час выступить в любой аудитории или в печати, а Союз писателей со своим осуждением и отвержением этих претензий не может сделать ничего подобного, конечно же, потому, что не может рассчитывать на открытое одобрение или сочувствие ни читателей, ни писателей. Так или не так, Константин Александрович? Именно так, и это ужасно.

И до крайности огорчает позиция, занятая Вами в последнее время в отношении всего этого «Дела». Вы говорите: пусть, мол, Солженицын сперва даст отповедь «Западу», поднявшему в связи с его «Письмом» «разнузданную антисоветскую шумиху» в печати и по радио. В противном случае не печатать его «Раковый корпус», не издавать книгу рассказов (изданную, кстати сказать, и переизданную не только во многих буржуазных странах, но и во всех социалистических), не ограждать члена Союза писателей А.И.Солженицына от получивших широкое распространение клеветнических измышлений насчет его биографии. Иными словами, не только оставить без внимания все, о чем взывает «Письмо», но предать самого Солженицына политическому ostracismu, несмотря на никем не оспариваемую — ни в одном пункте — сущность его «крика души». Слышать от Вас, Константин Александрович, крупнейшего русского писателя, друга А.М.Горького и продолжателя его традиций в руководстве литературой, слова этого Вашего предложения представляется странным и непонятным. Не можете же Вы попросту присоединиться к предложению М.А.Шолохова, без обиняков сказанному в его письме: «не допускать Солженицына к перу». Это было бы особенно печально после известных литературно-политических выступлений автора «Тихого Дона», которыми он так уронил себя в глазах своих читателей и почитателей. И вообще грустно, что Федин с Шолоховым в этом деле, вместо того, чтобы показать пример достойного, чуждого мелким ведомственным соображениям художественного отношения к художнику, склоняются к позиции таких товарищей из Секретариата, чья неприязнь к Солженицыну понятна и неувидительна.

Прежде всего настойчиво выдвигаемое Вами требование к

Солженицыну, чтобы он «высказал свое отношение», «дал отповедь» и т. п. как непереносимое условие его дальнейшей литературной и гражданской жизни, странно слышать от Вас, потому что оно явно зовет *туда*, принадлежит давно осужденной и отвергнутой практике известного рода: «признай», «отмежуйся», «подпишись» и т. п. Такие «признания» и «отмежевывания», подобные недавно получившим место на страницах «Литгазеты» за подписями Г.Серебряковой, А.Вознесенского и др., приносят нам огромный вред, порождая представление о писателях как о людях неразборчивых в морально-этическом смысле, лишенных чувства собственного достоинства или всецело зависящих от «указаний» и «требований», что, впрочем, одно и то же. Неужели Вы думаете, что такие «покаяния» идут на пользу Союзу писателей, укрепляют его авторитет? Не могу в это поверить.

Продолжая настаивать, что Солженицын должен «заклеймить Запад», «отмежеваться» от «заграницы» и т. п., мы пропускаем мимо ушей недвусмысленное заявление Солженицына на расширенном заседании Секретариата по этому поводу:

«Здесь употребляют слово “заграница”, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Я никакой заграницы не видал, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнавать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Нельзя также не принять во внимание, что Солженицыну, как художнику, совершенно чужды литературные соблазны современного Запада, и его никак нельзя упрекнуть стремлением в той или иной форме «потрафить» Западу.

Но — далее. Мне предлагалось «употребить» свое влияние на Солженицына в том смысле, чтобы склонить его к выступлению против западных комментаторов его «Письма». Во-первых, не следует преувеличивать меру моего влияния на него, он вовсе не является «подшефным» мне «молодым автором», — в этом году ему, между прочим, исполняется 50, — словом, он «сам-с-усам», как говорится. Во-вторых, нельзя упускать из виду, что «западные комментаторы» в данном случае разные. «Отповедь», предназначенная для врагов и злопыхателей советской литературы и

советской страны, не может быть отнесена к нашим друзьям за рубежом, выступающим по поводу «Письма» Солженицына, скажем, на страницах коммунистической печати. Что мы тут можем потребовать от Солженицына? Чтобы он заодно «заклеймил» и тех и этих комментаторов его «Письма»?

Но в последнее время, в развитие принципа «закрытости» решения «вопроса вопросов», речь идет уже не о выступлении Солженицына в печати, а лишь о том, чтобы он «выразил свое отношение» к «Западу» письмом в Секретариат, то есть так, что сам тот «Запад» и знать ничего не узнает, — письмо лишь будет приобщено к «Делу» и таким образом удовлетворит членов Секретариата, даже настроенных наиболее непримиримо, и откроется возможность печатать роман Солженицына, издавать книгу его рассказов и отвести возводимую на него клевету.

Подумать только, что разрешение всего «солженицынского комплекса» зависит от одной этой негласной «бумаги»! Вот до чего дожили: «бумага» объемом в одну-две страницы для нас, писателей, важнее готового к печати романа в 700 страниц, который стал бы по убеждению большинства знающих его в рукописи украшением и гордостью нашей литературы сегодня, — «бумага» важнее судьбы писателя, замечательный талант которого не оспаривают даже самые ярые его противники!

О «Раковом корпусе», между прочим, мне хочется сказать запомнившимися мне словами одной старой, но мудрой книги: «Если книга возвышает душу, вселяя в нее мужество и благородные порывы, судите ее только по этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера».

Именно так. Могу только добавить: искренняя уверенность Солженицына, что он сам излечился от раковой болезни, сообщает его книге воистину возвышающий душу и жизнеутверждающий тон, несмотря на то, что в ней идет речь о столь противоположном искусству предмете, составляющем, может быть, самую мрачную, после угрозы атомной войны, угрозу человечеству. Любители выискивать «подтексты» и «символизм» почему-то не заметили полного светлой и мужественной символичности финала книги — выхода героя из «ракового корпуса» больницы в чудный весенний день и совпадения этого выхода в жизнь с благотворными переменами в ней, происходившими еще до XX съезда партии.

«Мое внутреннее душевное состояние, — пишет мне Солженицын в последнем письме, — мне дороже судьбы моих вещей...»

И я думаю, Константин Александрович, что, по существу, мы даже более заинтересованы в опубликовании этого романа, чем автор. Дело не только в том, что столь значительное произведение попросту преступно утаивать от широчайших кругов читателей, успевших полюбить Солженицына, и что роман уже распространился, может быть, в тысячах списков среди наиболее дотошных читателей. Но роман, как мне известно из достоверных источников, на днях может выйти в свет (если уже не вышел) во Франции и готовится к печати в Италии. Этими внешними обстоятельствами нельзя пренебрегать, — не хватает нам еще повторения истории с Пастернаком! — но и внутренние не менее серьезны. Роман, задержанный сейчас в стадии набора первых восьми глав, предназначавшихся для январской книжки «Нового мира», становится во главе очереди задержанных (хотя никем не запрещенных) таких крупных и ценных произведений, как «Сто суток войны» К.Симонова, роман А.Бека «Новое назначение», работа Е.Драбкиной, посвященная последним годам жизни В.И.Ленина, «Зимний перевал», — перечень можно было бы еще продолжить.

Опубликование «Ракового корпуса», которое само по себе явилось бы событием литературной жизни, рассосало бы образовавшуюся из задержанных рукописей «пробку», как это бывает на дороге, когда головная машина тронется. Это было бы бесспорным благом для советской литературы на нынешнем ее, скажу прямо, кризисном, весьма невеселом этапе, разрядило бы атмосферу глухой «молчанки», тяжелых недоразумений, неясности, бездейственного выжидания...

И все это теперь зависит целиком от Вас, Константин Александрович, — только от Вас, потому что Секретариат, конечно же, поддержал бы Вас, если бы Вы, хоть со всеми необходимыми оговорками, сказали бы по вопросу об опубликовании только те слова, которые, собственно, уже сказаны на Секретариате при обсуждении «Ракового корпуса»: «*на усмотрение редакции* “Нового мира”». Иначе говоря, я призываю Вас вернуться к тому проекту «коммюнике», который, по Вашему предложению, был мною написан, Вами отредактирован и, тем самым, одобрен,

но вдруг заменен Вашей нынешней постановкой вопроса. Документ этот находится в «деле Солженицына», не буду приводить его целиком, и без того затянул, хотя, может быть, не сказал и десятой доли того, что можно и нужно было бы сказать.

Но вот мои тогдашние конкретные предложения, осуществление которых и сейчас еще, по-моему, могло бы послужить на пользу делу, к несомненным нашим выгодам во всех смыслах:

1. Немедленно опубликовать в «Литгазете» отрывок из «Ракового корпуса» со сноской: «полностью печатается в “Новом мире”»;
2. Поручить издательству «Советский писатель» подготовить сборник Солженицына к печати, с предисловием, освещающим, между прочим, биографию автора;
3. Опубликовать это предисловие в «Литгазете» или «Лит. России» с соответствующей сноской.

Ответственность, какую Вы, Константин Александрович, нынче берете на себя во всем этом деле, имеющем такие болезненные симптомы на будущее нашей литературы, очень велика, и не думаю, что она Вам легка. Не думаю, что с легкой душой Вы будете дописывать и отделять заключительные страницы Вашего «Костра», имея прямое касательство к погребению в нетях законченной вещи как-никак товарища по перу, писателя, к судьбе которого обращены симпатии огромной массы читателей и чье присутствие в нашей литературе сегодня, вообще говоря, трудно переоценить.

Популярность Солженицына, основанная на его опубликованных вещах, теперь необычайно возрастает по ознакомлению довольно широких читательских кругов с его неопубликованными произведениями. Винить в этом автора, как Вы знаете, невозможно. И трудно сказать, каков уже рукописный тираж того же «Ракового корпуса» или «Круга первого», романа вообще незавершенного. Следует также учесть, что рукопись книги неопубликованной, в известных случаях, привлекает более острый интерес, чем отпечатанная книга, да и нет гарантии, что в рукопись не вносится чего-нибудь постороннего авторскому тексту.

Дорогой Константин Александрович! Я вовсе не так наивно самонадеян, чтобы предполагать, что Вы, вняв моим «увещаниям», вдруг прослезитесь и измените свою точку зрения на «дело

Солженицына» и примете иное, чем нынешнее, решение. Но я не сомневаюсь, что Вы должны будете это сделать просто по велеанию надвинувшихся обстоятельств: нужда заставит калачи есть.

«А что я могу поделывать?» — возразили Вы мне как-то на мой упрек в неправомерности и заведомой невыполнимости Ваших требований к Солженицыну. Это было на заседании, где мы сидели рядом, и я не помню, что я тогда сказал, но эти Ваши слова запомнил: в них была растерянность, недовольство собой и всеми нами.

А делать можно только одно: поступать согласно собственному разуму и совести. Не могу же я предположить, что Вы несете бремя внешних воздействий или понуждений. Слава богу, не те времена, чтобы только «перст указующий» решал специфические вопросы искусства и науки, оставляя втуне мнения и соображения людей, как говорится, хлеб приевших по этой специфической части. Какие мы ни есть — худые ли, хорошие — нам, никому другому извне, решать вопросы литературной жизни. «Прямых указаний», по нынешнему времени, ждать не приходится, — их не будет, и это благо, о котором нам в иные времена и не мечталось, и мы должны пользоваться этим благом, откинув опасения, но не освобождая себя от ответственности.

Неизвестно, вообще говоря, что опаснее — принять ли решение, которое может оказаться ошибочным, или не принимать никакого решения из опасения ошибки. В военном деле предпочитается решение, даже ошибочное, нерешительному выжиданию. А в нашем деле, право же, на худой конец лучше ошибиться, *разрешая*, чем избежать (будто бы избежать!) ошибки, *запрещая*.

В нынешней ситуации, я считаю, для Вас реальная двудесятилетняя опасность в том, чтобы скрепить своим именем стыдное решение или не менее стыдное нерешение по «делу Солженицына».

Кроме того, уж совсем между нами говоря, Вам не хуже, чем мне, известно, что мировая история литературы не знает примеров, когда гонения или нападки на талант, с чьей бы то ни было стороны, даже со стороны таланта же, — увенчались успехом.

Я знаю Вас, Константин Александрович, как писателя с мо-

ей ранней юности, когда впервые прочел Ваш «Трансвааль» (кстати, не помню, чтобы Вы письменно или изустно каялись, когда где-то в конце 20-х годов Вас обвиняли за эту вещь в «апологии кулачества» и т. п.).

Уже добрых три десятилетия, как я лично знаком с Вами. Я много слышал о Вас от покойного С.Я.Маршака и других, знавших Вас еще по Ленинграду, — в том, что Федин — человек чести, человек, способный в любую минуту встать на защиту правого дела, прийти на помощь товарищу.

Я сам имел возможность убедиться в этом, когда в труднейшей для меня ситуации 1954 года Вы нашли добрые слова в мою пользу, сказанные Вами «на самом верху» и переданные мне участниками того памятного заседания.

И вот теперь я вынужден говорить Вам слова жесткие, может быть, обидные для Вас, да уже и говаривал при последних наших встречах по этому самому «делу». Но знайте, что собака, которая лает, не кусается. Я — человек прямой, может быть, нередко без достаточной выдержки и себе во вред. Но я не способен наносить рассчитанные удары исподтишка, я чуждаюсь тех интриг и плутней, которые у нас принято называть «тактикой», «политикой» и т. п.

Резкость моих возражений Вам в последнюю нашу встречу с участием Г.М.Маркова и К.В.Воронкова (кстати, мне казалось, что оба они с готовностью поддержали бы Вас, если бы Вы вернулись к повторенным здесь конкретным предложениям), — резкость моя была вызвана непонятной для меня раздраженностью, с какой Вы говорили об А.И.Солженицыне.

Нельзя же так говорить об этом человеке и писателе, заплатившем за каждую свою страницу и строку, как никто из нас, судящих и рядящих сейчас, что с ним делать. Он прошел высшие испытания человеческого духа — войну, тюрьму, смертельную болезнь. А теперь на него, после столь успешного вступления в литературу, свалились, может быть, не меньшие испытания, мягко выражаясь, внелитературных воздействий — негласного политического ostracisma; прямой клеветы; запрещения упоминать его имя в печати и т. п. Чего стоит, по совести говоря, использование в целях обвинения найденной в его бумагах, изъятых «специальным» способом, его рукописной пьесы, на-

писанной свыше 20 лет назад, в лагерном аду, бесфамильным арестантом Щ-232, а не членом Союза писателей СССР А.Солженицыным, и размноженной для ознакомления с ней как якобы самоновейшим произведением писателя!

Да, я осуждаю форму его «Письма», но, по-человечески, и здесь не могу бросить в него камень, понимая степень отчаяния, понудившего его на этот шаг.

Третьего дня от стола, за которым я сидел над этим письмом, меня отвлек телефонный звонок из Гослитиздата: «В статье о Маршаке, помещенной в пятом томе Вашего собрания сочинений, есть упоминание фамилии Солженицына. Мы имеем указание...» и т. д. Я, разумеется, отказался исключить это упоминание, хотя бы это угрожало мне невыходом пятого тома. Но что это такое творится на белом свете!

Кончаю свое послание, как уже сказал, без особых упований на благоприятный практический результат. Может быть, в нем что-нибудь не так и не все в равной мере бесспорно. Но написать его было для меня делом долга и совести.

Не рассчитываю я и на Ваш ответ, зная, что Вам недосуг, да и не в ответе мне нынче дело. Ответа, то есть решения, ждет уже столько месяцев «дело» А.И.Солженицына.

Пора кончать с этим делом, дорогой Константин Александрович!

С неизменным уважением
и самыми добрыми пожеланиями
Ваш

А.Твардовский
7-15 января 1968

ПИСЬМО В.КАВЕРИНА К.ФЕДИНУ

Мы знакомы сорок восемь лет, Костя. В молодости мы были друзьями. Мы вправе судить друг друга. Это — больше, чем право, это долг.

Твои бывшие друзья не раз задумывались над тем, какие причины могли руководить твоим поведением в тех, навсегда запомнившихся событиях нашей литературной жизни, которые одних выковали, а других превратили в послушных чиновников, далеких от подлинного искусства.

Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране, истории с романом Пастернака? Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты вынужден был сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение 23 лет жил рядом с тобой. Может быть, из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?

Как случилось, что ты не только не поддержал, но затоптал «Литературную Москву», альманах, который был необходим нашей литературе? Ведь накануне полуторатысячного собрания писателей в Доме киноактера ты поддерживал это издание. С уже написанной опасно-предательской речью в кармане ты хвалил нашу работу, не находя в ней ни тени политического неблагополучия.

Это далеко не все, и я не собираюсь в этом письме подводить итог твоей общественной деятельности, которая широко известна в писательских кругах. Недаром на 75-летию Паустовского твое имя было встречено полным молчанием. Не буду удивлен, если теперь, после того как по твоему настоянию запрещен уже набранный в «Новом мире» роман Солженицына «Раковый корпус», первое же твое появление перед широкой аудиторией писателей будет встречено свистом и топаньем ног. Конечно, твоя позиция в литературе должна была, в известной мере, подготовить этот поразительный факт. Придется шагнуть далеко назад, чтобы найти тот первоначальный сдвиг, с которого началась душевная деформация, необратимые изменения. Годы и годы она происходила как бы в глубине, не входя в разительное противоречие с позицией, которую подчас можно было если не оправдать, то хоть как-то объяснить причинами исторического порядка. Но что толкнуло тебя теперь на этот шаг, в результате которого снова тяжело пострадает наша литература? Неужели ты не понимаешь, что самый факт опубликования «Ракового корпуса» разрядил бы неслыханное напряжение в литературе, подорвал бы незаслуженное недоверие к ней, открыл бы дорогу другим книгам, которые обогатили бы нашу литературу? Лежит в рукописи превосходный роман Бека, сперва разрешенный, потом запрещенный, но безоговорочно одобренный лучшими пи-

сателями страны. Лежат военные дневники Симонова. Едва ли найдется хоть один серьезный писатель, у которого не лежала бы в столе рукопись, выношенная, обдуманная и запрещенная по необъяснимым, выходящим за пределы здравого смысла причинам. За кулисами мнимого благополучия, о котором докладывается по начальству, растет сильная, оригинальная литература — духовное богатство страны, в котором она нуждается постоянно, остро. Неужели ты не видишь, что громадный исторический опыт требует своего воплощения и что ты присоединяешься к тем, кто ради своего благополучия и славы пытается остановить этот неизбежный процесс?

Но вернемся к роману Солженицына. Нет сейчас ни одной редакции, ни одного литературного дома, где не говорили бы, что Марков и Воронков были *за* опубликование романа и что набор рассыпан только потому, что ты решительно высказался *против*. Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам и продающихся, говорят, за немалые деньги. Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Западной Германии, то есть произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын. Возможно, что в руководстве Союза писателей найдутся люди, которые думают, что они накажут писателя, отдав его зарубежной литературе. Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для политических целей. Или они надеются, что Солженицын «исправится» и станет писать по-другому? Это смешно по отношению к художнику, который представляет собой редкий пример поглощающего призвания, пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого. Но твой шаг означает еще и другое. Ты берешь на себя ответственность, не сознавая, по-видимому, всей ее огромности и значения. Писатель, накидывающий петлю на шею другого писателя, — фигура, которая останется в истории литературы, независимо от того, что написал первый, и в полной зависимости от того, что написал второй. Ты становишься, может быть, сам того не подозревая, центром недоброжелательства, возмущения, недовольства в литературном кругу. Измениться это может только в одном случае — ес-

ли ты найдешь в себе силу и мужество, чтобы отказаться от своего решения.

Ты понимаешь, без сомнения, как трудно мне было написать тебе это письмо. Но промолчать я не имею права.

В.Каверин
25.1.1968

ПИСЬМО
ЧЛЕНАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Члену Союза Писателей СССР

Скоро год, как я послал своё безотзывное письмо съезду писателей. С тех пор ещё дважды я писал Секретариату СП, трижды был там сам. Ничто не изменилось и по сегодня: мой архив мне не возвращён, книги не издаются, имя под запретом. Я настойчиво предупреждал Секретариат об опасности ухода моих произведений за границу, поскольку они давно и широко ходят по рукам. Секретариат же не только не помог напечатанию уже набранного в «Новом мире» «Ракового корпуса», но упорно противодействовал тому, даже воспрепятствовал московской секции прозы *обсудить* 2-ю часть повести.

Упущен год, неизбежное произошло: на днях главы из «Ракового корпуса» напечатаны в литературном приложении к «Таймс». Теперь не исключены и другие публикации — быть может, с неточных и неокончательных редакций повести. Происшедшее вынуждает меня ознакомить нашу литературную общественность с содержанием прилегающих писем и высказываний — чтобы стала ясна позиция и ответственность Секретариата СП СССР.

Прилагаемое изложение заседания Секретариата от 22.9.67, записанное лично мною, разумеется, не полно, но совершенно достоверно и может служить достаточной информацией до опубликования полной стенограммы.

Солженицын
16.4.68

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Моё письмо всем (сорока двум) секретарям СП от 12.9.67.
2. Изложение заседания в Секретариате 22.9.67.

3. Письмо К.Воронкова 25.11.67.

4. Моё письмо в Секретариат 1.12.67.

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Всем секретарям Правления

Моё письмо IV съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились единообразные, по-видимому централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это — ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г.Марков, К.Воронков, С.Сартаков, Л.Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах обо мне распространяется новый фантастический вздор — вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобождён оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования.)

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендацию о ее печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки

моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо уже будет голосовать о включении или невключении её в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить её печатать, если мы хотим её появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить её неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходится пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть, и по тайному желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно!

Солженицын
12 сентября 1967 г.

ИЗЛОЖЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР
22 сентября 1967 г.

Присутствовало около 30 секретарей СП и т. *Мелентьев* от Отдела культуры ЦК. Председательствовал *К.А.Федин*. Заседание по разбору писем писателя Солженицына началось в 13 часов, окончилось после 18 часов.

Федин. — Второе письмо Солженицына меня покорило. Мотивировки его, что дело остановилось, мне кажутся зыбкими. Мне показалось это оскорблением нашего коллектива. Три с половиной месяца — совсем не большой срок для рассмотрения его рукописей. Мне здесь услышалась своего рода угроза. Такая мотивировка показалась обидной! Второе письмо Солженицына как бы заставляет нас силком братья за рукописи, скорее их издавать. Вторым письмом продолжается линия первого, но там более обстоятельно и взволнованно говорилось о судьбе писателя, а здесь мне показалось обидным. В сложном вопросе о печат-

тании вещей Солженицына что происходит? Его таланта никто из нас не отрицает. Перекашивает его как оплеуху — мы будто негодники, а не представители творческой интеллигенции. В конце концов своими требованиями он сам тормозит рассмотрение вопроса. Не нашел я в его письмах темы писательского товарищества. Хотим мы или не хотим, мы должны будем сегодня говорить и о произведениях Солженицына, но мне кажется, что надо говорить в общем по письмам.

Солженицын просит разрешения сказать несколько слов о предмете обсуждения. Читает письменное заявление:

«Мне стало известно, что для суждения о повести “Раковый корпус” секретарям Правления предложено было читать пьесу “Пир победителей”, от которой я давно отказался сам, лет десять даже не перечитывал, уничтожил все экземпляры, кроме захваченного, а теперь размноженного. Я уже не раз объяснял, что пьеса эта написана не членом Союза писателей Солженицыным, а бесфамильным арестантом Щ-232 в те далекие годы, когда арестованным по политической статье не было возврата на свободу, и никто из общественности, в том числе и писательской, ни словом, ни делом не выступил против репрессий даже целых народов. Я так же мало отвечаю сейчас за эту пьесу, как и многие литераторы не захотели бы повторить сейчас иных речей и книг, написанных в 1949 году. На этой пьесе отпечатались безвыходность лагеря тех лет, где сознание определялось бытием и отнюдь не возносилось молитв за гонителей. Пьеса эта не имеет никакого отношения к моему сегодняшнему творчеству, и разбор ее есть нарочитое отвлечение от делового обсуждения повести “Раковый корпус”.

Кроме того, недостойно писательской этики — обсуждать произведение, вырванное из частной квартиры *таким* способом.

Разбор же моего романа “В круге первом” есть вопрос отдельный, и им нельзя подменять разбора повести “Раковый корпус”.

Корнейчук. — У меня вопрос к Солженицыну. Как он относится к той разнузданной буржуазной пропаганде, которая была поднята вокруг его письма? Почему он от нее не отмежуеться?

Почему спокойно терпит? Почему его письмо западное радио начало передавать еще до съезда?

Федин предлагает Солженицыну ответить.

Солженицын указывает, что он — не школьник вскакивать на каждый вопрос, у него будет выступление, как и у других.

Федин говорит, что можно собрать несколько вопросов и ответить на все вместе.

Баруздин. — Хотя Солженицын возражает против обсуждения пьесы «Пир победителей», но нам волей-неволей придется говорить об этой пьесе. Вопрос: какова была необходимость Солженицыну вообще называть эту пьесу в письме съезду, упоминать ее?

Салынский. — Я прошу, чтобы Солженицын рассказал, кто, когда и при каких обстоятельствах изъясил эти материалы? Просил ли автор о возвращении их? Кого просил?

Федин предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

Солженицын повторяет, что ответит на вопросы при выступлении.

Федин, поддержанный *другими*. — Но Секретариат не может приступить к обсуждению, не имея ответа на эти вопросы.

Ропот голосов. — Солженицын может вообще отказаться разговаривать с Секретариатом, пусть об этом заявит.

Солженицын. — Хорошо, я отвечу на эти вопросы. Это неверно, что письмо стали передавать по западному радио *до* съезда: его стали передавать уже *после* закрытия съезда, и то не сразу. (*Далее буквально*): «Здесь употребляют слово “заграница”, и с большим значением, с большой выразительностью, как какую-то важную инстанцию, чьим мнением очень дорожат. Может быть, это и понятно тем, кто много творческого времени проводит в заграничных поездках и наводняет нашу литературу летучими заметками о загранице. Но мне это странно. Я никакой заграницы не видел, не знаю, и жизненного времени у меня нет — узнавать ее. Я не понимаю, как можно так чувствительно считаться с заграницей, а не со своей страной, с ее живым общественным мнением. Под моими подошвами всю мою жизнь — земля отечества, только ее боль я слышу, только о ней пишу».

Почему пьеса «Пир победителей» была упомянута в письме

съезду? — это ясно из самого письма: чтобы протестовать против незаконного «издания» и распространения этой пьесы вопреки воле автора и без его ведома. Теперь относительно изъятия моего романа и архива. Да, я несколько раз, начиная с 1965 года, писал в ЦК по этому поводу, протестовал. (*Далее буквально*): «Но за последнее время изобретена новая версия об изъятии моего архива. Будто бы тот человек, Теуш, у которого хранились мои рукописи, был связан с другим еще человеком, которого не называют, а того задержали на таможне, неизвестно какой, и что-то нашли (не называют что), не мое нашли, но решили меня оберечь от такого знакомства. Все это — ложь. У знакомого моего Теуша два года назад было следствие, но такого обвинения ему даже не выставлялось. Хранение мое было обнаружено обыкновенной уличной слежкой, подслушиванием телефонных разговоров и подслушивателем в комнате. Но вот примечательно: едва появилась новая версия — она единым толчком обнаруживается в разных местах страны: лектор Потемкин только что изложил ее многолюдному собранию в Риге, один из секретарей СП — московским писателям. Причем от себя он добавил и свое измышление: что все это я будто бы признал на прошлой встрече в Секретариате. А об этом у нас и разговора не было. Не сомневаюсь, что скоро начну со всех концов страны получать письма о распространении этой версии».

Вопрос. — Отвергнута ли редакцией «Нового мира» повесть «Раковый корпус» или принята?

Абдумомунов. — Какое разрешение требуется «Новому миру» на печатание повести и от кого?

Твардовский. — Вообще решение печатать или не печатать ту или иную вещь — в компетенции редакции. Но в данной ситуации, сложившейся вокруг имени автора, решать должен Секретариат Союза.

Воронков. — Солженицын ни разу не обращался непосредственно в Секретариат Союза писателей СССР. После письма Солженицына съезду у товарищей из Секретариата было желание встретиться, ответить на вопросы — поговорить и помочь. Но после того как письмо появилось в грязной буржуазной прессе, а Солженицын никак не реагирует...

Твардовский. — Ну точно как Союз писателей!

Воронков. — ...это желание отпало. А тут вот появилось второе письмо. Оно ультимативно, оскорбительно, недостойно нашей писательской общественности. Сейчас Солженицын упомянул об «одном секретаре», давшем информацию партийному собранию московских писателей. Секретарь этот — я. Вам поспешили передать, но плохо передали. Об изъятии ваших вещей я только то сказал на последнем собрании, что вы признали, что отобранные вещи — ваши, и что обыска у вас дома не было. После вашего письма съезду мы, естественно, сами запросили — почитать все ваши произведения. Но нельзя так грубо обращаться с вашими товарищами по труду и по перу! А вы, Александр Трифонович, если считаете нужным печатать эту повесть и если автор примет ваши исправления — так и печатайте сами, при чем тут Секретариат?

Твардовский. — А с Беком как было? И Секретариат занимался, и рекомендовали — и все равно не напечатали.

Воронков. — Но меня сейчас больше всего интересует гражданское лицо Солженицына: почему он не реагирует на гнусную буржуазную пропаганду? И почему так обращается с нами?

Мусрепов. — И у меня вопрос. Как это он пишет в письме: более высоко стоящие товарищи выражают сожаление, что я не умер в лагере? Какое право он имеет так писать?

Шаритов. — И по каким каналам письмо могло попасть на Запад?

Федин предлагает Солженицыну ответить на собравшиеся вопросы.

Солженицын. — Да то ли еще обо мне говорили! Лицо, занимающее очень высокое положение и сегодня, заявило публично, что сожалеет: не он был в составе той тройки, которая выносила мне приговор в 1945 году, он бы тогда приговорил меня к расстрелу!.. Здесь мое второе письмо истолковывают как ультиматум: или печатайте повесть, или ее на Западе напечатать. Но этот ультиматум не я ставлю Секретариату, а вам и мне вместе ультиматум этот ставит жизнь. Я пишу, что меня беспокоит распространение повести в сотнях — эта цифра на глазок, я ее не подсчитывал — в сотнях машинописных экземпляров.

Голос. — Как это получилось?

Солженицын. — А вот такое странное свойство обнаружи-

лось у моих вещей: их настойчиво просят почитать, а взяв почитать — за счет своего досуга или своих средств перепечатают и дают читать дальше. Первую часть повести еще год назад перепечатала московская секция прозы, удивляюсь, почему т. Воронков сказал — не знали, где достать, запрашивали в КГБ. Года три назад такое же быстрое распространение получили «крохотные рассказы» или стихотворения в прозе: едва я их стал давать людям читать, как они быстро разлетелись по разным городам Союза. А потом в редакцию «Нового мира» пришло письмо с Запада, из которого мы узнали, что эти крохотные рассказы и там уже напечатаны. Вот чтобы такая утечка не успела произойти с «Раковым корпусом», я и написал свое настоятельное письмо Секретариату. Я не меньше могу удивляться, как мог Секретариат нисколько не реагировать на мое письмо съезду — еще *прежде* Запада? И не реагировать на всю ту клевету, которой меня окружили? Тов. Воронков употребил здесь замечательное выражение «братья по перу и по труду». Так вот эти братья по перу и по труду уже два с половиной года спокойно взирают на то, как меня притесняют, преследуют, клеветают на меня.

Твардовский. — Не все безучастны.

Солженицын. — ...А редакторы газет, тоже братья, не помещают моих опровержений. (*Далее буквально*): «Я уже не говорю, что моей книги не дают читать в лагерях: ее не пропускали в лагерь, изымали обысками и сажали за нее в карцер даже в те месяцы, когда все газеты трубно хвалили “Один день Ивана Денисовича” и обещали, что “это не повторится”. Но за последнее время книгу стали тайком изымать и из вольных библиотек. О запрете выдавать ее мне пишут из разных мест: велено отвечать читателям, что книга в переплете, или на руках, или доступа нет к тем полкам, и уклоняться от выдачи. Вот свежее письмо из Красногвардейского района Крыма: “В районной библиотеке мне по секрету (я — активист этой библиотеки) сказали, что ваши книги велено изъять. Одна из сотрудниц хотела подарить мне на память ненужный им теперь “Один день” в журнале-газете, другая тут же остановила свою опрометчивую подругу: “Что вы, что вы, нельзя! Раз книгу отобрали в Особый отдел, то опасно ее кому-нибудь дарить!” Не скажу, что книга изъята

из *всех* библиотек, кое-где еще есть. Но приезжающие ко мне в Рязань посетители не могли достать моей книги в Рязанской областной *читальне*: им отнекивались разными способами, да так и не дали.

Давно известно, что клевета неистощима, изобретательна, быстра в росте. Но когда столкнешься с клеветой сам, да еще с невиданной новой формой ее — клеветой с трибуны, то диву даешься. Беспрепятственно провернулся круг лжи о том, что я был в плену и сотрудничал с немцами. Но этого уже кажется мало! Этим летом в сети политпросвещения, например в Болшево, агитаторам было продиктовано, что я бежал в Арабскую республику и сменил подданство. Ведь это же все записывается в блокноты и разносится дальше с коэффициентом сто. И это рядом со столицей! Есть и другой вариант. В Соликамске (п/я 389) майор Шестаков объявил, что я бежал по туристской путевке в Англию. Говорит заместитель по политчасти — кто же смеет не верить? Другой раз он же объявил: Солженицыну официально *запрещено писать!* Ну, тут он хоть близок к истине.

Еще так обо мне заявляют с трибун: “его освободили досрочно, а зря”. Зря или не зря освободили, это мы можем видеть из судебного решения Военной Коллегии Верховного Суда по реабилитации, оно предложено Секретариату...»

Твардовский. — И там боевая характеристика офицера Солженицына!

Солженицын. — «А вот “досрочно” — это очень смачно употреблено! Сверх восьмилетнего приговора я просидел месяц в пересыльных тюрьмах, да такую мелочь у нас и упоминать стыдно, затем *без приговора* получил *вечную* ссылку, с этой *вечной* обреченностью просидел *три года* в ссылке, только благодаря XX съезду освобожден — и это называется *досрочно!* Как это словечко выражает удобное мировосприятие 1949–53 годов: если не умер у лагерной помойки, если хоть на коленях из лагеря выполз — значит, освобожден “досрочно”... Ведь срок — вечность, и что раньше — то все досрочно.

Бывший министр Семичастный, любивший выступать по вопросам литературы, не раз уделял внимание и мне. Одно из его удивительных, уже комических обвинений было такое: “Солженицын *материально* поддерживает капиталистичес-

кий мир тем, что не берет гонорара” какого-то за вышедшую где-то книгу, очевидно “Ивана Денисовича”, другой нет. Так если вы знаете, где-то прочли, и очень надо, чтоб эти деньги я у капитализма вырвал — почему же меня не известят? Я-то в Рязани не знаю. “Международная книга”? Иностранная комиссия СП? — сообщите: вот, мол, твой патриотический долг забрать эти деньги. Ведь это уже комедийная путаница: кто берет гонорары с Запада — тот продан капиталистам, кто не берет — тот их материально поддерживает. А третий выход? — на небо лети. Семичастный уже не министр, но идея его не угасла: лекторы Всесоюзного общества по распространению научных знаний понесли ее дальше. Например, ее повторил 16 июля этого года лектор А.А.Фрейфельд в Свердловском цирке. Сидели две тысячи человек и только удивлялись: какой же ловкач этот Солженицын! — умудрился, не выезжая из Советского Союза, не имея в кармане вообще ни копейки — материально укрепить мировой капитализм! (Действительно, история для цирка.)

Вот такую чушь обо мне беспрепятственно рассказывает всяк, кому не лень.

12 июня здесь, в Секретариате, у нас было собеседование — тихое, мирное. Вышли отсюда, прошло короткое время — и вдруг слухи по всей Москве, все рассказывается не так, как было, все вывернуто, начиная с того, что будто бы Твардовский здесь кричал и стучал на меня кулаком по столу. Но ведь те, кто были, знают, что ничего подобного не было, зачем же лгать? Вот и сейчас мы однозначно слышим, что тут говорится, но где гарантия, что и после сегодняшнего Секретариата опять все не вывернут наизнанку? И если уж “братья по перу и труду”, так — первая просьба: давайте, рассказывая о сегодняшнем Секретариате, ничего не придумывать и не выворачивать.

Я — один, клеветают обо мне — сотни. Я, конечно, не успею никогда оборониться и вперед не знаю — от чего. Еще меня могут объявить и сторонником геоцентрической системы и что я первый поджигал костер Джордано Бруно, не удивлюсь.

Салынский. — Я буду говорить о «Раковом корпусе». Я считаю, что эту вещь необходимо печатать — это яркая и сильная вещь. Правда, там патологически пишется о болезнях, читатель

невольно поддается раковой боязни, и без этого распространенной в нашем веке. Это надо как-то убрать. Еще надо убрать фельетонную хлесткость. Еще огорчает, что почти все судьбы персонажей в той или иной форме связаны с лагерем или лагерной жизнью. Ну, пусть Костоглотов, пусть Русанов, — но зачем обязательно и Вадиму? и Шулубину? и даже солдату? В самом конце мы узнаем, что он — не просто солдат из армии, а из лагерной охраны. Общее направление романа в том, что он говорит о конце тяжелого прошлого. Теперь о нравственном социализме. По-моему, здесь нет ничего страшного. Если бы Солженицын проповедовал безнравственный социализм — это было бы ужасно. Если бы он проповедовал национал-социализм или национальный социализм по-китайски — это было бы ужасно. Каждый человек волен думать по-своему о социализме и его развитии. Сам я думаю — социализм определяется экономическими законами. Но спорить — можно, зачем же не печатать повести? *(Далее призывает Секретариат решительно выступить с опровержением клеветы против Солженицына.)*

Симонов. — Роман «В круге первом» я не приемлю и против его печатания. А «Раковый корпус» — я за публикацию. Мне не все нравится в этой повести, но не обязательно, чтобы всем нравилось. Может быть, что-то из делаемых замечаний автору надо и принять. А все принять, конечно, невозможно. Мы обязаны опровергнуть и клевету относительно него. И книгу его рассказов надо выпустить — и вот там-то, в предисловии, будет хороший повод рассказать его биографию — и так клевета отпадет сама собой. Покончить с ложными обвинениями должны и можем мы, а не он сам. «Пира победителей» я не читал, и у меня нет желания его читать, раз автор этого не хочет.

Твардовский. — Солженицын находится в таких условиях, что ему с выступлением и соваться нельзя. Это именно мы, Союз, должны дать заявление, опровергающее клевету. Одновременно мы должны строго предупредить Солженицына за недопустимую, неприятную форму его обращения к съезду, во столько адресов. Редакция «Нового мира» не видит никаких причин не печатать «Ракового корпуса», конечно, с известными доработками. Мы хотели только получить одобрение Секретариата или хотя бы — что Секретариат не возражает. *(Прочит Воронко-*

ва достать уже прежде подготовленный, еще в июне, проект коммюнике Секретариата.)

Воронков не спешит достать коммюнике. Тем временем — *Голоса.* — Да ведь еще не решили! Есть и против!

Федин. — Нет, это неверно. Секретариат не должен ничего печатать и опровергать. Неужели мы в чем-то виновны? Неужели вы, Александр Трифонович, считаете себя виновным?

Твардовский (быстро, выразительно). — Я?? — нет.

Федин. — Не нужно искать искусственного повода для выступления. Какие-то слухи — недостаточный повод. Другое дело, если Солженицын сам найдет повод развязать возникшую ситуацию. Тут должно быть публичное выступление самого Солженицына. Но вы подумайте, Александр Исаевич, в интересах чего мы станем печатать ваши протесты? Вы должны прежде всего протестовать против грязного использования вашего имени нашими врагами на Западе. При этом, конечно, вы сумеете найти возможность высказать вслух и какую-то часть ваших сегодняшних жалоб, сказанных здесь. Если это будет удачный и тактичный документ, — вот мы его и напечатаем, поможем вам. Именно с этого должно начаться ваше оправдание, а не с ваших произведений, не с этой торговли — сколько месяцев мы имеем право рассматривать вашу рукопись — три месяца? четыре? Разве это страшно? Вот страшное событие: ваше имя фигурирует и используется там, на Западе, в самых грязных целях.

(Одобрение среди членов Секретариата.)

Корнейчук. — Мы вас пригласили не для того, чтобы бросать в вас камни. Мы позвали вас, чтобы помочь вам выйти из этого тяжелого и двусмысленного положения. Вам задавали вопросы, но вы ушли от ответа. Отдаете ли вы себе отчет: идет колоссальная мировая битва, и в очень тяжелых условиях. Мы не можем быть в стороне. Своим творчеством мы защищаем свое правительство, свою партию, свой народ. Вы тут иронически высказались о зарубежных поездках как о приятных прогулках, а мы ездим за границу вести борьбу. Мы возвращаемся оттуда измотанные, изнуренные, но с сознанием исполненного долга. Не подумайте, что я обиделся на замечание о путевых заметках, я их не пишу, я езжу по делам Всемирного Совета Мира. Мы знаем, что вы много перенесли, но не вы один. Было много других лю-

дей в лагерях, кроме вас. Старых коммунистов. Они из лагеря — и шли на фронт. В нашем прошлом было не только беззаконие, был подвиг. Но вы этого не увидели. Ваши выступления — только прокурорские. «Пир победителей» — это злобно, грязно, оскорбительно! И эта гадкая вещь распространяется, народ ее читает! Вы сидели когда там? Не в 37-м году! А в 37-м *нам* приходилось переживать!! — но ничто не остановило нас! Правильно сказал вам Константин Александрович: вы должны выступить публично и ударить по западной пропаганде. Идите в бой против врагов нашей страны! Вы понимаете, что в мире существует термоядерное оружие и, несмотря на все наши мирные усилия, Соединенные Штаты могут его применить? Как же нам, советским писателям, не быть солдатами?

Солженицын. — Я повторно заявляю, что обсуждение «Пира победителей» является недобросовестным, и настаиваю, чтобы он был исключен из рассмотрения!

Сурков. — На чужой роток не накинешь платок!

Кожевников. — Большой промежуток времени от письма Солженицына до сегодняшнего обсуждения свидетельствует как раз о *серьезности* отношения Секретариата к письму. Если бы мы обсуждали его тогда, по горячим следам, мы бы отнеслись острее и менее продуманно. Мы решили сами убедиться, что это за антисоветские рукописи. И потратили много времени на их чтение. По-видимому, документально доказана военная служба Солженицына, но мы обсуждаем сейчас не офицера, а писателя. Я сегодня впервые услышал, что Солженицын отказывается от пасквильного изображения советской действительности в «Пире победителей», но я не могу отказаться от своего первоначального впечатления от этой пьесы. Для меня момент отказа Солженицына от «Пира победителей» еще не совпал с моим восприятием этой пьесы. Может быть, потому, что в «Круге первом» и в «Раковом корпусе» есть ощущение той же мести за пережитое. И если стоит вопрос о судьбе этих произведений, то автор должен помнить, что он обязан тому органу, который его открыл. Я когда-то первый выступил с опасениями по поводу «Матрениного двора». Мы тратили время, читали ваши сырые рукописи, которые вы не решались даже дать ни в какую редакцию. «Раковый корпус» вызывает отвращение

от обилия натурализма, от нагнетания всевозможных ужасов, но все-таки главный план его — не медицинский, а социальный, и он-то неприемлем. И как будто сюда же относится и название вещи. Своим вторым письмом вы вымогаете публикацию своей недоработанной повести. Достойно ли такое вымогательство писателя? Да все у нас писатели охотно прислушиваются ко мнению редакторов и не торопят их.

Солженицын (буквально): — «Несмотря на мои объяснения и возражения, несмотря на полную бессмыслицу обсуждать произведение, написанное 20 лет назад, в другую эпоху, в несравнимой обстановке и другим человеком, к тому же никогда не опубликованное, никем не читанное и выкраденное из ящика, — часть ораторов сосредотачивается именно на этом произведении. Это гораздо бессмысленнее, чем, например, на 1-м съезде писателей поносить бы Максима Горького за “Несвоевременные мысли” или Сергеева-Ценского за осваговские корреспонденции, которые ведь *были* опубликованы, и лишь за 15 лет до того. Здесь сказал Корнейчук, что “такого не было и не будет, и в истории русской литературы такого не было”. Вот именно!»

Озеров. — Письмо съезду оказалось политически страшным актом. Оно прежде всего пошло к врагам. В письме были вещи неправильные. В той же куче с несправедливо репрессированными писателями оказался и Замятин. По поводу печатания «Ракового корпуса» можно условиться с «Новым миром»: вещь может идти лишь при условии исправления рукописи и дискуссии по проведенным исправлениям. Тут предстоит очень серьезная работа. Повесть разнослойна по качеству, есть в ней удача и неудача. Особенно приходится возражать против плакатности, карикатурности. Я просил бы о целом ряде купюр по повести, о которых сейчас здесь просто нет времени говорить. Философия нравственного социализма не просто принадлежит герою, она звучит как отстаиваемая автором. Это недопустимо.

Сурков. — Я тоже читал «Пир победителей». Ее настроение: «да будьте вы все прокляты!» И в «Раковом корпусе» продолжает звучать то же. Кто изо всех персонажей вошел в мир героя? Только этот странный Шулубин, так же похожий на коммуниста, как я на... Шулубин, с его бесконечно устарелыми взглядами. Не буду скрывать, я человек начитанный. Все эти

экономические и социальные теории я хорошо знаю, нюхал я и Михайловского, и Владимира Соловьева, и это наивное представление, что экономика может зависеть от нравственности. Претерпев столько, вы имели право обидеться как человек, но вы же писатель! Знакомые мне коммунисты имели, как вы выражаетесь, *вышку*, но это нисколько не повлияло на их мировоззрение. Нет, повесть эта — не физиологическая, это — политическая повесть, и упирается все в вопросы концепции. И потом этот идол на Театральной площади, хотя памятник Марксу еще не был тогда поставлен. Если ваш «Раковый корпус» будет напечатан, эта вещь может быть поднята против нас и будет сильнее мемуаров Светланы. Да, конечно, надо было бы упредить появление повести на Западе, но — трудно. Вот я был последнее время близок к Анне Андреевне Ахматовой, знаю: дала она нескольким человекам почитать «Реквием», походил он несколько недель — и сразу напечатан на Западе. Конечно, наш читатель уже настолько развит и искушен, что его никакая книжка не уведет от коммунизма, а все-таки произведения Солженицына для нас опасней Пастернака: Пастернак был человек, оторванный от жизни, а Солженицын — с живым, боевым идейным темпераментом, это — идейный человек. Мы — первая революция в истории человечества, не сменившая ни лозунгов, ни знамен! «Нравственный социализм» — это довольно обывательский социализм, старый, примитивный, и (*в сторону Салынского*) не знаю, как можно в этом не разобраться, что-то тут найти.

Салынский. — Да я его не защищаю вовсе.

Рюриков. — Солженицын пострадал от тех, кто его заклевал, но он пострадал и от тех, кто его чрезмерно захваливает и приписал ему качества, которых у него нет. Солженицыну если отказываться, то и от — «продолжателя русского реализма». Поведение маршала Рокоссовского, генерала Горбатов — честнее, чем ваших героев. Источник энергии этого писателя — в озлоблении, в обидах. По-человечески можно это понять. Однако вы пишете, что ваши вещи запрещают? Да цензура не прикоснулась ни к одному из ваших романов! Удивляюсь, почему Твардовский испрашивает разрешения у нас. Вот я же, например, никогда не просил у Союза писателей разрешения — печатать или не печатать.

(*Просит Солженицына отнестись с доверием к рекомендациям «Нового мира» и обещает от «любого из присутствующих» постраничные замечания по «Раковому корпусу».*)

Баруздин. — Я как раз принадлежу к тем, кто и с самого начала не разделял восхищения произведениями Солженицына. Уже «Матренин двор» намного слабее первой его вещи. А в «Круге первом» очень много слабого, так убого наивно и примитивно показаны Сталин, Абакумов и Поскребышев. «Раковый корпус» же — антигуманистическая вещь. Конец повести подводит к тому, что «по другому надо было идти пути». — Неужели Солженицын мог рассчитывать, что его письмо «вместо выступления» так-таки сразу и прочтут на съезде? Сколько съезд получил писем?

Воронков. — Около пятисот.

Баруздин. — Ну! И разве можно было в них быстро разобраться? — Не согласен с Рюриковым: это правильно, что вопрос о разрешении поставлен на Секретариате. Наш Секретариат должен чаще превращаться в творческий орган и охотно давать советы редакторам.

Абдуломунув. — Это очень хорошо, что Солженицын нашел мужество отказаться от «Пира победителей». Найдет он мужество подумать, как выполнить предложение Константина Александровича. Если мы выпустим в свет «Раковый корпус» — еще будет больше шума и вреда, чем от его первого письма. И что это значит — «насыпал табаку в глаза макаке-резус — просто так»? Как это — просто так? Это — против всего нашего строя высказывание. В повести есть Русановы, есть великомученики от лагеря — и только? А где же советское общество? Нельзя так сгущать краски, нельзя подавать повесть так беспросветно. Много длиннот, повторов, натуралистических сцен — все это надо убирать.

Абашидзе. — Успел прочесть только 150 страниц «Ракового корпуса», поэтому глубокого суждения иметь не могу. Но не создалось такого впечатления, чтоб этот роман нельзя было печатать. Но, повторяю, глубокого суждения иметь не могу. Может быть, самое главное там дальше. Мы все, честные и талантливые писатели, всегда боролись против лакировщиков, даже

когда нам это запрещали. Но у Солженицына есть опасность власть в другую крайность: у него места чисто очеркового разоблачительного характера. Художник — как ребенок, он разбирает машину, чтобы посмотреть, что внутри. Но истинное искусство начинается со сборки. — Я замечаю, как он спрашивает у соседа фамилию каждого оратора. Почему он нас никого не знает? Потому что мы его никогда не приглашали. Правильно предложил Константин Александрович: пусть сам Солженицын ответит на клевету, может быть, сперва по внутреннему употреблению.

Бровка. — В Белоруссии много людей, тоже сидевших, — например, Сергей Граховский тоже отсидел 20 лет. Но они поняли, что не народ, не партия, не советская власть виноваты в беззакониях. Записки Светланы Сталиной — это бабья болтовня, народ уже раскусил и смеется. А тут перед нами — общепризнанный талант, вот в чем опасность публикации. Да, вы чувствуете боль своей земли, и даже чрезмерно. Но вы не чувствуете ее радости. «Раковый корпус» — слишком мрачно, печатать нельзя. *(Как и все предыдущие и последующие ораторы, поддерживает предложение К.А.Федина: Солженицын должен выступить в печати против западной клеветы по поводу его письма.)*

Яшен. — *(Ругает «Пир победителей».)* Автор — не измучен несправедливостью, а отравлен ненавистью. Люди возмущаются, что есть в рядах Союза писателей такой писатель. Я хотел предложить его исключить из Союза. Не он один пострадал, но другие понимают трагедию времени лучше. Вот, например, молодой Икрамов. — В «Раковом корпусе» — конечно, рука мастера. Автор знает предмет лучше любого врача и профессора. Но вот за блокаду Ленинграда он обвиняет, кроме Гитлера, «еще других». Кого это? — непонятно. Берия? Или сегодняшних замечательных руководителей? Надо же ясно сказать. *(Все же оратор поддерживает «мужественное решение Твардовского поработать над этой повестью с автором». И после этого можно будет дать посмотреть узкому кругу.)*

Кербабаев. — Читал «Раковый корпус» с большим неудовольствием. Все — бывшие заключенные, всё — мрачно, ни одного теплого слова. Просто тошнит, когда читаешь. Вера предлага-

ет герою свой дом и свои объятия, а он отказывается от жизни. Потом это «девяносто девять плачут, один смеется» — это как понять? Это — про Советский Союз? Я согласен с тем, как говорил мой друг Корнейчук. Почему автор видит только черное? А почему я не пишу черное? Я всегда стараюсь писать только о радостном. Это мало, что он от «Пира победителей» отказался. Я считал бы мужеством, если бы он отказался от «Ракового корпуса», вот тогда я б обнял его как брата.

Шарилов. — А я б ему скидку не дал, я б его из Союза исключил! В пьесе у него все советское представлено отрицательно и даже Суворов. Совершенно согласен: пусть откажется от «Ракового корпуса». Наша республика освоила целинные и залежные земли и идет от успеха к успеху.

Новиченко. — Письмо съезду разослано с недопустимым обращением через голову формального адресата. Присоединяюсь к строгим словам Твардовского, что мы эту форму должны решительно осудить. Не согласен с главными требованиями письма: нельзя допускать все печатать. Это что ж тогда — и «Пир победителей» печатать? — По поводу «Ракового корпуса». Сложное испытываю отношение. Я — не ребенок, мне тоже придется умирать и, может быть, в таких же мучениях, как героиня Солженицына. И здесь-то важнее всего: какова твоя совесть? каковы твои моральные резервы? И если бы роман ограничивался этим, я бы считал нужным печатать. Но — низкопробное вмешательство в нашу литературную жизнь — карикатурная сцена с дочкой Русанова. Идеино-политический смысл нравственного социализма — это отрицание марксизма-ленинизма. Потом эти слова Пушкина — «Во всех стихиях человек Тиран, предатель или узник!» — это оскорбительная теория... Все эти вещи категорически неприемлемы ни для нас, ни для нашего общества и народа. Судьями общества в повести взяты все пострадавшие, это оскорбительно. Русанов — отвратный тип, правдиво изображен. Но недопустимо, что он становится из типа — носителем и выразителем всего нашего официального общества. Коробит частое употребление имени Горького в этих подлейших и грязнейших русановских устах. Даже если роман будет доведен до определенной кондиции — он не станет романом соцреализма. Но будет явлением, талантливым произведением. — Прочел я и

«Пир победителей» — и что-то по-человечески надломилось по отношению к автору. Надо преодолеть всяческие корешки, ведущие от этой пьесы.

Марков. — Состоялось ценное обсуждение. (*Оратор только что приехал из Сибири, пять раз выступал перед массовой аудиторией.*) Надо сказать, никакого особенного ажиотажа вокруг имени этого автора нигде нет. Только в одном месте подали записку — я прошу извинения, но именно так было написано: «А когда этот Долженицын перестанет поносить советскую литературу?» — Мы ждем от Солженицына совершенно четкого ответа на буржуазную клевету, ждем выступления в печати. Он должен защитить свою честь как советского писателя. Заявлением о «Пире победителей» он снял с моей души камень. «Раковый корпус» я оцениваю, как и Сурков. Вещь стоит все-таки в каком-то практическом плане. Совершенно не приемлю в ней всех общественно-политических заходов. «Кто-то сделал» — безвестные адреса. — При установившемся добром сотрудничестве между «Новым миром» и Александром Исаевичем эта повесть может быть дописана, хотя и потребуются очень серьезная работа. А сегодня пускать в набор, конечно, нельзя. — Что же дальше? Конструктивно: А.И. готовит такое выступление в печати, о котором тут все говорили, очень хорошо будет как раз в преддверии праздника — а уж потом возможно будет какое-то коммюнике со стороны Секретариата. — Все же я продолжаю считать его нашим товарищем. Но в сложной ситуации мы, А.И., оказались по *вашей* вине, а не по чьей другой. Предложения об исключении из Союза? — при тех началах товарищества, которые должны сложиться, мы не должны торопиться.

Солженицын. — Уже несколько раз я выступал сегодня против обсуждения «Пира победителей», но приходится опять о том же. В конце концов, я могу упрекнуть вас всех в том, что вы — не сторонники теории развития, если серьезно предполагаете, что за двадцать лет и при полной смене всех обстоятельств человек не меняется. Но тут я услышал и более серьезную вещь: Корнейчук, Баруздин и еще кто-то высказались так, что «народ читает» «Пир победителей», будто эта пьеса распространяется. Я сейчас буду говорить очень медленно, пусть каж-

дое слово мое будет записано точно. Если «Пир победителей» пойдет широко по рукам или будет напечатан, я торжественно заявляю, что вся ответственность за это ляжет на ту организацию, которая использовала единственный сохранившийся, никем не читанный экземпляр этой пьесы для «издания» при моей жизни и против моей воли: это она распространяет пьесу! Я полтора года непрерывно предупреждал, что это очень опасно! Я предполагаю, что у вас там не читальный зал, а пьесу дают на руки, ее возят домой, а там есть сыновья и дочери, и не все ящики запираются на замок — я предупреждал! и сейчас предупреждаю!

Теперь о «Раковом корпусе». Упрекают уже за название, говорят, что рак и раковый корпус — не медицинский предмет, а некий символ. Отвечу: подручный же символ, если добыть его можно, лишь пройдя самому через рак и умирание. Слишком густой замес — для символа, слишком много медицинских подробностей — для символа. Я давал повесть на отзыв крупным онкологам — они признали ее с медицинской точки зрения безупречной и на современном уровне. Это именно *рак*, рак как таковой, каким его избегают в увеселительной литературе, но каким его каждый день узнают больные, в том числе ваши родственники, а может быть, вскоре и кто-нибудь из присутствующих ляжет на онкологическую койку и поймет, какой это «символ».

Совершенно не понимаю, когда «Раковый корпус» обвиняют в антигуманистичности. Как раз наоборот: это преодоление смерти жизнью, прошлого — будущим, я по свойствам своего характера иначе не взялся бы и писать. Но я считаю, что задачи литературы и по отношению к обществу, и по отношению к отдельному человеку не в том заключаются, чтобы скрывать от него правду, смягчать ее, а говорить истинно то, как оно есть, как ждет его. И в русских пословицах мы слышим то же правило:

Не люби поноровщика, люби спорщика.

Не тот доброхот, у кого на устах мед.

Да вообще задачи писателя не сводятся к защите или критике того или иного способа распределения общественного продукта,

к защите или критике той или иной формы государственного устройства. Задачи писателя касаются вопросов более общих и более вечных. Они касаются тайн человеческого сердца и совести, столкновения жизни и смерти, преодоления душевного горя и тех законов протяженного человечества, которые зародились в незапамятной глубине тысячелетий и прекратятся лишь тогда, когда погаснет солнце.

Меня огорчает, что некоторые места в повести товарищи прочли просто невнимательно, и отсюда родились извращенные представления. Уж этого-то быть не должно. Вот «девяносто девять плачут, один смеется» — это ходовая лагерная поговорка; к тому типу, который лезет без очереди, Костоготов подходит с этой поговоркой, чтобы дать себя опознать, и только. А тут делают вывод, что это — про весь Советский Союз. Или — макак-резус, она два раза там встречается, и из сопоставления ясно, что под злым человеком, насыпавшим в глаза табак *просто так*, подразумевается конкретно Сталин. А мне возражают, что *не* «просто так»? Но если *не* «просто так» — так, значит, это было закономерно, необходимо? Удивил меня Сурков, я даже не мог сразу понять, почему он заговорил о Марксе, где он там у меня в повести? Ну, Алексей Александрович! Вы же поэт, человек с тонким художественным вкусом, и вдруг ваше воображение дает такой промах, вы не поняли этой сцены? Шулубин приводит учение Бэкона в его терминологии, он говорит «идолы рынка» — и Костоготов пытается себе представить: рынок, а посреди выставляется сизый идол; Шулубин говорит — «идолы театра» — и Костоготов представляет идола внутри театра, нет, не лезет, так, значит, на Театральной площади. И как же вы могли вообразить, что речь идет о Москве и о памятнике Марксу, еще не поставленном?..

Сказал товарищ Сурков, что несколько недель понадобилось «Реквиему» походить по рукам — и он оказался за границей. А «Раковый корпус» ходит (1-я часть) уже больше года. Вот это-то меня и беспокоит, вот почему я и тороплю Секретариат.

Еще тут был мне совет товарища Рюрикова — отказаться от продолжения русского реализма. Вот от этого — руку на сердце положу — никогда не откажусь.

Рюриков. — Я не сказал — отказаться от продолжения рус-

ского реализма, а от истолкования этой роли на Западе, как они делают.

Солженицын. — Теперь относительно предложения Константина Александровича. Ну, конечно же, я его приветствую. Именно *публичности* я и добиваюсь все время! Довольно нам таиться, довольно нам скрывать наши речи и прятать наши стенограммы за семью замками. Вот было обсуждение «Ракового корпуса». Решено было секцией прозы — послать стенограмму обсуждения в заинтересованные редакции. Куда там! Спрятали, еле-еле согласились мне-то дать, автору. И сегодняшняя стенограмма — я надеюсь, Константин Александрович, получить ее?

Спросил К.А.: «В интересах чего печатать ваши протесты?» По-моему, ясно: в интересах отечественной литературы. Но странно говорит К.А., что *развязать* ситуацию должен я. У меня связаны руки и ноги, заткнут рот — и я же должен развязать ситуацию? Мне кажется, это легче сделать могучему Союзу писателей. Мою каждую строчку вычеркивают, а у Союза в руках вся печать. Я все равно не понимаю и не вижу, почему мое письмо не было зачтено на съезде. Теперь К.А. предлагает бороться не против *причин*, а против *следствия* — против шума на Западе вокруг моего письма. Вы хотите, чтобы я написал опровержение — а *чего* именно? Не могу я вообще выступать по поводу ненапечатанного письма. А главное: в письме моем есть общая и частная часть. Должен ли я отказаться от *общей* части? Так я и сейчас все так же думаю, и ни от одного слова не отказываюсь. Ведь это письмо — о чем?

Голоса. — О цензуре.

Солженицын. — Ничего вы тогда не поняли, если — о цензуре. Это письмо — о судьбах нашей великой литературы, которая когда-то покорила и увлекла мир, а сейчас утратила свое положение. Говорят нам с Запада: умер роман, а мы руками машем и доклады делаем, что нет, не умер. А нужно не доклады делать, а романы опубликовывать, — такие, чтоб там глаза зажмурили, как от яркого света, и тогда притихнет «новый роман», и тогда окоснеют «нео-авангардисты». От общей части своего письма я не собираюсь отказываться. Должен ли я, стало быть, заявить, что несправедливы и ложны восемь пунктов

частной части моего письма? Так они все справедливы. Должен ли я сказать, что часть пунктов уже устранена, исправляется? Так ни один не устранен, не исправлен. Что же мне можно заявить? Нет, это *вы* расчитите мне сперва хоть малую дорогу для такого заявления: опубликуйте, во-первых, мое письмо, затем — коммюнике Союза по поводу письма, затем укажите, что из восьми пунктов исправляется, — вот тогда и я смогу выступить охотно. Мое сегодняшнее заявление о «Пире победителей», если хотите, тогда печатайте тоже, хоть я не понимаю ни обсуждения украденных пьес, ни опровержения ненапечатанных писем. 12 июня здесь, в Секретариате, мне заявили, что коммюнике будет напечатано безо всяких условий — а сегодня уже ставят условия. Что изменилось?

Запрещается моя книга «Иван Денисович». Продолжается и вспыхивает все новая против меня клевета. Опровергать ее можно вам, но не мне. Только то меня утешает, что ни от какой клеветы я инфаркта не получу никогда, потому что закаляли меня в сталинских лагерях.

Федин. — Нет, очередность не та. Первым публичным выступлением должно быть ваше. Получив столько одобрительных замечаний вашему таланту и стилю, вы найдете форму, сумеете. Сперва мы, а потом вы — такая реплика не имеет твердого основания.

Твардовский. — А само письмо будет при этом опубликовано?

Федин. — Нет, письмо надо было публиковать тогда, вовремя. Теперь нас заграница обогнала, зачем же теперь?

Солженицын. — Лучше поздно, чем никогда. И из моих восьми пунктов ничего не изменится?

Федин. — Это потом уж посмотрим.

Солженицын. — Ну, я уже ответил, и все, надеюсь, застенографировано точно.

Сурков. — Вы должны сказать, отмежевываетесь ли вы от той роли лидера политической оппозиции в нашей стране, которую вам приписывают на Западе?

Солженицын. — Алексей Александрович, ну уши вянут такое слышать — и от вас: художник слова — и лидер политической оппозиции! Как это вяжется?

Несколько коротких выступлений, настаивающих, чтобы Солженицын принял сказанное Фединым.

Голоса. — Он подумает!..

Солженицын еще раз говорит, что такое выступление ему первому невозможно, отечественный читатель так и не будет знать, о чем речь.

(Запись велась в ходе заседания А.Солженицыным.)

ПИСЬМО
СЕКРЕТАРИАТА
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Союз Писателей СССР
Правление

№ 3142

25 ноября 1967 г.

Товарищу А.И.Солженицыну

Уважаемый Александр Исаевич!

В ходе заседания Секретариата Правления Союза писателей СССР 22 сентября с. г., на котором обсуждались Ваши письма, наряду с резкой критикой Вашего поступка, товарищами высказывалась доброжелательная мысль о том, что Вам необходимо иметь достаточную по времени возможность тщательно обдумать все, о чем говорилось на Секретариате, и уже затем выступить публично и определить Ваше отношение к антисоветской кампании, поднятой недружественной зарубежной пропагандой вокруг Вашего имени и Ваших писем. Прошло два месяца.

Секретариату хотелось бы знать, к какому решению Вы пришли.

С уважением

К.Воронков

По поручению Секретариата,
Секретарь Правления Союза
Писателей СССР

ПИСЬМО
СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В Секретариат Союза Писателей СССР

Из Вашего № 3142 от 25.11.67 я не могу понять:

1) Намеревается ли Секретариат защитить меня от непрерывной трёхлетней (мягко было бы назвать её «недружественной») клеветы у меня на родине? (Новые факты: 5.10.67 в Ленинграде в Доме Прессы, при многолюдном стечении слушателей, главный редактор «Правды» Зимянин повторил надоевшую ложь, что я был в плену, а также нащупывал избитый приём против неугодных — объявить меня шизофреником, а лагерное прошлое — навязчивой идеей. Лекторы МГК выдвинули новые лживые версии о том, будто я «сколачивал в армии» то ли «пораженческую», то ли «террористическую» организацию. Непонятно, почему не увидела этого в деле Военная Коллегия ВерхСуда.)

2) Какие меры принял Секретариат, чтобы отменить незаконный запрет моих печатных произведений в библиотечном пользовании и цензурное распоряжение изымать мою фамилию из упоминания в критических статьях? (В «Вопросах литературы» так поступили даже... в переводе японской статьи. В Пермском университете подвергнута санкциям группа студентов, пытавшихся обсуждать мои печатные произведения в своём научном сборнике.)

3) Хочет ли Секретариат предотвратить бесконтрольное появление «Ракового корпуса» за границей или он остаётся равнодушен к этой опасности? Делаются ли какие-нибудь шаги для печатания отрывков из повести в «Литературной газете», а всей повести — в «Новом мире»?

4) Нет ли у Секретариата намерения ходатайствовать перед правительством о присоединении нашей страны к международной конвенции об авторском праве? Тем самым наши авторы получили бы надежное средство защиты своих произведений от незаконных зарубежных изданий и бесстыдной коммерческой гонки переводов.

5) За прошедшие *полгода* от моего письма Съезду прекра-

щено ли наконец распространение незаконного «издания» отрывков из моего архива и уничтожено ли это «издание»?

6) Какие меры принял Секретариат к возвращению мне изъятого архива и романа «В круге первом», кроме публичных заверений, что они уже якобы возвращены (секретарь Озеров, например)?

7) Принято или отвергнуто Секретариатом предложение К.М.Симонова издать сборник моих рассказов?

8) Почему я до сих пор не получил стенограммы заседания Секретариата 22 сентября для её изучения?

Я был бы очень признателен за разъяснение этих вопросов.

*Солженицын
Рязань, 1 декабря 1967 г.*

ПИСЬМО
СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

В Секретариат СП СССР

Копии:

- *Журнал «Новый мир»*
- *«Литературная газета»*
- *Членам СП*

В редакции «Нового мира» меня познакомили с телеграммой:

«НМО 177 Франкфурт-на-Майне Ч2 9 16.20 Твардовскому Новый мир

Ставим вас в известность, что Комитет госбезопасности через Виктора Луи переслал на запад еще один экземпляр «Ракового корпуса», чтобы этим заблокировать его публикацию в «Новом мире». Поэтому мы решили это произведение опубликовать сразу.

Редакция журнала «Грани»»

Я хотел бы протестовать против публикации как в «Гранях», так и осуществляемой В.Луи, но мутный и провокационный характер телеграммы требует прежде всего выяснить:

1) действительно ли она подана редакцией журнала «Гра-

ни» или подставным лицом (это можно установить через международный телеграф, запросом московского телеграфа во Франкфурт-на-Майне)?

2) кто такой Виктор Луи, что за личность, чей он подданный? Действительно ли он вывез из Советского Союза экземпляр «Ракового корпуса», кому передал, где грозит публикация ещё? И какое отношение имеет к этому Комитет Госбезопасности?

Если Секретариат СП заинтересован в выяснении истины и остановке грозящих публикаций «Ракового корпуса» на русском языке за границей, — я думаю, он поможет быстро получить ответы на эти вопросы.

Этот эпизод заставляет задуматься о странных и тёмных путях, какими могут попадать на Запад рукописи советских писателей. Он есть крайнее напоминание нам, что нельзя доводить литературу до такого положения, когда литературные произведения становятся выгодным товаром для любого дельца, имеющего проездную визу. Произведения наших авторов должны допускаться к печатанию на своей родине, а не отдаваться в добычу зарубежным издательствам.

Солженицын
18.4.68

В «Литературную газету»

В редакцию «Монд»

В редакцию «Унита»

Из сообщения газеты «Монд» от 13 апреля мне стало известно, что на Западе в разных местах происходит печатание отрывков и частей из моей повести «Раковый корпус», а между издателями Мондадори (Италия) и Бодли Хэд (Англия) уже начат спор о праве «копирайт» на эту повесть (поскольку СССР не участвует в международной конвенции по авторским правам) — это при живом авторе!

Заявляю, что никто из зарубежных издателей не получал от меня рукописи этой повести или доверенности печатать ее. Поэтому ничью состоявшуюся или будущую (без моего разрешения) публикацию я не признаю законной, ни за кем не признаю

издательских прав, а всякое искажение текста (неизбежное при бесконтрольном размножении и распространении рукописи), равно как и всякую самовольную экранизацию и инсценировку, буду преследовать.

Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен «Иван Денисович» из-за спешки. Видимо, это же ждет и «Раковый корпус». Но, кроме денег, существует литература.

А.Солженицын

21.4.68

(«Литературная газета», 26 июня 1968 года.)

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» УГРОЖАЕТ

*26 июня 1968 года «Литературная газета»
напечатала наконец письмо Солженицына —
протест против публикации за рубежом повести
«Раковый корпус». Но тут же сопроводила это письмо
пространной редакционной статьей.*

ИДЕЙНАЯ БОРЬБА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ

ВЕЛИКИЙ Октябрь, открыв новую главу в истории человечества, положил начало и новому искусству. Воодушевляемая идеями марксизма-ленинизма, советская литература правдиво отражает жизнь народа, нравственный облик нового человека, активного строителя коммунизма. По произведениям, созданным советскими писателями, можно проследить весь славный и трудный путь, что пройден нашей страной за полвека. Октябрьская революция и гражданская война, годы первых пятилеток и социалистического преобразования деревни, героическая борьба с фашистским нашествием и коммунистическое строительство послевоенных лет — каждому этапу нашей истории посвящены значительные произведения прозы, поэзии, драматургии.

Сила советских писателей в беззаветной преданности идеям коммунизма, в безграничной верности делу партии. Поэтому связь советской литературы с политикой Коммунистической партии и вызывает такие яростные нападки враждебной нам пропаганды. Наши недруги не могут понять, сколь тщетны их усилия вбить клин между партией и советскими писателями.

Идеологические центры западного мира испытали в прошлом году горькое разочарование: Четвертый съезд писателей СССР, рассмотрев важнейшие проблемы развития нашей литературы, продемонстрировал незыблемую сплоченность писателей вокруг Коммунистической партии Советского Союза и ее ленинского Центрального Комитета. На съезде присутствовали представители 33 литератур мира. Наперекор мутной волне клеветы за границей появилось немало выступлений с объективной оценкой работы съезда; отмечался его деловой, конструктивный характер, соответствующий всей атмосфере советской жизни.

В юбилейном 1967 году нашу страну посетило около шестисот писателей из 55 стран. Вернувшись на родину, они правдиво рассказывали широким кругам читателей о том, как живет и трудится советский народ, какую большую роль играет в жизни нашего общества творческая деятельность писателей.

Мировое значение советской литературы находит выражение в постоянном расширении международных связей Союза писателей СССР. Регулярные встречи руководителей писательских организаций социалистических стран, тесные контакты между литературными газетами и журналами, международные встречи прозаиков, поэтов, переводчиков способствуют творческому общению и сотрудничеству деятелей литературы и искусства всего мира.

Западная пропаганда всячески изоцируется в том, чтобы извратить высказывания советских писателей на встречах и дискуссиях со своими зарубежными коллегами. Провокационная деятельность врагов получает достойный отпор. Политическую зрелость, высокий гуманизм, коммунистическую убежденность проявляют наши писатели на международных форумах. Их выступления заслужили всеобщее признание творческим духом, последовательным отстаиванием коренных принципов искусства социалистического реализма, готовностью вести бескомпромиссную борьбу против врагов мира, демократии, социализма.

Такая борьба требует классовой мобилизованности, идейной вооруженности, умения распознавать формы и методы, к каким прибегает буржуазная пропаганда. Конечно, для наших врагов чрезвычайно заманчиво поспорить советский народ с партией, посеять рознь в среде интеллигенции, разделить ее на «правых» и «левых», на «прогрессистов» и «догматиков», противопоставить одних писателей другим. В стремлении выдать желаемое за действительное они используют любые средства.

В подсчет идет все. Какого-то бездельника-фарцовщика соблазнили нейлоновыми тряпками, либо провернули с ним валютные махинации — готова легенда о моральной неустойчивости советской молодежи. Какой-то цирковой акробат не вернулся на родину из заграничной гастрольной поездки — гремят колокола: он-де просит «политического убежища», потому что марксизм лишил его свободы акробатического творчества. Кто-

то послал неумеренно похвальное письмо зарубежной радиостанции, восторгаясь ее концертными программами, — отличный повод поверещать о бедности музыкальной культуры Советского Союза. Но это все больше так, для арифметического счета и для расширения «номенклатуры» в реестрике фактов. Вот, дескать, как во все стороны социалистического бытия проникает несогласие с этим бытием.

С наибольшим злорадством западная пропаганда смакует любые случаи, которые можно не так, так эдак связать с именами писателей, художников, композиторов. Еще бы! Ведь они так популярны в народе, их творчество — частица самой души народной. Это не просто «единичка» в реестрике фактов — это бум. Тут уже можно пуститься в пространнейшие рассуждения о том, что «настоящий» советский писатель и не обязан служить своим искусством народу, строящему коммунизм и верящему в коммунизм, поскольку, мол, подлинное искусство стоит вне всякой политики и даже над политикой. При этом господа из западного мира без всякого смущения обходят одно щекотливое обстоятельство: в качестве идеального образца писателя они провозглашают тех, кто напал бы на советскую политику, то есть тех, кто отнюдь не стоит вне политики.

Подобные образцы не так-то просто обнаружить в нашей стране! Что ж, тогда приходится пускаться на дешевые трюки и, подобно древним алхимикам, выращивать в колбе неких «гомункулусов», искусственных человечков, объявлять талантом любую бездарь. И в писатели срочно производится, к примеру, графоман и шизофреник В.Тарсис, строчивший в огромных количествах свои бесталанные, но зато открыто антисоветские писания, сдобренные яркой злобой и ненавистью к нашему обществу. «Вырвавшись» из социализма в капитализм, а точнее — будучи вышвырнутым с советской земли, хлеб которой он ел и на которую клеветал, Тарсис прогремел в радиопередачах и бульварных листовках, хвастливо обещая предстать перед миром новым Достоевским.

Хотя из рукописей Тарсиса политические коммерсанты-издатели за рубежом кое-что сварганили, интерес к нему долго не продержался и ожидаемых прибылей коммерсанты не получили. Пропали надежды на иудины миллионы и у самого Тарси-

са. Но «воспитатели» такого рода «танталов» никак не хотят отказываться от скомпрометировавших себя методов. И вот выражается в колбе очередной «гомункулус» — на щит поднимается со своими «мемуарами» Светлана Аллилуева. Финал тот же: и от ее книжки брезгливо отвернулись читатели.

Теперь «обнаружены» новые сверхталантливые «интеллектуаль»: Гинзбург, Галансков и иже с ними. Не беда, что никто из них никогда не напечатал в советской прессе ни одной строчки и к Союзу писателей не имеет ни малейшего отношения. Все равно подпольных пасквилянтов, попавшихся на удочку НТС и связавших с этой бандитской организацией свою судьбу, немедленно вписали в бухгалтерский счет западной пропаганды, в ее реестрики: смотрите, как много советских писателей активно борется с советской политикой...

Весь наш народ, вся творческая интеллигенция с презрением относятся к ренегатам. Только отдельные литераторы, не разобравшись в духовном облике названных отщепенцев, дали буржуазной пропаганде повод зачислить себя в ряды «адвокатов» Гинзбурга, Галанскова и им подобных, а перед общественным мнением родной страны предстали в качестве людей политически незрелых, безответственных.

К сожалению, под письмами, в которых берутся под защиту такие антисоветчики, как Гинзбург и Галансков, стоит несколько давно уважаемых писательских имен. А ведь это как раз то, что позарез нужно враждебной пропаганде. Она немедленно пускает в оборот наряду с измышлениями прожженных клеветников и проходимцев документы, подписанные такими «добряками».

Секретариат правления Союза писателей СССР и секретариат Московской писательской организации сурово осудили политическую безответственность литераторов, подписавших письма в защиту антисоветчиков. Пусть дело касается очень многих — все равно писательская организация не может мириться с подобными поступками. Они, эти поступки, в корне расходятся с нормами общественной жизни, принятыми в среде советских литераторов.

Писатели, дорожащие своим добрым именем и честью Родины, писатели, глубоко убежденные в том, что их творческая

деятельность не может быть отделена от интересов народа, партии, идей социалистического общества, — эти писатели, когда становятся невольными объектами враждебной пропаганды, дают достойный отпор своим непрошеным зарубежным радетелям. Можно напомнить целый ряд примеров. Так, нашим идейным недругам несколько лет тому назад не удалось повернуть против Советской власти повесть А.Кузнецова «Продолжение легенды» — повесть о юноше, который после окончания школы пошел работать на строительство, духовно вырос в рабочей среде. Пустив в дело клей, ножницы и бесчестное редакторское перо, заменив название повести, изобразив на обложке паутину из колючей проволоки, сотрудники одного французского издательства пытались создать у читателей «Продолжения легенды» впечатление, что действие книги происходит не на строительстве, а в... концентрационном лагере. Кузнецов публично в печати отхлестал мошенников по щекам и возбудил против них судебное дело. Процесс кончился тем, что даже буржуазный суд был вынужден наказать фальсификаторов.

За последнее время участились случаи, когда отдельные высказывания советских писателей грубо фальсифицируются. Участились и такие случаи, когда рукописи советских писателей, еще не готовые к печати, жульническими путями добываются и публикуются ради все той же цели: выставить авторов в роли политических оппозиционеров. Естественно, что все это вызывает со стороны советских писателей решительный протест. Так поступил в свое время В.Тендряков. «Литературная газета» опубликовала письмо В.Катаева, категорически отвергшего попытки зарубежных пропагандистов приписать ему недружелюбные высказывания о советской литературе. Против незаконного опубликования на Западе выкраденного у нее недоработанного произведения печатно протестовала Г.Серебрякова.

Сегодня «Литературная газета» публикует заявление А.Солженицына.

Нужно сказать, однако, что еще много месяцев назад на заседании Секретариата правления Союза писателей СССР А.Солженицыну говорилось, что имя его взято на вооружение

реакционной западной пропагандой и широко используется в провокационных, антисоветских целях. А.Солженицын тогда остался глух к такого рода предостережениям и не пожелал высказать своего отношения к той неблагоприятной шумихе, «героем» которой он стал.

А.Солженицын — человек многоопытный, получивший высшее физико-математическое образование, работавший преподавателем. Последние годы Великой Отечественной войны Солженицын провел на фронтах в качестве командира зенитной батареи, имеет награды. Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 году реабилитирован.

В общественной жизни Союза писателей А.Солженицын участия не принимал. Он предпочел избрать другой путь — путь атак на основные принципы, которыми руководствуется советская литература, которые записаны в Уставе Союза писателей СССР и которые, вступая в Союз писателей, добровольно обязался соблюдать и Солженицын.

За несколько дней до открытия IV съезда писателей А.Солженицын направил съезду письмо, одновременно, в нарушение общепринятых норм поведения, разослав его по меньшей мере еще в 250 самых различных адресов, с очевидным расчетом на то, что оно, уже бесконтрольно, будет и дальше размножаться, пойдет по рукам и станет литературной сенсацией.

Естественно, западная пропаганда легко заполучила это письмо и немедленно подняла вокруг него разнузданную антисоветскую шумиху, поскольку автор в своем письме утверждал, что наша литература находится в тисках угнетения, а признанные во всем мире достижения советской литературы начисто зачеркивал.

Далее А.Солженицын требовал включить в Устав Союза писателей специальный пункт, предусматривающий «все те гарантии защиты, которые предоставляет Союз членам своим, подвергшимся клевете и несправедливым преследованиям». Такой пункт ставил бы Устав Союза писателей над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех советских граждан защиту от клеветы и несправедливых преследований. Это требование Солженицына западной пропагандой было

встречено с ликованием и толковалось как «доказательство» полной беззащитности советских писателей перед лицом закона.

Буржуазной пропаганде очень по душе пришлось утверждения А.Солженицына, будто бы органы государственной безопасности изъяли у него архивы и рукописи. Однако на запрос Секретариата правления Союза писателей Прокуратура СССР сообщила, что в квартире А.Солженицына, проживающего в Рязани, никаких обысков никогда не производилось и никакие рукописи и архивы у него не отбирались. *Машинописные копии* некоторых рукописей Солженицына, как *анонимные*, были обнаружены при обыске и изъяты вместе с другими компрометирующими материалами в Москве у некоего гр. Теуша. А к Теушу привел ход следствия, возбужденного соответствующими органами в связи с тем, что при таможенном досмотре у одного иностранного туриста были обнаружены рукописные клеветнические измышления о жизни Советской страны.

Среди рукописей, изъятых у гр. Теуша, оказалась, например, пьеса «Пир победителей», в которой Советскую Армию, освободившую мир от фашистской чумы, А.Солженицын представляет как скопище тупиц, насильников, мародеров, вандалов, живущих только шкурными интересами. При этом он весьма сочувственно отзывался о власовцах. В пьесе кощунственно высмеиваются бессмертные подвиги Зои Космодемьянской и Александра Матросова. Симпатии автора отданы одному «герою» — капитану Нержину, который помогает изменнице родины тайком перейти к власовцам через линию фронта.

А.Солженицын в своем письме IV съезду писателей негодовал: «Эта пьеса приписывается мне теперь как самоновейшая моя работа». И на заседании Секретариата правления Союза писателей СССР 22 сентября 1967 года, посвященном рассмотрению его письма, он выступил с возражениями против каких-либо упоминаний «Пира победителей», поскольку, дескать, эта пьеса была сочинена наизусть в лагере и лишь после реабилитации зафиксирована на бумаге. Действительно, «Пир победителей» не является «самоновейшей работой» А.Солженицына. Но как можно делать вид, что такой пьесы не существует, если, доверив хранение своих сочинений поставщику антисоветчины для заграницы, Солженицын тем самым утратил над ними, над

пьюсей в частности, всякий контроль? Как можно возражать против упоминания «Пира победителей», не протестуя публично против главного — против того, что само имя Солженицына, все вообще его литературные работы и письмо IV съезду писателей западной пропагандой используются в идеологической борьбе против Советского Союза?

Тем не менее на заседании Секретариата, в котором участвовали известные советские писатели, обсуждение письма А.Солженицына и всех его «претензий» велось в деловом тоне, с искренней заинтересованностью в творческой судьбе автора.

Участники обсуждения, естественно, ожидали, что Солженицын прислушается к их советам, а также выразит свое отношение к политическим провокациям враждебной западной пропаганды, связанным с его именем. Однако все поведение Солженицына на заседании секретариата носило подчеркнуто демагогический характер. Сославшись на «нехватку времени», Солженицын отказался ознакомиться с высказываниями антисоветской зарубежной печати, воздающей хвалу его письму. Вместо этого он в ультимативном тоне настаивал на немедленной публикации его новой повести «Раковый корпус», которая в идейном отношении, как отмечалось на секретариате, нуждалась в существенной переработке. А затем пытался вступить в своеобразный торг с секретариатом относительно того, на какие «уступки» он согласен будет пойти, если секретариат выполнит его требования.

25 ноября 1967 года Секретариат правления Союза писателей послал А.Солженицыну письмо, в котором просил его сообщить, намерен ли он все же тем или иным способом высказать свое отношение к непрекращающейся антисоветской шумихе вокруг его имени. Последовал ответ, размноженный опять-таки во многих экземплярах, из коего следовало, что Солженицын и впредь намерен использовать «общественное мнение» Запада, как инструмент давления на Союз писателей.

На этих позициях А.Солженицын оставался и на последовавших затем личных с ним беседах в Секретариате.

В апреле 1968 года снова во множестве копий А.Солженицын разослал еще два письма, в которых высказывает деланную тревогу относительно предстоящей публикации «Ракового корпуса» в реакционнейших издательствах Запада и лицемерно

возлагает моральную ответственность за это на Секретариат правления Союза писателей СССР. Кстати, на этот раз адресаты Солженицына получили и приложение к письму — запись заседания Секретариата, сделанную им самим, сделанную тенденциозно, крайне необъективно, с таким расчетом, чтобы создать выгодное для него представление о характере и тоне обсуждения. Запись эта, разумеется, тут же была включена в реестр антисоветских материалов и пущена в оборот буржуазной пропагандой.

Раздувая провокационную шумиху вокруг повести «Раковый корпус», враждебные нам радиочастоты взяли на вооружение еще один «документ», именуемый ими «открытым письмом В.Каверина». Превратно толкуя ряд событий нашей литературной жизни последних лет, В.Каверин в том же духе, что и А.Солженицын в своей распространенной на Западе записи, извращает отношение некоторых членов секретариата к изданию повести «Раковый корпус».

Нет нужды разбирать это письмо в подробностях. Достаточно сказать, что, слушая его чуть ли не ежедневно в исполнении зарубежных «голосов», В.Каверин не считал нужным выступить против этого враждебного нам «хора».

Письмо А.Солженицына было написано в апреле с. г., когда, по словам самого же автора, на Западе в разных изданиях уже началось печатание отрывков из «Ракового корпуса». Ясно — и Солженицыну прежде всего, — что публикация письма ничего не могла изменить. Тем более, что в нем высказывалась по существу лишь забота о том, чтобы издатели, не дай бог, в спешке не исказили текста повести. А против использования его имени и его произведений в антисоветских целях А.Солженицын не протестовал.

Хотелось надеяться, что А.Солженицын наконец осознает необходимость выступить с резким протестом против действий зарубежных издательств, отмежуеться от непрошенных «опекунов», во всеуслышание заявит о нежелании иметь что-либо общее с провокаторами — недругами нашей страны. Но Солженицын этого не сделал.

Не сделал он этого и после того, как ряд зарубежных издательств, продолжая разжигать антисоветские страсти, объявили

недавно о том, что они готовятся опубликовать еще одно произведение А.Солженицына — «В круге первом», — содержащее злостную клевету на наш общественный строй. Стало окончательно ясно, что А.Солженицына вполне устраивает роль, отведенная ему нашими идейными недругами, и что он готов выражать протесты, лишь подобные публикуемому сегодня.

Писатель А.Солженицын мог бы свои литературные способности целиком отдать Родине, а не ее злопыхателям. Мог бы, но не пожелал. Такова горькая истина. Захочет ли А.Солженицын найти выход из этого тупика, зависит прежде всего от него самого.

История возложила на советских писателей большую и благородную ответственность глашатаев передовых идей века, идей коммунизма, борцов за социальные, духовные ценности, завоеванные социалистическим строем. Это ответственность перед историей, обществом, собственным талантом, который расцветает только в служении большой цели, в служении народу. Это ответственность человека, чувствующего себя в современном мире не сторонним наблюдателем или брюзжащим нигилистом, а бойцом за коммунистические идеалы.

Решения апрельского Пленума ЦК КПСС еще раз напоминают каждому работнику идеологического фронта, что живем мы в нелегкое время, что острие главного удара врага направлено сейчас именно против духовных ценностей социализма.

Когда мы окидываем мысленным взором все, что сделано нашей литературой за годы Советской власти, и размышляем о новых задачах, стоящих перед нею, мы отчетливо видим — сделано много. Нужного, полезного для народа и с благодарностью принятого, высоко оцененного народом. Создана новая, высокоидейная и высокохудожественная литература социалистического реализма, творческие возможности которого неисчерпаемы. Не обольщаемся: были на сложном, трудном пути нашей литературы и огорчительные неудачи. Но писатели Страны Советов всегда оставались с народом, с партией, вместе с ними прошли через все испытания, вместе пойдут и в новые сражения за торжество коммунистических идей, за мирный труд на всей планете, за подлинную свободу для всего человечества.

ПИСЬМО В.ТУРЧИНА А.ЧАКОВСКОМУ

*Главному редактору «Литературной газеты»
А.Чаковскому*

«Литературная газета» опубликовала статью «Идейная борьба. Ответственность писателя». Если не считать вводной части, содержащей лишь хорошо известные общие положения, статья эта целиком направлена на дискредитацию писателя А.И.Солженицына. Содержание и тон этой статьи вызывают у меня глубокое возмущение. Поскольку статья появилась в газете без подписи, она воспринимается как редакционная, и я обращаюсь к Вам как к ее автору.

В этой статье Вы преследуете цель опорочить А.И.Солженицына и представить его в глазах читателя человеком непорочным и враждебным своему народу, причем Вы пытаетесь достичь этого не указанием на какие-либо реальные факты (да я убежден, что таких фактов и нет), а путем голословных, ничем не подтвержденных обвинений, путем литературных ругательств, путем фальсификации и клеветы. Ваша статья пестрит такими выражениями, как «выказывает деланную тревогу», «пытался вступить в своеобразный торг», «лицемерно возлагает моральную ответственность» и т. п. Даже приводя биографические сведения о Солженицыне, Вы называете его человеком «многоопытным». Вы, очевидно, не можете не знать, что выражение «многоопытный» применяется только по отношению к жуликам. Какое право имеете Вы говорить так о солдате, защищавшем Родину от фашистов, о гражданине, незаслуженно пострадавшем от сталинского произвола, о писателе, каждая строчка которого свидетельствует о его искренности, о его любви к людям?

Вы называете «Раковый корпус» идейно незрелым произведением, а «В круге первом» — злостной клеветой на наш общественный строй. Я читал и то и другое и нахожу оба произведения правдивыми и глубокими, составляющими большой вклад в русскую литературу, как и те рассказы Солженицына, которые были опубликованы в нашей печати. Солженицын поражает советского читателя тем мужеством, с которым он пишет правду — так, как он ее видит и понимает. Конечно, Вы можете не соглашаться с его видением и пониманием правды; в отличие от Вас,

я признаю это право за каждым человеком. И если бы Вы напечатали статью с анализом этих двух произведений Солженицына, содержащую сколь угодно резкую критику (именно критику, а не ругательства в адрес автора), то никто не мог бы предъявить Вам никаких претензий. Правда, такую статью Вы могли бы опубликовать — если Вы порядочный человек — лишь после того, как опубликованы произведения, о которых идет речь, чтобы каждый читатель мог составить о них свое мнение. Но этого-то Вы как раз ни в коем случае не хотите допустить по той простой причине, что Вы боитесь правды, правды как таковой, в чем угодно понимании: Солженицына, моем или Вашем... Да, Вы боитесь правды даже в Вашем собственном понимании! Вы так привыкли к маскараду, что писать то, что думаешь, представляется Вам прямо-таки непристойным; это вроде как попасть голым в общество прилично одетых господ. Именно такое содержание скрывается обычно под маскарадным термином «идейно незрелое произведение».

Теперь о клевете. Я, конечно, не отрицаю права обвинять кого-либо публично в клевете, и несколько ниже я сам воспользуюсь этим правом. Но давайте вспомним, что мы называем клеветой. Я думаю, Вы согласитесь с таким, например, определением: клевета — это распространение заведомой лжи (то есть такой лжи, о которой распространитель точно знает, что она — ложь) с целью опорочить объект клеветы. Вы называете «В круге первом» злостной клеветой на наш общественный строй, иначе говоря, Вы утверждаете, что Солженицын написал это произведение не для того, чтобы поделиться со своими соотечественниками пережитым и передуманным во время заключения, а специально сочинил ряд небылиц, руководствуясь лишь желанием опорочить наш строй. Я заявляю, что не верю Вам. Я не верю, что Вы так думаете. Не может так думать человек, прочитавший «В круге первом». Если бы Вы написали, что это произведение тенденциозное, вредное и т. п., то я, пожалуй, поверил бы Вам, что это Ваше действительное мнение (в конце концов, для Вас оно, быть может, и в самом деле вредное). Но Вы перестарались, гражданин редактор, несмотря на весь свой опыт в подобного рода делах. Писатель раскрывается в своих произведениях. Поверить, что Солженицын клеветник, невозможно, и невоз-

можно поверить, что Вы так думаете о нем. Но отсюда следует, что Вы распространяете ложь, в которую сами не верите, а это есть не что иное, как клевета.

Ваше освещение писем Солженицына, написанных в связи с отказом печатать «Раковый корпус» и другими обстоятельствами, мягко выражаясь, тенденциозно. Что касается пьесы «Пир победителей», то я не вижу большой разницы в том, изъяты ли архивные материалы из квартиры писателя или из квартиры его знакомого, у которого он по каким-либо соображениям решил их хранить. Он имеет также полное право хранить копию с этих материалов. До тех пор, пока писатель не публикует своего произведения или не распространяет его каким-либо другим способом, оно остается его личным архивным документом, у Вас же нет никаких фактов о том, что Солженицын распространял пьесу «Пир победителей». Напротив, он распространил письмо, в котором подчеркивал личный характер этого документа и возражал против его распространения. Если бы не вмешательство государственных органов, то никто и не знал бы об этой пьесе. Так что если он и «утратил контроль» над ней, как Вы выражаетесь, то отнюдь не по своей вине.

Каковы же реальные, наблюдаемые факты, которые вызвали появление Вашей статьи? Вот они.

А.И.Солженицын пишет повесть «Раковый корпус» и направляет ее в печать. Сначала ее намереваются печатать, но затем отказываются. Солженицын пишет письма в разные инстанции, добываясь издания повести, но безуспешно. Между тем, повесть вызывает большой интерес и начинает распространяться в машинописи. В конце концов она попадает на Запад, и становится известно, что она будет в ближайшее время издаваться там. Солженицын пишет письмо в «Литературную газету», в котором заявляет, что рукопись он зарубежным издателям не передавал, что поэтому все зарубежные публикации объявляет незаконными и будет преследовать всякое искажение текста, а также его экранизацию или инсценировку.

Вот и все. Теперь скажите, пожалуйста, что вызывает здесь Вашу злобу? В чем неправ Солженицын? Его заявление написано ясно, четко и достойно. Оно преследует цель пресечь использование его произведения в целях, враждебных по отношению к

его родине и к нему самому. Вам следовало бы напечатать это заявление тогда, когда Вы его получили, то есть два месяца назад. Почему Вы не сделали этого?

Я вижу только одно объяснение: заявление Солженицына, напечатанное само по себе, было бы встречено нашей общественностью с сочувствием, всем было бы ясно, что ответственность за то, что «Раковый корпус» издается впервые не на родине автора, а за границей, а также за возможное использование этого факта в антисоветских целях, лежит не на авторе, а на тех, кто препятствовал публикации повести. Вас это не устраивает, и Вы решаетесь опубликовать заявление Солженицына, лишь потратив два месяца на сочинение оскорбительной статьи, ставящей целью опорочить Солженицына путем ругани и фальсификации. В заявлении Солженицына Вам недостает дюжины стандартных проклятий по адресу лакеев империализма. Вы не можете простить Солженицыну его независимости и чувства собственного достоинства. Это-то и вызывает Вашу злобу. Подобно этому, взяточники, например, больше всего на свете ненавидят бескорыстных людей: ведь они разрушают их теорию, что иначе жить нельзя, и лишают их морального оправдания. При этом Вы отлично знаете, что Солженицын лишен возможности дать Вам отпор в печати. Ах, как любите Вы и Вам подобные бить связанного по рукам и ногам человека, особенно когда этот человек выше Вас в профессиональном и нравственном отношениях!

Я хочу еще отдельно остановиться на тех нескольких фразах, в которых Вы касаетесь биографии Солженицына, ибо значение этих фраз выходит за рамки темы статьи. Вы пишете: «Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и *отбывал наказание* в лагерях. В 1957 году реабилитирован». Вот как, оказывается, «отбывал наказание»! Не «был заключен», а «отбывал наказание»! Вы что же, не знаете, что понятие «наказание» включает в себя понятие «преступление»? Вы, конечно, можете возразить, что в следующей фразе написано «был реабилитирован», а это указание на отсутствие преступления. Да, формально это так, но от этого гнусный намек, заключенный в словах «отбывал наказание», не снимается. После слов «был осужден и отбывал наказание» слова «был реабилитирован» воспринимаются просто как «был

освобожден», то ли по амнистии, то ли по окончании срока. В подтексте этих строчек мне видится один из самых отвратительных типов русской истории — тупой самодовольный мещанин, который в 1968 году рассуждает примерно так: «Да, реабилитирован, ну и что? Раз посадили, значит, была причина. Меня вот, например, не посадили же! Просто так Хозяин не сажал!.. Конечно, потом времена изменились, *пришлось реабилитировать*... Но все равно, антисоветчик он и есть антисоветчик...» Да, таков подтекст, и не вздумайте сказать, что Вы его не чувствуете! Как и любой советский редактор, Вы большой специалист по подтекстам, Вы по тридцать раз ощупываете и обнюхиваете каждую фразу, прежде чем пропустите ее в печать. Именно с намерением получить такой подтекст Вы и сформулировали эти фразы. Они относятся, по существу, ко всем невинно осужденным людям. Вам мало перенесенных ими нравственных и физических мучений, Вы продолжаете их травлю, начатую в сталинское время, делая это исподтишка, через подтекст. В этих фразах Вы не на стороне невинно осужденных, а на стороне сталинских доносчиков и палачей.

В течение некоторого времени я поддерживал связи с «Литературной газетой», моя фамилия даже появлялась на ее страницах. Теперь мне приходится стыдиться этого. Я заявляю, что до тех пор, пока Вы остаетесь главным редактором «Литературной газеты», я отказываюсь в какой бы то ни было форме сотрудничать с ней, отказываюсь подписываться на нее и покупать ее. Я полагаю, что для всякого человека, разделяющего мою точку зрения на статью о Солженицыне, это единственно возможная реакция на нее.

В.Ф.Турчин
26 июня 1968 г.

ПИСЬМО Л.КИЗИЕВОЙ А.СОЛЖЕНИЦЫНУ

Гражданин Солженицын!

Благодаря любезности «Лит. газет» узнала место Вашего пребывания на нашей земле и хочу Вам сказать то, что давно хотела сказать.

Я окончила физмат Ростовского университета на несколько лет раньше Вас. Вероятно, в толпе студентов мелькало и Ваше лицо, но не заприметила.

У Вас была сложная судьба. У меня не менее. Но главное отличие меня от Вас — рядовой советской читательницы от человека, претендующего на звание инженера человеческих душ, то, что я горжусь своей советской Родиной, бесконечно люблю ее во всех ее проявлениях, люблю, как Паустовский, а Вы злобно ненавидите все наше, родное, советское и на корню по дешевке торгуете своей совестью и честью.

Вы по званию преподаватель математики, не более, но я, сама педагог, на пушечный выстрел таких, как Вы, не допускала бы к школе, к воспитанию молодежи типов, подобных Вам. Вы — шизофреник с подлой черной душой и можете лишь растлевать души людей, наполняя их своей ненавистью и бешеной злобой ко всему советскому, и так естественно, что антисоветские радиостанции и прогнившие западные издательства с восторгом взяли Вашу пачкотню на вооружение. И Вы охотно поставляете за границу свой дурно пахнущий товарец, не находящий и не могущий найти сбыта среди нас.

Писатель Вы скверный, бесталанный. И пасквилянты. И просто мерзавец по своей сущности. «Голос Америки» и проч. оголтелая свора антисоветчиков — Ваши законные хозяева.

Оглянитесь вокруг — что делается, дорогие мои товарищи и соотечественники! Я была на Целине, куда поехали по путевке комсомола мои дети-врачи, поехала нянчить внука и с радостью наблюдала нашу удивительную молодежь, продолжающую прекрасные традиции лучших комсомольцев 20-х и 30-х годов. Здоровая, сильная, целеустремленная, с широким кругозором наша молодежь. Единицы легковесных и безответственных — где их нет? Но они не типичны.

В войну я видела тыл и героических женщин, детей, стариков, которые крепили тыл. Я видела идейных офицеров советской Армии. И среди них опять же единицами были любители легкой жизни.

Я перенесла 2 инфаркта миокарда, перенесла много тяжелого. И тем не менее тружусь с радостью за каждый предоставленный мне жизнью день. Растет, строится, дыбится моя Роди-

на. И это не цитата. Все делается на наших глазах. Прекрасная молодежь, добрые товарищи вокруг.

Вас привлекает Запад с его оголтелой звериной политикой? Это Ваш стиль мышления? Так катитесь от нас туда! Множьте ряды отщепенцев! На нашей земле Вам нет места! Уходите. Не мешайте нам. Уходите вообще из жизни. Это единственное разумное действие будет среди Ваших подлостей. Вы ушли в подполье, передавая за границу рукописи своих писаний безграмотных. Неужели Вы до сих пор не поняли, что ни Вы, ни Ваша пачкотня *никому* из нас, советских людей, абсолютно не нужны?! Убирайтесь вон!

Считаю, что Вас не надо было выпускать на свободу.

Вас следовало бы расстрелять. И только подлинная гуманность нашего правительства позволяет Вам существовать.

Вон!

*Лидия Кононовна Кизиева,
преподаватель математики*

P.S. Нашу советскую литературу — поэзию и прозу люблю и знаю, но Вас не считаю писателем.

Вы просто враг, трижды враг нашей Родины.

*Ставрополь на Кавказе,
Институт Усовершенствования Учителей*

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПИСАТЕЛЯ И БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

Бывают статьи, которые читаешь с натугой. Пытаешься читать — и невольно откладываешь в сторону. Берешь снова, пробуешь что-нибудь извлечь, получить — и опять не удается. Статья сама мешает себя читать. Не от того, что она предлагает уму и сердцу новую пищу, которая тебе не по зубам. Наоборот, чувство такое, будто жуешь пережеванное. Автор не произвел никакого труда мысли; он лишь механически повторил привычные сцепления слов, а иногда и фраз, а иногда и целых абзацев. Ему было легко писать — вот почему тебе читать затруднительно.

Статью под названием «Идейная борьба. Ответственность писателя», помещенную в «Литературной газете» 26 июня с. г., я

несколько раз брала в руки — и снова откладывала, не преодолев затруднений. Речь идет о борьбе идей, а идей-то и не удержишь; не борьба, а скольжение по накатанной дорожке; не идеи, а вереницы словес. Если преданность, то беззаветная, если верность, то безграничная, если волна клеветы, то мутная, если отпор, то достойный. Воображения не хватает, чтобы за этим набором готовых штампов увидеть преданность, верность или обжечься ядом клеветы. Если встречи — то регулярные, если клеветническая кампания — то разнузданная, если отстаивание — то последовательное, а если речь зашла о литераторах, требующих пересмотра дела Гинзбурга и Галанскова, — то они, эти литераторы, уж конечно, отдельные. Не работа мысли, а механическая перестановка значков.

И я сдалась бы на свое нежелание дочитывать статью до конца... Но дочитала: в середине речь зашла о Солженицыне. Все эти пустые словеса вели, оказывается, к обсуждению его работы и жизни.

Автор взялся изложить биографию А.Солженицына. Но изложил ее без надлежащей точности.

Помянул письмо к IV Съезду писателей, «Раковый корпус», «В круге первом» — осудил их, не представив для того оснований.

Имя А.Солженицына — слишком дорогое имя в нашей литературе, чтобы позволительно было оставлять без опровержения малейшую неправду о нем. Тем более, что в данном случае читатель вполне беззащитен: книг А.Солженицына и сведений о его жизни взять ему неоткуда.

Я попытаюсь хоть отчасти восполнить этот пробел и сделать для читателя ясной истинную подоплеку борьбы, завязавшейся вокруг Солженицына.

«Последние годы Великой Отечественной войны, — сообщает газета, — Солженицын провел на фронтах в качестве командира зенитной батареи, имеет награды».

А.Солженицын был призван в армию в 1941 г. Через год, по окончании специального училища, назначен командиром артиллерийской батареи. Артиллерийская батарея, как известно, — не зенитная, а 1942 — не один из последних, а, напротив, один из первых годов войны. Разумеется, ошибки эти ничтожны, но в

статье об ответственности писателя не следовало бы допускать и таких. Журналистика — тоже дело ответственное.

Читаем дальше:

«Незадолго до окончания войны он был осужден по обвинению в антисоветской деятельности и отбывал наказание в лагерях. В 1957 г. реабилитирован».

Тут нет фактических неточностей. Но этот абзац — нечто гораздо худшее, чем неточность.

А.Солженицын действительно реабилитирован. Какое же право, моральное и юридическое, имеет «Литературная газета» публично заговаривать о не совершенном им преступлении? Ведь граждане, реабилитированные после смерти Сталина, это те жертвы ежовского, бериевского, абакумовского — короче, сталинского террора, которые не были виновны перед законом и обществом; напротив, общество и учреждения, призванные вершить и охранять закон, оказались виновны перед ними. Зачем же газета бесстрастным голосом и как бы между прочим снова преподносит читателям единожды уже разоблаченную ложь? Оба факта на выбор: хотите — верьте обвинению, хотите — реабилитации... Совсем как в известном анекдоте: «Петров? Ах, это тот, с которым что-то случилось, не припомню, что именно: то ли он кого-то обокрал, то ли, наоборот, его обокрали... Во всяком случае, будьте осторожны».

Могу заверить «Литературную газету»: обокрали *его*. На 8 лет жизни. Украли бы и целую жизнь («вечная ссылка»), да Сталин оказался не вечен.

В 1963 г. (в предисловии к книге «Один день Ивана Денисовича») было сказано: «арестован по ложному политическому доносу». Прошло всего пять лет — и бедная «Литературная газета» заблудилась в тумане и снова не знает, где истина.

Реабилитация Александра Солженицына («Определение № 4н-083/57 Верховного Суда СССР от 6 февраля 1957 г.») составлена, к счастью, очень подробно и дает полное представление о его боевом пути и о причинах обрушившихся на него гонений.

А.Солженицын «храбро сражался за Родину, — написано в этом документе, — неоднократно проявлял личный героизм и увлекал за собой личный состав подразделения, которым коман-

Вряд ли истребление миллионов неповинных людей Смирнов осмеливается считать заслугой Сталина. Стало быть, оно в его глазах «ошибка». Не преступление против человечности, за которое должны нести ответственность сообщники сталинских злодейств; не зверство; не самая грандиозная провокация, какую когда-либо знала история, — провокация, едва не сбившая с толку целый народ, — а деликатненько: «ошибка» (со стороны «буквально — человека-глыбы, до вершин вознесшейся не вдруг»).

В дальнейших строках С.Смирнов признается, что он все еще не знает объективной истины о Сталине. Ну, уж если до сих пор не знает, — тут уж, боюсь, ему не поможешь ничем. Вот разве что: не почитать ли ему Солженицына?

Я вовсе не намерена сводить все богатство философского, социального, нравственного содержания солженицынских книг к разоблачению сталинщины. Для них это слишком узко. И если я подчеркиваю сейчас антисталинскую направленность произведений А.Солженицына, то лишь потому, что «Литературная газета» о ней ни слова, а между тем в ней-то и зарыта собака. В ней — и в перемене погоды.

В 1964 году на роман «В круге первом» с автором заключил договор журнал «Новый мир». Сегодня, в 1968 году «Литературная газета» сообщает, что роман — это «злостная клевета на наш общественный строй». Что же переменялось? Роман? Нет. Строй? Тоже нет. Наше прошлое? Оно неизменно. Изменилась погода. Дана новая беззвучная команда: окутать прошедшее туманом. Не расслышав этой беззвучной команды, читатель не поймет, почему не напечатаны до сих пор ни «Раковый корпус», ни «В круге первом». Почему у автора два года назад конфискован архив и до сих пор не возвращен ему. Почему перестали выдавать в библиотеках «Один день Ивана Денисовича». (Их там слишком много!) Почему на специальных инструктажах планомерно, из году в год, распространяются о Солженицыне злобные выдумки: сотрудничал с немцами! был в плену! уголовник, блатной! шизофреник!

Надо ведь изобрести способ расправиться с писателем, который продолжает разоблачать сталинщину уже после того, как дана команда забыть о ней. Нет, конечно, вспоминать можно, но лишь по-смирновски, вот на такой манер:

Всенародно,
в октябре и мае,
Мы сверяли чувства по нему.
И стоял он, руку поднимая,
Равный громовержцу самому.

В повести «Раковый корпус» Сталин не изображен. Это скорее философская, нежели историческая повесть. Тут, как в повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», автор ставит своих героев лицом к лицу со смертью и каждого принуждает оглянуться на прожитую жизнь и задуматься над ее смыслом. Над смыслом жизни — своей и общей.

Материал для таких раздумий богатейший: палата ракового корпуса — это, в сущности, палата смертников. Но Солженицын не был бы могучим художником, если бы проблемы, в изобилии поднятые им на страницах повести, не воплотились в живых людях, чьи характеры и биографии оглушают своей подлинностью; если бы каждое изображенное им жизненное положение, каждая созданная им страница не преподносила читателю крепчайший настой действительной жизни. (Одно из свойств солженицынской прозы: рядом с нею чуть ли не всякая другая кажется недостаточно правдивой.) Действие в «Раковом корпусе» происходит в 1955 году. Сталин уже умер, носятся слухи о приближающемся падении застенка. Проникают эти слухи и в больницу. А тут, среди больных и здоровых, немало лиц, так или иначе прикосновенных к миру лагерей и тюрем, — Костоглолов, бывший заключенный, ныне ссыльный; уборщица — из ссыльных; бывший лагерный десятник; а также заведомо кадров Русанов, причастный к лагерям, так сказать, с иного конца: он — поставщик свежей человечины в сталинские лагеря смерти. (Попутно, когда ему понадобилась комната с балконом, Русанов упек в лагерь и своего друга, соседа по квартире, написав на него вместе с женой семейный донос.) В туго завязанном жизненном узле переплетаются не только судьбы — мысли; тут что ни человек — то носитель идеи, завоеванной, выстраданной целую жизнью, — накануне конца. Повесть совершает то великое дело, которое и должна творить литература: она учит работать мысль читателя.

Но издана она лишь в Самиздате; восемь глав, сверстанные в «Новом мире», были из журнала вынуты. Вынуты, несмотря на то что секция прозы обсуждала повесть и все 21 выступавших говорили о необходимости ее напечатать.

«В идейном отношении, — глубокомысленно заявляет «Литературная газета», — повесть, как отмечалось на секретариате, нуждалась в существенной переработке».

И это в статье — единственная характеристика повести! Искусство бюрократического письма в том и состоит, чтобы осудить чью-то мысль (или книгу), не дав читателю ни малейшего представления о ней.

А любопытно было бы узнать: какая именно идея из проповедуемых автором не устраивает секретариат? Идея очеловечения человека? Ненависть к бессмысленной жестокости, пропитывающей жизнь до краев? Преклонение автора перед самоотверженной работой врачей? Размышления о том, в какой мере врач имеет право самостоятельно решать судьбу больного? Какая именно?

На эти вопросы «Литературная газета» ответить не только не хочет — не может. Тут в самом деле должен совершаться труд мышления, а думать и обосновывать свои мысли — это вовсе не то же самое, что переставлять словечки: настойчивый отпор и мутная волна. Тут нужен анализ чужих идей, чужих аргументов, нужны поиски собственных доводов, живая, напряженная, страстная, строгая работа ума. Статья же «Идейная борьба...» поражает своей безыдейностью. Какая уж тут борьба идей, когда свежим и грозным раздумиям Солженицына, скорбным укоризнам Каверина, выступившего на защиту солженицынской повести, всем их мыслям, основанным на целой гряде тут же приведенных ими фактов, газета противопоставляет не идеи, не мысли и уж конечно не факты, а либо порочащие ярлыки, либо какие-то пустые придирки, совершенно внешние, не касающиеся сути идущего спора... А.Солженицын, видите ли, отправил свое Письмо IV Съезду «в нарушение общепринятых норм поведения», т. е. не в одном экземпляре, как положено, в Президиум, а в сотнях — Президиуму, журналам, делегатам. Да забудьте вы хоть на минуту о способе, каким было послано Письмо, вспомните о самом Письме, напечатайте его или расскажите читателю

его содержание, ответьте на него, попробуйте противопоставить мыслям автора собственные, если они у вас есть, — опрокиньте, опровергните его утверждения в открытом бою — тогда это будет называться идейной борьбой! А до тех пор это бюрократическая придирка. На роман «В круге первом» вы истратили шесть слов: «содержит злостную клевету на наш общественный строй», — а в романе 35 печатных листов, а в романе — десятки героев, а действие происходит в самых разных слоях нашего общества, в разных его этажах, а сумма идей такова, что их хватило бы на десять романов, — где же именно скрывается на этих 35 листах злостная клевета? из чего складывается? в чем состоит? почему бы вам не вытащить ее наружу и не опровергнуть?.. Вы ставите в вину В.Каверину, что он будто бы ежедневно слушает по иностранному радио свое письмо К.Федину (какая богатая осведомленность в домашнем быте писателя!). Когда же дело доходит до дела, т.е. до содержания письма, вы замечаете: «нет нужды разбирать это письмо в подробностях».

Нет нужды? если так — не называйте свое выступление идейной борьбой! Это какая-то другая борьба, не идейная.

У «Литературной газеты» своя забота: А.Солженицын должен отмежеваться от шумихи, поднятой вокруг его имени на Западе. Вот тогда-то он сделается наконец идейным писателем и может надеяться быть удостоенным упоминания рядом с самой Галиной Серебряковой. (А не отмежуете — пусть пеняет на себя.) Главное, от чего ему следует отмежеваться, — это от шумихи, поднятой на Западе вокруг Письма IV Съезду писателей. (А заодно хорошо бы и от идей Письма.)

Когда я впервые прочитала это необыкновенное Письмо, мне представилось, что сама русская литература оглянулась на пройденный путь, обдумала, взвесила все, что ей довелось пережить, подсчитала утраты и потери, помянула гонимых — тех, кого загубили в тюрьме, и тех, кого загубили на воле, взвесила урон, нанесенный гонениями духовному богатству страны, и голосом Солженицына произнесла — довольно! больше так нельзя! будем жить по-другому!

«...позднее издание книг и “разрешение” имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественно-

го сознания. (В частности, были писатели двадцатых годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культуры, и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях “пропустят — не пропустят”, “об этом можно — об этом нельзя”. Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики».

«Я предлагаю Съезду принять требование и добиться упразднения всякой — явной или скрытой — цензуры над художественными произведениями, освободить издательства от обязанности получать разрешение на каждый печатный лист».

А.Солженицын сделал все возможное, чтобы голос русской литературы раздался на Съезде. Но несмотря на то, что десятки делегатов поддержали его и обратились в Президиум Съезда с требованием обсудить Письмо, — оно ни оглашено, ни обсуждено не было.

Трудненько, видно, бороться с идеями; гораздо легче замалчивать их и, замалчивая, порочить.

Голос литературы так и не прозвучал на писательском съезде.

И это понятно. Их, проклятых, и в этом Письме слишком много: среди писателей одних лишь реабилитированных 600 человек, из них 180 — посмертно! Опровергнуть письмо нельзя ничем — и факты, и выводы неопровержимы; гораздо легче сообщить, как сделала «Литературная газета», что «западная пропаганда подняла вокруг письма разнузданную антисоветскую шумиху». Шумиха — шумихой, а в чем же дело в Письме? Почему оно не было ни напечатано, ни оглашено с трибуны? В чем его содержание? Почему шум шумихи заглушает для «Литературной газеты» смысл самого Письма?

Единственное место, которое газета рискует изложить и на которое пытается ответить, — это предложение А.Солженицына внести в Устав Союза Писателей пункт об обязанности Союза защищать неправо гонимых.

Как? Защищать? Своих членов? Союз?

В самом деле, развернем это предложение в жизнь, и мы сами убедимся, что оно — фантастическое.

Например: дан сигнал травить Пастернака. Выступает тов. Семичастный, большой знаток литературы, и публично, с трибуны, объявляет великого поэта — свиньей. Да, да, попросту свиньей — чавкающей или хрюкающей, не помню.

И тут Союз Писателей — слушайте! слушайте! — вместо того, чтобы, покрыв себя навеки позором, исключить Пастернака, вступает за своего собрата и спокойно, с достоинством объясняет на страницах своей газеты невеждам, кто такой Пастернак.

Или вот другой пример: Солженицын. Помечтаем! Вместо того чтобы сообщать в той же статье, что архив, отобранный у него, отобран не в Рязани, а в Москве; и не на квартире у Солженицына, а на квартире у его друга — как будто это имеет какую-нибудь важность! — Союз и газета начинают борьбу за возвращение архива. Газета напоминает общественности, что архив писателя — его святая святых, что никто не смеет лезть туда руками, что довольно уже погибло драгоценных писательских архивов в таинственных недрах, что распространять, вопреки воле автора, выкраденную из его архива рукопись, от которой он давно и громогласно отказался, — беззаконие и бесстыдство... Увы! все это лишь в мечтах. А в действительности газета стала соучастницей похитителей: в той же статье пересказала содержание отвергнутой автором пьесы.

Второго такого случая я в нашей печати не знаю. Умышленно не давать читателю представления о повести и романе, за опубликование которых годами открыто борется автор, — и пересказать во всеуслышание пьесу, никогда ни для печати, ни для распространения не предназначавшуюся, хранившуюся в личном архиве... Это беспримерно. Не выкрасть ли у Солженицына (на этот раз уже из его квартиры в Рязани, а не из квартиры его друга в Москве) дневник или письма к жене и не пересказать ли в «Литературной газете»? Это было бы еще интереснее.

Несмотря на горестный и богатый опыт разнообразных писательских гибелей, газета отвергает необходимость внести в Устав Союза пункт об обязанности Союза защищать своих членов: «Такой пункт, — пишет газета, — ставил бы Устав Союза

Писателей над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех советских граждан защиту от клеветы и несправедливости».

Да почему же непременно *ставил бы над?* Каждый местом каждого профсоюза имеет такие права — защищать своих членов, и это нисколько не ставит его *над* судом или прокуратурой, а лишь способствует общей борьбе с произволом и несправедливостью.

Но «Литературной газете» столько же дела до справедливости, сколько и до литературы. У нее своя навязчивая идея: добиться, чтобы писатель А.Солженицын, а заодно и писатель В.Каверин, вступившийся за Солженицына, отмежевались от шумихи, поднятой на Западе вокруг их имен. Вокруг их писем: Солженицына — Съезду, Каверина — Федину. В письмах обоих писателей заключена неоспоримая правда, а правда, как известно, не превращается в кривду в зависимости от шумихи или от того, на какой волне она передана. Шуми или замалчивай, а правда остается сама собой. И не о шумихе должна думать в первую очередь газета, а о сущности дела: истинно ли то, что вызывает шум?

Я не спорю — это большое несчастье, большое унижение для нашего народа, для всех нас, получать собственное богатство из чужих рук. Но чтобы избежать этого, есть одно-единственное средство: значительные произведения советской художественной литературы и советской общественной мысли надо печатать дома. И передавать по радиостанциям «Маяк» и «Юность». Тогда и читатель окажется духовно накормлен, и шумихи не будет, и заставляя писателей отречься и отмежеваться не станет нужды.

Упрекая К.Федина в том, что он, именно он, помешал напечатать «Раковый корпус» в «Новом мире», В.Каверин пишет:

«Это значит, что роман останется в тысячах списков, ходящих по рукам... Это значит, что он будет опубликован за границей. Мы отдадим его читающей публике Италии, Франции, Англии, Западной Германии, то есть произойдет то, против чего энергично и неоднократно протестовал сам Солженицын. Возможно, что в руководстве Союза Писателей найдутся люди, которые думают, что они накажут писателя, отдав его зарубежной

литературе. Они накажут его мировой славой, которой наши противники воспользуются для политических целей. Или они надеются, что Солженицын “исправится” и станет писать по-другому? Это смешно по отношению к художнику, который представляет собой редкий пример поглощающего призвания, пример, который настоятельно напоминает нам, что мы работаем в литературе Чехова и Толстого».

Истину этих слов не заглушит ни шумиха на Западе, ни административный окрик «Литературной газеты».

«Редкий пример поглощающего призвания»... — точнее об А.Солженицыне не скажешь. Каждая из его вещей — словно свидетельство на каком-то незримом судилище, где он минуту назад принял присягу говорить «правду, одну лишь правду и всю правду».

Присягнул — собственной прожитой жизни, людям, с которыми вместе шел по жизненным путям.

Письмо Солженицына кончается так: «Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть».

И такого человека «Литературная газета» вздумала обучать ответственности!..

Ну, разве не смешно?

Лидия Чуковская
27 июня — 4 июля 1968 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЕННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЕРХОВНОГО СУДА СССР
О РЕАБИЛИТАЦИИ А.СОЛЖЕНИЦЫНА

Верховный Суд Союза ССР
Определение № 4н-083/57

Военная Коллегия Верховного Суда СССР
В составе: Председательствующего
полковника юстиции Борисоглебского
и членов — полковников юстиции Долотцева и Конова
рассмотрела в заседании от 6 февраля 1957 г.

Протест Главного военного прокурора
на постановление Особого совещания при НКВД СССР
от 7 июля 1945 года,

на основании которого по статьям 58—10, ч. 2, и 58—11
УК РСФСР был заключен в ИТЛ сроком на 8 лет

Солженицын Александр Исаевич, рождения 1918 года,
уроженец гор. Кисловодска, с высшим образованием, до ареста
являлся командиром батареи, участвовал в боях против немец-
ко-фашистских войск и был награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени и Красной Звезды.

Заслушав доклад тов. Конова и заключение зам. Главного
военного прокурора — полковника юстиции Терехова, полагав-
шего протест удовлетворить,

установила:

Солженицыну вменялось в вину то, что он с 1940 года и до
дня ареста среди своих знакомых проводил антисоветскую аги-
тацию и предпринимал меры к с озданию антисоветской орга-
низации.

В протесте Главный военный прокурор ставит вопрос об
отмене в отношении *Солженицына* указанного постановления
Особого совещания и прекращении о нем дела за отсутствием
состава преступления по следующим основаниям.

Из материалов дела видно, что *Солженицын* в своем дневни-
ке и в письмах к своему товарищу Виткевичу Н.Д., говоря о пра-
вильности марксизма-ленинизма, о прогрессивности социалисти-
ческой революции в нашей стране и неизбежной победе ее во всем
мире, высказывался против культа личности Сталина, писал о ху-
дожественной и идейной слабости литературных произведений
советских авторов, о нереалистичности многих из них, а также о
том, что в наших художественных произведениях не объясняется
объемно и многосторонне читателю буржуазного мира историче-
ская неизбежность побед советского народа и армии, и что наши
произведения художественной литературы не могут противостоять
ловко состряпанной буржуазной клевете на нашу страну.

Эти высказывания *Солженицына* не содержат состава пре-
ступления.

В процессе проверки жалоб *Солженицына* были допроше-
ны Решетовская, Симонян, Симонянц, которым *Солженицын*

якобы высказывал антисоветские измышления. Указанные лица
охарактеризовали *Солженицына* как советского патриота и от-
рицали, что он вел антисоветские разговоры.

Из боевой характеристики на *Солженицына* и отзыва слу-
жившего вместе с ним капитана Мельникова видно, что *Солже-*
ницын с 1942 года до дня ареста, т. е. до февраля 1945 года, нахо-
дился на фронтах Великой Отечественной войны, храбро сра-
жался за Родину, неоднократно проявлял личный героизм и
увлекал за собой личный состав подразделения, которым коман-
довал. Подразделение *Солженицына* было лучшим в части по
дисциплине и боевым действиям.

Исходя из изложенного, Главный военный прокурор счита-
ет, что осуждение *Солженицына* является неправильным, и в
связи с этим ставит вопрос о прекращении о нем дела на основа-
нии ст. 4 п. 5 УПК РСФСР.

Рассмотрев материалы дела и дополнительной проверки,
соглашаясь с доводами, изложенными в протесте, и принимая во
внимание, что в действиях *Солженицына* нет состава преступ-
ления и дело о нем подлежит прекращению за отсутствием со-
става преступления, Военная Коллегия Верховного Суда СССР

определила:

постановление Особого совещания при НКВД СССР от
7-го июля 1945 года в отношении *Солженицына* Александра
Исаевича отменить и дело о нем за отсутствием состава пре-
ступления на основании ст. 4 п. 5 УПК РСФСР *прекратить*.

Подлинное за надлежащими подписями.

С подлинным верно: ст. офицер Военной коллегии

майор а/с Дегтярев

ЧЕРНАЯ ПОДОПЛЕКА «ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ»

На днях «Литературная газета» опубликовала редакцион-
ную статью, с лицемерием и помпой названную «Идейная борь-
ба. Ответственность писателя».

Чувство гнева и возмущения вызвала во мне эта инквизи-
торская стряпня. Какое откровенное словоблудство, пренебре-
жение к истине! Демагогия самой низкой пробы.

Вот, оказывается, уже до чего дошло. И где? В центральной газете работников слова, «инженеров человеческих душ»!

Это ли не красноречивое свидетельство морального падения, духовной деградации в руководящих сферах Союза писателей?!

Если с точки зрения социально-политической оценить эту «идейную борьбу» — что это? — ответ напрашивается один: реакция, идеологический террор.

Своей черной статьей «Литературная газета» сделала еще более очевидным тот неприглядный факт нашей общественно-политической и литературной жизни, когда люди мыслящие, принципиальные, для которых понятие чести и достоинства не пустой звук, которые не идут на сделку с совестью и свой долг перед Родиной, служение народу видят в том, чтобы говорить правду, — вопреки всем конституционным законам нашего государства, всячески преследуются, не могут из-за препон цензуры и бюрократического аппарата сделать достоянием общества свои взгляды и убеждения, или, говоря иначе, лишены гражданских свобод и профессионально-творческих условий проявления личности. В то же время беспринципные трубадуры, консерваторы и демагоги (вроде «идейных борцов» при «Литературной газете») получают полную свободу действий, имеют право за дымовой завесой политической трескотни травить и третировать всех тех, кто не в их стане и не хочет с ними выть по-волчьи.

Разве это не реакция, не идеологический террор?! Разве не по этой причине один из самых честных и самобытных талантов нашего времени писатель А.Солженицын не может опубликовать своей повести «Раковый корпус»?!

Почему бездарное словоблудие и скудомыслие имеют право на «зеленую улицу» в журналах и книжных издательствах, а истинная литература вынуждена пробивать себе дорогу ценою душевных мук, унижений и обид?!

Или возьмем другое. Почему Вы не пустили А.Солженицына на IV съезд писателей, а сейчас обвиняете его в том, что он-де не принимает участия в общественной жизни Союза?

Почему Вы не сделали достоянием общественности его письмо съезду, а сами, выдергивая задним числом отдельные фразы, занимаетесь инсинуацией и клеветой?

Вы боитесь правды, боитесь честных условий борьбы.

Так не думайте же, что мы поверим Вам...

Нет надобности отвечать на все демагогические нелепости Вашей интриганской статьи. Противно!

Но нельзя пройти мимо того, ради чего она затеяна, что составляет ее политическую социальную подоплеку.

Вот с первых же слов, в своей трескучей увертюре, перечисляя главные этапы нашей истории, Вы почему-то забыли о таком существенном ее этапе, как культ личности, кровавый политический террор 1937 года, сыгравший столь зловещую роль в духовной жизни народа.

У Вас же получается все шито-крыто. Это и понятно. Вы хотели бы видеть историю (а следовательно, и жизнь) такой, какая Вам на руку. Естественно, Вам по нраву и соответствующая литература.

Вот почему Вам так не люб А.Солженицын, писатель, который сам испытал трагедию культового времени и в своем творчестве, в анализе действительности исходит из учета этой духовной драмы и исторического опыта народа.

Вы же хотите забыть прошлое, перекинуть через это мосток к нашим дням. Оттого-то и шумите так, стремясь заглушить жизненные противоречия политической трескотней.

В этом принципиальная разница Вашей позиции и позиции А.Солженицына.

Нам понятна тревога А.Солженицына, когда он выступает против возрождения в литературе и в жизни духа того времени. Понятно и то, почему он требовал включения в Устав Союза пункта о гарантиях защиты писателей. Вы пытались ошелмовать его в этом, с иезуитским цинизмом и лицемерием заявляя, что «такой пункт ставил бы Устав Союза писателей над общегосударственными законами, обеспечивающими равную для всех советских граждан защиту от клеветы и несправедливых преследований».

Какая логика! Как будто раньше не было (или сейчас нет) подобных законов. Главное-то — что отстаивать, — суть, а не форма.

Как писатель гражданского мужества и огромного художественного таланта А.Солженицын закономерно вышел в правофланговые нашей литературы. Отрадно, что наконец-то по-

явился писатель, для которого литература — «территория правды», что, несмотря на трудности и лишения, он не идет на компромиссы с совестью. Он видит истину такой, какова она есть, и в своих произведениях по опыту великих русских классиков стремится «дойти до корня».

Все это и делает его новым явлением нашей литературы. Вот это и есть лучшее служение Родине, народу, от которых Вы пытаетесь отлучить его, прибегая к избитому буржуазному пугалу.

На фоне его творчества уж слишком очевидна Ваша духовная нагота, уж слишком кажется несерьезной и ненужной вся Ваша суетная работа.

Вот почему Вы так тщитесь оклеветать и политически дискредитировать его.

Не выйдете! Не загрязнить Вам свежего и чистого источника Солженицынского слова. Не помогут Вам в этом черные антисоветские ярлыки. Мы слишком выросли, чтобы не понимать, что выступать против ненормальных явлений, старых, отживающих форм жизни, за которые Вы держитесь обеими руками, еще вовсе не значит — попасть под влияние буржуазной идеологии, выступать в антисоветских целях. Ведь Вам же не нравится, когда на Западе страшают и шантажируют демократические силы коммунистическим пугалом, желая дать дорогу реакции.

Не тяните историю вспять, к ее черным порогам.

Родине Ленина нужны демократические формы жизни.

Б.Попов

ПИСЬМО ЧИСТЯКОВА А.ЧАКОВСКОМУ

Оловянных солдатиков строим
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» мы яростно воим,
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.

Беранже

Уважаемый тов. Чаковский!

С глубоким прискорбием прочитал я в «Литературной газете» статью о Солженицыне.

«Чернить человека, которого сочинения строжайше запрещены! Подло, глупо и бесполезно».

Это слова не мои, это слова Писарева. Они напечатаны на стр. 121 второго тома его сочинений (Гослитиздат, 1955 г.). Это из его замечательной статьи «О брошюре Шедо-Ферротти». Ведь не зря же мы читаем классиков. Нужно и у них кое-чему учиться.

Дурную статью Вы одобрили, тов. Чаковский. Не принесет она Вам ни славы, ни радости.

«То, что вообще дурно, всегда остается дурным, кто бы ни был его носителем, — будет ли критик частный или же назначенный правительством, — но в последнем случае дурное получает санкцию свыше и рассматривается как нечто необходимое для осуществления добра снизу». Так писал Маркс.

О писателе мы судим по его произведениям. Буквально все опубликованные вещи Солженицына — настоящая литература. У меня, у читателя, нет другой возможности судить об этом писателе, кроме чтения и перечитывания его произведений.

Ни одной вредной или враждебной нашей идеологии мысли я в них не вижу. Да и мудрено их увидеть: ведь их просто нет. Есть проблемы, о которых не принято говорить или стало не принято говорить.

Статья в «Литературке» безусловно апеллирует к общественному мнению. Вы хотите, чтобы читающая общественность осудила Солженицына. Не знаю, как общественность, а мне лично кажется, что автор «Одного дня Ивана Денисовича» настолько любит людей и свою Родину, что обвинить его в каких-либо политических грехах можно только с помощью весьма вольного пересказа или тенденциозно подобранных цитат.

Я не читал ни «Ракового корпуса», ни «В круге первом», но с чужих слов судить о них не хочу. Если даже в беспристрастном пересказе любое истинно художественное произведение теряет все свои краски и в лучшем случае остается голый сюжет, то как можно ожидать хотя бы беспристрастности от «Литературной газеты», которая за два последних года приложила немало усилий, чтобы как-нибудь невзначай не упомянуть имени Солженицына.

Настоящий писатель должен иметь возможность печататься. Писателю можно запретить печататься, но нельзя запретить писать.

Но запрет публиковаться приводит к тому ненормальному явлению, когда произведения начинают ходить в списках и приобретают нездоровую славу. Единственный способ борьбы с этим явлением — публикация. Право же, наш читатель не так глуп и инфантилен, как это кажется руководителям издательств. Он очень хорошо поймет все сам, и если увидит какую-нибудь политическую или другую непотребность, то откликнется на нее куда быстрее иных критиков.

«Литературная газета» встала на неблагородный путь обвинения Солженицына во многих грехах, строя эти обвинения на фундаменте отдельных цитат и фактов. Ну как тут не привести цитату из Ленина:

«Чтобы это был действительно фундамент, необходимо брать не отдельные факты, а *всю совокупность* относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, *без единого* исключения, ибо иначе неизбежно возникает подозрение, и вполне законное подозрение, в том, что факты выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и взаимосвязи исторических явлений в их целом преподносится “субъективная” стряпня для оправдания, может быть, грязного дела».

Я не могу утверждать наверняка, но, вероятно, Солженицын ответил на эту статью. По логике вещей Вы должны были опубликовать этот ответ. Однако пока никакого ответа в газете нет. Можно предполагать, что его и не будет. Видимо, редколлегия «Литературной газеты» считает, что этому одиозному имени не место на страницах газеты.

Мне хочется, конечно, чтобы Вы опубликовали мое письмо, но я не так наивен, чтобы на это рассчитывать. По поводу Солженицына я в свое время писал в «Правду» и в «Новый мир», но даже не получил ответа.

Чистяков (инженер)
18 июля 1968 г.

Писателю А.Солженицыну

В № 26 «Литературная газета» напечатала Ваше письмо и редакционную статью «Идейная борьба. Ответственность писателя». В этой статье Вас, поставщика клеветнических материалов на нашу советскую действительность для буржуазной про-

паганды, по-отечески пожурили. Вы, по-видимому, и до сих пор состоите членом Союза *советских* писателей.

Как удастся Вам совмещать в одном лице два Ваших занятия: клеветника на жизнь советского народа и члена Союза советских писателей СССР?

Я много раз перечитал названную статью в «Литературной газете» и убедился, что Вы не только не изменили своего отношения к нашей (но не Вашей!) советской Родине, но были и остались активным борцом против нее.

В конце войны Вас, офицера Советской Армии, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. До 1957 г. Вы отбывали наказание, а потом были реабилитированы. Но всем своим творчеством Вы заставляете усомниться в правильности реабилитации.

В лагере Вы устно создаете пьесу «Пир победителей», в которой клевете на Советскую Армию, сочувствуете власовцам, возводите в ранг добродетели предательство, высмеиваете лучшие человеческие качества: преданность Родине, издевательски высмеиваете бессмертные подвиги Зои Космодемьянской и Александра Матросова. После реабилитации Вы фиксируете пьесу на бумаге и переправляете ее за границу.

Следовательно, Ваш образ мышления, Ваши идеалы не изменились с 1945 года.

Как совмещали Вы службу в Советской Армии в качестве офицера с клеветой на эту армию? Значит, Вы служили в армии, которую ненавидели, и не просто ненавидели, а своей антисоветской деятельностью разлагали ее. Разлагали, когда приближалась наша победа. С какой целью, позвольте спросить? Остановить наступление? Нет, на это командир батареи, человек с высшим физико-математическим образованием рассчитывать не мог. Вы просто хотели в конце войны удрать на Запад и там продолжать свою антисоветскую деятельность в более крупных масштабах, а для этого собирали «политический капитал» в виде антисоветской деятельности.

Страстное желание сотрудничать (и не только желание, а и теснейшее сотрудничество!) с империалистической пропагандой, направленное против СССР, не покидает Вас до сего времени.

Если внимательно прочитать Ваше письмо в «Литературную

газету» от 21.4.68, то станет ясно, что все Ваши мысли и желания там, где печатают Вашу повесть «Раковый корпус», в Италии и Англии, в издательствах, специализирующихся на книгах, в которых каждое слово дышит ненавистью к Советскому Союзу.

Днем и ночью Вы, Солженицын, видите себя в обществе Мондадори и Бодли Хэда.

В своем письме в «Литературную газету» Вы пишете: «Я уже имею опыт, как во всех переводах был испорчен “Иван Денисович” из-за спешки. Видимо, это же ждет “Раковый корпус”».

Что ждет? Спешка? А почему, собственно, спешат черные вороны западной пропаганды? Падаль почуяли?

Почему Вы, имеющий опыт и знающий, что во всех переводах был искажен «Иван Денисович», переправили рукопись «Ракового корпуса» в антисоветское логово? Да с целью, чтобы его исказили в «спешке»!

И не ради литературы и даже не ради денег поставляете нашим идеологическим противникам антисоветские творения Вы, Александр Солженицын.

В активной борьбе против социализма и коммунизма видите Вы свое призвание, цель своей жизни.

Каждая строчка, написанная Вами, проникнута ненавистью к нашему общественному строю, дышит злобой, шипит змеей, клокочет беспардонной клеветой на все, что завоевал наш народ под руководством Коммунистической партии.

Не ссориться Вам надо с членами Секретариата Союза писателей, а денно и ночью поминать их, Ваших покровителей и доброжелателей, в своих антисоветских молитвах. Не они ли предоставили Вам страницы толстых журналов и издательства для Ваших произведений. Не они ли отечески оберегают Ваши пасквили от справедливой критики. Память у Вас коротка. Молиться за такой Секретариат надо!

Ответьте Вы, понимающие толк в буржуазной демократии, напечатали бы беспрепятственно Вашего «Ивана Денисовича» в Италии или, скажем, в ФРГ, если бы место действия повести были бы названные страны, а не Советский Союз?

Нет, не напечатали бы. И даже не потому, что каждая строка в ней общественная клевета, да еще и потому, что Ваша повесть ничего общего с художественной литературой не имеет.

Это уже, к счастью, поняли в ССП, но поняли еще не настолько, чтобы не только дать трезвую оценку Вашему творчеству, но и поставить вопрос о Вашем членстве в ССП.

Поклонитесь в ноги и органам госбезопасности, которые так пекутся о Вашей безопасности. Ни в одном государстве мира человека, который клеветает на основы государства, поставляют материал враждебной государству стороне нелегально через границу, не оставили бы на свободе. А вы свободны, и не потому, что популярны на Западе, а потому, что живете в стране, где даже такого человека, как Вы, стараются перевоспитать...

Неужели Вы не понимаете, что в 1945 году с Вами поступили гуманно? По законам военного времени Вас, офицера армии, разлагающего армию, в любой другой стране расстреляли бы.

После выступления «Литературной газеты» я уверен, что амнистировали Вас ошибочно. А Вы, наверное, другого мнения?

Отравленные ненавистью ко всему, что окружает Вас, Вы разучились реально смотреть на вещи, а неизвестно за какие дела (вернее, известно!) свалившаяся с неба слава (еще бы: повесть «Один день Ивана Денисовича» была представлена к Ленинской премии!) вскружила Вам голову.

Замечу, что представление повести «Один день Ивана Денисовича» к Ленинской премии навсегда останется черным пятном пусть на небольшом и уже изрядно помятом листочке советской литературы.

*Ал-р Д.м. Лукшин, учитель литературы,
с. Машино, Калачеевского района, Воронежской обл.
15.9.68*

Я пошлю копию письма в несколько наших советских газет. Оно носит характер открытого, но я уверен, что его не напечатают, чтобы не обижать, с позволения сказать, советского писателя.

В ЗАЩИТУ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Случайно попалась мне на глаза «Литературная газета» (№ 26), где я прочел об А.Солженицыне.

Скажу чистосердечно: «Один день Ивана Денисовича» я не признал как художественное произведение в первые дни выхода повести в свет. Более того, я не по-за углами, а открыто написал

об этой повести резко отрицательный отзыв, выразив свое решительное несогласие с подобной публикацией, хотя повести предшествовало самое солидное, самое авторитетное за всю историю русской литературы предисловие. Судьбу повести я предсказал с большой точностью.

И, не попадись мне в вашей газете статья «Идейная борьба. Ответственность писателя», очевидно, не изменил бы своего отношения к А.Солженицыну. Внимательно прочел зажатое размашистой статьёй выступление А.Солженицына. И, как ни странно, целиком оказался на его стороне: совесть этого требовала.

А.Солженицын выступает искренне, правдиво. Скромность и невиновность автора очевидны. Что бы ни творилось за рубежом вокруг его имени, он тут ни при чем. А.Солженицын по-порядочному отменяет от себя все, что необоснованно пытаются прилепить к нему бесчестные борзописцы. Но здесь, на своей Родине, в такой солидной общесоюзной газете братья по перу и по языку лезут из кожи вон, чтоб растоптать его, опорочить и приписать ему ярлык, давайте прямо скажем, противника нашей Родины. Ей-богу, от статьи «Идейная борьба. Ответственность писателя» пахнет душком 1938 года. Расхрабренные творцы ее, начав с политических тумачков, готовы, дай им только власть, запичужить снова А.Солженицына туда, куда Макар телят не гонял.

Позволительно спросить: где вы, ныне ретивые критики, были раньше, когда с типографских станков сошел к людям Иван Денисович? Спали крепко? Может быть, оглохли и ослепли?

Нет, позвольте сказать вам прямо в глаза тем молотобойским языком, каким вы разговариваете с высокой трибуны советского органа печати с неугодными для вас авторами: вы пригнувались к обстановке в стране, сердито морщились и зло закусывали губы от ослепительно-прекрасных, проникнутых заботой о благе народа решений XX и XXII съездов, о которых, кстати, вы не хотите проронить ни слова в течение многих последних лет, будто на свете вовсе не было этих знаменательных съездов. А ведь они, как ни пытайся замолчать о них, есть стартовые площадки новой эры человечества, начала большого счастья народов нашей страны.

Теперь же эти критики вновь выскочили на авансцену и за-

говорили языком оракулов и вершителей судеб людских. Хочется посоветовать им: «Повнимательнее посмотрите себе под ноги — почва-то другая. Хорошенько оглянитесь вокруг — время-то другое, да и люди иные, зрелые, соображающие, знают, что к чему. Их не обведешь вокруг пальца. Они научились отличать правду от лжи и готовы отстаивать праведное дело, невзирая ни на что».

Да, народ наш теперь не терпит обмана, жуликов, проходимцев, нерадивых руководителей, корыстных писак, всех тех, кто пытается скрыть недостатки в ущерб честному труженику.

Борьба со злом народным — святая обязанность литератора. А.Солженицын борется с этим злом как умеет. В его произведениях бичующая правда. Не ругаем же мы за это журнал «Крокодил», призвание которого — бороться со всем уродливым в обществе. В порядке вещей принимаем фельетоны, сатирические сочинения авторов былых времен. А вот А.Солженицыну запрещаем на страницах нашей многосторонней печати бороться с недостатками, мешающими жить советскому человеку. Другое дело, если бы его обвиняли в художественной неполноценности. А то ведь аргументация-то какая, ни дать ни взять — маоцзэдуновская.

Никому не позволено нарушать Советскую конституцию, где черным по белому написано, что у нас в стране свобода Слова и Печати. Нарушители советских законов рано или поздно понесут ответственность перед народом. Зажимать критику — значит плодить недостатки. Умалчивать о зле — значит давать ему рост и силу. Только бесчестность и корысть прячут за красивыми словцами уродливые явления общества. Они боятся правды, ибо правда сметает их. А это и есть то, что нужно народу. Этому учит нас великая партия.

И нельзя зажимать А.Солженицына только по политическим, а не художественным мотивам. Пусть борется со злом. Это на пользу людям.

Пользуясь правом советского человека на свободу печати и полагаясь на совесть честных людей в «Литературной газете», настаиваю на публикации этого открытого письма.

И.Российский

Курск

14 января 1969 г.

В последнее время печать избегает упоминания имени Солженицына. Если оно и мелькнет где-нибудь, то лишь в бранном, ругательном контексте.

ТРАВЛЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Иван Дроздов

КАЖЕТСЯ, еще вчера на литературном небе светила звезда с силуэтом жалостливой фигурки маленького человека; он представлялся нам то мучеником лагерей, а то просто старой, всеми забытой женщиной, копошащейся на дворе и не знающей никаких просветов в жизни.

— Позвольте! — говорили творцам теории маленького человека. — Были у нас Иваны Денисовичи, были и есть Матрены и Матренины дворы, но есть и Кожедубы и Покрышкины, есть атомные электростанции и космические корабли... Нельзя же видеть одну только теневую сторону жизни...

— Хватит нам розовых красок! — возражали авторы Иванов Денисовичей. — Есть правда большая и правда малая. Космос — это правда большая. Матренин двор — правда малая. Вот мы и раскроем читателю правду малую. Мы представители гуманного, честного реализма.

Так начинали противники героического в искусстве. <...>

К счастью, маленький человек продержался у нас недолго.

*Из статьи «Закат бездуховного слова»
(«Журналист», 1969, № 3, с. 53).*

Анатолий Елкин

<...> Ну конечно, как им не пожалеть, скажем, Солженицына! Ведь он... «прокладывает новые пути, бунтует против системы».

А как «бунтует»! Кустарно бунтует! Здесь — и подсказать не грех, решают в «Остейропе», как надо бунтовать. И других советских писателей поучить уму-разуму. И — намекают... на венгерский клуб Петефи, сыгравший черную, кровавую роль в дни контрреволюционного мятежа в Венгрии. Авось чертополох, подобный вышеназванному клубу,

взрастет на ниве еще какой-нибудь социалистической литературы.

Из статьи «Закат вифлеемской звезды» («Москва», 1969, № 2, с. 209–210).

А.Гребенщиков

Яркую и честную жизнь прожил коммунист Петр Павленко — талантливый прозаик, публицист, кинодраматург, общественный деятель. Как и чем можно объяснить, что ему в энциклопедии (речь идет о 3-м издании БСЭ. — *Сост.*) определена статья тех же размеров, что и А.Солженицыну, снискавшему себе незавидную «славу» автора произведений, направленных против основных и дорогих для нас принципов советской литературы.

Из статьи «Пока не поздно» («Октябрь», 1969, № 3, с. 201).

А.Метченко

Условия, в которых будто бы оказалась советская литература, скопированы Брозом с лубочных изображений ада. Собравшись в вояж по кругам этого ада, Броз должен был найти спутника, на которого можно было бы сослаться, как на живого «свидетеля».

В роли Вергилия, сопровождающего Броза по кругам «ада», был избран Солженицын. Правда, этому автору в статье... отведено более чем скромное место. <...> О таланте автора «Одного дня Ивана Денисовича» он также не очень высокого мнения: ниже Бабеля или Пильняка. Талант этот местами «оказывается почти в документально-статистическом плену у ежедневных фактов».

Но не эта «правда о Солженицыне» прежде всего занимала П.Броза. Солженицын понадобился ему как автор письма IV съезду писателей СССР и произведений, вокруг которых на Западе разразилась антисоветская шумиха. Известно, что советские читатели с горечью и возмущением восприняли поведение человека, прельстившегося эфемерной, дурно пахнущей «славой», которую по совершенно ясным мотивам постарались раздуть вокруг его имени международная буржуазная и ревизионистская печать. <...>

Односторонние, тенденциозные «свидетельства» Солже-

ницына понадобились им всего лишь как повод для создания мифа о Советском государстве и политике нашей партии в области художественного творчества.

Из статьи «“Актуальные ретроспективы” или реакционные мифы» («Октябрь», 1969, № 5, с. 191–192).

В.Феодосьев

Один из примеров антисоветской идеологической диверсии — публикация на страницах «Борьбы» антисоветских отрывков из пасквильной «повести» А.Солженицына «Первый круг», решительно осужденной литературными кругами Советского Союза. Такие действия югославской газеты нельзя квалифицировать иначе, как заведомо недружелюбные по отношению к нашей стране, как стремление опорочить жизнь советского народа.

Из статьи «О чем шумит югославская пресса» («Советская Россия», 5 апреля 1969 года).

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

ГОРЯЧО поздравляем пятидесятилетием любимого писателя, бесстрашно говорящего правду, несмотря ни на что.

Читатели

Дорогой Александр Исаевич! Очень трудно Вас поздравлять, трудно находить слова, способные в наше время, когда ложь стала предметом ширпотреба, выразить то высокое уважение, с которым к Вам относятся люди, не отрекшиеся от человечности, доброты, справедливости. Вы — опора многих душ и укор им. Все, что Вы сделали и делаете, имеет не только литературную ценность. Это надежда на пути от той духовной оторопи, в какой сейчас застыла страна. Да будет Вам светло.

Киевляне

От всей души поздравляю полувеком. Пожалуйста, не откладывайте перо. Поверьте, не все любить умеют только мертвых.

Ваш читатель

Примите нашу благодарность за возрождение традиций русской литературы, за Ваше слово — синтез правды-истины и правды-справедливости. Желаем исполнения всех замыслов и надежд.

<Подписи>

Дорогого Александра Исаевича, замечательного писателя, человека, поздравляю от всего сердца. Низкий Вам поклон за великое мужество, которое позволяет выстоять всем нам. Обнимаю Вас.

Александр Галич

Поздравляем пятидесятилетием дорогого Александра Исаевича Солженицына, замечательного мастера и надежду рус-

ской литературы. Пусть и впредь звучит Ваш мужественный голос и правдивое слово, и пусть оно станет общим достоянием.

<Подписи>

Дорогой Александр Исаевич, великий народ, чтобы утвердить свое величие в годы наибольшего морального упадка нации, дает миру титанов. Горжусь тем, что и мой народ оказался способным на это. Преклоняясь перед Вашим титаническим талантом, желаю ему в день Вашего пятидесятилетия цвести и плодоносить еще многие и многие годы.

Петр Григоренко

Дорогой Александр Исаевич, горячо поздравляем Вас с днем Вашего пятидесятилетия, желаем Вам много, много здоровья на благо русской литературы и Родины. Мужественный и правдивый голос Ваших талантливых произведений, который прорывается через все цензурные рогатки, радуется и призывает к борьбе за подлинный социализм и позорно разоблачает продажных трусливых чиновников от литературы, забывших о высоком призвании писателя.

<Подписи>

Разрешите поздравить пятидесятилетием и пожелать и в дальнейшем быть автором только тех произведений, под которыми не стыдно подписываться.

<Подпись>

Вашим голосом заговорила сама немота. Я не знаю писателя более долгожданного и необходимого, чем Вы. Где не погибло слово, там спасено будущее. Ваши горькие книги ранят и лечат душу. Вы вернули русской литературе ее громовое могущество.

Лидия Чуковская

Дорогой Александр Исаевич. Думая о Вас, преисполняюсь глубокого уважения. Думая о Вашей судьбе, — надежды. А все вместе — почти единственное основание для оптимизма. Сер-

дечно поздравляю Вас и хочу почаще видеть Ваше имя в печати рядом с Вашими собственными произведениями.

<Подпись>

Дорогой Александр Исаевич, поклон Вам в день Вашего рождения. Ваши романы — Библия эпохи. Живите долго счастливо.

Читатель

Дорогой Александр Исаевич, с Вами наша любовь, бесконечное уважение и благодарность. Без Вас и Ваших книг мы не живем сегодня и не мыслим будущего. Желаем Вам долгих лет, здоровья и здоровья.

Студенты Литфака

Дорогой Александр Исаевич, поздравляем и желаем Вам доброго, крепкого здоровья, прочного и беспрепятственного общения с читателями и долгих лет творчества, такого нужного людям. Спасибо Вам.

<Подписи>

С гордостью, любовью и тревогой следим за Вашей жизнью. Многих лет Вам и твердости духа.

<Подпись>

Низкий поклон Вам, великий художник.

<Подпись>

ПРИЛОЖЕНИЕ

1969-1974

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

В Приложении приводятся документы (статьи, письма, телеграммы и т. д.), освещающие литературную судьбу А.Солженицына за пять лет — от исключения из Союза писателей до изгнания из страны.

Приложение составлено по статьям в советской печати, а также на основе шестого тома Собрания сочинений Александра Солженицына (Посев: Франкфурт, 1973) и самиздатских сборников: «“Август Четырнадцатого” читают на родине» (Париж: YMCA-Press, 1973) и «Жить не по лжи» (там же, 1975).

СОСТОЯЛОСЬ собрание Рязанской писательской организации, посвященное задачам усиления идейно-воспитательной работы. Участники собрания в своих выступлениях подчеркивали, что в условиях обострившейся идеологической борьбы в современном мире возрастает ответственность каждого советского писателя за свое творчество и общественное поведение.

В этой связи участники собрания подняли вопрос о члене Рязанской писательской организации А.Солженицыне. Собрание единодушно отметило, что поведение А.Солженицына носит антиобщественный характер и в корне противоречит принципам и задачам, сформулированным в Уставе Союза писателей СССР.

Как известно, в последние годы имя и сочинения А.Солженицына активно используются враждебной буржуазной пропагандой для клеветнической кампании против нашей страны. Однако А.Солженицын не только не высказал публично своего отношения к этой кампании, но, несмотря на критику советской общественности и неоднократные рекомендации Союза писателей СССР, некоторыми своими действиями и заявлениями, по существу, способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени.

Исходя из этого, собрание Рязанской писательской организации постановило исключить А.Солженицына из Союза писателей СССР.

Секретариат правления Союза писателей РСФСР утвердил решение Рязанской писательской организации.

(«Литературная газета», 12 ноября 1969 года.)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
СЕКРЕТАРИАТУ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Бесстыдно попирая свой собственный устав, вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырёх часов — добраться из Рязани и присутствовать. Вы откровенно показали, что *решение* предшествовало «обсуждению». Опасались ли вы, что придётся выделить мне десять минут на ответ? Я вынужден заменить их этим письмом.

Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века. Откиньте дорогие тяжёлые занавеси! — вы даже не подозреваете, что на дворе уже рассветает. Это — не то глухое, мрачное, безысходное время, когда вот так же угодливо вы исключали Ахматову. И даже не то робкое, зябкое, когда с завываниями исключали Пастернака. Вам мало того позора? Вы хотите его сгустить? Но близок час: каждый из вас будет искать, как выскрести свою подпись под сегодняшней резолюцией.

Слепые поводыри слепых! Вы даже не замечаете, что бредёте в сторону, противоположную той, которую объявили. В эту кризисную пору нашему тяжело больному обществу вы неспособны предложить ничего конструктивного, ничего доброго, а только свою ненависть-бдительность, а только «держат и не пущать»!

Расползаются ваши дебелые статьи, вяло шевелится ваше безмыслие, — а аргументов нет, есть только голосование и администрация. Оттого-то на знаменитое письмо Лидии Чуковской, гордость русской публицистики, не осмелился ответить ни Шолохов, ни все вы вместе взятые. А готовятся на неё административные клещи: как посмела она допустить, что неизданную книгу её читают? Раз *инстанции* решили тебя не печатать — задавись, удушись, не существуй! никому не давай читать!

Подгоняют под исключение и Льва Копелева — фронтовика, уже отсидевшего десять лет безвинно, — теперь же виновного в том, что заступает за гонимых, что разгласил священный тайный разговор с влиятельным лицом, нарушил *тайну кабинета*. А зачем ведёте вы такие разговоры, которые надо скрывать от народа? А не нам ли было пятьдесят лет назад обещано, что никогда не будет больше тайной дипломатии, тайных перегово-

ров, тайных непонятных назначений и перемещений, что массы будут обо всём знать и судить *открыто*?

«Враги услышат» — вот ваша отговорка, вечные и постоянные «враги» — удобная основа ваших должностей и вашего существования. Как будто не было врагов, когда обещалась немедленная открытость. Да что бы вы делали без «врагов»? Да вы бы и жить уже не могли без «врагов», вашей бесплодной атмосферой стала *ненависть*, ненависть, не уступающая расовой. Но так теряется ощущение цельного и единого человечества — и ускоряется его гибель. Да растопись завтра только льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество — и кому вы тогда будете тыкать в нос «классовую борьбу»? Уж не говорю — когда остатки двуногих будут бродить по радиоактивной Земле и умирать.

Всё-таки вспомнить пора, что первое, кому мы принадлежим, — это человечество. А человечество отделилось от животного мира *мыслью* и *речью*. И они естественно должны быть *свободными*. А если их сковать, — мы возвращаемся в животных.

Гласность, честная и полная *гласность* — вот первое условие здоровья всякого общества, и нашего тоже. И кто не хочет нашей стране гласности, — тот равнодушен к отечеству, тот думает лишь о своей корысти. Кто не хочет отечеству гласности, — тот не хочет очистить его от болезней, а загнать их внутрь, чтоб они гнили там.

А.Солженицын
12 ноября 1969

В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Копия: «Литературной газете»

Память и воображение необходимы каждому литератору. Те, кто «прорабатывал» Ахматову, Зощенко, критиков-«космополитов», Пастернака, принесли нашей стране только вред.

Помня все это, легко вообразить, какие последствия будет иметь исключение А.И.Солженицына.

Для многих миллионов людей у нас и во всем мире, для *всех* зарубежных друзей нашей страны Александр Солженицын сего-

дня олицетворяет лучшие традиции русской литературы, гражданское мужество и чистую совесть художника.

Решение Рязанского отделения СП необходимо отменить возможно скорее.

Лев Копелев
14 ноября 1969

ТЕЛЕГРАММА ЛИДИИ ЧУКОВСКОЙ
В ПРЕЗИДИУМ СП СССР

Я считаю, что исключение А.Солженицына из Союза Писателей — это национальный позор нашей Родины.

Лидия Чуковская
15 ноября 1969 г.

В СОЮЗЕ ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Состоялось собрание Рязанской писательской организации, посвященное задачам усиления идейно-воспитательной работы. Выступившие на собрании писатели В.Матушкин, Н.Родин, Н.Левченко, Е.Маркин, С.Баранов, секретарь правления Союза писателей РСФСР Ф.Таурин подчеркивали, что в условиях обострившейся идеологической борьбы в современном мире возрастает ответственность каждого советского писателя за свое творчество и общественное поведение.

В этой связи участники собрания подняли вопрос о члене Рязанской писательской организации А.Солженицыне. Собрание единодушно отметило, что поведение А.Солженицына носит антиобщественный характер и в корне противоречит принципам и задачам, сформулированным в Уставе Союза писателей СССР.

Как известно, в последние годы имя и сочинения А.Солженицына активно используются враждебной буржуазной пропагандой для клеветнической кампании против нашей страны. Однако А.Солженицын не только не высказал публично своего отношения к этой кампании, но, несмотря на критику советской общественности и неоднократные рекомендации Союза писателей СССР, некоторыми своими действиями и заявлениями по существу способствовал раздуванию антисоветской шумихи вокруг своего имени. Выступление А.Солженицына, принимавшего уча-

стие в собрании, доказало, что он продолжает занимать недостойные советского писателя позиции.

Собрание Рязанской писательской организации постановило исключить А.Солженицына из Союза писателей СССР.

Решение Рязанской писательской организации рассмотрел секретариат правления Союза писателей РСФСР. В обсуждении вопроса приняли участие писатели: секретарь правления СП СССР и председатель правления СП РСФСР Л.Соболев, секретарь правления СП СССР и СП РСФСР Г.Марков, секретарь правления СП СССР и СП РСФСР К.Воронков, секретари правления СП РСФСР А.Барто, Д.Гранин, В.Закруткин, А.Кешоков, В.Панков, Л.Татьяничева, Ф.Таурин, В.Федоров, С.Хакимов.

Секретариат правления Союза писателей РСФСР утвердил решение Рязанской писательской организации.

*(«Приокская правда», областная рязанская газета,
16 ноября 1969 года.)*

ПРОТЕСТ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПИСАТЕЛЕЙ ФРАНЦИИ

Исключение Солженицына из Союза писателей СССР — о чем сперва сообщили, а потом опровергли, и что наконец подтвердили, в стиле техники управления на расстоянии, к которому мы начинаем привыкать, — в глазах всего мира — огромная ошибка, не только наносящая вред Советскому Союзу, но и подтверждающая то, что говорят о социализме его враги...

Мы слышали, что в прошлом наиболее благоразумные люди, даже на самых высоких ступенях власти, сильно раскаялись в аналогичной ошибке с Борисом Пастернаком. Разве так уж необходимо обращаться с большими писателями Советского Союза, как с вредителями?

Все это показалось бы необъяснимым, если бы не приходилось считаться с очевидностью, что этой мерой — при странном соучастии некоторых коллег по перу — хотят запугать не только писателей, но и всю мыслящую интеллигенцию, хотят, чтобы все ее представители, как один, замаршировали парадным солдатским шагом.

Мы верили, что прошло время, отмеченное кровью Исаака Бабеля, Осипа Мандельштама, Егише Чаренца, Михаила Кольцова,

Тициана Табидзе — если говорить только о больших национальных источниках советского духа.

Мы считали, что события того периода, который, к счастью, уже в прошлом, никогда не повторятся.

Как могли мы предполагать, что сегодня на родине победившего социализма против писателя Александра Солженицына, наиболее типичного представителя великих русских традиций, писателя, который уже был жертвой сталинских репрессий и чье величайшее преступление только в том, что он остался в живых, будут предприняты шаги, которые даже и в голову не приходили Николаю II в отношении Чехова, беспрепятственно опубликовавшего свой «Сахалин».

Неужели мы еще раз должны задать вопрос нашим советским коллегам по перу — тем, кто молчит, тем, кто пытается говорить, и тем, кто связывает свое имя с подобными действиями, — разве они не видят во всем этом повторение недавнего прошлого? Разве они не помнят, что подпись некоторых их предшественников под такими решениями была одновременно и полномочием для палача? Разве они не понимают, что даже то, что прошло, трудно забыть?

Но все же, несмотря на это, нам еще хочется верить, — как тогда, когда решение жюри, захотевшего отметить величайшего из живших в то время русских поэтов, вызвало разнузданную злобу, — что в ведущих кругах народа, которому мы обязаны зарей Октября и победой над фашизмом, найдутся люди, способные осознать совершенное зло и не допустить, чтобы оно было доведено до конца.

Во имя того, что нас объединяет в жизни, борьбе и надеждах на будущее.

От имени Национального комитета писателей
Исполнительный комитет:

Эльза Триоле, Веркор, почетные председатели,
Жак Мадоль, председатель,
Артур Адамов, Луи Арагон, Жан-Луи Бори,
Мишель Бютор, Жан-Пьер Фай, Жорж Гови,
Эжен Гильвик, Пьер Параф, Владимир Познер,
Ален Прево, Кристиан де Рошфор,
Жан Руссело, Жан-Поль Сартр.

Члены Правления:

Макс-Поль Фуше, Реймон Жан,
Альбер Мемми, Гобер Мери.

Члены Национального комитета:

1-жа Марсель Оклер, 1-жа Элен Пармелен,
Бернар Клавель, Пьер Дэкс,

Роже Гароди (член Политбюро Французской компартии
и директор Высшей партийной школы),

Арман Лану (председатель общества «Франция—СССР»),
Пабло Пикассо,

Андре Стиль (бывший главный редактор «Юманите»),

Андре Вюрмсер (главный редактор «Летр франсэз»).

17 ноября 1969 г.

(«Летр Франсэз», 19–25 ноября 1969 года).

СЕКРЕТАРИАТУ ПРАВЛЕНИЯ СП СССР

Глубоко потрясена и взволнована решением Рязанского отделения СП — исключить А.И.Солженицына из Союза. Не верила слухам. Сегодня прочитала в «Литературной газете» о том, что Секретариат Правления СП РСФСР утвердил этот позорный приговор.

Солженицын — не рязанский писатель и даже не «Эрээф-эсеровский». Это — народный писатель, гордость, честь и слава всей нашей литературы. Исключение его из Союза Писателей ляжет тяжелым камнем на совесть каждого члена Союза Писателей, где бы он ни был прописан, в какой бы области литературы он ни работал.

Поэтому считаю необходимым созвать чрезвычайный съезд Советских Писателей.

Член СП, Московск. отд.

Т.Литвинова, переводчица

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СОЮЗУ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В «Литературной газете» от 12 ноября с. г. опубликовано сообщение о том, что Рязанское отделение СП исключило из членов Союза советских писателей Александра Солженицына и что это решение утверждено Секретариатом СП РСФСР.

Пять почти никому не известных рязанских писателей исключили из Союза писателей человека, который именно как писатель в короткий срок приобрел мировую известность на родине и за рубежом. Его исключили за то, что его писательский талант, его гуманизм, его творческий показ и анализ действительности вышли за пределы Рязанской области и не могли контролироваться идеологическим отделом Рязанского обкома. Они вышли и за пределы РСФСР и перестали соответствовать неизвестным и постоянно меняющимся инструкциям тайной цензуры. С огромной художественной силой разоблачены жестокий произвол и преступления сталинской тирании, и, идя в этом направлении в ногу со всем народом и коммунистической партией, провозгласившей на XX и XXII съездах новый курс на борьбу с преступным культом личности и его последствиями, Александр Солженицын заслуженно приобрел в СССР и во всем мире славу патриота и борца за настоящую правду. Он не изменил этой правде, этой гуманистической идее, не изменил своей совести и своим принципам, не изменил своему народу, когда, вопреки логике и здравому смыслу, произвол сталинской эры стал приукрашиваться и над страной вновь нависла угроза беззакония и насилия. За это его исключили из Союза писателей, лицемерно собрав пятерых рязанских исполнителей, подгонявшихся административной плетью. И они подняли свои руки, голосуя за позорное решение. А затем подняли свои руки десять секретарей СП РСФСР, и их тоже кто-то подгонял, чтобы они поторопились. А затем «Литературная газета» опубликовала заметку об этих решениях, объявив, что творчество А.Солженицына объясняется влиянием империалистической идеологии и берется на вооружение западной пропагандой. Можно ли представить себе большую ложь и лицемерие!

Ведь вам хорошо известно, что Солженицын писал свои новые работы для издания в СССР, что роман «В круге первом» был анонсирован для публикации еще в 1964 году, что повесть «Раковый корпус» уже была в наборе, когда последовал неизвестно кем направленный запрет. Вам так же хорошо известно, что советские читатели, несмотря на эти препятствия, по собственной инициативе, законным способом размножили произведения Солженицына, и в рукописных копиях их за ряд лет про-

читали десятки тысяч человек, прочитали с неизменным восхищением и благодарностью.

Вы обвиняете писателя за то, что эти книги были, в конце концов, изданы в других странах и что он этому не воспрепятствовал. Но ведь вам известно, что решительный протест автора, который вы, напечатав с большим опозданием, сделали лишь поводом для издевательской клеветнической статьи, — этот протест все равно не имел никакой юридической силы, что права советских авторов за рубежом не защищаются нашим государством, отказывающимся вступить в нормальные, всемирно признанные соглашения о международной защите авторских прав.

Советские издательства публикуют произведения иностранных авторов и репродуцируют любые иностранные издания, не спрашивая на то разрешения ни авторов, ни издателей. Эта практика, получившая во всем мире наименование «пиратской», противоречит международным конвенциям, в которых участвует большинство стран мира, включая и ряд социалистических стран. Упорно сохраняя это неоправданное желание безвозмездно эксплуатировать литературный труд писателей и творческий труд зарубежных ученых, мы тем самым ставим и советских авторов в беззащитное положение. Их работы могут издавать и перепродавать без их согласия любые иностранные издатели.

Но вместо того, чтобы признать справедливые международные конвенции о защите авторских прав, вы прибегаете к практике «заложников». Вы бьете обворованных по вашей же вине авторов в надежде пробудить выгодный вам гуманизм и честность у осуждаемых вами империалистов. Но создаваемые вами скандалы лишь обеспечивают им большой коммерческий успех.

Аргументация, которую вы используете, преследуя Солженицына, глубоко ошибочна. Вы говорите, что литература партийна. Но ведь это далеко не так. В прежние времена многие из вас говорили, что биология партийна, и из этого термина родились Лысенко, Презент, Лепешинская, Бошнян и другие фальсификаторы науки. Есть, может быть и должна быть *партийная литература* и даже художественная партийная литература. Но партийная литература — это только часть литературы, необходимой людям. Основы литературного творчества столь же древни, сколь древним является человечество, и ни Гомер, ни Шекспир, ни Пуш-

кин, ни Толстой, ни Бальзак не получали инструкций от руководителей каких-нибудь партий.

Но вам, по-видимому, не нужны писатели мирового класса. Толстой и Достоевский чувствовали бы себя в ССП столь же непризнанными, как и Солженицын, и с ними поступили бы так же, как с Солженицыным и Пастернаком.

Большая литература столь же интернациональна, как и большая наука. И создаваемые ею духовные ценности имеют общечеловеческий характер. Они способствуют объединению людей на основе гуманистических принципов. Настоящее творчество рождается в результате неудовлетворенности окружающим, а не под влиянием лозунгов и призывов.

Я пишу вам как любитель литературы и как читатель произведений Солженицына. Я знаю А.Солженицына как человека, я прочитал все его законченные произведения. Я считаю, что этими произведениями должна гордиться и мировая литература. И вы, как литераторы, согласитесь со мной, ибо это бесспорно. Но вы объявляете, что произведения Солженицына написаны «с других идейных позиций». Это — ложь. Идейная позиция Солженицына и в «Одном дне Ивана Денисовича», и «В круге первом», и в «Раковом корпусе» осталась одной и той же — это позиция правды, патриотизма, мужественного показа реальной жизни народа в трудные времена его истории.

Публикация «Одного дня Ивана Денисовича» была одобрена Президиумом ЦК КПСС, эта повесть была самым лучшим образом встречена всей советской прессой, была выдвинута на Ленинскую премию. Почему же сейчас вы ругаете даже эту повесть? Значит, изменилась *ваша* «идейная позиция», а не позиция Солженицына. Значит, изменились инструкции Главлиту, а не творческий стиль писателя. Но эти инструкции меняются слишком часто. Еще недавно газеты и журналы были полны очерками об острове Даманском, а сейчас Главлит вычеркивает это слово из всех литературных произведений. Остров Даманский перестал существовать для советского читателя.

Я глубоко сожалею об исключении А.Солженицына из ССП. Но я огорчен этим не потому, что меня беспокоит судьба творчества Солженицына. Он еще в письме IV съезду писателей сказал, что свой писательский долг выполнит. И я знаю, что это не пус-

тые слова. Исключение Солженицына из ССП огорчает меня как показатель весьма печальных изменений в позиции руководства Союза писателей и в позиции тех кругов, которые привыкли считать Союз советских писателей лишь отделением Идеологической комиссии.

Исключение Солженицына не является единичным событием. Оно произошло как логическое следствие нового курса острых репрессий по отношению к интеллигенции, для включения инерции страха, того страха, который создал Сталин и его послушные исполнители, не останавливавшиеся перед уничтожением миллионов безвинных сограждан.

Пока еще людей с независимым образом мыслей главным образом увольняют и исключают, а в воспитательных целях то там то здесь мелькает в печати имя «великого Сталина». Только в нашем небольшом городке Обнинске уволены по политическим мотивам 15 ученых. И среди многих вопросов на незаконных комиссиях по проверке «идеологических позиций» почти всегда задавался вопрос об отношении к произведениям Солженицына.

Хотя история имеет обыкновение повторять ошибки и просчеты, но коллективный опыт все же не проходит бесследно. Людей, при отсутствии демократических традиций, пока еще не трудно подчинить, но их уже намного трудней обмануть. И если вы сомневаетесь в этом — попробуйте издать в СССР сочинения Александра Солженицына. Они разойдутся миллионными тиражами и будут читаться десятками миллионов советских людей.

*Жорес Медведев, биолог
г. Обнинск Калужской обл.
21 ноября 1969 года*

ОТ СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

Как известно из опубликованных в печати сообщений, Рязанская писательская организация исключила А.Солженицына из Союза советских писателей. Решение это утверждено Секретариатом правления СП РСФСР и поддерживается широкой литературной общественностью нашей страны.

Для всех, кто внимательно относится к фактам литературной жизни, вопрос об исключении А.Солженицына не является нео-

жиданным. Его поведение, направленность его творчества давно вступили в противоречие с принципами и задачами добровольного объединения советских литераторов.

Еще в прошлом году в статье «Идейная борьба. Ответственность писателя» («Литературная газета» от 26 июня) был дан анализ ряда произведений А.Солженицына, проникнутых явно антисоветскими тенденциями, приведены убедительные примеры грубого нарушения им Устава СП СССР.

В статье говорилось, что дальнейшая писательская судьба А.Солженицына зависит от того, сумеет ли он понять глубину своих заблуждений, прислушается ли к голосу литературной ответственности. «Писатель А.Солженицын, — отмечалось в статье, — мог бы свои литературные способности целиком отдать Родине, а не ее злопыхателям. Мог бы, но не пожелал. Такова горькая истина. Захочет ли А.Солженицын найти выход из этого тупика, зависит прежде всего от него самого».

Солженицын высокомерно игнорировал справедливую критику литературной общественности, так и не воспротивился использованию своего имени и своих произведений буржуазной пропагандой для клеветнической кампании против нашей страны. Более того, в своих действиях и заявлениях он фактически сомкнулся с теми, кто выступает против советского общественного строя.

Именно за минувшие два года оказались переданными за рубеж по нелегальным каналам ряд писем, заявлений, рукописей и других материалов Солженицына, которые во многих тысячах экземпляров публиковались на разных языках, в том числе русском, многочисленными зарубежными газетами, журналами и издательствами, и среди них такими открыто антисоветскими, белогвардейскими органами, как «Посев» и «Грани».

Этот поток публикаций, организованный и направляемый умелой рукой, сопровождается недвусмысленными комплиментами буржуазных комментаторов, «советологов», которые без труда обнаружили в сочинениях Солженицына злобные нападки на социализм, на советский образ жизни. Враги нашей страны возвели его в ранг «вождя» выдуманной ими «политической оппозиции в СССР» и даже объявили «пророком грядущего».

Заметим, кстати, что антисоветские центры за рубежом используют издание сочинений Солженицына не только для политической борьбы против нашей страны, но и для прямого финансирования различных подрывных организаций. Как сообщала газета «Таймс», гонорары за сочинения Солженицына начисляются на его счет, а также систематически переводятся некоторыми буржуазными издательствами в фонд так называемого «Международного комитета спасения», основной задачей которого является организация враждебных действий против СССР и стран социалистического содружества.

Свидетельством полного забвения гражданского долга, прямого перехода на враждебные делу социализма позиции явилось «Открытое письмо» Солженицына Союзу писателей РСФСР. Датированное 14 ноября с. г., оно уже 15 ноября появилось в «Нью-Йорк таймс», а 16-го — в парижской газете «Монд».

Западные пропагандисты немедленно использовали это письмо как политическую прокламацию, размножив его в десятках своих газет, в многократных передачах «Голоса Америки», Би-би-си и других «голосов».

Отнюдь не заботой о литературе продиктованы строки этого «послания». Претенциозное, полное ругательств и угроз, псевдо-теоретических рассуждений, оно не содержит ни одного утверждения, которое уже не было бы использовано в идеологической борьбе против социализма.

Видимо, желая оправдать присвоенный ему на Западе титул «пророка», Солженицын выступает, ни много ни мало, как от имени «цельного и единого человечества».

Судя по письму, он не видит ничего позорного в том, что его творчество стало оружием в руках наших классовых врагов. Более того, Солженицын отрицает само понятие классовой борьбы, издевается над ним, заявляя: «Да растопись завтра льды одной Антарктики — и все мы превратимся в тонущее человечество, и кому вы тогда будете тыкать в нос “классовую борьбу”?»

Письмо Солженицына, в котором он обвиняет Союз писателей в нетерпимости, администрировании, ненависти, само пышет ненавистью и злобой. «Слепые поводыри», «бесстыдно», «административные клещи», «вашей атмосферой стала ненависть» —

вот какими словами в разных вариациях, с восклицаниями и без оных пестрит весь текст.

В письме Солженицына содержится утверждение: «Вы исключили меня заочно, пожарным порядком, даже не послав мне вызывной телеграммы, даже не дав нужных четырех часов — добраться из Рязани и присутствовать».

Это утверждение — сплошная неправда. После того, как закончилось собрание в Рязани, Солженицыну было передано официальное приглашение присутствовать на заседании Секретариата правления Союза писателей РСФСР. Кроме того, ему была послана и «вызывная» телеграмма из Москвы.

Солженицын сознательно уклонился от присутствия на этом заседании, сам не воспользовался возможностью, которая была ему предоставлена. Секретариат правления Союза писателей РСФСР поступил в строгом соответствии с уставом.

«Вы откровенно показали, — пишет А.Солженицын, — что решение предшествовало “обсуждению”». Что ж, снова восстановим истину. Обсуждений было вполне достаточно. Так, например, еще в мае 1967 года с Солженицыным беседовали секретари правления Союза писателей СССР Г.Марков, А.Твардовский, С.Сартаков, К.Воронков. 22 сентября 1967 года под председательством К.Федина состоялось заседание Секретариата правления Союза писателей СССР в присутствии А.Солженицына. В обоих случаях разговор шел по существу его претензий, его творчества, его поступков. Еще на том, сентябрьском заседании секретариата вносились предложения об исключении Солженицына из Союза писателей СССР. Ему было дано время — и достаточно продолжительное — для раздумья. На совести Солженицына остается то, что он столь бесцеремонно обращается с фактами, стремясь выдать себя за жертву несправедливости.

Уместно напомнить также, что еще одно обсуждение в присутствии Солженицына предшествовало принятию решения — обсуждение на собрании Рязанской писательской организации. Кстати сказать, Солженицын и в данном случае позаботился лишь о том, чтобы так называемая «стенограмма» этого собрания, которую, по его же свидетельству, не вел никто, кроме него самого, побыстрее попала на Запад, где она и была опубликована буквально через несколько дней.

Ну что ж, Солженицын высказался. Маска сброшена, автопортрет завершен. Своим «Открытым письмом» он доказал, что стоит на чуждых нашему народу и его литературе позициях, и тем самым подтвердил необходимость, справедливость и неизбежность его исключения из Союза советских писателей.

«Держать и не пущать!» — таково, по мнению Солженицына, отношение Союза писателей к литераторам.

Почему же «держат и не пущают»? Никто этого делать не собирается даже и в том случае, если Солженицын пожелает отправиться туда, где всякий раз с таким восторгом встречаются его антисоветские произведения и письма.

(«Литературная газета», 26 ноября 1969 года.)

ПИСЬМО ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕН-КЛУБА СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Константину Федину, первому секретарю Союза писателей СССР

Нижеподписавшиеся писатели, романисты, драматурги, композиторы и поэты хотят поставить в известность Союз писателей СССР и правительство СССР о том, что исключение Александра Солженицына из Союза писателей нас глубоко потрясло, поскольку это — явное намерение запугать крупнейшего художника и запретить его творчество.

Мы отвергаем концепцию, что отказ художника от покорного подчинения государственной цензуре является в какой-либо мере преступным в цивилизованном обществе или что публикация его книг иностранными издательствами дает основание для его преследования.

Понимая, что исключение из Союза писателей означает одновременно невозможность зарабатывать себе на жизнь писательским трудом, мы осуждаем жестокость этого наказания и искренне призываем вас восстановить его право издаваться.

Каждый из нас предан делу международного мира, который не может воцариться без ослабления напряжения с Советским Союзом, установлению же необходимого доверия грозит цинизм и неизбежная подозрительность, когда вы обрушиваетесь всей силой государственной власти на писателя столь глубокой человечности.

Мы подписываем наши имена как миролюбивые люди, объявляющие свою солидарность с защитой Александром Солженицыным тех основных прав человеческого духа, которые повсюду объединяют цивилизованных людей.

Артур Миллер, вице-президент международного ПЕН клуба,
Чарлз Браселен Флад, президент американского ПЕН-клуба,
Гаррисон Солсбери, *Джон Андайк*,
Джон Чивер, *Труман Капоте*, *Ричард Уилбур*,
Жан-Поль Сартр, *Карлос Фуэнтес*,
Юкио Мисима, *Игорь Стравинский*,
Гюнтер Грасс, *Фридрих Дюрренматт*,
Генрих Бёлль, *Курт Воннегут*,
Митчелл Уилсон

3 декабря 1969 года
(Опубликовано в «Таймс» 5 декабря 1969 года.)

ПИСЬМО В «ТАЙМС»

Обращение, которому подвергаются советские писатели в своей собственной стране, вызвало международный скандал. Мы были потрясены, узнав об исключении из Союза советских писателей наиболее крупного советского писателя — Александра Солженицына, который, как выразился Артур Миллер, «повсеместно почитается классиком». При таких же обстоятельствах были ранее исключены два выдающихся поэта — Анна Ахматова и Борис Пастернак... Как нам понятно горькое восклицание Солженицына: «Вам еще мало этого позора?»

Тот факт, что писатель такого масштаба, как Солженицын, обречен на молчание, — уже само по себе преступление против цивилизации. Мы не знаем, будет ли еще продолжаться эта новая охота за ведьмами. Мы только надеемся, что новый процесс, подобный процессу над Синявским и Даниэлем, не будет иметь места.

Опыт показывает, что устные протесты не производят никакого впечатления на советских руководителей. Но мы все же призываем этих руководителей прекратить гонения на Солженицына.

Если этот призыв не будет услышан, то нам не остается ничего другого, как предложить всем писателям и деятелям искусства всех стран мира прибегнуть к международному бойкоту в

отношении государства, которое само поставило себя вне законов цивилизации. Этот бойкот должен продолжаться до тех пор, пока это государство не прекратит варварского обращения со своими писателями и деятелями искусства.

А.Альварес, *Ханна Арендт*, *У.Х.Оден*,
А.Дж. Эйр, *Карло Бронне*, *Констан Бюрньо*,
Дэвид Карвер, *Жорж Донань*,
Пьер Эманюэль, *Даниэль Жиллес*,
Брэйан Глэнвилл, *Роберт Гоффин*, *Гюнтер Грасс*,
Грэм Грин, *Петер Хэртлинг*, *Клаус Харппрехт*,
Рольф Хоххут, *Джулиан Хаксли*, *Уве Йонсон*,
Альфред Казин, *Розамонд Леман*, *Артур Миллер*,
Мэри Маккарти, *Катлин Нотт*, *Мейер Шапиро*,
Мюриел Спарк, *Уильям Стайрон*,
Филип Тойнби, *Эдмонд Вандеркамменн*,
Виктор ван Фрисланд, *Бернард Уолл*

16 декабря 1969 года
(Опубликовано в «Таймс» 17 декабря 1969 года.)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 39-ти В СОЮЗ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Исключение Александра Солженицына из Союза советских писателей позорно не для исключенного — оно позорно для истории нашей литературы и прежде всего для наших писателей, молча или вслух согласившихся с этим.

Претензии, предъявляемые Солженицыну, носят целиком политический характер и выражают официальную критику его идейных позиций, состоящих в последовательном разоблачении сталинского произвола, сталищины.

Его художественная значимость, его мастерство, его всемирная слава — несомненны.

Но ведь именно талант и мастерство *в первую очередь* определяют место художника в содружестве его коллег! Или, доведись Достоевскому быть нашим современником, его тоже попросили бы покинуть пределы страны?

Обращаясь к партийно-государственному руководству нашей страны, можно было бы напомнить, что резкая отповедь тол-

ствовству не мешала Ленину признавать всемирное значение великого писателя и восхищаться его книгами. Можно было бы напомнить и то, как Ленин предлагал перепечатать из белоэмигрантского, антисоветского сборника Аверченко несколько рассказов именно за их талантливость. Все это хорошие примеры политического подхода к художественному творчеству, в которых видно признание того, что:

ценность писателя заключается в его таланте;

идейная позиция писателя может быть только объектом критики и публичной дискуссии, но ни в коем случае не поводом для каких-либо преследований.

Отчего же советские писатели не знают этих истин? О чем они пекутся — о славе отечественного искусства или о бесславии? Отлучив Солженицына от своего союза — разве не понимают они, что ни этим, ни чем-либо иным его невозможно отлучить от литературы.

Исключить беспартийного писателя из беспартийной организации за беспартийность воззрений! Это значит и его оставить беззащитным перед дальнейшими бедами, которые вполне могут его постигнуть, — и самих себя вместе со всем своим мастерством и творчеством наглухо запереть в унылых рамках политической конъюнктуры.

В своем отношении к судьбе Солженицына читатели не столь единодушны, как его собратья по перу. Мы рассматриваем исключение Солженицына из ССП как очередное крупное проявление *сталинизма*, как расправу над писателем, олицетворяющим совесть и разум нашего народа.

Л.Агеева, З.Асанова, Т.Баева, И.Белогородская, В.Велиев, Ю.Вишневская, А.Вольпин, О.Воробьев, В.Гершуни (по доверенности), З.Григоренко, В.Гусаров, Р.Джемилев, Ю.Диков, Н.Емелькина, А.Иметов, З.Исмаилов, В.Кожаринов, И.Королева, Е.Костерина, В.Красин, Л.Кушева, В.Латин, Л.Любовникова, Л.Плющ, Г.Подзяпольский, А.Примак, И.Рудаков, М.Рыжик, Р.Савина, В.Сейтометов, Л.Терновский, В.Тимачев, Л.Убожко, Р.Урбан, И.Халапов, И.Халилов, И.Якир, П.Якир, Б.Ярославов

19 декабря 1969 года

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 14-ти ЧЛЕНАМ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Прошло полтора месяца со дня исключения Александра Исаевича Солженицына из Союза писателей. Уже нет сомнения, что те из вас, кто не присоединился к кликам одобрения, избрали позицию благоразумного молчания. В этой ситуации мы не можем не высказать своего отношения к происходящему. Исключение Солженицына из Союза писателей лишь завершило этап более серьезных преследований. Была запрещена публикация романов Солженицына, сняты с постановки его пьесы, — писателя отгораживали от читателей, читателей же попросту обкрадывали. Наконец, трагическая кампания травли увенчалась фарсом публичной казни: собралось пятеро рязанских писателей, которые сами говорят, что романов Солженицына не читали, «подняли вопрос» и лишили его писательского звания. Теперь он всего лишь литератор, правда, в профессиональном смысле «одаренный» («Лит. газета», № 51, 17 декабря 1969 г.). Отлучили — Солженицына от великой русской литературы? Или от нее же, от великой русской литературы, — весь писательский союз, укрывшийся за спинами безответной рязанской пятерки?

Теперь объявлено, что произведения Солженицына проникнуты антисоветскими тенденциями и содержат злобные нападки на социализм. Сам же Солженицын, один из немногих в наше время хранителей высоконравственной гражданской традиции русской литературы, обвинен в «полном забвении гражданского долга». Эти обвинения для убедительности многократно повторяются, а в качестве веского аргумента выставляется пресловутая антисоветская шумиха, — в которой, на самом деле, повинны только те, кто не дает русскому писателю печататься в России.

Неопубликованные книги можно критиковать любым способом: «Литературная газета» отсылает читателя к своей же прошлой статье, в которой будто бы дан «анализ произведений Солженицына» — весь анализ «Ракового корпуса» и «В круге первом» исчерпывается дюжиной бранных слов.

Так же легко «анализировать» и позицию писателя: заклеить ее как «вражескую», обвинить его в высокомерии, нетерпимости, непомерных претензиях — и словом не обмолвиться, в чем же все это состоит. Руководители нашей литературы не опускают-

ся до дискуссий, они выдают готовые, абсолютно объективные — на текущий момент — оценки (и конечно, с классовых позиций).

Все эти методы не новы: когда так же травили самых лучших, самых честных писателей, так же одни писатели — улюлюкали, другие — молчали. Но то были времена, когда защита писателя писателем называлась круговой порукой, а свидетельством благонадежности считался донос. Тогда и молчание могло оказаться героизмом. Сейчас оно героизмом не может даже показаться.

*С.Ковалев, Н.Горбаневская, Т.Великанова,
А.Лавут, Т.Ходорович, М.Ланда, Ю.Телесин,
Е.Сморгунова, Ю.Шиханович, И.Кристи,
Ю.Радвогин, Ю.Штейн, Л.Панова, И.Жолковская*

*19 декабря 1969 года
(послано 27 декабря).*

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

Nobelpristagare i litteratur 1970

Alexander Soljénitsyn

Нобелевская премия по литературе за 1970 год

Александр Солженицын

Motivering:

Обоснование:

För den etiska kraft, varmed han fullföjt den ryska litteraturens omistliga traditioner.

For the ethical force with which he has pursued the indispensable traditions of Russian literature.

Pour la force éthique avec laquelle il a perpétué les traditions indispensables de la littérature russe.

Für die ethische Kraft, mit der er die unveräußerlichen Traditionen der russischen Literatur weitergeführt hat.

За нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы.

НЕДОСТОЙНАЯ ИГРА

По поводу присуждения А.Солженицыну Нобелевской премии

По сведениям зарубежных газет и радио, Нобелевский комитет присудил свою премию по литературе А.Солженицыну.

В связи с этим корреспонденту «Известий» в секретариате Союза писателей СССР сообщили:

Как уже известно общественности, сочинения этого литератора, нелегально вывезенные за рубеж и опубликованные там, давно используются реакционными кругами Запада в антисоветских целях.

Советские писатели неоднократно высказывали в печати свое отношение к творчеству и поведению А.Солженицына, которые, как отмечалось секретариатом правления Союза писателей

РСФСР, вступили в противоречие с принципами и задачами добровольного объединения советских литераторов. Советские писатели исключили А.Солженицына из рядов своего Союза. Как мы знаем, это решение активно поддержано всей общественностью страны.

Приходится сожалеть, что Нобелевский комитет позволил вовлечь себя в недостойную игру, затеянную отнюдь не в интересах развития духовных ценностей и традиций литературы, а продиктованную спекулятивными политическими соображениями.

(«Известия», 10 октября 1970 года.)

К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТЕ

Комментарий «ЛГ»

Издающийся в Брюсселе журнал «Часовой» опубликовал громкое заявление, в котором настаивает, что приоритет выдвижения Солженицына на Нобелевскую премию принадлежит именно ему, «Часовому». И если это выдвижение поддержали некоторые западноевропейские литераторы, то опять-таки по прямому ходатайству сего журнала.

Прежде чем, любопытства ради, выяснить, что это за «Часовой» — на каком посту он стоит и чьи интересы охраняет, процитируем вышеназванное заявление:

«Позволяем себе напомнить, что еще год тому назад “Часовой”... поднял этот вопрос. Соответствующий меморандум был нами разослан известным писателям ряда европейских стран, в том числе и некоторым французским литераторам». В частности, тем литераторам, подчеркивает не без гордости редактор «Часового» г-н Орехов, которые и обратились в Нобелевский комитет.

Итак, что же это за «Часовой» и кто такой г-н Орехов?

Характеристика журнала может быть исчерпана в трех словах: злобное белогвардейское издание. Причем в слово «белогвардейское» мы вкладываем отнюдь не приблизительный смысл: г-н Орехов не только в свое время был приближенным лицом генералов Врангеля и Кутепова, но и по сей день убежден, что единственной достойной формой государственного устройства является монархия.

Разумеется, г-н Орехов считает себя «русским патриотом». В качестве такового он в годы гитлеровского нашествия на Со-

ветский Союз проливал слезы по поводу наших побед, поскольку стало ясно, что «с поражением немцев большевистская власть только укрепится». Издатели «Часового», в свое время сотрудничавшие с гитлеровцами, и сегодня не скрывают огорчения из-за того, что американская военщина не использовала атомную бомбу против СССР в 1945 году. Считая все идеологические акции антикоммунизма в духе д-ра Бжезинского суетным занятием, «Часовой» призывает «свободный мир», прежде всего США, к «превентивному удару» против Советского Союза.

Но, может быть, редактор «Часового» причудливо сочетает в себе качества белогвардейского мастодонта в политике и тонкого ценителя в области художественной литературы?

Что ж, о вкусах г-на Орехова дает представление опубликованная в «Часовом» рецензия на новую книгу некоего Павла Норда «На чужих берегах». Возьмем наугад одну из цитат, на которых построена эта рецензия:

Белая вся Русь пришла в движенье,
На пять разлившихся континентов,
В борьбе за жизнь являя рвенье
На злобу местным конкурентам!

Каков слог! «На злобу местным конкурентам!»... Каково изящество формы! Как эстетически чуток рецензент, пронизательно заметивший, что стихи эти, а равно и подобные им, «исполнены с несомненным писательским талантом и в стиле классического романтизма!» Заметьте, классического!

Ну разве могут быть какие-либо сомнения, что как раз г-н Орехов и его журнал являются авторитетами по части изящной словесности! Что мнением именно «Часового» не могли не руководствоваться не только «некоторые французские литераторы», но и почтенные члены Нобелевского комитета?

И тем не менее мы убеждены, что в борьбе за приоритет — кому в первую очередь должен быть обязан своей премией Солженицын — г-на Орехова может постичь крупное разочарование, если этот приоритет попытается оспорить некая мадам Баскэн.

При чем тут мадам Баскэн и вообще, что это за мадам? — спросит читатель.

Отвечаем. Тереза Баскэн не так давно приезжала в Советский Союз. Приезжала, надо полагать, в последний раз, поскольку, как выяснилось, она пыталась выполнять в нашей стране поручения весьма сомнительного свойства, а попутно скупала русские иконы: ныне на Западе этот товар весьма прибыльный.

В последнее время мадам продолжила ту деятельность, ради которой и была подряжена, уже на другом поприще. Мы имеем в виду письма, которые от имени существующего во Франции общества «Ар э Прогрэ» Тереза Баскэн разослала по всему свету. О чем? Опять-таки о насущной необходимости премировать Солженицына. В своих письмах она не без гордости сообщала, что «в ответ на наше воззвание уже получено несколько подписей французских литераторов», и призывала, в частности, советских писателей поддержать «нашу инициативу, распространяя мысль о выдаче Нобелевской премии Солженицыну в литературных и интеллектуальных кругах, высказывая ее на собраниях и в частных разговорах, подавая индивидуальные и групповые прошения в соответствующие инстанции».

Стоит ли говорить, что советские писатели расценили эту «инициативу» по достоинству, т. е. как очередную политическую провокацию зарубежных антисоветчиков.

Несомненно, мадам Баскэн хранит оригиналы своих писем. А что, если она пожелает публично заявить о своем приоритете в «истории с премией» и оспорит претензии «Часового»? Кто рассудит м-м Баскэн с г-ном Ореховым?

...Наши заметки, как видит читатель, посвящены на этот раз не непосредственно Нобелевскому комитету. Но факты говорят сами за себя: Нобелевский комитет позволил вовлечь себя в недостойную игру.

Он заявил, что заботится об «этической силе» литературы. Однако совершенно очевидно: в данном случае под «этической силой» члены комитета имеют в виду антисоветскую направленность. Тогда все становится на свои места. Тогда легко объяснить, почему «инициаторами» оказались такие личности, как г-н Орехов и м-м Баскэн.

Характерно, что западная печать не скрывает политической подоплеки присуждения Солженицыну Нобелевской премии. Комментируя это решение, лондонская «Таймс» в редакционной

статье прямо писала: «На Западе работы Солженицына привлекли к себе особое внимание явно из-за политического смысла...». Шпрингеровская «Вельт» сформулировала ту же мысль еще откровеннее: «Присуждение Нобелевской премии Солженицыну является политической демонстрацией».

Так все же кому принадлежит приоритет? Г-ну Орехову или м-м Баскэн?..

(«Литературная газета», 14 октября 1970 года.)

ПИСЬМО К.ГИРОВА

В «Литературную газету»

Москва, К-51, Цветной бульвар, 30

Ссылаясь на помещенную Вашей газетой статью, разрешите для Вашей собственной информации и для информирования Ваших читателей сообщить Вам следующее:

Нобелевские премии по физике, химии, медицине и литературе, а также премии мира, все без исключения, присуждаются за заслуги в названных областях, а не за воззрения и не за заслуги в каких-либо иных областях. Решение о присуждении Нобелевской премии по литературе принимается в результате голосования всех членов Шведской Академии, а не членов Нобелевского комитета. Определенным лицам, учреждениям и литературным организациям в различных частях света присвоено право предлагать возможных на такую премию кандидатов, о которых Академия в каждом отдельном случае и запрашивает таковые. Все другие предложения остаются вне поля зрения, равным образом не принимаются во внимание и никакие обсуждения на страницах мировой прессы или другие повсеместные высказывания, которые обычно ведутся вокруг возможных решений до присуждения премий. Упомянутым выше правом на предложение кандидатов не обладают ни одна газета и ни один журнал, ни в Швеции, ни за ее пределами. Названный Вами издающийся в Бельгии журнал Академии неизвестен.

По поручению Шведской Академии
ее постоянный секретарь

Карл Рагнар Гиров
15 октября 1970 года

ПИСЬМО ЗАКЛЮЧЕННЫХ
МОРДОВСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Александр Исаевич, примите наши искренние поздравления по поводу присуждения Вам Нобелевской премии. К сожалению, колючая проволока и автоматы в руках оболваненных парней лишают нас возможности выразить Вам лично всю глубину нашего восхищения Вашим мужественным творчеством, возвеличивающим человечность, поднимающим к свету втопанную в грязь человеческую душу и попорченное кованым сапогом человеческое достоинство. Уверены, что пока существуют писатели, подобные Вам, «удар зубодробительный, удар-скуловорот» не станет единственной формой общения между людьми.

*Подписали двенадцать человек, среди них — Юрий Галансков
Октябрь 1970 г.*

ГДЕ ИЩЕТ ПИСАТЕЛЬСКИЙ ТАЛАНТ И СЛАВУ
НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ?

Всякий раз, когда мир узнает о присуждении премии литературным творениям, призванным обогатить сокровищницу человеческой культуры, такая акция встречает всеобщее понимание. Впечатление же от присуждения Нобелевской премии по разделу литературы 8 октября 1970 года более похоже на злобно-радую приготовленную сенсацию дурного толка. Люди, которые с вниманием относятся к мнению Нобелевского комитета, были немало удивлены выбором имени, в большей степени сенсационно газетного, чем литературного. Еще более удивляет двусмысленность мотивов присуждения премии, где словами о «нравственной силе» литератора прикрывается бессилие членов Нобелевского комитета перед грубым напором антисоветской пропаганды, не жалеющей усилий для возвеличивания любых сочинений, в которых усматривается враждебность к советскому строю, к социализму.

Только кощунством можно назвать некоторые хлесткие аналогии так называемых «специалистов по советской литературе», которые ставят имя Солженицына в ряд с... творцами всемирно известных произведений русской и советской классики. Да и вряд ли эти «специалисты» сами верят в правомерность таких

аналогий. Ведь ради целей, которыми они руководствуются, если бы не оказался под рукой Солженицын, они нашли бы другого. И находили. Можно припомнить Тарсиса, который в свое время был провозглашен гением, а, выдворенный в «свободный мир», теперь представляет интерес разве только для врачей-психиатров.

Трагедия литератора Солженицына в том, что, однажды надев черные очки, он лишил себя возможности видеть все многоцветие жизни своей страны. Человек с болезненным самомнением, Солженицын легко поддавался на лесть людей, которые не выбирают средств, когда речь идет о борьбе против советского строя. Так Солженицын сделал из своего одиночества уже не трагедию, а бизнес. Если вернуться ко всему, что написано Солженицыным, то легко убедиться: чем дальше, тем больше литературное уступает в его работах политически пасквильному — лишь бы скандальная слава!

Как могли злобные произведения Солженицына получить сенсационную оценку некоторой части зарубежной прессы? Дело не только в их политической тенденциозности, но и еще в одном качестве автора, далеком и от гражданских чувств, и от общепринятых принципов морали.

Солженицын поступался совестью и унижался до лжи всякий раз, когда его советские коллеги по перу проявляли откровенное беспокойство за его творческую судьбу. В сентябре 1967 года секретариат правления Союза писателей попросил Солженицына высказать свое отношение к антисоветской шумихе вокруг его имени. Двухликий ответ Солженицына тут же стал предметом очередной антисоветской кампании в некоторых странах. В следующем году он вновь посылает во множество адресов два письма, в которых пытается лицемерно взваливать на других ответственность за то, что его «Раковый корпус» появился в редакциях иностранных антисоветских изданий. И опять цель достигнута — новая шумиха вокруг его имени, новые «заступники».

Трудно не согласиться с мнением одного из старейших русских советских писателей Леонида Соболева, который писал: «Остается предполагать одно, что такой международный шум вполне его устраивает».

По-видимому, тогда, когда советские, и не только советские,

литераторы осудили поведение Солженицына, известным кругам понадобился новый повод для очередной сенсации. Так возникла кампания за присуждение «мятежнику» Солженицыну Нобелевской премии. Дело дошло до того, что французская газета «Экспресс» в статье «Солженицын вновь зажигает свечи» воздала ему хвалу за попытку реабилитировать предателя Родины Власова и всех власовцев, которые, изменив Родине и одевшись в форму гитлеровских войск, творили чудовищные зверства над населением оккупированных районов Советского Союза в годы второй мировой войны.

Измена так измена — решают советчики Солженицына: «Хорошо бы, — писала норвежская газета “Арбайдербладет”, — если бы Солженицын поставил свой письменный стол в Норвегии». И для придания скандалу поистине геростратовых оттенков газета требовала: «Дать Солженицыну Нобелевскую премию».

Разумеется, не только в Советском Союзе люди, всерьез относящиеся к духовным ценностям, не поймут этой акции Нобелевского комитета. От нее отвернутся все, кому навязло в зубах банальное блюдо антисоветской пропаганды. Решение, принятое в Стокгольме, вызывает протест совсем не потому, что Солженицын создает произведения, способные будто бы расшатать устои социализма. Эти устои настолько прочны, что их не могли поколебать гораздо более серьезные идеологические и не только идеологические диверсии, которые были направлены против Советского Союза.

В Секретариате Союза писателей корреспондентам АПН сообщили, что известие о присуждении Солженицыну Нобелевской премии расценивается там как недостойная игра, затеянная отнюдь не в интересах развития подлинных ценностей и традиций литературы, а продиктованная спекулятивными политическими соображениями.

Можно только сожалеть, что, опуская шары в пользу Солженицына, члены Нобелевского комитета не подумали над тем, как они надругались над этой премией. А, впрочем, может быть, мы предъявляем иным членам литературной секции Нобелевского комитета слишком высокие моральные требования. Ведь был же в их практике «лауреат» Андре Жид, проклятый своим и другими народами за сотрудничество с гитлеровскими извергами.

Выбирает ли в таких случаях, как с Андре Жидом или Солженицыным, Нобелевский комитет, кого увенчать лаврами лауреата, или сам комитет оказывается расчетливо избранным в качестве лжесвидетеля с известной репутацией?

(«Комсомольская правда», 17 октября 1970 года.)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МСТИСЛАВА РОСТРОПОВИЧА

Главным редакторам газет: «Правда», «Известия», «Литературная газета», «Советская культура»

Уважаемый товарищ редактор!

Уже не стало секретом, что А.И.Солженицын большую часть времени живет в моем доме под Москвой. На моих глазах произошло и его исключение из Союза писателей — в то самое время, когда он усиленно работал над романом о 1914-м годе, и вот теперь награждение его Нобелевской премией и газетная кампания по этому поводу. Эта последняя и заставляет меня взяться за письмо к Вам.

На моей памяти уже третий советский писатель получает Нобелевскую премию, причем в двух случаях из трех мы рассматриваем присуждение премии как грязную политическую игру, а в одном (Шолохов) — как справедливое признание ведущего мирового значения нашей литературы.

Если бы в свое время Шолохов отказался бы принять премию из рук, присудивших ее Пастернаку «по соображениям холодной войны», я бы понял, что и дальше мы не доверяем объективности и честности шведских академиков. А теперь получается так, что мы, избирательно, то с благодарностью принимаем Нобелевские премии по литературе, то бранимся.

А что если в следующий раз премию присудят т. Кочетову? — ведь нужно будет взять!?

Почему, через день после присуждения премии Солженицыну, в наших газетах появляется странное сообщение о беседе корреспондента «Икс» с представителем Секретариата Союза писателей «Икс» о том, что *вся* общественность страны (то есть, очевидно, и все ученые, и все музыканты, и т. д.) активно поддержали его исключение из Союза писателей?

Почему «Литературная газета» тенденциозно подбирает из множества западных газет лишь высказывания американской и шведской

коммунистических газет, обходя такие несравненно более популярные и значительные коммунистические газеты, как «Юманите», «Летр франсэз», «Унита», не говоря уже о множестве некоммунистических?

Если мы верим некоему критику Боноски, то как быть с мнением таких крупных писателей, как Бёльль, Арагон, Франсуа Мориак?

Я помню и хотел бы напомнить Вам наши газеты 1948 года. Сколько вздора писалось там по поводу признанных теперь гигантов нашей музыки С.С.Прокофьева и Д.Д.Шостаковича.

Например:

«Гг. Д.Шостакович, С.Прокофьев, В.Шебалин, Н.Мясковский и другие! Ваша атональная дисгармоничная музыка *органически чужда* народу... формалистическое трюкачество возникает тогда, когда налицо имеется немного таланта, но очень много претензий на новаторство... мы совсем не воспринимаем музыки Шостаковича, Мясковского, Прокофьева. Нет в ней лада, порядка, нет широкой напевности, мелодии».

Сейчас, когда помотришь на газеты тех лет, становится за многое нестерпимо стыдно. За то, что три десятка лет не звучала опера «Катерина Измайлова»; что Прокофьев при жизни так и не увидел последнего варианта своей оперы «Война и мир» и симфонии-концерта для виолончели с оркестром; что существовали официальные списки запретных произведений Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, Хачатуряна.

Неужели прожитое время не научило нас осторожно относиться к сокрушению талантливых людей? не говорить от имени всего народа? не заставлять людей высказываться о том, чего они попросту не читали или не слыхали? Я с гордостью вспоминаю, что не пришел на собрание деятелей культуры в ЦДРИ, где поносили Пастернака и намечалось мое выступление, где мне «поручили» критиковать роман «Доктор Живаго», в то время мною еще не читанный.

В 1948 году были списки запрещенных произведений. Сейчас предпочитают *устные запреты*, ссылаясь, что «есть мнение», что это не рекомендуется. Где и у кого *есть мнение*, — установить нельзя. Почему, например, Галине Вишневской запретили исполнять в ее концерте в Москве блестящий вокальный цикл Бориса Чайковского на слова И.Бродского? Почему несколько раз препятствовали исполнению цикла Шостаковича на слова Саши Черного, хотя тексты у нас были изданы?

Почему странные трудности сопровождали исполнение 13-й и 14-й симфоний Шостаковича?

Опять, видимо, «было мнение». У кого возникло «мнение», что Солженицына надо выгнать из Союза писателей? — мне выяснить не удалось, хотя я этим очень интересовался. Вряд ли пять рязанских писателей-мушкетеров отважились сделать это сами без таинственного *мнения*.

Видимо, *мнение* помешало моим соотечественникам и узнать проданный нами за границу фильм Тарковского «Андрей Рублев», который мне посчастливилось видеть среди восторженных парижан. Очевидно, *мнение* же помешало выпустить в свет и «Раковый корпус» Солженицына, который уже был набран в «Новом мире». Вот когда б его напечатали у нас, — тогда б его открыто и широко обсудили на пользу автору и читателям.

Я не касаюсь ни политических, ни экономических вопросов нашей страны. Есть люди, которые в этом разбираются лучше меня. Но объясните мне, пожалуйста, почему именно в нашей литературе и искусстве так часто решающее слово принадлежит людям, абсолютно некомпетентным в этом? Почему дается им право дискредитировать наше искусство в глазах нашего народа?!

Я ворошу старое не для того, чтобы брюзжать, а чтобы не пришлось в будущем, скажем, еще через двадцать лет, стыдливо припрятывать сегодняшние газеты.

Каждый человек должен иметь право безбоязненно, самостоятельно мыслить и высказываться о том, что ему известно, лично продумано, пережито, а не только слабо варьировать заложенное в него *мнение*.

К свободному обсуждению без подсказок и одергиваний мы обязательно и придем!

Я знаю, что после моего письма непременно появится *мнение* и обо мне, но не боюсь его и откровенно высказываю то, что думаю. Таланты, которые составляют нашу гордость, не должны подвергаться предварительному избиванию. Я знаю многие произведения Солженицына. Люблю их. Считаю, что он выстрадал право искать правду, как ее видит, и не вижу причины скрывать свое отношение к нему, когда против него развернута кампания.

Мстислав Ростропович
31 октября 1970 года

НАПЕЧАТАН «АВГУСТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО»

Дин Рио

ДОРОГОЙ коллега по искусству Солженицын! <...> Вы заклеили Советский Союз как «глубоко больное общество, пораженное ненавистью и несправедливостью». Вы говорите, что Советское правительство «не могло бы жить без врагов, и вся атмосфера пропитана ненавистью и еще раз ненавистью, не останавливающейся даже перед расовой ненавистью». Вы, должно быть, говорите о *моей* родине, а не о своей!.. Больное общество у меня на родине, а не у вас, г-н Солженицын!..

Скажите трудящимся капиталистического мира о ваших идеях по поводу «свободы слова как первого условия здоровья»... Вы говорите о свободе слова, тогда как большая часть населения земного шара пока еще говорит о возможности читать слова!

Нет, г-н Солженицын, ваше определение свободы слова как первого условия здоровья неверно...

Моя страна, известная своей «свободой слова», — это страна, где полиция нападает на участников мирных походов...

Вы заявляете также, что Советский Союз идет не в ногу с XX веком. Если это и верно, то потому, что Советский Союз всегда идет на полшага *впереди* XX века! Неужели вы предлагаете вашему народу отказаться от своей роли вождя и авангарда всех прогрессивных народов мира...

Г-н Солженицын, в статье далее сказано, что вы — «много-страдальный писатель из Советского Союза». По-видимому, это означает, что вы много страдаете из-за отсутствия моральных и общественных принципов и что ваша совесть мучает вас в тихие ночные часы, когда вы остаетесь наедине с собой...

Именно ваша страна стремится делать прогрессивные шаги во имя человечества, и если в чем-то она несовершенна и порою спотыкается, то мы не должны осуждать за эти недостатки всю

систему, а должны приветствовать ее за мужество и стремление прокладывать новые пути.

*Из «Открытого письма А.Солженицыну»
(«Литературная газета», 27 января 1971 года).*

В конце прошлого года гамбургский журнал «Штерн» выступил с большим материалом в связи с изданием в ФРГ романа А.Солженицына «Август Четырнадцатого».

Появление этой книги на Западе (рукопись была передана за границу самим автором вместе с правами на ее издание и подробным указанием, как следует распорядиться гонораром) оказалось весьма кстати для антисоветчиков всех мастей...

<...> Откровенно охарактеризовал книгу Солженицына, ее «внутреннюю сверхзадачу» корреспондент американской «Вашингтон пост» Анатолий Шуб: «Солженицын здесь, можно сказать, превзошел самого себя. “Август Четырнадцатого” — это настоящий, неприкрытый вызов, брошенный им нынешнему режиму и направленный против его сущности. У Солженицына есть свой взгляд на Россию, на ее славу и на ее падение в момент величайшей трагедии (т. е. Октябрьской революции! — *Ред.*), с которой началась ее современная история. Это его личная, уникальная точка зрения...»

<...> Он... хитро применил испытанный прием, который позволяет ему избежать тюремного заключения за антигосударственную деятельность. Он переносит действие в дореволюционное время. Однако читатель сразу же понимает, что, описывая исторические события, автор имеет в виду проблемы современности.

*Из редакционного вступления к статье «Журнал “Штерн”
о семье Солженицыных» и из самой статьи
(«Литературная газета», 12 января 1972 года).*

Мартти Ларни

<...> Общеизвестно, что писатели публикуют свои книги в своей стране и на своем родном языке... Солженицын же представляет собой исключение из общего правила. Он сразу передал рукопись своего романа за границу со всеми правами на публикацию...

Враги Советского Союза искали и нашли в романе Соженицына четырех тузов для своего политического покера: царская Россия была просто идеальным государством; Октябрьская революция — большая трагическая ошибка; следствием революции явилось уничтожение нации; русские утратили чувство патриотизма...

Если «Август Четырнадцатого» намеренно направлен против Советского Союза... то именно про самого автора можно сказать, что он принадлежит к той «безродной интеллигенции», которая не знает свою страну и ее историю и которая не любит свой народ.

*Из статьи «Когда историю ставят в угол»
(«Литературная газета», 23 февраля 1972 года).*

Марина Штюц

<...> Роман сводится к банальной апологии теории конвергенции, по которой технократия как определяющая якобы сила общества сумеет устранить противоречия между социализмом и капитализмом путем их сглаживания. Солженицын не выводит в своей книге ни одного большевика, ни одного рабочего. А своих жалких, изолированных от народа, придурковатых «революционеров» он выдает за всех русских революционеров, в том числе и за тех, которые в 1917 году возглавили революцию. С подобной точки зрения Октябрьская революция может казаться только несчастным случаем в истории народа.

Из статьи «В кривом зеркале» (там же).

Ежи Романовский

<...> Российский Октябрь дал практический ответ, уничтожив капитализм на одной шестой части планеты. В странах, где буржуазии удалось отбить вал революции, капитализм и созданный им милитаризм были подвергнуты уничтожающему осуждению. Барбюс, Ремарк, Хемингуэй, то есть те немногие из многих, бросили яркий свет на несчастья, в которых виноват был строй, господствующий на Западе. Осуждение первой мировой войны стало общим делом мировой литературы...

Теоретически трудно представить, чтобы кто-либо замахнулся на титанический, по большей части честный труд многих.

Но такой человек, наделенный неописуемым интеллектуальным высокомерием, нашелся. Это Александр Солженицын...

Позиция Солженицына... по частным вопросам обусловлена его отношением к стране, в которой он родился. Книга изобилует многочисленными рассчитанно оскорбительными сентенциями в адрес России и славян, которые декларируются как истина в конечной инстанции, верная для всех времен...

Солженицын не искал объективной правды, он заботился исключительно о том, чтобы представить события в пропагандистской версии, сходной с позицией апологетов германского милитаризма...

Отправившись в самодельной машине времени, переделывая прошлое, Солженицын следует строго определенным путем к точно намеченной цели...

Почему же Солженицын поднимает политическую полемику по вопросам, давно решенным историей в ходе Октябрьской революции?..

Солженицын творит свой суд и на скамью обвиняемых вместе с монархистами сажает революционеров...

Как и следовало ожидать, эта книга была принята на Западе с распростертыми объятиями как произведение, ценность которого — добавляем, политическая — заключается в ненависти к Советскому Союзу.

*Из статьи «“Август Четырнадцатого”
Александра Солженицына, или Правда о книге и мифе»
(«Литературная Россия», 7 апреля 1972 года).*

Леонид Прокша

<...> Осенью прошлого года я получил от одного земляка из Соединенных Штатов Америки письмо. В нем были вырезки из антисоветской газеты «Новое русское слово». На одной — во всю полосу огромный заголовок: «Плач по России». Это оказалась рецензия некоего Андрея Седых на роман А.Солженицына «Август Четырнадцатого». Другая вырезка — вновь рецензия на тот же роман, автор — Георгий Адамович...

В конце рецензии Андрей Седых делает вывод: «Нужно читать и перечитывать эту книгу Солженицына, его великий плач по России, чтобы, может быть, впервые не умом, а всем сердцем по-

чувствовать, откуда пошло наше общее несчастье, за которое Россия расплывается уже пятьдесят лет».

Так защитники написания слов «бог» и «царь» с большой буквы пытаются свое несчастье представить общим горем. Не выйдет! В Октябре Семнадцатого победили под руководством Ленина трудящиеся массы. Это самое яркое и значительное явление в истории человечества, это счастье для всех поколений...

Мнения и наших друзей, и наших недругов сходятся в одном: роман «Август Четырнадцатого» намеренно направлен против Советского Союза.

*Из статьи «По какой России плачет Солженицын»
(«Литературная газета», 12 апреля 1972 года).*

*Максим Танк, Михась Лыньков, Иван Шамякин,
Иван Мележ, Алексей Кулаковский*

<...> Мы вполне допускаем такую мысль, что с позиции представителей бывшего господствующего класса Октябрьская революция была трагедией, принесла им унижение, поскольку лишила их всяческих привилегий. Оплакивать эти утраченные привилегии может только тот, кто мечтает об их возврате. Возможно, и у самого Солженицына есть какие-то основания для личной скорби, для неутешных переживаний. Но что касается «унижения нации», то тут уж давайте не будем!

Если взять наш белорусский народ, то у нас, его сыновей, есть все основания сказать, что только революция из положения униженного возвысила его до положения хозяина, равного среди равных в братской семье народов Советского Союза...

Мы гневно осуждаем каждого, кто пытается очернить завоевания Великого Октября, опорочить святые чувства нашего народа.

*Из статьи «В одной упряжке с недругами»
(«Литературная газета», 19 апреля 1972 года).*

Эусебио Феррари

<...> Произведения Солженицына на русском языке за пределами СССР выпускает издательство антисоветской эмиграции «Посев»...

В Италии опубликован его роман «В круге первом». Наши

крупнейшие газеты отметили, что в этом романе Солженицын представил СССР как «полицейское государство», «тюремный мир»...

И не случайно после присуждения Нобелевской премии буржуазная печать писала о Солженицыне как о человеке, отвергающем советское общество... То он говорит о «кризисе» советского общества, то считает его «серьезно больным», а тех, кто с ним не согласен, называет «слепыми поводырями слепых». Трудно все это уложить в рамки «художественных критериев»!..

В Советском Союзе в принципе не публикуются никакие произведения, призывающие к замене существующего социалистического строя другим. Почему же для Солженицына должно делаться исключение?..

Нельзя не прийти к выводу, что сложившееся в Советском Союзе отношение к Солженицыну полностью отвечает логике борьбы пролетариата за торжество коммунизма.

Из статьи «Кто заказывает музыку...» (там же).

Жорес Медведев

ПО СЛЕДАМ СОВЕТСКОЙ ПРЕССЫ

<...> Предполагается, что советские читатели *не могут* знать произведение, опубликованное за границей, — советские газеты публикуют лишь «иностранные» статьи (итальянец Феррари, немка Штюц, поляк Е. Романовский, финн Ларни). Но что же обнаруживается? Кто авторы этих статей? Начнем с Э. Феррари... Апрельский номер итальянского журнала, из которого статья была переведена на русский и перепечатана «Лит. газетой», вышел 15–20 апреля и появился в Ленинской библиотеке 18 мая с. г. Таким образом, статья в «Лит. газете» была помещена раньше, чем итальянский журнал был разослан подписчиками в Италии. В кратком письме, помещенном в том же номере итальянского журнала, что и статья, адрес Феррари указан: «Москва». Род его занятий не назван, однако как критик или публицист он в Италии не известен. Остается гадать, была ли автору надобность послать свою статейку сначала в Италию или проще сразу отдать тому, «кто заказывает музыку»?

Статья Ежи Романовского в редакции «Труда» и «Литературной России» поступила прямо из директивных органов уже на

русском языке. Польского оригинала в редакциях не видели и даже не знают, в каком городе издается еженедельник «ВТК». Как выяснилось — это Вроцлавский «Тыгодник католиков». Если о Е.Романовском как о журналисте в Польше ничего не известно, то кое-что удалось выяснить о владельце издательства «Пакс», выпускающем этот журнал. Это некий Пясецкий, который до 1939 г. был редактором профашистской польской газеты, а с 1939 по 1945 г. издавал единственную польскую газету, выходившую при оккупантах.

(Сб. «Август Четырнадцатого» читают на родине», Париж, YMCA-Press, 1973, с. 125–126.)

<...> Я имел возможность прочитать русское издание этого романа. Сравнивая роман с «рецензией» Ларни, я могу с полной уверенностью сказать, что Ларни и сам не прочитал «Август Четырнадцатого», а подготовил свою статью только на основе некоторых рецензий, появившихся в западной прессе. Кроме того, Ларни, взявшийся за разбор исторического романа, никакого реального представления об истории России не имеет, и поэтому его рассуждения в этой области совершенно смехотворны...

В статье Ларни нет ни одной фразы, которая показывала бы, что он прочитал или хотя бы просмотрел роман Солженицына. В то же время в каждом абзаце он обсуждает то, что к роману не имеет никакого отношения...

Как выясняется, Мартти Ларни уже 26-го февраля с.г. дал интервью финской газете «Ууси Суоми» (Uusi Suomi), в котором заявил... что он роман «Август Четырнадцатого» действительно не читал и не мог бы прочитать, так как он не владеет русским языком. Ларни объяснил, что к нему непосредственно в 1971 г. обратилась «Литературная газета» с просьбой прокомментировать рецензию на роман А.И.Солженицына, написанную А.Шубом для газеты «Вашингтон Пост» в июне 1971 г. Ларни это и сделал...

Вот и приходится размышлять над тем, кто же в самом деле тянет «в одной упряжке с недругами» советскую литературу на путь фальсификации.

*Из писем Ж.А.Медведева и П.Мележу
(там же, с. 128, 131–132).*

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

Уважаемый товарищ редактор!

Прочитав опубликованное в вашей газете письмо членов Академии Наук СССР относительно поведения академика Сахарова, порочащего честь и достоинство советского ученого, мы считаем своим долгом выразить полное согласие с позицией авторов письма.

Советские писатели всегда вместе со своим народом и Коммунистической партией боролись за высокие идеалы коммунизма, за мир и дружбу между народами. Эта борьба — веление сердца всей художественной интеллигенции нашей страны. В нынешний исторический момент, когда происходят благотворные перемены в политическом климате планеты, поведение таких людей, как Сахаров и Солженицын, клеветующих на наш государственный и общественный строй, пытающихся породить недоверие к миролюбивой политике Советского государства и по существу призывающих Запад продолжать политику «холодной войны», не может вызвать никаких других чувств, кроме глубокого презрения и осуждения.

*Ч.Айтматов, Ю.Бондарев, В.Быков, Р.Гамзатов,
О.Гончар, Н.Грибачев, С.Залыгин, В.Катаев,
А.Кешоков, В.Кожевников, М.Лукошин, Г.Марков,
И.Мележ, С.Михалков, С.Наровчатов,
В.Озеров, Б.Полевой, А.Салынский, С.Сартаков,
К.Симонов, С.С.Смирнов, А.Софронов,
М.Стельмах, А.Сурков, Н.Тихонов, М.Турсун-заде,
К.Федин, Н.Федоренко, А.Чаковский,
М.Шолохов, С.Щипачев
(«Правда», 31 августа 1973 года.)*

П.Леонидов

<...> На этот раз Солженицын «дал интервью» журналистам парижской «Монд» и агентства Ассошиэйтед Пресс*.

Характер этого интервью обычен для Солженицына — это обвинения Советской власти во всех смертных грехах, это высоко-

* Речь идет об интервью А.Солженицына от 23.8.73. Его текст см. в книге «Бодался теленок с дубом» (М., «Согласие», 1997, с. 653).

комерные рассуждения о литературе и своей в ней роли, это угрозы и шантаж...

Интервью Солженицына — плод больного и озлобленного до крайности воображения. Нам меньше всего хотелось бы «читать мораль» его автору. Это — бессмысленно. Ибо самые отъявленные, самые предубежденные, самые твердолобые из западных «специалистов по России» могут позавидовать той лихости, с какой Солженицын «ниспровергает» коммунизм...

Но возникает, не может не возникнуть вопрос, адресованный самим печатным изданиям из числа считающих себя респектабельными, которые щедро предоставляют свои страницы клеветническим злобствованиям сахаровых, солженицыных. Неужели они не понимают, что такого рода «беспристрастностью» и «объективизмом» они зарабатывают репутацию, мягко говоря, несовместимую с декларируемыми ими же благородными задачами достижения взаимопонимания между народами, ослабления международной напряженности?

Советская общественность хорошо представляет себе подлинный смысл и подлинную цену злобным антисоветским высказываниям, примитивной лжи «диссидентов». Но настанет ли время, когда претендующая на солидность буржуазная пресса будет разборчивее в поисках «источников информации»?

*Из статьи «По поводу одного “интервью”»
(«Комсомольская правда», 5 сентября 1973 года).*

ИЗГНАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВЗЯТИИ «АРХИПЕЛАГА ГУЛАГА»

Москва, 5 сентября 1973

КАК заявил Солженицын, в конце августа в Ленинграде КГБ конфисковал машинописный экземпляр книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — многотомного исследования о советских лагерях за период 1918–1956, содержащего только подлинные факты, места и имена ещё ныне живущих людей (свыше двухсот человек). Автор опасается, что теперь начнётся преследование всех их за показания о своих муках в сталинских лагерях, данные 10 лет назад.

Сведения о месте хранения книги сообщила Елизавета Воронянская, которую допрашивали в КГБ непрерывно 5 суток. Вернувшись домой, она повесилась.

*(Приложение № 31 в кн.: А.Солженицын.
Бодался теленок с дубом. М., «Согласие», 1997, с. 657–658.)*

НУЖНО ИДТИ ВСЕ ДАЛЬШЕ...

(Александр Солженицын и его книга «Архипелаг ГУЛАГ»)

<...> Когда руководитель недавно созданного агентства по охране авторских прав Борис Панкин заявляет, что он «примет меры» против распространения за границей сочинений Солженицына, то это заявление представляет собой беспрецедентную и — поскольку речь идет о зарубежных издателях, — по-видимому, пустую угрозу...

Итак, теперь все повторится заново: клевета, поношения, оскорбления, война нервов против Солженицына. В широко распространяющихся газетах и журналах будут печататься обычные в таких случаях статьи. И снова нас будут обвинять в том, что мы являемся сторонниками холодной войны. Коллеги Солженицына отмежуются от него и примут участие в травле.

Я спрашиваю себя, но также секретарей и членов Союза советских писателей: неужели все это будет вечно продолжаться?

Неужели это не прекратится до тех пор, пока Солженицына с его семьей не выбросят или не заставят уехать за границу? Писателя, в своей стране поставленного вне общества и полностью беззащитного?

Для Солженицына, лишенного в Советском Союзе возможности обращаться к общественности, публикуя там свои произведения, остается одно: обращаться к общественности мировой. И он сделал это, опубликовав «Архипелаг ГУЛАг».

Правда, есть один выход, и я сейчас скажу, в чем он состоит, хотя мое предложение может показаться безумным: опубликовать книгу Солженицына в Советском Союзе.

И хотя можно предугадать, как отнесутся к книге официальные и официозные критики, однако в этом случае советские читатели получили бы возможность проверить — основываясь на собственном опыте или на опыте своих близких, — насколько правдиво Солженицын изложил этот страшный период советской истории...

Я хорошо понимаю, насколько безумно звучит мое предложение опубликовать Солженицына в Советском Союзе. Но иногда бывает, что самое безумное предложение представляет собой единственный реалистический выход. Такая большая страна, как Советский Союз, которая, по-видимому, действительно заинтересована в разрядке международной напряженности, не может позволить себе в течение длительного времени сохранять эту внутреннюю напряженность, проистекающую из наличия прошлого, но все еще не изжитого ужаса, который воссоздает Солженицын в своей книге...

А как далеко зайдут его враги в Союзе писателей, в редакциях газет и журналов, в ведомствах культуры и т. д. — это уже не вопрос личного нравственного решения, а всего лишь вопрос злоупотребления властью. Все равно враги его уже давно проиграли эту игру. Им следовало бы понять это и принять единственно возможное безумное решение, которое я предлагаю...

*Из статьи Генриха Бёлля
(«Die Zeit», 11 января 1974 года).*

<...> Александр Солженицын, будучи заведомо уверен в том, что советский народ отвергнет его новую книгу «Архипелаг

ГУЛАг», действовал по-иному. Рукопись «Архипелага» была переправлена за границу и там увидела свет в канун Нового года. И те, кто еще не до конца притупил перо на антисоветской стряпне, забыв о празднике, взялись за работу...

Для антисоветчиков типа г. Солсбери из «Нью-Йорк Таймс» чтение нового произведения Солженицына было, конечно, праздником куда большим, чем сидение под новогодней елкой. Еще бы! В новой книге, состоящей из 260 000 слов, Солженицын вновь перепевает старые для его «творческой линии» темы: лагеря послевоенных лет, окутавшая якобы всю страну сеть секретной разведки, гонения на интеллигенцию, инакомыслящие в психиатрических больницах, огульная клевета на советский народ...

И не случайно, что, кроме отпетого антисоветчика г. Солсбери, опубликовавшего в «Нью-Йорк Таймс» пространную статью об «Архипелаге», приняли этот подарок лондонские консервативные «Дейли Телеграф» и «Обсервер», правые парижские «Орор», «Фигаро», две газеты Мадрида и радио ЮАР.

Сегодня эти буржуазные органы массовой пропаганды поощряют деятельность фашистской хунты в Чили, покрывшей сетью концентрационных лагерей всю страну. Они потворствуют разгулу кровавой реакции в Греции, стремятся обелить незаконное, творимое испанским судом, и оправдать преступления южноафриканских расистов. И именно эти газеты возглавили сегодня антисоветскую кампанию, пищу для которой дала новая книга Солженицына. Она представила им повод приписать советской действительности язвы и пороки, присущие капитализму.

*Из статьи «Отравители атмосферы разрядки»
(обозреватель ТАСС Сергей Кулик, только на Запад).*

Первые же дни нового года охарактеризовались началом очередной антисоветской кампании в реакционной западной печати.

Предлогом для ее развязывания послужило появление на книжных прилавках Запада еще одного пасквиля отщепенца Солженицына, переданного автором за границу в обмен на обещание обеспечить ему любую валюту, которая выглядит в данный момент перспективнее других.

Правда, всему миру уже давно известно, чего стоит литера-

турное «крело» этого человека, который, как он сам неоднократно заявлял, ненавидит свою страну поистине лютой ненавистью и впадает в истерику каждый раз, когда вспоминает, что живет не в царское время, а при социализме. Но, как говорится, на безрыбье и рак — рыба, и за отсутствием иных возможностей те, кто планирует и оркеструет реакционную пропаганду на Западе, исчерпав прежние темы, вновь вытащили на свет марионетку, всегда готовую выполнить любой заказ по части антисоветской клеветы...

*Из статьи «Злоба бессилия»
(комментатор ТАСС Кирилл Андреев, только на Запад).*

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы глубоко обеспокоены и возмущены новыми угрозами Александру Солженицыну, которые содержатся в недавнем заявлении ТАСС. ТАСС заявляет, что Солженицын — «предатель родины», который клеветает на ее прошлое. Но как можно одновременно утверждать, что «допущенные» ошибки осуждены и исправлены, и в то же время называть клеветой честную попытку собрать и опубликовать исторические и фольклорные свидетельства об одной части этих отягчающих нашу коллективную совесть преступлений? Ведь нельзя отрицать того, что действительно были массовые аресты, пытки, казни, принудительный труд, бесчеловечные условия, сознательное уничтожение миллионов людей в лагерях; было раскулачивание, преследование и уничтожение сотен тысяч верующих, насильственное переселение народов, антирабочие и антикрестьянские законы, преследование вернувшихся из плена. Были и другие преступления, поражающие своими жестокостью, коварством и цинизмом. Право писателя писать и публиковать то, что велит ему совесть и долг художника, — одно из основных в цивилизованном обществе. Это право не может ограничиваться государственными границами. Тем более такая возможность не может быть предоставлена якобы общественной организации «Всесоюзное агентство по охране авторских прав», которая фактически выполняет задачи политической цензуры, тенденциозной пропаганды и прямой валютной спекуляции на труде автора.

Мы уверены, что нет никаких опирающихся на закон оснований для преследования Солженицына за опубликование им за рубежом новой книги «Архипелаг ГУЛАГ», как нет основания преследования кого-либо за подобные действия. Мы знаем, однако, что в нашем государстве возможны преследования и без таких оснований. Мы призываем честных людей во всем мире противостоять этой опасности, защитить гордость русской и мировой культуры — Александра Солженицына.

*В.Войнович, А.Галич, В.Максимов,
А.Сахаров, И.Шафаревич
5 января 1974 г.*

<...> В последние дни буржуазная печать развернула антисоветскую шумиху в связи с публикацией на Западе очередного клеветнического сочинения А.Солженицына под названием «Архипелаг Гулаг». На поверхности грязного потока антикоммунистической пропаганды вновь появилось имя отца пера, который уже много лет сотрудничает с враждебными советскому народу зарубежными издательствами и органами печати, включая белоэмигрантские...

Книга «Архипелаг Гулаг» явно рассчитана на то, чтобы одурачить и обмануть доверчивых людей всевозможными измышлениями о Советском Союзе. Автор этого сочинения буквально задыхается от патологической ненависти к стране, где он родился и вырос, к социалистическому строю, к советским людям.

Книгу эту, замаскированную под документальность, можно было бы назвать плодом больного воображения, если бы она не была начинена циничной фальсификацией, состряпанной в угоду силам империалистической реакции. Если чем и может порадовать читателя названное сочинение, так это, пожалуй, предельной степенью саморазоблачения человека, который смотрит на новое, строящееся общество глазами тех, кто расстреливал и вешал коммунистов, революционных рабочих и крестьян, отстаивая черное дело контрреволюции.

Такова логика морального падения, такова мера духовной нищеты этого внутреннего эмигранта, лишенного всякой связи с реальной жизнью нашего общества...

Но те господа на Западе, которые усердно курят фимиам Солженицыну, вряд ли наживут на столь малопочтенном занятии какой-нибудь капитал. Слишком уж очевидны мерзость и ничтожество этой фигуры — и в нравственном, и в политическом отношении. Уместно напомнить здесь дошедшие до нас из древности слова: «Предателей презирают даже те, кому они сослужили службу». Так было и так будет.

Как известно, советская общественность, Союз писателей неоднократно предупреждали Солженицына о недопустимости его поведения, позорящего звание советского гражданина. Но Солженицын ничему не внял и ничему не научился. Он был и остался антисоветчиком и антикоммунистом, сознательно перешедшим в лагерь врагов мира, демократии и социализма. Он выступает в роли провокатора и подстрекателя, закликающего империалистов проводить по отношению к СССР «политику силы»...

Солженицын удостоился того, к чему столь усердно стремился, — участи предателя, от которого не может не отвернуться с гневом и презрением каждый советский труженик, каждый честный человек на земле.

*Из статьи И.Соловьёва «Путь предательства»
 («Правда», 14 января 1974 года).*

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Полная ярости кампания прессы скрывает от советского читателя главное: о чём эта книга? Что за странное слово «ГУЛАг» в названии ее? «Правда» лжёт: автор «смотрит глазами тех, кто вешал революционных рабочих и крестьян». Нет! — глазами тех, кого расстреливало и мучило НКВД. «Правда» уверяет, что в нашей стране «бескомпромиссная критика» периода до 1956 г. Ну, вот, пусть и покажут свою бескомпромиссную критику, я дал им богатейший фактический материал.

Ещё сегодня — ещё сегодня! — этот путь не закрыт. И какое очищение было бы для страны!

Публикуя «Архипелаг», я всё же не ожидал, что до такой степени отрекутся даже от своих прежних слабых признаний. Линия, избранная органами нашей пропаганды, есть линия звериного страха перед разоблачениями. Она показывает, как цепко держатся у нас за кровавое прошлое и хотят нераскрытым

мешком тащить его с собою в будущее — лишь бы не произнести ни слова — не то что приговора, но морального осуждения ни одному из палачей, следователей, доносчиков. <...>

*А.Солженицын
18 января 1974 года*

<...> Помню появление Солженицына в Москве с повестью и рассказами. Как его дружески приняли!.. Он сидел под Москвой, в Москве и клеветал.

*И.Шток. «Пособник реакции»
 («Советская культура», 22 января 1974 года).*

ОТПОР ЛИТЕРАТУРНОМУ ВЛАСОВЦУ

<...> Что ж, теперь, по крайней мере, до конца вырисовался облик Солженицына, если он кому-то не был вполне ясен до сих пор, — облик человека, переполненного яростной злобой, высокомерием и пренебрежением к своим соотечественникам. И, значит, он сам ставит себя вне нашего общества.

*Сергей Михалков. «Саморазоблачение клеветника»
 («Литературная газета», 23 января 1974 года).*

Вновь на свет божий появился Солженицын, и вновь со своей грязной стряпней...

У нас, белорусов, потерявших каждого четвертого в борьбе за Родину, такой «поборник правды» вызывает лишь чувство отвращения.

В эти дни часто можно услышать разговоры о Солженицыне, о его подлом поступке. Наши люди прямо говорят: Солженицын — предатель. И продан он не за тридцать сребренников, а за более внушительные суммы...

Будет забыт и Солженицын, и его антинародные измышления сгниют на свалке истории.

*Петрусь Бровка
 «Лишь бы очернить...» (там же).*

<...> Дойти до того, чтобы обелять власовцев, возводить поклеп на революцию, на героев Отечественной войны, на самоот-

верженную борьбу советских людей, оскорбляя память павших, — это ли не верх кощунства и цинизма!

Своей правдивостью советская литература заслужила уважение читателей.

*Олесь Гончар. «Кощунство»
(«Литературная газета», 23 января 1974 года).*

<...> Солженицын давно вступил на путь предательства, давно и сам себя поставил вне рядов советских писателей. Уже не первый год упражняется он в клевете на нашу Родину. Он облил грязью все, что дорого советскому народу. Казалось бы, всему, даже бессильной ненависти, есть предел, но Солженицын дошел до крайней степени падения, выступив против самого святого: Октябрьская революция и Отечественная война, огромные жертвы, понесенные советским народом в борьбе за спасение человечества, превратились для него в предмет клеветы и циничного глумления.

*Григол Абашидзе
«Крайняя степень падения» (там же).*

В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»

Уважаемый товарищ редактор!

Хочу выразить свое отношение к статье «Правды» от 14 января с. г., в которой дана справедливая, на мой взгляд, политическая оценка пути, пройденного за эти годы А.И.Солженицыным, чья деятельность, чем дальше, тем больше выходила за рамки литературы и постепенно приобрела неприкрыто антикоммунистический и антисоветский характер.

*Константин Симонов
(«Правда», 24 января 1974 года.)*

<...> И вот находится в нашей стране так называемый писатель Солженицын, который, кощунствуя над величайшими человеческими жертвами во имя торжества священной и справедливой социальной борьбы, оправдывает бывший царский режим в России, умиляется при мыслях о фашизме, находит у гитлеровских головорезов признаки человеколюбия и гуманности...

До какого же политического растрепания и нравственного ма-разма дошел Солженицын?!

На чуткое внимание самой оголтелой реакции и рассчитывал прежде всего Солженицын, сочиняя свою затхлую книжонку «Архипелаг Гулаг». Другой творческой задачи у него не было...

Солженицын был и остается убежденным и непримиримым противником нашей революции, великих марксистско-ленинских идей. В своей ненависти ко всему советскому, ко всему социалистическому он докатился, как говорят, до края.

*Анатолий Иванов. «Докатился до края»
(«Комсомольская правда», 25 января 1974 года).*

<...> За раздраженностью Солженицына кроется злоба и ненависть, что в литературу он пришел с давней наследственной враждой к нашему обществу, к строю, народу, государству. Последними своими злобными писаниями он превзошел самого себя. Лучшие сыны нашей страны всегда подчиняли и подчиняют свой талант, свои мысли Родине, народу...

Жить на земле, пропитанной кровью и потом многих поколений своего народа, и смешать с грязью его прошлое, настоящее и будущее — это уж слишком.

*Расул Гамзатов. «Ложка падения»
(«Правда», 25 января 1974 года).*

ОТВЕТЫ А.Д.САХАРОВА НА ВОПРОСЫ ФРАНЦУЗСКОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

Эти вопросы были заданы по телефону, но задавший их не смог больше соединиться со мной. Видимо, в таких случаях отвечают, что мой телефон неисправен. Я считаю нужным опубликовать это несостоявшееся телефонное интервью.

Вопрос: Действительно ли Вы и Солженицын, как сказал во Франции Жорж Марше, представляете собой лишь одинокую, далекую от народа группу разрозненных диссидентов?

Ответ: Я думаю, что Солженицын, так же как и я, не выражает мнения какой-либо группы диссидентов, а свою личную позицию, свое понимание истории и положения народа. В книге «Архипелаг ГУЛАГ» он опирается на свой личный опыт, рассказы очевидцев, архивные материалы и говорит от имени тех, кто не

вернулся с островов этого архипелага. Много ли людей разделяют его позицию? Кто это может сказать в нашей стране, где Солженицына не печатают, где из библиотек изъяли то небольшое, что было напечатано, где за чтение его книг дают сроки и где никто не проводит социологических исследований о том, как широко распространены Солженицын в «самиздате»? Но гораздо важнее — клевета или правда то, о чем он пишет. Все, с кем я когда-либо говорил о Солженицыне, убеждены, что он пишет правду.

Вопрос: Как, по Вашему мнению, реагировал бы советский народ, большинство трудящихся, если бы они имели возможность прочесть книгу Солженицына?

Ответ: Я уверен, что интерес к этой книге у всего читающего населения был бы большой, даже при разном отношении к ее содержанию. Большинство советских людей всех слоев населения знают о преступлениях и ужасах, описанных в книге Солженицына. Некоторые отгоняют от себя мысли об этом, другие не в состоянии осудить собственное прошлое, но есть и третьи, которые увидят в книге судьбу своих отцов, судьбу двух поколений, пропавших «без права переписки». Во всяком случае, нравственное значение этой книги огромно именно для людей нашей страны.

Вопрос: Вас и Солженицына многие обвиняют в том, что вы являетесь врагами социализма, Солженицына даже называют фашистом. Правильно это?

Ответ: Первая часть Вашего вопроса несерьезна, поскольку никто не знает, что такое социализм, каким надлежит ему быть. Страну, в которой живет Солженицын и живу я, мы оба любим, но никак не за то, что ее строй называется так или иначе. С беспримерным мужеством и талантом Солженицын исполняет свой долг писателя, взывая к нашей памяти не для того, чтобы кого-то судить или казнить, но чтобы память сохранила нас людьми. Назвать его фашистом может только тот, кто не хочет помнить, что это такое на самом деле.

Вопрос: Преступления, о которых пишет Солженицын, — это преступления системы или одного человека?

Ответ: Я думаю, что глубинная причина этих преступлений не в личности Сталина. С первых дней революции, когда Сталин еще не был у власти, фанатизм, проповедь классовой ненависти,

ожесточение, разрушение правопорядка — уже начали делать свое дело, и это не было случайным.

Вопрос: Как здоровье и моральное состояние Солженицына?

Ответ: Я думаю, что моральное состояние Солженицына — это состояние человека, исполнившего свой долг. Это всегда помогает здоровью. Конечно, в наших условиях с ним могут сделать все, что угодно. Только люди у нас и на Западе, только широкая гласная поддержка защищают и могут защитить его.

Борис Михайлов, историк

Я хочу, чтобы в эти тревожные дни, когда идет беда в жизнь и в дом писателя А.И.Солженицына, прозвучал голос человека неименитого — голос благодарности и поддержки.

В нашей стране мало людей, которые могут открыто высказывать свои взгляды, не опасаясь преследований, а таких, как я, очень много, и нам есть что сказать, но мы молчим.

Для меня А.И.Солженицын не просто писатель: наверное, в России и не было никогда «просто писателей», а были духовники и учителя народа и русской жизни. К ним я причисляю и А.И.Солженицына. Этот человек вершит великий моральный подвиг, один искупает неправду нашей жизни; со всех сторон его хулят за это, поносят, грозят расправой.

И неужели мы смолчим? Неужели не скажем слово приветия и благодарности сейчас, когда наступает, может быть, главная минута в жизни каждого из нас?

Нет, не будем молчать. Пусть Александр Исаевич Солженицын знает, что в эти дни на него обращены открытые людские взоры, которые горят признательностью, жаждут истины и требуют справедливости.

23 января 1974 года

Евгений Барабанов

— Этого Солженицына судить надо, — сказал мне знакомый, показав газету.

— За что?

— Там все написано. Предателей все презирают. И нечего меня переубеждать — в *наших* газетах неправды не напишут...

Почему Солженицын — предатель? Кого он предал? Какие выдал секреты? Чьи секреты? От кого? Почему умалчивание о зле совпадает с нашим нравственным долгом? Говорят, что он предал дело социализма. Но означает ли это, что преступления, о которых он заговорил, — неотъемлемая часть социализма? И кто взял с нас обязательство молчать о фальшивых и нелепых обвинениях, стоивших людям жизни, о вымогаемых признаниях в несовершенных преступлениях, о пытках, о смертях сотен, тысяч, десятков тысяч от голода, холода и нечеловеческих условий? Или об этом уже все сказано и нечего беречь прошлое? Пусть укажут хоть одно исследование, хоть одну книгу, в которых обо всем этом было полно рассказано.

Такая книга должна была появиться, и вот она появилась. Большой русский писатель сделал то, что неоплатным долгом лежало на всей нашей литературе и истории. Он стал голосом народной совести. Услышим ли мы его сегодня? Захотим ли услышать? Отрава прошлых насилий, судебных инсценировок, доносов, страха и молчания продолжает разъедать и нашу теперешнюю жизнь. Разве вой глушилок, бдительная цензура и травля вольного гласа — не продолжение того же?..

«Архипелаг» — великое свидетельство, но не только. Это путь к искуплению и очищению. Теперь уже ясно: правда, дозированная сотыми долями, чтобы помягче, побезопаснее и безболезненнее, — не излечивает, а консервирует жестокость и равнодушие. Теперь, когда правда сказана в полный голос, — от нас, от всех, от каждого зависит наш *нравственный выбор*: будем ли мы продолжать лгать, когда ложь уже очевидна, или найдем в себе мужество принять всю правду и жить по ней. Этот выбор не означает ни гражданского неповиновения, ни политических выступлений. Речь идет о восстановлении нравственных основ, без которых немыслимо никакое человеческое общежитие. Солженицын не призывает мстить. Его книга, книга христианина, подводит нас к подлинному пониманию и к конечному прощению. На наших плечах лежит бремя исторической ответственности. Нельзя более уклоняться и ждать: история может не предоставить нам другого подобного случая.

Люди едины в правде. Насилие везде остается насилием. Приклеивать политические ярлыки к свидетельствам о жертвах —

нравственное преступление во всех концах Земли. Поэтому проявление человечности, солидарности, сострадания никогда не сможет стать помехой для подлинного мира и сотрудничества народов.

Нет, не Солженицына нужно сейчас судить, а самих себя — судом совести.

*Из статьи «Путь совести».
28 января 1974 года*

Вадим Борисов, историк

Дни гонений на А.И.Солженицына грозят обернуться новым позором для русской интеллигенции.

«Распни его», — требует руководящий орган. «Распни, распни», — вторят газеты помельче. «Распни, распни, распни», — послушным эхом подхватывают нечитавшие «читатели».

«Власовец, контрреволюционер, миллионер, нравственное чудовище» — все это рассчитано (в который раз!) на оглушение, оглушение, озлобление народа. Подстрекатели надеются, что их лживый хор, поддержанный «глушилками», сможет исказить правду. Правду о страшной лагерной судьбе наших отцов, матерей, дедов, которую всему миру рассказал А.И.Солженицын в своей последней книге.

Но вы, Товстоногов, Симонов, Гамзатов и кто еще! Вы-то знаете, не можете не знать, на чьей стороне *правда*. Вы ведаете, что творите, когда вплетаете ваши голоса в улюлюканье и завыванья наемных распинателей. Ведаете — и предпочитаете опасной правде уютную ложь.

Так оставайтесь при ней, если стыд не обжигает вам лиц. Но остерегитесь растлевать ею души соотечественников. Сегодня в их глазах вы еще — литературные иерархи, завтра — литературные убийцы.

А мы, молчаливое интеллигентное большинство! Мы тайно зачитываемся книгами писателя, держим его портреты на книжных полках. Но сейчас, когда уже не литературные, а настоящие убийцы бродят вокруг его дома и засыпают его грязными угрозами, — что мы делаем? Мы с жадным любопытством *ждем развязки*. «Бог не выдаст, свинья не съест» — не так ли? Мы умываем руки — и надеемся сохранить их чистыми?

Но в России, для которой жертвует собою Солженицын, еще достаточно благодарных сердец, которые скорее предпочтут разделить его судьбу, чем оставаться соучастниками в заговоре рабьего молчания.

30 января 1974 года

ОТПОР ЛИТЕРАТУРНОМУ ВЛАСОВЦУ

<...> Когда нашу историю и нашу действительность начинает порочить, обливать грязной клеветой человек, который видел, что совершили советские люди во время войны, и который, если бы захотел, мог увидеть и те славные деяния, что совершаются в стране ныне, нельзя не задаться вопросом: кто он, помнит ли, на какой земле родился, во имя чего извергает хулу на все, что его окружает?..

*Анатолий Ананьев. «Растленная душонка»
(«Литературная газета», 30 января 1974 года).*

Последнее «произведение» Солженицына с полной очевидностью свидетельствует о реакционности его политической платформы... он выступает фактически против всех завоеваний советского народа после Октября.

Феликс Кузнецов. «Антинародная позиция» (там же).

<...> Что получается, если чернила полностью заменить ядом, всем нам продемонстрировал сегодня бывший писатель Солженицын... он оказался беспредельно многословным и щедрым в клевете на наш строй, на наш народ, на наше прошлое и настоящее...

Виль Липатов. «Мы отвечаем презрением» (там же).

Откровенный контрреволюционер, враг социалистического строя, всех многотрудных побед и свершений нашего народа, Солженицын не обошел своей ненавистью и советскую литературу, рожденную Октябрем.

Он пытается оплевать все, что свято для миллионов умов и сердец. Со страниц сочинения «Архипелаг Гулаг» многократно срывается брань по адресу Горького — одного из мировых худож-

ников слова, основоположника литературы социалистического реализма, великого гуманиста. Глумясь над творчеством Маяковского, он с издевкой цитирует именно те строки, которые посвящены Ленину, обращены к комсомолу, к деятелям искусства, — мы знаем их наизусть и повторяем как клятву.

Современная литература не знает произведений, в которых драматизм социально-исторических сдвигов выразился бы с большей силой, чем в творчестве Шолохова. Гипертрофированное самомнение Солженицына не может смириться с подобной очевидностью. Он пытается — все с той же антисоветской колокольни — охаять рассказ Шолохова «Судьба человека». Читая сделанный им «критический разбор», можно лишь гадать, чего в нем больше — кощунства или школярства.

Солженицын саморазоблачается и в той части своей книги, которая касается борьбы народа против гитлеровской чумы. Клеймо «литературного власовца» пристало к нему надежно. Восхваляя предательство, измену, пораженчество, коллаборационизм, он все же вынужден признать, что среди находившихся в эмиграции русских писателей остались «в отчужденном одиночестве Мережковский и Гиппиус, взявшие сторону Гитлера». Устами одного фашистского наймита он порицает Бунина, который в оккупированной гитлеровцами Франции, на склоне лет, жил воспоминаниями о России, образами России... Старческая блажь! Ведь по Солженицыну, для русского человека предпочтительнее другие устремления: «В батальоны Власова. В казачьи полки Краснова. В трудовые батальоны — бетонировать будущий Атлантический вал. В норвежские фиорды. В ливийские пески...» И далее: «хоть в Парагвай, хоть в Индокитай»(!).

Касаясь «литературного» аспекта сочинения Солженицына, нельзя обойти молчанием и еще одну гнусность. Это его выпады против тех советских писателей, в творчестве которых были отображены нарушения социалистической законности во времена культа личности. Солженицына приводит в ярость, что эти писатели вместе с партией сказали горькую правду, не потеряли чувства исторической перспективы, не впали с односторонностью. Именно верность партии «инкриминирует» им Солженицын — и в этом тоже сфокусирована провокационная суть книжонки «Архипелаг Гулаг».

Ныне Солженицын, а с ним и вся зарубежная фабрика-кухня антикоммунизма возопили о том, что отклики советских людей, в том числе писателей, на появившиеся в «Правде» и «Литературной газете» статьи о его падении и гражданском бесчестии имеют-де чересчур резкий и суровый тон...

На мой взгляд, тон их можно счесть даже слишком сдержанным в сравнении с антисоветским содержанием и в сравнении с разнузданным «стилем» самого Солженицына.

*Александр Рекемчук. «Клеветник»
(«Литературная газета», 30 января 1974 года).*

«Архипелаг Гулаг», 1918–1956, Солженицына — повесть, не роман, следовательно, не раскрытие правды через художественную истину, если говорить о литературных средствах выражения.

Значительное место в книге занимает вторая мировая война. Совершенно ясно, что, говоря об этом периоде, никто не имеет права забывать о 56 миллионах погибших в Европе и Азии, среди них — 20 миллионов советских людей и 6 миллионов евреев, сожженных в крематориях концлагерей нацистами. Эти невинные жертвы мировой трагедии должны быть как бы камертоном нравственности. История войны немыслима без факта. Факт вне истории мертв. В этом случае он напоминает даже не любительскую фотографию, а тень фотографии, не мгновение правды, а тень мгновения. Вот именно эта зловещая и размытая тень то и дело возникает на страницах книги Солженицына, едва лишь он по ходу дела обращается к событиям второй мировой войны...

Не могу пройти мимо некоторых обобщений, которые на разных страницах делает Солженицын по поводу русского народа. Откуда этот антиславянизм? Право, ответ наводит на очень мрачные воспоминания, и в памяти встают зловещие параграфы немецкого плана «ОСТ».

Великий титан Достоевский прошел не через семь, а через девять кругов жизненного ада, видел и ничтожное, и великое, испытал все, что даже немыслимо испытать человеку (ожидание смертной казни, ссылка, каторжные работы, падение личности), но ни в одном произведении не доходил до национального нигилизма. Наоборот, он любил человека и отрицал в нем плохое, и

утверждал доброе, как и большинство великих писателей мировой литературы, исследуя характер своей нации. Достоевский находился в мучительных поисках бога в себе и вне себя.

Чувство злой неприязни, как будто он сводит счеты с целой нацией, обидевшей его, клопочет в Солженицыне, словно в вулкане. Он подозревает каждого русского в беспринципности, косности, приплюсовывая к ней стремление к легкой жизни и к власти, и как бы в восторге самоунижения с неистовством рвет на себе рубаху, крича, что сам мог бы стать палачом. Вызывает также, мягко выражаясь, изумление его злой упрек Ивану Бунину только за то, что этот крупнейший писатель XX века остался до самой смерти русским и в эмиграции.

Солженицын, несмотря на свой серьезный возраст и опыт, не знает «до дна» русского характера и не знает характера «свободы» Запада, с которым так часто сравнивает российскую жизнь.

«Архипелаг Гулаг» мог бы быть «опытом художественного исследования», как его называет Солженицын, если бы автор осознавал всякое написанное им слово и осознавал формулу: критерий истины — нравственность, критерий нравственности — истина. Если бы он отдавал себе мужественный отчет в том, что история, лишенная правды, — вдова.

Любому художнику любой страны противопоказано длительное время находиться в состоянии постоянного озлобления, ибо озлобление пожирает его талант, и писатель становится настолько тенденциозным, что тенденция эта пожирает самую истину.

Ю.Бондарев

*Из статьи «Ненависть пожирает истину»
(«Советская культура», 1 февраля 1974 года).*

К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ!

Писатели дают достойный ответ клетнику и отщепенцу

<...> Наверное, ваше имя станет нарицательным. В его этимологии заложен смысл вашего сегодняшнего состояния, Солженицын. Это значит солжец, соучастник по лжи. Да, вы солжец со всеми самыми махровыми антисоветчиками, вы падаете ниц и угодливо лижете сапоги фашистским недобиткам и предателям-

власовцам. И это отражено в вашей фамилии — ницын. В общем, нет нужды подбирать вам никаких обидных имен. Вы — Солженицын. Этим сказано все.

Участники Великой Отечественной войны возмущены вашими антисоветскими сочинениями и выражают вам, власовцу наших дней, самое глубокое презрение.

*Владимир Карпов, Герой Советского Союза.
«Солжсец антисоветчиков»
(«Литературная Россия», 1 февраля 1974 года).*

<...> Горская мудрость гласит: кто бы ни зашел в саклю, три дня его не спрашивают, кто он. Наш народ с огромным уважением относится к художникам слова. Но доверие, которым он окружает нас, литераторов, Солженицын бессовестно предал. Очередное клеветническое сочинение его поднято на щит враждебной пропагандой. Солженицын взял на себя роль антисоветчика, антикоммуниста, безуспешно пытаясь ослабить могучую силу идей социализма. Нет слов, чтобы выразить свое возмущение.

Годы борьбы за светлое будущее научили нас, как однажды сказал Расул Гамзатов, кому руку подать, а кому кулак показать. И пусть Солженицын этого не забывает.

Нуратдин Юсупов. «Незавидная роль» (там же).

Борис Шрагин, кандидат философских наук

СОВЕСТНО...

Сквозь вой и писк глушилок слушаю по радио новую книгу Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАг». Читаю всякий невнятный вздор о ней в газетах. И мне совестно. Совестно не за тех, кто по каким-то своим корыстным соображениям взялся кричать руганью ужасную правду: в конце концов, что же еще им делать? И не за тех, кто своим молчаньем невольно попустительствует травле писателя и внутренне смирился с любой расправой над ним, на какую решится начальство: они либо дурно информированы, либо напуганы, либо повязаны страхом потерять работу, положение — все, что имеют.

Мне совестно, — как это только и может быть, — перед самим собой, за себя, в тишине собственной души. Кажется, нель-

зя жить по-прежнему, услышав эти прожигающие слова, нельзя воспользоваться ими для обличения прямых виновников, и только. Но мы это делаем. И вот от этого совестно.

Близоруко, если не подло, придавать этой книге узкополитический смысл. «Архипелаг ГУЛАг» потрясает читателя обилием и концентрацией разоблачающих свидетельств, но это только первый и еще слишком поверхностный эффект. Пройдет немного времени, и все рассказанное там станет достоянием всеобщей осведомленности. С этим, хочешь не хочешь, но придется жить. И вот тогда выступит непреходящее значение этой книги — ее очистительная сила.

«Архипелаг ГУЛАг» — книга жесткая, гневная, но добрая. Солженицын не нагнетает слепую ненависть, готовую лишь карать и казнить. Нет, он побуждает нас оборотиться на самих себя, будит в нас задремавшую совесть, напоминает о нашей ответственности за зло, творимое вокруг. Он вернул нам великую нравственную силу русской литературы, ею высветил равнодушные и жестокость, в которых мы погрязли.

«Есть, есть Божий суд», — сказано в стихах Лермонтова, знакомых каждому из нас с детства. Но нас уверили, будто это всего лишь поэтический троп, вышедшее из моды словоупотребление. Солженицын утвердил своей книгой, что Божий суд действительно есть.

Со школы мы знали, что слова Достоевского о «слезе ребенка», которая так же дорога, как все счастье мира, — имеют цену только для обвинения помещиков и капиталистов. Мы смотрели с чувством снисходительного превосходства на мораль Толстого, твердо, кажется, зная, что убийство и насилие не всегда и не безусловно скверны, что хорошо, будто бы, когда *мы* убиваем, но плохо, когда убивают *нас* и *наших*. Мы так заблудились в этих ухищрениях своей партийной морали, что в конце концов принялись без разбору истязать и наших и не наших, и своих и чужих — всех, кто подвернется под горячую руку. Мы потеряли всякое представление об абсолютной ценности человеческой жизни и свободы. И вот Солженицын показал последствия утраты людьми самых первичных, самых изначальных нравственных опор и тормозов. «Каин, где брат твой Авель?» — таков вопрос, вставший сегодня перед всеми нами.

И поэтому глупо спорить, было ли прежде рассказано то, что обнажилось перед миром талантом Солженицына. И не могло быть рассказано теми, кто и сейчас еще заходится от ярости перед правдой «Архипелага ГУЛага». И не могло быть рассказано потому, что не испытывали те рассказчики трагического потрясения. Если бы все смотрели на вещи глазами Солженицына, то и не натворили бы ужасов и мерзостей, и не было бы нужды их разоблачать.

Тайна и авторитет, — как в «Великом инквизиторе» Достоевского, — заместили совесть. Показалось, что достаточно скрывать свои деяния от постороннего взгляда, чтобы спокойно жить, чтобы комфортабельно обставлять свои квартиры, ласкать женщин и производить потомство, чтобы и глазом не сморгнув сыпать фразами про гуманизм и счастье всего человечества. Одни скрывали, а другие потворствовали этому сокрытию, так как правда лишала покоя. И приносились, и приносятся новые жертвы, чтобы убрать неугомонных свидетелей. Но вот силой духа, силой таланта зазвучали придушенные крики истязаемых, и коснулся нашего обоняния запах трупов, едва заброшенных земель.

Простоте и весомости слова противостоит грубая и неповоротливая машина насилия. «Архипелаг ГУЛаг» — это безраздельная победа слова. Она возвращает нам, разуверившимся, веру в добро и надежду.

Поэтому не шумихой, не скандалом, не препирательствами хотелось бы ее встретить, а сосредоточенностью и молчанием. Надо бы смиренно склонить головы перед этим монументом, увековечившим наконец память о жертвах разнуздавшегося произвола.

3 февраля 1974 года

Лидия Чуковская

ПРОРЫВ НЕМОТЫ

Я полагаю, что выход в свет в 1973 году новой книги Солженицына «Архипелаг ГУЛаг» — событие огромное. По неизмеримости последствий его можно сопоставить только с событием 1953 года — смертью Сталина.

В наших газетах Солженицына объявили предателем.

Он и в самом деле *предал* — не родину, разумеется, за ко-

торую он честно сражался, и не народ, которому приносит честь своим творчеством и своею жизнью, а Государственное Управление Лагерьей — ГУЛаг — *предал гласности* историю гибели миллионов, рассказал с конкретными фактами, свидетельствами и биографиями в руках историю, которую обязан знать наизусть каждый, но которую власть по непостижимым причинам изо всех сил пытается *предать забвению*.

Кто же предательствует?

XX съезд партии приоткрыл над штабелями трупов окровавленный край рогожи. Уже одно это спасло в пятидесятые годы от гибели миллионы живых, полумертвых и тех, в ком теплилась жизнь еще на один вздох. Хвала XX съезду. XXII вынес решение поставить погибшим памятник. Но, напротив, через недолгие годы, злодеяния, совершавшиеся в нашей стране в еще никогда не виданных историей масштабах, начали усердно выкорчевывать из памяти народа. Погибли миллионы людей, погибли все на один лад, но каждый был ведь не мухой, а человеком — человеком своей особой судьбы, своей особой гибели. «Реабилитирован посмертно». «Последствия культа личности Сталина». А что сделалось с личностью, — не с тою, окруженною культом, а той — каждой, — от которой осталась одна лишь справка о посмертной реабилитации? Куда она девалась и где похоронена — личность? Что случилось с человеком, что он пережил, начиная от минуты, когда его вывели из дому, — и кончая минутой, когда он возвратился к родным в виде справки?

Что стоит за словами «реабилитирован посмертно» — какая жизнь, какая казнь? Приблизительно с 1965 года об этом приказано было молчать.

Солженицын — человек-предание, человек-легенда — снова прорвал блокаду немоты; вернул совершившемуся — реальность, множеству жертв и судеб — имя, и главное — событиям их истинный вес и поучительный смысл.

Мы заново узнали — слышим, видим, что это было такое: обыск, арест, допрос, тюрьма, пересылка, этап, лагерь. Голод, побои, труд, труп.

«Архипелаг ГУЛаг».

Москва.

4 февраля 1974 года

ЗАЯВЛЕНИЕ А.Д.САХАРОВА
(Канадскому радио и телевидению)

Я говорю из квартиры Солженицына. Я потрясен его арестом. Здесь собрались друзья Солженицына. Я уверен, что арест Александра Исаевича — месть за его книгу, разоблачающую зверства в тюрьмах и лагерях. Если бы власти отнеслись к этой книге как к описанию прошлых бед и тем самым отмежевались от этого позорного прошлого, можно было бы надеяться, что оно не возродится.

Мы воспринимаем арест Солженицына не только как оскорбление русской литературе, но и как оскорбление памяти миллионов погибших, от имени которых он говорит.

К заявлению присоединились присутствовавшие в квартире в такой последовательности:

*Игорь Шафаревич, Лидия Чуковская,
Елена Боннэр, Андрей Твердохлебов,
Юлий Даниэль, Татьяна Литвинова,
Александр Бабенъшев,
Татьяна Ходорович, Ирина Гинзбург,
Наталья Горбаневская, Вадим Борисов,
Виктор Тимачев и другие*
Москва. 12 февраля 1974 г. 22 часа

АРЕСТОВАН СОЛЖЕНИЦЫН

Наступило пятое действие драмы.

Позор стране, которая допускает, чтобы оскорбляли ее величие и славу.

Беда стране, у которой щипцами вырывают язык.

Несчастье народу, который обманывают.

Благословение и поддержка человеку, который сейчас, грубо разлученный с семьей и друзьями, оболганный перед своим народом, — вот сейчас, сию минуту — ведет свой беззвучный поединок с незаконным насилием.

Лидия Чуковская
Москва. 12 февраля 1974 г. 23 часа

АРЕСТ СОЛЖЕНИЦЫНА

Истекают последние часы, отпущенные нашему государству на проверку: способно ли оно на политику мира — с Правдой. Есть ли у него другой ответ, кроме насилия и жестокости, — не на взрыв и убийство премьера, не на убийство судьи, даже не на демонстрации — а на правду, сказанную великим писателем.

Это испытание и всего мира. Заседали в общих комиссиях и слушали речи Вышинского (какая несправедливость к Эйхману!), любезно встречали министра здравоохранения (не в насмешку ли так названного?), санкционировавшего заточение неугодно мыслящих в сумасшедшие дома... Неужели не хватит мужества остановиться на этом пути?

Но больше всех это проверка для нас, соотечественников Солженицына. Некогда Иосиф Виссарионович Сталин назвал нас всех «винтиками» и любовно поднял тост за здоровье «винтиков». Истекает время убедиться: может быть, Мудрый Вождь был и прав, выше винтиков нас назвать и нельзя, была бы только хорошая смазка — и будем вертеться в нужном направлении, вплоть до износа.

И.Шафаревич
12 февраля 1974 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕССЕ

Я резко осуждаю арест Александра Солженицына. Это новая атака на гражданские права. Это месть отважному автору за разоблачение чудовищных преступлений, которые имели место не так давно и за которые несут ответственность многие высокопоставленные лица.

Солженицын не только есть совесть русского народа. Он также является совестью всех народов этой страны. Он обращается к каждому с тем, что ничего хорошего не может быть построено на крови десятков миллионов невинно замученных людей.

Я обращаюсь ко всем честным людям во всем мире защитить Солженицына от нового процесса. Я особенно обращаюсь к евреям. Они должны понять, что положение советских евреев очень сильно зависит от положения борцов за гражданские права в этой стране.

Я также осуждаю постыдное поведение иностранных компартий в деле Солженицына. Оно показывает, что большинство этих партий превратилось во врагов свободы и демократии и в убежище дельцов, делающих выгодный бизнес на страданиях советского народа.

М. Агурский
13 февраля 1974 года

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Я потрясен арестом А.И.Солженицына.

Я уверен, что Солженицын с его несравненным мужеством и стойкостью сумеет перенести это новое испытание.

Суд над великим писателем и великим гражданином был бы несмыслаемым позором для Советского Союза.

Я призываю власти нашей страны немедленно освободить Солженицына.

Рой Медведев
Москва.
13 февраля 1974 года

Александра Солженицына — великого писателя, борца за справедливость, знают и чтут десятки миллионов людей доброй воли во всем мире. Александра Солженицына-человека мне выпало счастье узнать 27 лет тому назад, я был вместе с ним — заключенным, переписывался с ним — ссыльным, тяжело больным, когда ему грозила смерть от рака, встречался с ним — школьным учителем, видел его писателем, который стремительно обрел всемирную и всенародную известность, когда им восхищались лучшие мастера нашей литературы: Ахматова, Твардовский, Чуковский, Паустовский, когда его восхваляли в газетах и журналах, с почетом принимали в Кремле, Союз писателей выдвигал на Ленинскую премию, когда перед ним заискивали именитые коллеги и сановники.

Я наблюдал его прославленным лауреатом Нобелевской премии и уже вновь гонимым, преследуемым клеветой, руганью, угрозами, но вместе с тем счастливым мужем и отцом, верным другом, неутомимым работником слова.

И всегда, везде, в горе и радости он оставался неколебимо целеустремленным, одержимым одною страстью — сознанием

своего писательского, гражданского долга, сознанием, что он должен высказать то, чего не сказали миллионы умолкших — казненных, убитых, замученных пытками, голодом, каторжным трудом, — чего не говорят миллионы безмолвных — обманутых, запуганных или скованных вязкой рутинной.

Александр Солженицын — прямой наследник благородных традиций русской литературы, традиций Герцена, Льва Толстого, Достоевского, Короленко, молодого Горького. Он развивает наследие их действенного человеколюбия в беспримерном единоборстве с оглушительной ложью и всевластным насилием.

Арест Солженицына — тяжелый удар для него, для его семьи, друзей, читателей. Однако в то же время это его новая нравственная победа, подтверждение истинности и злободневности его последней книги. Этот арест — действие саморазоблачительного и безрассудного произвола. Но пока Солженицын в заключении — никто в нашей стране, да и во всем нашем неделимом мире, не может чувствовать себя в безопасности.

Л.Копелев, литератор, член Международного «Пен-клуба».
13 февраля 1974 года

МОСКОВСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Официозная статья газеты «Правда» «Путь предательства» заканчивается словами:

«Солженицын удостоился того, к чему стремился, участи предателя, от которого не может не отвернуться с гневом и презрением каждый честный человек на земле».

Однако все, кто знаком с книгой Солженицына, вызвавшей такой гнев руководящих деятелей СССР, знает, что его «предательство» заключается в том, что он с потрясающей силой раскрыл всему миру чудовищные преступления, совершавшиеся в СССР в недавнем прошлом. Десятки миллионов невинных людей: коммунистов и некоммунистов; атеистов и верующих, интеллигентов, рабочих и крестьян; людей самых разных национальностей — пали жертвой террора, прикрывавшегося лозунгами социальной справедливости.

Мы требуем:

1) Опубликовать «Архипелаг ГУЛАг» в СССР и сделать его доступным каждому соотечественнику.

2) Опубликовать архивные и иные материалы, которые дали бы полную картину деятельности ЧК, ГПУ, НКВД, МГБ.

3) Создать международный общественный трибунал по расследованию совершенных преступлений.

4) Оградить Солженицына от преследований и дать ему возможность работать на родине.

Мы заранее отвергаем попытки объявить международный сбор подписей под нашим воззванием вмешательством во внутренние дела СССР, тем более что жертвами террора явились не только граждане СССР, но и сотни тысяч граждан других стран. Правда о том, что произошло в СССР, нужна всем людям на земле.

Мы просим все средства массовой информации распространить наше воззвание. Мы также просим все культурные, общественные, религиозные организации создать национальные комитеты для сбора подписей под прилагаемым воззванием.

*А.Сахаров, Е.Боннэр, В.Максимов, М.Агурский,
Б.Шрагин, П.Литвинов, Ю.Орлов,
связ. С.Желудков, А.Марченко, Л.Богораз*
Москва.

3 февраля 1974 года

СООБЩЕНИЕ ТАСС

Указом Президиума Верховного Совета СССР за систематическое совершение действий, несовместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик, лишен гражданства СССР и 13 февраля 1974 года выдворен за пределы Советского Союза Солженицын А.И.

Семья Солженицына сможет выехать к нему, как только сочтет необходимым.

(«Правда», 14 февраля 1974 года.)

ПРИКАЗ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОХРАНЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАЙН В ПЕЧАТИ

10 д<ля> с<лужебного> п<ользования> от 14.02.74 г.

Об изъятии из библиотек общественного пользования произведений А.И.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича»

(«Новый мир», № 11, 1962; Роман-газета, М., № 1 (227), 1963; «Советский писатель», 1963); «Случай на станции Кречетовка» («Новый мир», № 1, 1963); «Матренин двор» («Новый мир», № 1, 1963), «Для пользы дела» («Новый мир», № 7, 1963); «Захар-Калита» («Новый мир», № 1, 1966).

*Нач. Главного Управления
по охране государственных тайн в печати
Романов*

ОТЩЕПЕНЕЦ

Как и многие московские литераторы, я часто встречаюсь с читательской аудиторией столицы — рабочими, деятелями науки, учащейся молодежью. В последнее время мне особенно часто задавали вопрос: «До каких пор злостный клеветник и отщепенец народа Солженицын будет пользоваться правом жить среди советских людей?» Отвечая на этот вопрос, я говорю, что мы, советские писатели, уже давно изгнали Солженицына из рядов нашей писательской организации, что мы разделяем высказанное читателями мнение о том, что ему нет места среди нас, советских людей, честных тружеников социализма.

Вот почему, выражая свое глубокое удовлетворение мерами Советского правительства, которое пресекло враждебную деятельность Солженицына в СССР, я могу с уверенностью сказать, что такое же удовлетворение сегодня испытывают сотни читателей, с которыми я общался, все советские люди.

*Александр Рекемчук
(«Московская правда», 15 февраля 1974 года).*

ПРЕДАТЕЛЬСТВО НЕ ПРОЩАЕТСЯ

Смерть любого человека всегда тягостна для окружающих людей, тем более гражданская смерть человека, отпадение его от общества, от государства. Однако с чувством облегчения прочитал я о том, что Верховный Совет СССР лишил гражданства Солженицына, что наше общество избавилось от него. Пользуясь терпением народа, партии, вопреки нашей надежде, что в нем наконец заговорит совесть, Солженицын вступил в борьбу с Советской властью — борьбу, которая рекламировалась им как откры-

тая, прямая, а на самом деле была подрывной и велась подпольными методами: методами «пятой колонны»...

Поэтому гражданская смерть Солженицына закономерна и справедлива.

В. Катаев

(«Правда», 15 февраля 1974 года).

НЕТ МЕСТА ПРЕДАТЕЛЮ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!

Я уверен, что вся возня вокруг Солженицына, поднятая на Западе, это заранее рассчитанная политическая провокация. Его пытаются представить таким подвижником, борцом за свободу и демократию. Если это так, то почему он молчал, когда американские бомбы падали на города Вьетнама, когда расстреливали патриотов Чили, когда расисты в США убивали лидеров негритянского движения? Почему же не прозвучал тогда голос этого «борца» за демократию и справедливость?..

Николай Грибачев

(«Московская правда», 16 февраля 1974 года).

УДЕЛ ИЗМЕННИКА

<...> Герострат был, Солженицын — есть. Но Герострату не платили за поджог храма. Солженицын берет. Однако даже замутненный злобою разум его должен бы понять, что пытающийся вдуть жизнь в червивую залежь фашизма обычно кончает всенародным презрением.

Давид Кугультинов

(«Известия», 16 февраля 1974 года).

У ПРЕДАТЕЛЕЙ НЕТ РОДИНЫ

Так называемая «деятельность» Солженицына несовместима со званием гражданина Советского Союза. Нет у нас в стране ни одной семьи, нет ни одной матери, которая бы хотела, чтобы сыновья ее снова пошли на войну. Мы достаточно натерпелись горя в ту минувшую войну, когда фашисты напали на нашу Родину. Я говорю об этом потому, что в 17 лет я добровольцем ушел на фронт защищать Родину. Вместе со мною пошли мои товарищи по классу. Многие из них не вернулись, отдав жизни за нашу

светлую жизнь. Я знаю, какой ценой досталась нам победа. Я знаю, что не штрафные батальоны освобождали города, захлопнули в котел под Сталинградом фашистов, разгромили врага под Москвой, под Ленинградом, взяли штурмом Берлин и рейхстаг. Я знаю, что не штрафные батальоны освободили не только нашу Родину, но и всю Европу от фашизма.

Солженицын — при добром отношении, при доброжелательном взгляде — мог бы рассказать объективно всю истину, как было на самом деле. Если бы он хотел смотреть объективно на нашу действительность, он бы мог увидеть, с каким напряжением работают сейчас советские люди, с каким упорством трудятся на полях, фабриках, заводах, в научных учреждениях, добиваясь одной-единственной цели — счастливой жизни. Но он слеп, он завязал себе глаза, потому что служит и выбрал себе в хозяева наших врагов. Он служит определенным целям, и потому он клеветал в своих произведениях на нашу советскую действительность, на наших людей. Человеку, который продал и предал Родину, человеку, который не любит свой народ, нет места среди нас.

А. Ананьев

(«Комсомольская правда», 16 февраля 1974 года).

ОТЩЕПЕНЦУ – ПРЕЗРЕНИЕ НАРОДА

С удовлетворением встретил я Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства и выдворении за пределы Советского Союза А. Солженицына. Человеку, который так яростно оскорбляет святая святых нашей социалистической Родины, так подло клеветает на героический труд и подвиги нашего народа, свершаемые во имя будущего, во имя всего человечества, — такому клеветнику нет места на советской земле среди советских людей.

Пусть найдет он себе прибежище на мусорной свалке истории, среди презренного человеческого отребья, всех этих милых его сердцу власовских, бандеровских, белогвардейских прислужников, фашистских и неофашистских господ, которые бросают таким, как он, подачки. Дадут и ему тридцать сребреников.

Среди иуд Солженицын занял не последнее место. Гневно отторгнул от себя народ отщепенца, оскорбившего чувство на-

родного достоинства, посягавшего на веру и преданность народа великому всечеловеческому ленинскому делу. Выдворение его за пределы нашей Родины — это и клеймение врага позором, и презрение к нему.

Микола Бажан
(«Правда», 16 февраля 1974 года).

ПИСЬМО СОВЕТСКИМ ТЕЛЕРАДИОСЛУШАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!

Как вы могли прочесть в ваших телерадиопрограммах и на афишах, расклеенных на улицах Москвы, 16 февраля была объявлена всесоюзная телерадиотрансляция моего авторского концерта из Колонного зала. Предполагалось как бы подведение итога моей более чем двадцатилетней работы в советской поэзии — исполнение лучших песен, получивших общенародное признание, которым я горжусь, — таких, как «Хотят ли русские войны?» и др., оратории «Казнь Степана Разина» Шостаковича, а также чтение мною лирических и гражданских стихов. В концерте должны были принять участие лучшие солисты и хоровые и оркестровые коллективы нашей страны. Они долго и серьезно готовились к ответственному концерту. Этот концерт должен был явиться не только моим личным праздником и праздником моих друзей — артистов, композиторов, но и праздником миллионов телерадиослушателей. О последнем свидетельствовали многочисленные письма и телеграммы из разных концов страны. Рабочие, инженеры, студенты с нетерпением ждали моего концерта у телевизоров и радиоприемников, желали мне успеха. Однако в сегодняшних газетах моего вечера уже нет в телерадиопрограммах, а еще вчера на Колонном зале висело объявление об отмене концерта, билеты на который были проданы в первый день. Моя квартира буквально разрывается от безостановочных телефонных звонков с вопросами «Что случилось?».

У меня нет секретов от моих читателей, и поэтому я считаю своим долгом объяснить, что произошло.

12 февраля вечером по Москве пронеслись слухи об аресте Солженицына. Я был потрясен этим известием. Стараясь не поверить этому, я позвонил в КГБ, и мне было отвечено: «Да, арестован». До предела взволнованный и личной судьбой этого писате-

ля, и общественным резонансом этого действия, я немедленно послал телеграмму в ЦК КПСС на имя Генерального Секретаря, где в корректной, исключаяющей какие бы то ни было резкие выражения форме выразил свое волнение по поводу судьбы писателя, а также тревогу по поводу того, как это может отразиться на престиже нашей Родины. Мне еще не было известно о том, как окончательно решится вопрос о Солженицыне, и я знал только одно — он арестован. Я обращался, делаясь своими сомнениями, не к правительству иностранной державы, не к ООН, не к иностранным корреспондентам, а в сугубо доверительной форме к руководству своей страны, считая это неотъемлемым правом каждого советского гражданина, заботящегося о благе своей Родины. В этой телеграмме я даже подчеркнул, что не согласен со многими взглядами Солженицына, но тем не менее за мое искреннее, доверительное обращение последовала незамедлительная грубая издевательская кара. Я не знаю, от кого она исходила, но концерт был отменен. Я был вызван в Секретариат Союза писателей. Там уже было известно и о моем звонке, и о телеграмме. В разговоре мои действия были названы «недостойным шантажом» и мне было предложено выступить с публичным осуждением Солженицына, от чего я отказался. На мой вопрос, почему был отменен концерт, мне было отвечено, что руководство Союза писателей не в курсе, но один из работников Секретариата заметил, что это было сделано правильно.

Когда-то, когда я был еще юн, меня несколько часов обрабатывали, заставляя выступить с «разоблачением» Пастернака. Хотя я был тогда далек от понимания романа, я отказался выступать на собрании, потому что ценил этого великого поэта и, несмотря на свою юность, понимал, какой урон нашей литературе нанесет исключение Пастернака из Союза писателей. Впоследствии, в 1963 году мне предложили выступить с «разоблачением» моих товарищей — молодых художников — на встрече правительства и интеллигенции. Я выступил, но только для того, чтобы защитить их, потому что считал этих художников талантливыми, ищущими людьми и также потому, что предвидел возможные печальные последствия этого скандала. Я оказался, в конечном счете, прав, но уже в этих двух случаях увидел, как раздражают бюрократию самые искренние попытки заступиться за кого-нибудь даже в ин-

тересах гуманизма и нашей Родины. Но кто же нужен нашему народу — те писатели, которые пишут или подписывают автоматически все, что их попросят, или те писатели, которые, стоя на позициях социализма, тем не менее считают своим правом иметь свою точку зрения о пользе для социализма той или иной акции?

Я доказал свою преданность идеям социализма не только своими стихами, но и публичными выступлениями с их чтением за рубежом, когда фашистские молодчики атаковали меня прямо на сцене, пытаясь меня сбросить с нее. Теперь пытаются сбросить мою поэзию с моей родной, советской сцены. За что? Разве противогосударственно — доверительно обратиться к собственному государству? Да, со многими взглядами Солженицына в книге «Архипелаг ГУЛАГ», которую я прочел, я не согласен — особенно резко не согласен с его главой о генерале Власове. Но в этой книге есть страшные документальные страницы о кровавых преступлениях сталинского прошлого.

Как бы ни велики были ошибки Солженицына, но кровавые ошибки сталинского прошлого несоизмеримы с ними.

А все ли мы сказали нашему народу об этих кровавых ошибках? Теория потока «лагерной литературы», который якобы заполнял страницы наших журналов, выдумана. Практически, было в свое время напечатано несколько книг, в том числе «Один день Ивана Денисовича» и ряд стихотворных произведений, в их числе мое стихотворение «Наследники Сталина». Затем эти произведения никогда не перепечатывались — зато печатался ряд мемуаров и романов, где искусственно замазывались ошибки Сталина и история искажалась приукрашиванием. Особенно это опасно для духовного здоровья нашей молодежи, ибо молодежь, не знающая подлинную историю, не сможет разобратся в настоящем. Приведу один пример. В прошлом году у костра в Сибири одна хорошая девочка-студентка лет восемнадцати подняла тост за Сталина. Я был потрясен. Почему? — спросил я. «Потому что тогда все люди верили в Сталина, и с этой верой побеждали», — ответила она. «А знаешь о том, сколько людей было арестовано за годы правления Сталина?» — спросил я. «Подумаешь, человек двадцать-тридцать...» — ответила она. Вокруг костра сидели другие студенты, примерно ее возраста. Я стал спрашивать их. «Человек двести», — сказал один парень.

«Тысячи две...» — ответила другая девушка. Только один студент из 15–20 человек сказал: «Кажется, тысяч десять». Когда я им сказал, что цифра арестованных измеряется не тысячами, а миллионами, они не поверили. «Ну, а вы читали мое стихотворение “Наследники Сталина”?» — спросил я. «Разве у вас есть такое стихотворение? — спросила девушка. — Где оно было напечатано?» — «В “Правде” в 1963 году». — «Но ведь мне тогда было только восемь лет», — ответила она с растерянностью. И вдруг я понял, как никогда, что молодому поколению действительно неоткуда узнать сейчас трагическую правду о том времени, потому что об этом они не могут прочесть ни в книгах, ни в учебниках. Даже когда в газетах помещают статьи о героях нашей революции, погибших во время сталинских репрессий, то замалчивается причина их смерти. В вышедшем сейчас однотомнике Мандельштама нет никакого упоминания о том, что он погиб, замученный в лагере. Правду заменяют умолчанием. А ведь умолчание — ложь. Но у русского народа есть прекрасная поговорка: «Ложь, как дуга. Спрячешь концы в воду, середка высовывается. Спрячешь середку — концы выглядывают».

Несоответствие исторической реальности и описания истории в книгах и газетах может привести нашу молодежь лишь к безверию, к цинизму. А нам нужна вера, но настоящая вера может быть основана только на правде.

Наш народ, доказавший не раз свой патриотизм с оружием в руках и в труде, заслуживает того, чтобы с ним говорили откровенно и о прошлом, и о настоящем.

Однако наша литература еще не успела выговориться об ошибках прошлого. Ей искусственно помешали сделать это, и в этом драматическая неестественность тех скандальных ситуаций, возникающих внутри или вокруг литературы.

В свое время я подписал письмо с просьбой не устраивать суда над Синявским и Даниэлем не потому, что разделял их взгляды и методы, а только потому, что считал этот процесс не в интересах нашей литературы, нашей страны. Затем я написал письмо в Нарсуд в защиту рабочего Марченко с просьбой не подвергать его уголовному преследованию за его книгу; в обоих случаях эти письма диктовали мне и человеческая гуманность и соображения престижа нашей Родины. Я не ошибся. Оба дела —

особенно первое — получили такой негативный резонанс, который превзошел мои, даже самые печальные ожидания. Я дважды обращался к руководству Союза писателей по поводу Солженицына — первый раз во время разгорающегося скандала с «Раковым корпусом», прося его напечатать, и во второй раз, прося не совершать поспешного исключения Солженицына из Союза писателей. Однако мои обращения не только не получили внимательного доброжелательного изучения, но, наоборот, многократно приводились как мои ошибки.

Почему — заступаться за людей стало ошибкой и даже «недостойным шантажом»? Почему доверительное обращение к собственному правительству наказуемо?

Сейчас из Союза писателей исключена честная советская писательница Лидия Чуковская. За что? За то, что она заступилась за Солженицына. Писатель Владимир Корнилов заступился за Лидию Чуковскую. Насколько мне известно, в двух издательствах уже сняли его переводы только по той причине, что он «заступился». А это, может быть, только начало... Под угрозой исключения находится другой талантливый честный писатель — Владимир Войнович. Возможно, если найдутся те, кто заступятся за него, они тоже будут наказаны. Мы тогда вообще потеряем всех писателей. Разве такое поведение с людьми имеет что-либо общее с принципами социалистической демократии, ибо закон социалистического общества это — человек человеку друг, а не человек человеку — волк? Моральный закон социалистического общества именно в том и состоит, чтобы заступаться за людей. Наш долг заступиться за тех мертвых, кто погиб в сталинских лагерях, ибо они сами безгласны. Наш долг заступаться и за живых людей, критиковать их, помогать найти правильный путь, если они ошибаются, но методы администрирования, грубого нажима не есть методы убеждения, а могут привести лишь к обратным результатам.

Положа руку на сердце, я могу с чистой совестью сказать, что кое-что сделал для нашей Родины, и это мое письмо продиктовано не просто защитой самого себя, а защитой интересов нашей советской литературы. Мой шестилетний сын Петя долгое время ожидал моего концерта — я обещал его взять с собой. Сегодня он спросил меня: «Папа, а почему твой концерт запрети-

ли?». Он уже это знал от своих друзей из детского сада, а те — от своих родителей. Хотя он еще совсем мал, он уже человек, и я сказал ему правду. Только так надо воспитывать детей.

Е.Евтушенко
16 февраля 1974 года

<...> Возмущение, вызванное беспрецедентным похищением и высылкой Солженицына, не должно кончиться скоропременной газетной шумихой. Мы видим в нем действенную поддержку тем, кто готов жертвовать собой ради осуществления демократических и правовых свобод в нашей стране. Сейчас, после высылки Солженицына, эта поддержка незаменима. Мы задыхаемся в паутине лжи. Любое выступление протеста, любая человеческая реакция на обман и жестокость день ото дня становятся затруднительней, вызывая все более крутые и систематические репрессии. Круг сужается. Если вы не хотите, чтобы наш голос был заглушен окончательно, — помогите нам.

Существенная помощь сейчас — поддержать *Московское обращение*.

Помните: в том, о чем рассказано в книге Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», есть также и доля вины людей Запада. Многие на Западе равнодушно, а иные с благожелательным сочувствием смотрели на осуществлявшиеся в Советском Союзе жестокости, не давая себе труда осознать их смысл и их масштаб.

Помните: у вас есть *общественное* мнение, а у нас только мнение *цензуры*, у вас есть свобода слова, а у нас — только *серия наказаний* за попытки ею воспользоваться.

Не пора ли попытаться покончить с этим? Не пора ли осознать со всей ответственностью, что, пользуясь разобщенностью наших миров, пользуясь нашей взаимной неосведомленностью, *вы* превращают в соучастников?

Международное общественное расследование преступлений против человечности, совершенных в Советском Союзе, необходимо для того, чтобы не только вскрыть, но и подтвердить известные факты. Не пора ли миру узнать наконец, сколько же человеческих жизней было загублено в советских тюрьмах и концентрационных лагерях — десятки тысяч? миллионы? десятки миллионов? — сколько?

Это нужно знать не ради мести за прошлое, но ради предотвращения ужасного будущего, ради спасения тех, кто сейчас страдает в незащитности и бесправии.

Международный сбор подписей под *Московским обращением* необходим для того, чтобы выявить наконец мировое общественное мнение относительно книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАг» и того, о чем она, в такой форме, которая не допускала бы двусмысленных толкований.

Поэтому мы снова просим все средства массовой информации распространять *Московское обращение*. Мы снова просим все культурные, общественные, религиозные организации создать Национальные комитеты для сбора подписей под ним.

Солидарность людей не может ограничиться словами. Она — действенна. В этом — наша надежда.

Присоединили свои подписи к «Московскому обращению»:
Е.Барабанов, Т.Великанова, С.Ковалев, Т.Ходорович
17 февраля 1974 года

В редакцию газеты «Известия»

Я решительно протестую против лишения А.И.Солженицына гражданства и его изгнания. Книги Солженицына — сама правда и нужны России, как воздух. Его страстные патриотические выступления, его мужество и самоотверженность — пример и упрек для нас. Новый несправедливый приговор Солженицыну, как и прежний, будет неизбежно отменен историей.

Л.Терновский, врач
17 февраля 1974 года

P.S. Знаю, что вы не опубликуете (как хотел бы я) моего письма. Но все равно сейчас я считаю своим долгом послать его вам — заказным, с уведомлением о вручении. Чтобы вы не имели права говорить, что решение об изгнании Солженицына поддержали — единодушно — все граждане нашей страны, все русские.

<...> Что будет делать Солженицын на чужбине? Конечно, он будет писать, и писать прежде всего о своей родине, интересами и судьбами которой он будет жить и за рубежом. И его книги по-прежнему будут важны и нужны для нас, хотя путь их к со-

ветскому читателю станет еще сложнее и чтение их будет сопряжено для нас с опасностью и риском.

Солженицын покинул свою страну не навсегда. Не исключено, что он вернется на родную землю через несколько лет, и мы сможем устроить ему почетную и дружескую встречу. Но при любых поворотах судьбы Солженицын вернется в нашу страну в своих книгах, и он по праву займет место в рядах ее самых великих сыновей.

Рой Медведев
Москва.
17 февраля 1974 года

Председателю Президиума Верховного Совета
Николаю Викторовичу Подгорному

Уважаемый председатель, хорошо бы знать: если кампания против Солженицына и не напечатанной у нас книги его имела какую-то цель, то была ли эта цель достигнута или результатов надо еще ждать?

Конечно, газеты, обосновывая одни обвинения с помощью других и без всяких ссылок на страницы книги, довольно быстро убедились, что Солженицын предатель и клеветник. Но я, пытаюсь понять лишь смысл происходящего, был просто обрадован Указом Президиума Верховного Совета, так как это означало нечто лучшее, чем суд, тюрьма или расстрел. Впрочем, вдруг возникли письма трудящихся, такие взволнованные, гневные, откровенные: никто не читал книги, но все почему-то одобряют высылку автора, хотя с тем же основанием могли бы требовать и его выдачи и суда над ним. А кстати, и суда над теми, кто выслал...

Уважаемый гражданин председатель, я одобряю Ваш Указ, и никто не вправе упрекать меня, как никто не вправе упрекать ээка, подбирающего пайку хлеба, случайно оброненную вертухаем. Я радуюсь Вашему Указу, более того, я приветствую Ваше мужество, потому что в сущности и несмотря ни на что Вы спасли миру и России великого писателя, вы спасли не *нашу*, не *его*, а *ее* совесть.

Надо ли нам ждать, пока наши дети станут взрослыми, а наши газеты старыми? Уже сейчас мы можем не читать их. Мы зна-

ем не только невиновность, но и большую правоту этого человека. Так думать и говорить заставляют нас не аргументы его защитников, а аргументы его врагов. Конечно, один человек, не выходя из дома, может нанести ущерб целому государству, но если он не писатель, а тиран, и если государство это определенно деспотическое.

С большим уважением к Вам и с благодарностью

Владимир Альбрехт

ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР
ПО ПОВОДУ ИЗГНАНИЯ А.СОЛЖЕНИЦЫНА

Безответственные правители великой страны!

К длинному ряду ваших преступлений добавилось еще одно. Человека, который в глазах всего мира стал выразителем народной совести России, вы насильственно оторвали от родной земли; человека, который всю свою творческую жизнь посвятил непримиримой борьбе с ложью, вы оболгали с такой силой ненависти, которой вы уже давно не удостоивали никого в нашем отечестве; человека, с именем которого стали связаны самые светлые надежды на духовное возрождение России, вы объявили изменником Родины.

Изгнав его, вы нарушили свои собственные законы, ибо по вашим законам за то, в чем вы его обвинили, он подлежит не изгнанию, но смерти.

Вы не решились убить его не потому, что вы гуманисты, — вы ими не были никогда; но вы, кажется, начали понемногу понимать ту старую истину, что в духовной борьбе убитый противник намного опаснее живого.

В том, что вы начали это понимать, одна из великих заслуг Солженицына перед вашей собственной душой. Но вы поняли еще далеко не все.

Вы еще не поняли, что с выходом в свет «Архипелага ГУЛАг» пробил роковой для вас час истории; что с этого часа началось подведение итогов того эксперимента, которому вы подвергли Россию вместе с покоренными ею народами; эксперимента, грозные уроки которого послужат великим предостережением всему человечеству на все времена.

Вы еще не поняли, что *Бирнамский лес уже пошел*, что вы имеете дело не с маленькой кучкой людей, решивших больше не лгать, но что на вас поднялись десятки миллионов убитых, замученных, опозоренных жертв, на чьей крови ваши архитекторы замешали цемент того здания, в котором мы с вами ныне живем и которое обречено на крушение.

Они давно уже стучатся в нашу жизнь, но некому было открыть им дверь; Солженицын сделал это — и отныне ход истории становится качественно иным, ибо в их лице в нее вошла новая и неодолимая сила, перед которой вся ваша несостоятельность вскроется быстро и неизбежно.

Вы напрасно пытаетесь оправдаться тем, что не успели принять личного участия в наиболее грандиозных злодеяниях прошлого; если вы, зная об этих злодеяниях, продолжаете насаждать почти божеские почести Ленину, воспитываете молодежь на примере Дзержинского, вменяете в вину Сталину только репрессии против партийного аппарата, если вы, боясь гнева собственного народа, продолжаете хранить в тайне архивы ЧК-ГПУ-НКВД, если вы даже «Архипелаг ГУЛАг» опубликовать не можете — то вы воистину преемники и наследники палачей, связанные с ними круговой порукой и несущие общую с ними ответственность перед Богом и перед человеческим родом.

Больше того, вы не только наследники, вы сами — палачи.

Генерал Григоренко в сумасшедшем доме, великий русский писатель Солженицын — в изгнании, академику Сахарову вы угрожаете наемными убийцами, а сколько людей за последние годы вы посадили в тюрьму только за то, что они говорили правду!

«Архипелаг ГУЛАг» — это обвинительный акт, которым открывается судебный процесс человеческого рода против вас — от тех, кто замыслил, до тех, кто сейчас завершает великое преступление против человечества, начавшееся 7 ноября 1917 года. Свидетелям обвинения уже не страшны ваши застенки. Живых вы можете арестовать, живых вы можете запрятать в сумасшедшие дома, живых вы можете убить — но когда оживают и восстают мертвые, то с ними вы уже не можете сделать ничего...

Может быть, задумается кто-то из вас: а все же нет ли над всеми нами Того, Который спросит за все?

Не сомневайтесь — есть.

И спросит, и ответите.

Еще не поздно.

Отнимите Россию у Каина и отдайте ее Богу, ибо кровь Авеля вопиет от земли...

*Из заявления Л.Л.Регельсона.
Москва.
17 февраля 1974 года*

В Секретариат МО СП РСФСР

<...> Нам не о чем говорить, не о чем спорить, потому что я выражаю свое мнение, а вы — какое прикажут...

Ложь — ваше оружие. Вы оболгали и помогли вытолкать из страны величайшего ее гражданина. Вы думаете, что теперь вам скопом удастся занять его место. Ошибаетесь. Места в великой русской литературе распределяются пока что не вами. И ни одному из вас не удастся пристроиться хотя бы в самом последнем ряду.

*Из письма Владимира Войновича.
19 февраля 1974 года*

ПРЕДАТЕЛЮ НЕТ МЕСТА НА СОВЕТСКОЙ ЗЕМЛЕ

Своими активными антисоветскими выступлениями последнего времени, направленными против дела мира и мирного сосуществования народов, господин Солженицын сам исключил себя из дружной семьи советских людей. Наше правительство поступило логично, выдворив его из Советского Союза. Это можно только приветствовать. Как говорили наши предки: худую траву с поля вон!

*Борис Полевой
(«Правда», 17 февраля 1974 года).*

ПО ВОЛЕ НАРОДА

Вот уже несколько лет, как Солженицын стал щедро оплачиваемым буржуазной реакцией поставщиком подлых наветов на нашу страну, на родину социализма. В исступленной злобе не постеснялся он надругаться над подвигами героев Великой Отечественной войны — сам став предателем, он осмелился задним числом «обелять» изменников-власовцев...

Солженицын, добровольно принявший каинову печать — клеймо предателя, исчерпал предел народного долготерпения.

*А.Дымыщ, доктор филологических наук, профессор
(«Советская культура», 19 февраля 1974 года).*

С.Михалков

«Г-н СОЛЖЕНИЦЫН НАМ НАДОЕЛ»

«Шпигель»: Господин Михалков... Что волнует Вас в его новой книге «Архипелаг ГУЛАг»?

С.Михалков: Ничто не может меня волновать в книге господина Солженицына «Архипелаг ГУЛАг». Я не вижу в ней художественных достоинств, но вот оскорбить мою страну и исказить историческую действительность ему удалось...

Он не видит в истории моей страны ничего, кроме тюрем и лагерей. И изображает Советский Союз как одну большую тюрьму, а народ — в виде бессловесных покорных рабов...

Встав на путь предательства, г-н Солженицын, как мне кажется, понял, что только этот путь, а не подлинная литература, которая всегда служит народу, может привлечь к нему внимание, надеть на него терновый венец «мученика» и «пророка», бесстрашно и безнаказанно вещающего на весь мир о несостоятельности советского образа жизни.

Г-н Солженицын добился своего. Прежде всего он привлек к себе внимание реакционных кругов. И скоро стало ясно, что означенный «мученик» является всего-навсего политической марионеткой, и я хорошо себе представляю, кто держит в руках те ниточки, которые приводят в движение язык и перо г-на Солженицына.

«Шпигель»: В книге ведь в первую очередь критикуются злодеяния Сталина, которые были разоблачены вашими коллегами-писателями, и они, писатели, не стали оппозиционерами Советского Союза. Вы предпочитаете умеренную критику и не хотите полного расчета с прошлым?

С.Михалков: Начну с того, что Коммунистическая партия Советского Союза сама во всеуслышание осудила серьезные ошибки, допущенные в период культа личности Сталина...

По поводу полного расчета с прошлым скажу, что это — не

чье-нибудь, а наше прошлое со всеми его достижениями, победами и недостатками. И советский человек вовсе не собирается его перечеркивать, потому что он горд тем, чем стала сегодня его страна, его Родина...

«Шпигель»: Хрущев, который сам осудил злодеяния Сталина, разрешил Солженицыну напечатать в Советском Союзе его первую книгу «Один день Ивана Денисовича». Почему ему не разрешают издавать его последующие произведения на его родине?

С. Михалков: Мне думается, что и Хрущев, если бы ему довелось читать последующие произведения г-на Солженицына, воздержался бы от их публикации. Если первая повесть Солженицына еще представляла некоторый интерес новизной темы, попыткой автора раскрыть характер невинно осужденных простых людей, безропотно подчинившихся своей судьбе, то последующие произведения Солженицына от одного к другому все откровеннее давали понять о неприятии автором самого существа советского общества. Встав на этот путь, и подкрепляя свою позицию всевозможными открытыми письмами и заявлениями, дискредитирующими советскую действительность, г-н Солженицын в конце концов откровенно перешел в лагерь реакции, в антисоветский лагерь.

Естественно, что произведения такого автора было бы по меньшей мере странно издавать в нашей стране, в народных издательствах, на народные деньги...

Вы спрашиваете, боимся ли мы Солженицына. Мы его не боимся, но он нам надоел.

«Шпигель»: Солженицын убежден, что его «Архипелаг ГУЛАГ» будет когда-нибудь издан и в Советском Союзе. Вы верите в это?

С. Михалков: А зачем?

*Из интервью журналу «Шпигель» (№ 6, 4 февраля 1974 года)
(«Советская культура», 19 февраля 1974 года).*

КОНЕЦ ЛИТЕРАТУРНОГО ВЛАСОВЦА

Мы не слышали от Солженицына ни одного слова в осуждение преступной фашистской хунты в Чили, в осуждение наглаголющего фашизма в других странах, но сколько черных слов находит

он, чтобы принизить, оболгать нашу страну, являющуюся светом, надеждой человечества, чтобы забросать грязью ее славу, ее идеалы.

Считаю правильным решение о выдворении Солженицына за пределы нашей Родины.

*Степан Щипачев
(«Литературная газета», 20 февраля 1974 года).*

Весть о том, что Солженицын лишен гражданства СССР и выдворен из СССР, принесла мне глубокое удовлетворение.

Еще несколько лет назад я написал о нем статью, которую назвал «Вор в нашем доме». С тех пор его злобная клевета на социалистический строй еще более усилилась...

*Берды Кербабаев
(там же).*

Когда оскорбили тебя одного, можно еще как-то стерпеть, промолчать. Но можно ли молчать и терпеть, когда оскорблена совесть миллионов, когда возводится злобная и целенаправленная хула на самые великие наши национальные ценности, когда оскверняется то, что для всех нас свято, когда поднята ничем не смущающаяся и ничем не брезгующая рука на бессмертные завоевания Октября, когда брошен поганый плевок не только в живых героев, но и на священные могилы павших, тех, что спасли мир от вечного кошмара, в который собирался погрузить его фашизм, — можно ли, спрашиваю я вас, молчать и терпеть? И сколько можно терпеть?!

Надобно уж очень круто насолить своему народу, очень сильно нагадить, напакостить ему, чтобы он в конце концов указал тебе на дверь, отвернулся от тебя и грозно, с крайним отвращением вымолвил:

— П-шел вон!

Солженицына вытряхнули где-то посреди возлюбленной ему капиталистической Европы, на те посева, где он, духовный власовец, давненько уж пасся, пощипывая отравленную травку. Едва ступив на землю, тотчас же потянулся липкими и жадными ручищами к туго набитому, поджидавшему его в швейцарских банках кошельку. Надо полагать, Иуда Искариотский повернулся

в гробу от дикой зависти: ведь он явно продешевил, продав Иисуса всего лишь за тридцать сребреников. Александр Исаевич так дешево не продает, да и продает-то он не какого-то там библейского Христа, а вполне реальное Отечество...

Михаил Алексеев
(«Литературная газета», 20 февраля 1974 года).

Мне пришлось в годы вынужденной неволи быть вместе с теми, кто в тяжелых условиях оставался несгибаемым коммунистом и стойким советским человеком. Я восхищался, гордился ими и рассказал о них в документальной «Повести о пережитом». Но были там и справедливо осужденные — предатели, изменники Родины, откровенные враги нашего строя. Я видел их прищуренные глаза, слышал их злобные голоса, чувствовал их ненависть ко всему, что священо для нас. Адвокатом и единомышленником таких преступников стал Солженицын. Он нанялся в холопы к нашим идейным врагам и стряпал для их кухни антисоветское варево.

В лаконичных, высокого достоинства строках Указа о выдворении Солженицына за пределы страны Ленина — сила советского закона.

Предателя, где бы он ни находился, все равно настигнут наша Правда и презрение всех честных людей мира.

Лишение Родины — гражданская смерть.

Борис Дьяков
(там же).

<...> В самой основе «творчества» Солженицына заложено зерно национального предательства; его герои олицетворяют самые теневые стороны человеческого характера — раболепие, угодничество, всеядность, способность за пайку хлеба отказаться от человеческого достоинства. Солженицын гнусно оклеветал русского человека, того самого пахаря и солдата, который не однажды пронес по странам Европы с великим достоинством меч освободителя от насилия и порабощения.

Разумеется, нет нужды защищать русский народ от человека, душа которого полна патологической злобы в отношении всего этого народа... И, разумеется, вполне закономерно и естест-

венно, что человек, патологически ненавидящий народ, в своем развитии неизбежно пришел к самому реакционному, к самому гнусному — к оправданию фашистов. И вполне естественно, закономерно, что народ, спасший мир от фашизма, народ, давший миру великих титанов духа, с отвращением и брезгливостью отторгнул от себя прислужника империализма.

Петр Проскурин
(там же).

Н.Яковлев, доктор исторических наук

ПРОДАВШИЙСЯ

О предательской деятельности А.Солженицына

<...> «Архипелаг Гулаг» доводит до логического завершения то, что было намечено уже в «Августе Четырнадцатого», — это манифест воинствующего врага русского народа...

Довольно каталогизировать подлости «Архипелага Гулаг», они бесчисленны, вся книга с первой до последней страницы — грязная клевета на наш народ, далеко превосходящая измышления западных «советологов»...

Солженицын и иные грязные провокаторы готовы способствовать даже развязыванию войны... они служат самым агрессивным кругам международной реакции.

(«Литературная газета», 20 февраля 1974 года.
«Голос Родины», 1974, № 13, февраль.)

В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ ЕМУ НЕТ МЕСТА!

Писатели о выдворении Солженицына

Ослепленный ненавистью к революции, к социализму, Солженицын своими действиями фактически изолировал себя от советского общества. Лишение гражданства СССР — закономерный акт по отношению к человеку, который противопоставил себя миллионам людей, оскорбил их национальное достоинство.

Как бывший солдат я глубоко потрясен тем, что Солженицын ищет оправдание власовцам, предавшим свой народ в самый тяжелый, в самый критический момент его истории. Это глумление над прахом двадцати миллионов соотечественников, отдавших жизнь за Родину.

Не менее безнравственно и оскорбительно то, что он говорит о русском народе, — это как плевок в глаза матери, вскормившей человека своим молоком. Это трудно, невозможно понять и с точки зрения моральной, и перед лицом истории, перед лицом фактов, которые говорят о величайших заслугах и достоинствах русского народа, снискавшего уважение всего человечества.

Я говорю не о правовой, а о моральной стороне решения Президиума Верховного Совета СССР о лишении А.Солженицына советского гражданства, но правовая сторона дела зиждется на моральной: Солженицын своими действиями *наносит моральный ущерб советскому народу, обществу*. Почему же общество, народ должны были предоставлять ему возможность безнаказанно пакостить?!

Мне кажется, выдворение из СССР и лишение советского гражданства человека, который фактически не стал гражданином Советского Союза, правильно и своевременно.

*Александр Михайлов, секретарь правления
Московской писательской организации
(«Литературная Россия», 22 февраля 1974 года).*

<...> За новую его книгу «Архипелаг Гулаг» с радостью ухватились реакция, апологеты капитализма. Среди всякого вздора, который Солженицын наплел на страницах своей книжонки, много места занимает персона генерала-предателя Власова, по вине которого в 1942 году попала в котел Вторая ударная армия на Волховском фронте, погибли тысячи наших солдат, многие попали в фашистский плен...

Только так мы и должны поступать с изменниками! Солженицыных — вон с советской земли!

*Георгий Холопов
(там же).*

УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

- | | |
|----------------------------------|---|
| Абалкин Н.А. 207 | Бабенышев А.П. 456 |
| Абашидзе Г. 329–330 442 | Баева Т.А. 411–412 |
| Абдумомунов Т. 319 329 | Бажан М. 463–464 |
| Агеева Л. 411–412 | Бакланов Г.Я. 21–26
216–217 289–290 |
| Агурский М.С. 457–458
459–460 | Балтер Б.И. 216–217 |
| Адамов А. 399–401 | Барабанов Е.В. 445–447
469–470 |
| Адамян Н. 216–217 | Барабаш Ю.Я. 154–155 204 |
| Айтматов Ч. 433 | Баранов В.И. 134 |
| Аксенов В.П. 216–217 | Баруздин С.А. 318 329 |
| Алексеев М.Н. 206 477–478 | Бёлль Г. 409–410 435–436 |
| Альбрехт В.Д. 471–472 | Белгородская И.М. 411–412 |
| Альварес А. 410–411 | Березко Г.С. 243–244
254 259 275 277
281 287 290–291
295–297 |
| Амлинский В.И. 216–217 | Берзер А.С. 216–217 |
| Ананьев А.А. 448 462–463 | Богатырев К.П. 216–217 |
| Андреев К. 437–438 | Богомолов В.О. 216–217 |
| Аникст А.А. 216–217 | Богораз Л.И. 459–460 |
| Антокольский П.Г. 225–226 | Бондарев Ю.В. 433 450–451 |
| Антонов С.П. 226–228 | Бондарин С.А. 216–217 |
| Апдайк Дж. 409–410 | Боннэр Е.Г. 456 459–460 |
| Арагон Л. 399–401 | Бори Ж.-Л. 399–401 |
| Арендт Х. 410–411 | Борисов В.М. 447–448 456 |
| Асанов Н.А. 258–262 | Борисова И.П. 216–217 |
| Асанова З. 411–412 | Борщаговский А.М. 244–250 |
| Астафьев А. 18 | Бровка П. 330 441 |
| Атаджанян И. 155–156 | |
| Ахматова А.А. 139 | |
| Бабаевский С.П. 125–126 | |

- Бровман Г.А. 139 166 206
 Бройдо Е. 17
 Бронне К. 410–411
 Буханов В. 44–52
 Бушин В.С. 59–60 129–131
 216–217
 Быков В.В. 216–217 433
 Бюрньо К. 410–411
 Бютор М. 399–401
- Вандеркамменн Э. 410–411
 Ваншенкин К.Я. 216–217
 Варламова И.Г. 216–217
 Велиев В. 411–412
 Великанова Т.М. 413–414
 469–470
 Веркор 399–401
 Винниченко И.Ф. 255–258
 Вишневецкая Ю.И. 411–412
 Владимов Г.Н. 221–224
 Войнович В.Н. 216–217 218
 438–439 474
 Войтинская О.С. 297
 Волгин Н. 201–202
 Волжина Н.А. 216–217
 Волчек Я.И. 216–217
 Вольпин А.С. 411–412
 Воннегут К. 409–410
 Воробьев О.И. 411–412
 Воронков К.В. 319–320 329
 337
 Вронский Ю.П. 216–217
 Вучетич Е.В. 204–205
 Вюрмсер А. 399–401
- Галансков Ю.Т. 420
- Галич А.А. 216–217 389
 438–439
 Гамзатов Р. 433 443
 Гароди Р. 399–401
 Герштейн Э.Г. 216–217
 Гершуни В.Л. 411–412
 Гильвик Э. 399–401
 Гинзбург И.С. (Жолковская)
 413–414 456
 Гиров К.-Р. 419
 Гитин В. 40–41
 Гладилин А.Т. 216–217
 Гладков А.К. 216–217
 Глэнвилл Б. 410–411
 Гови Ж. 399–401
 Гольшева Е.М. 216–217
 Гольдберг М. 159–160
 Гончар О. 433 441–442
 Горбаневская Н.Е. 413–414
 456
 Гоффин Р. 410–411
 Гранин Д.А. 156–157
 Грасс Г. 410–411
 Гребенщиков А. 386
 Греков Л. 197
 Грибачев Н.М. 433 462
 Григоренко З.М. 411–412
 Григоренко П.Г. 390
 Григорьев А.И. 187–192
 Грин Г. 410–411
 Губко Н.Г. 37–39
 Гусаров В.Н. 411–412
- Давыдов Ю.В. 216–217
 Давыдова Н. 216–217
 Даниэль Ю.М. 456

- Дар Д.Я. 218–219
 Дегтярев 371–373
 Джемилев Р. 411–412
 Диков Ю.П. 411–412
 Долинина Н.Г. 216–217
 Допань Ж. 410–411
 Дрёмов А.К. 166–167
 Дроздов И. 385
 Друцэ И. 31–35
 Дымшиц А.Л. 128 474–475
 Дьяков Б.А. 478
 Дэкс П. 399–401
 Дюрренматт Ф. 409–410
- Евтушенко Е.А. 464–469
 Егорычев Н.Г. 203 203–204
 Елкин А.С. 385–386
 Емелькина Н.П. 411–412
 Ермилов В.В. 26–28 36–37
 Ермолинский С.А. 216–217
- Жан Р. 399–401
 Жаркова Н.М. 216–217
 Желудков С. 459–460
 Жиллес Д. 410–411
 Жолковская см. Гинзбург И.С.
- Залыгин С.П. 433
 Захарова А.Ф. 112–123
 Зимянин М.В. 207–208
 Золотусский И.П. 95
 Зорин Н. 17
- Иванов А.С. 442–443
 Иванов В. 173–176 176–177
 Ивантер Н.А. 216–217
- Ивич А. 216–217
 Ильина Н.И. 216–217
 Иметов А. 411–412
 Ионсон У. 410–411
 Искандер Ф. 216–217
 Исмаилов З. 411–412
- Кабо Л.Р. 271–274
 Каверин В.А. 216–217
 230–241 250–255
 311–314
 Каган Б. 17–18
 Кагарлицкий Ю.И. 216–217
 Казин А. 410–411
 Капоте Т. 409–410
 Карвер Д. 410–411
 Карпов В.В. 451–452
 Карякин Ю.Ф. 89–95
 278–281
 Катаев В.П. 218 433 461–462
 Кедрина З.С. 267–270
 Кербабаяев Б. 330–331 477
 Кешоков А. 433
 Кизиева Л.К. 357–359
 Клавель Б. 399–401
 Ковалев С.А. 413–414
 469–470
 Коган А.Г. 138–139
 Кожаринов В. 411–412
 Кожевников В.М. 207
 326–327 433
 Кожин В.В. 62–63
 Колесов В. 129
 Конецкий В.В. 220–221
 Копелев Л.З. 297 397–398
 458–459

- Коржавин Н.М. 216–217
 Корнейчук А.Е. 317–318
 325–326
 Корнилов В.Н. 216–217
 218
 Королева И.М. 411–412
 Коростылев В.Н. 216–217
 Косолапов П. 43–44
 Костерина Е.А. 411–412
 Красин В.А. 411–412
 Кристи И.Г. 413–414
 Кружков Н.Н. 28–30
 Крутилин С.А. 216–217
 Крячко Л. 167–169
 Кугультинов Д. 462
 Кузнецов Ф.Ф. 448
 Кулаковский А.Н. 430
 Кулик С. 436–437
 Кунгурцев Ю. 52–57
 Кушева Л.А. 411–412

 Лавут А.П. 413–414
 Лагунов К.Я. 125
 Лазарев Л.И. 216–217
 Лакшин В.Я. 63–88 140–154
 Ланда М.Н. 413–414
 Лану А. 399–401
 Лапин В.П. 411–412
 Ларни М. 427–428
 Левитанский Ю.Д. 216–217
 Левицкий Л.А. 216–217
 Лезинский М. 177
 Леман Р. 410–411
 Леонидов П. 433–434
 Липатов В.В. 448
 Литвинов П.М. 459–460

 Литвинова Т.М. 216–217
 401 456
 Лорие М.Ф. 216–217
 Луконин М.К. 433
 Лукшин А.Д. 378–381
 Лыньков М. 430
 Любовникова Л. 411–412

 Мадоль Ж. 399–401
 Маккарти М. 410–411
 Максимов В.Е. 216–217
 438–439 459–460
 Мальцев Е.Ю. 281–284
 Марков Г.М. 332 433
 Марченко А.Т. 459–460
 Маршак С.Я. 183–184
 Медведев Ж.А. 401–405
 431–432 432
 Медведев Р.А. 458 470–471
 Медников А.М. 262–264
 Мележ И.П. 430 433
 Мемми А. 399–401
 Мери Г. 399–401
 Метченко А.И. 386–387
 Миллер А. 409–410 410–411
 Минаев Г. 109–112
 Мисима Ю. 409–410
 Михайлов А.А. 479–480
 Михайлов Б.Б. 445
 Михайлов М. 131–132
 Михалков С.В. 433 441
 475–476
 Можаяев Б.А. 216–217
 Можнягун С. 169–170
 Молчанюк Н. 177–178
 Мориц Ю.П. 216–217

- Мотяшов И.П. 132
 Мусрепов Г. 320

 Наровчатов С.С. 433
 Николаев Д.П. 216–217
 Новиченко Л.Н. 331–332
 Нольман М. 18
 Нотт К. 410–411

 Облонская Р.Е. 216–217
 Огнев В.Ф. 216–217
 Оден У.-Х. 410–411
 Озеров В.М. 327 433
 Оклер М. 399–401
 Окуджава Б.Ш. 216–217
 Окунева И. 159–160
 Орлов Ю.Ф. 459–460
 Оттен Н.Д. 216–217

 Павлов С.П. 126–127 205
 Паллон В. 178–182
 Панков В.К. 126 166
 Панова Л. 413–414
 Панченко Н.В. 216–217
 Параф П. 399–401
 Пармелен Э. 399–401
 Паустовский К.Г. 216–217
 Первенцев А.А. 134
 Перцовский В. 132–133
 Пикассо П. 399–401
 Пинский Л.Е. 216–217
 Плющ Л.И. 411–412
 Подъяпольский Г.С. 411–412
 Познер В. 399–401
 Полевой Б.Н. 433 474
 Полторацкий В.В. 127–128

 Попов Б. 373–376
 Поповский М.А. 216–217
 Прево А. 399–401
 Примак А. 411–412
 Прокша Л.Я. 429–430
 Проскурин П.Л. 478–479
 Пузанова Н. 157–158

 Радвогин Ю. 413–414
 Регельсон Л.Л. 472–474
 Резников Л. 160–162
 Рекемчук А.Е. 448–450 461
 Рид Д. 426–427
 Романов П.К. 460–461
 Романовский Е. 428–429
 Российский И. 381–383
 Ростропович М.Л. 423–425
 Рошфор К. де 399–401
 Рощин М.М. 216–217
 Рудаков И.В. 411–412
 Руссело Ж. 399–401
 Рыбаков А.Н. 216–217
 Рыжик М.Ш. 411–412
 Рюриков Б.С. 328–329 334

 Савин С. 198–199
 Савина Р. 411–412
 Садовников Г.М. 216–217
 Сажин П.А. 285–286
 Салынский А.Д. 318 323–324
 328 433
 Сарнов Б.М. 137–138
 216–217 274–278
 Сартаков С.В. 433
 Сартр Ж.-П. 399–401
 409–410

Сахаров А.Д. 438–439
443–445 456 459–460
Светов Ф.Г. 216–217 218
Свирский Г.Ц. 216–217
Сейтометов В. 411–412
Селиверстов Н. 158–159
Семенов Г.В. 216–217
Семенова А. 129
Симонов К.М. 19–21 324
433 442
Синельников М.Х. 156
Скуйбин В.Н. 88–89
Славин Л.И. 264–267
Слуцкий Б.А. 216–217
Смирнов 296
Смирнов С.С. 433
Смирнов-Черкезов А.И.
216–217
Сморгунова Е.М. 413–414
Солженицын А.И. 211–216
244 270–271 291–295
297 314–315 315–316
317 318–319 320–323
326 327 332–336
338–339 339–340
340–341 396–397
440–441
Соловьев И. 439–440
Солоухин В.А. 41 216–217
Солсбери Г. 409–410
Соснин А.С. 216–217
Соснора В.А. 228–229
Сотник Ю.В. 216–217
Софронов А.В. 433
Спарк М. 410–411
Ставицкий А. 182–183

Стайрон У. 410–411
Стариков Д.В. 135–137
Старикова Е.В. 216–217
Стельмах М.А. 433
Стиль А. 399–401
Стравинский И.Ф. 409–410
Стрехнин Ю.Ф. 216–217
Струве Н.А. 139
Сурганов В.А. 133
Сурков А.А. 326 327–328 336
433
Тагер Е.Б. 287–289
Танк М. 430
Тарасенкова Н.Н. 216–217
Тарковский Арс. Ал-др.
216–217 284
Твардовский А.Т. 15–17
39–40 299–311 319–322
324–325 336
Твердохлебов А.Н. 456
Телесин Ю.З. 413–414
Тендряков В.Ф. 216–217
Терновский Л.Б. 411–412
470
Тимачев В.М. 411–412 456
Тихонов Н.С. 433
Тойнби Ф. 410–411
Тоом Л.В. 216–217
Триоле Э. 399–401
Трифонов Ю.В. 216–217
Труфанова В. 133–134
Турков А.М. 289
Туровская М.И. 216–217
Турсун-заде М. 433
Турчин В.Ф. 353–357

Убожко Л.Г. 411–412
Уилбур Р. 409–410
Уилсон М. 409–410
Уолл Б. 410–411
Урбан Р.М. 411–412
Фай Ж.-П. 399–401
Федин К.А. 316–318 325 336
433
Федоренко Н.Т. 433
Феодосьев В. 387
Феррари Э. 430–431
Флад Ч.-Б. 409–410
Фоменко Л.Н. 36
Фрадкин И.М. 216–217
Фрисланд В. ван 410–411
Фуше М.-П. 399–401
Фуэнтес К. 409–410
Хаксли Дж. 410–411
Халапов И. 411–412
Халилов И. 411–412
Харппрехт К. 410–411
Ходорович Т.С. 413–414 456
469–470
Холопов Г.К. 480
Хоххут Р. 410–411
Хэртлинг П. 410–411
Цимеринов Р. 162–163
Чаковский А.Б. 433
Чалмаев В.А. 163–164
Чешихина В.В. 216–217
Чивер Д. 409–410
Чистяков 376–378
Читатель (псевд.) 95–109
Чичеров И.И. 30–31
Чуковская Л.К. 10–12
359–371 390 398
454–455 456
Шамякин И. 430
Шапиро Г. 39–40
Шапиро М. 410–411
Шарипов А. 320 331
Шаров А. 216–217
Шафаревич И.Р. 438–439
456 457
Шейнис В. 162–163
Шиханович Ю.А. 413–414
Шолохов М.А. 433
Шрагин Б.И. 452–454
459–460
Штейн Ю.Г. 413–414
Шток И.В. 441
Штюц М. 428
Щипачев С. 433 476–477
Эйр А.-Дж. 410–411
Эманюэль П. 410–411
Эфрон А.С. 216–217
Юсупов Н. 452
Якир И.П. 411–412
Якир П.И. 411–412
Яковлев Н.Н. 479
Ямпольская Е. 159–160
Ярославов Б. 411–412
Яшен К. 330

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ

Абакумов В.С. 214 329
 Абрамов Ф.А. 131 135
 Аверченко А.Т. 412
 Агламзянова Ф. 195
 Адамович Г.В. 429
 Азарх Р.М. 185
 Айвазовский И.К. 140
 Айтматов Ч. 301–302
 Аксенов В.П. 125 127 129
 Аксенова Е. (Е.С.Гинзбург)
 240
 Аллилуева С.И. (Сталина)
 328 330
 Алов А.А. 227
 Алчевская Х.Д. 141
 Андреев А.Д. 186
 Арагон Л. 424
 Асанов Н.А. 271 273 274
 283
 Ахматова А.А. 212 214
 218 233 275 285 328
 334 363 396 397 410
 458
 Бабель И.Э. 214 250 275
 386 399
 Бакланов Г.Я. 59 89 238
 300 302
 Балтер Б.И. 238

Бальзак О. де 404
 Барабаш Ю.Я. 156 159–163
 Баранов С.Х. 398
 Барбюс А. 428
 Барто А.Л. 399
 Баруздин С.А. 332
 Баскэн Т. 417–419
 Баяубаев У. 54
 Бек А.А. 227 236 252 267
 284 307 312 320
 Белинский В.Г. 39 141
 Бёлль Г. 424
 Белов В.И. 245
 Бельцов В. 45
 Бенкендорф А.Х. 219
 Берггольц О.Ф. 227
 Березко Г.С. 255
 Берия Л.П. 214 254 330
 Бжезинский З. 417
 Блок А.А. 169 285
 Бондарев Ю.В. 89 129 236
 Боноски Ф. 424
 Борисоглебский 371
 Борщаговский А.М. 252
 254 259 262–263
 Бошьян Г.М. 403
 Брежнев Л.И. 464
 Бродский И.А. 424
 Броз П. 386–387

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН, УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ

Бруно Дж. 323
 Булгаков М.А. 212 214
 218 222 226 233
 236–237 250 275 277
 278 285
 Булгарин Ф.В. 274–275
 Бунин И.А. 63 134 212
 266 275 449 451
 Бурковский Б.В. 178–182
 Быстров И. 195 196
 Бэкон Ф. 334
 Васильев П.Н. 214
 Вергилий 386
 Вершинина М. 153
 Весёлый А. 214
 Винниченко И.Ф. 259 260
 283
 Виткевич Н.Д. 372
 Вичуро Е. 195
 Вишневская Г.П. 424
 Владимов Г.Н. 236
 Власенко Н. 194
 Власов А.А. 422 449 466
 480
 Вознесенский А.А. 305
 Войнович В.Н. 127 468
 Войтинская О.С. 185
 Волошин М.А. 212
 Воронков К.В. 310 313 315
 321 324–325 399 408
 Вороньянская Е.Д. 435
 Врангель П.Н. 416
 Вышинский А.Я. 457
 Галансков Ю.Т. 346 360
 Гамзатов Р. 167 447 452
 Герострат 462
 Герцен А.И. 459
 Гинзбург А.И. 346 360
 Гинзбург Е.С. см.
 Аксенова Е.
 Гиппиус З.Н. 449
 Гитлер А. 330 449
 Гоголь Н.В. 146 225 236
 Голицын В. 196
 Гомер 403
 Гончаров И.А. 278–279
 Горбатов А.В. 328
 Горький М. 123 147 225
 276 277 304 327 331
 448–449 459
 Гракх, братья 279
 Гранин Д.А. 158 399
 Граховский С.И. 330
 Грекова И. 236
 Григоренко П.Г. 473
 Грин А. 214
 Гроссман В.С. 214 225
 275 278
 Гумилев Н.С. 212
 Даль В.И. 148
 Даниэль Ю.М. 267 410
 467
 Демичев П.Н. 225–226
 Дзержинский Ф.Э. 473
 Дмитриев А. 46 49
 Добролюбов Н.А. 83
 Долотцев 371
 Домбровский Ю.О. 236
 251

- Достоевский Ф.М. 38 60
103–107 140 212 266
278–279 345 404 411
450–451 453–454
459
- Драбкина Е.Я. 307
Дриневиц А. 142
Дымшиц А.Л. 31 59 143
144 150 279
Дьяков Б.А. 84–85 113
120–123 199 301
Дэкс П. 91
Дюма А. 51
Дюрренматт Ф. 224
Дюсанов 54
- Евстигнеев С.К. 122
Евтушенко Е.А. 125
Евтушенко П. 468
Егорычев Н.Г. 203
Ежов Н.И. 214
Еремин Д.И. 185
Ермолинский С.А. 277
Есенин С.А. 46 212 218
- Жид А. 422–423
Журавлев П. 153
Жуховицкий Л.А. 149 150
- Заболоцкий Н.А. 214 233 250
Завадский Ю.А. 83
Заглада Н.Г. 126
Закруткин В.А. 399
Залыгин С.П. 236 301 302
Замятин Е.И. 212 277 327
Захаров А. 153
- Зимянин М.В. 338
Золотницкий 164
Зоценко М.М. 214 218
237 275 285 397
- Измestьева Е. 142
Икрамов К. 330
Ильичев Л.Ф. 87 219
Ильф И. 276
Исбах А. 185
Искандер Ф. 237
- Кабо Л.Р. 282
Каверин В.А. 184 275 280
282 351 367 370
Казакевич Э.Г. 88
Казаков Ю.П. 238 251
Камю А. 281
Караваева А.А. 277
Карандо И.А. 152
Карякин Ю.Ф. 234 293
Катаев В.П. 266 276 347
Кедрина З.С. 274 275 280
283
Кешоков А. 399
Кирпотин В.Я. 277
Климов Э.Г. 227
Клюев Н.А. 212
Кожевниковы 260
Кожедуб И.Н. 385
Кольцов М.Е. 276 399
Конецкий В.В. 251
Конов 371 372
Конторщиков А. 195
Кончаловский А.С. 227
Копелев Л.З. 185 396

- Корнейчук А.Е. 327 331
332
Корнилов В.Н. 468
Короленко В.Г. 459
Космодемьянская З.А. 349
379
Кочетов В.А. 423
Краснов П.Н. 449
Красносельский А. 196
Крацкин Л. 194
Крячко Л. 144 150
Кузнецов А.В. 347
Кукеева 54
Кукрыниксы 276
Курбатов В. 167
Куропятникова Т.Д. 132
Кутепов А.П. 416
- Лазутин И.Г. 72
Лакшин В.Я. 186
Лапин В.И. 202–203
Ларни М. 431–433
Ларюшкина А.И. 152
Лебедев Д. 194
Левченко Н.С. 398
Ленин В.И. 77 89 123 278
279 307 376 378 412
430 449 473 478
Леонов Л.М. 167
Лепешинская О.Б. 403
Лермонтов М.Ю. 453
Лесков Н.С. 266
Лившиц Б.К. 285
Ломидзе Г.И. 70
Луи В.Е. 339 340
Лысенко Т.Д. 250 403
- Македонов А.В. 126
Максимов В.Е. 236
Маленков Г.М. 263
Мандельштам О.Э. 212
213 214 218 222 368
399 467
Манн Т. 38
Маркин Е.Ф. 398
Марков Г.М. 310 313 315
399 408
Маркс К. 279 328 334 377
Марченко А.Т. 467
Марченко Н.Л. 165
Маршак С.Я. 167 187 207
299 310 311
Марше Ж. 443
Марягин Г.А. 185–186
Матвеев 47
Матросов А.М. 349 379
Матушкин В.С. 398
Маяковский В.В. 212 449
Медников А.М. 266
Межелайтис Э. 167
Мейерхольд В.Э. 83
Мейркулов Т. 54
Мележ И.П. 432
Мелентьев Ю.С. 316
Мельников 373
Мельников-Печерский П.И.
51
Мельничук Е. 55
Мережковский Д.С. 449
Михайловский Н.К. 328
Можаев Б.А. 237 245 251
Молчан Х.Л. 164
Молчанов И.В. 197

- Мориак Ф. 424
 Моторина 177
 Мясковский Н.Я. 424
- Навои А. 69
 Наумов В.Н. 227
 Некрасов В.П. 89 125 127
 Некрасов Н.А. 86
 Нехорошев В.П. 164
 Никитин Н. 185
 Николай II 400
 Нилин П.Ф. 88
 Норд П. 417
- Овечкин В.В. 300
 Озеров В.М. 339
 Орехов 416–419
 Островский А.Н. 147
- Павленко П.А. 386
 Панкин Б.Д. 435
 Панков В.К. 399
 Пастернак Б.Л. 212 214
 218 226 233 240 251
 275 285 307 312 328
 369 396 397 399 404
 410 423 424 465
 Паустовский К.Г. 237–238
 312 358 458
 Пашенко П.И. 152
 Песков В.М. 198
 Петефи Ш. 385
 Петров Е.П. 276
 Пильняк Б.А. 213 214 222
 368 386
 Писарев Д.И. 377
- Платонов А.П. 212 213
 214 222 233 250 275
 289 368
 Подгорный Н.В. 471–472
 Покрышкин А.И. 385
 Поликанов А. 194
 Поликарпов Д.А. 219
 Полторацкий В.В. 141–143
 145
 Поскребышев А.Н. 329
 Постышев П.П. 61
 Потемкин 319
 Презент И.И. 403
 Прокофьев А.А. 167
 Прокофьев С.С. 424
 Пушкин А.С. 123 274–275
 331 403–404
 Пясецкий 432
- Радищев А.Н. 240
 Рапопорт С. 185
 Рассел С. 90
 Ребрин П.Н. 135
 Ремарк Э.-М. 428
 Ремизов А.М. 212
 Решетовская Н.А. 48–49
 372–373
 Родин Н.А. 398
 Рокасуева 198
 Рокоссовский К.К. 328
 Романовский Е. 431–432
- Савин С. 196
 Салтыков-Щедрин М.Е.
 86 236 245
 Сарнов Б.М. 282 287

- Сартаков С.В. 315 408
 Сахаров А.Д. 433 473
 Седых А. 429
 Селиванов Ф. 164
 Семин В.Н. 236
 Семичастный В.Е. 322–323
 369
 Сергеев-Ценский С.Н. 327
 Сергованцев Н.М. 73–77
 Серебрякова Г.И. 305 347
 367
 Сибгатуллин И. 195
 Симонов К.М. 299 307
 313 339 447
 Симонян К.С. (Симонянц)
 372
 Синявский А.Д. 267 410
 467
 Смальцев К. 196
 Смирнов С. 196
 Смирнов С.В. 363–365
 Смуул Ю. 167
 Соболев Л.С. 315 399 421
 Сократ 76
 Соловьев В.С. 328
 Солсбери Г. 437
 Спиридонов Л. 194
 Сталин И.В. 10 14 19 21
 22 25 27 28 30 33–35
 36 38 43 61 93 107
 137 173 178 182 197
 198 201 213 215 235
 247 250 254 277 329
 334 362–365 368 372
 405 444 454 455 457
 466–467 473 475–476
- Сталина С. см.
 С.И.Аллилуева
 Стариков Д.В. 138–139
 Страда В. 93
 Струве Н.А. 139
 Субботин В. 194
 Суворов А.В. 331
 Сулин Ю. 164
 Сурганов В.А. 144
 Сурков А.А. 332 334
 Сухово-Кобылин А.В. 236
 Сырымбетов З. 52–53
- Табидзе Т. 214 226 233
 251–252 400
 Тарковский Анд. Арс. 227
 425
 Тарковский Арс. Ал-др.
 250
 Тарсис В.Я. 345–346 421
 Татьянаичева Л.К. 399
 Таурин Ф.Н. 398 399
 Твардовский А.Т. 19 20 57
 71 90 167 197 205
 279 323 328 330 339
 408 458
 Тевекелян В.А. 130 199
 Тендряков В.Ф. 89 132
 300 347
 Терехов Г.А. 372
 Теуш В.Л. 319 349
 Товстоногов Г.А. 447
 Толстой А.Н. 277
 Толстой Л.Н. 38 60 86
 140 166 185 197 207
 225 234 245 250 253

254 261 263 266
 268–269 271 275 279
 287 295 313 365 371
 404 412 453 459
 Троцкий М.Е. 152
 Тушкан Г.П. 185–186
 Тынянов Ю.Н. 233 250

 Ульянова А.Ф. 152

 Федин К.А. 299–314 320
 326 329 330 335
 367 370 408 409
 Федоров 164–165
 Федоров В. 399
 Феррари Э. 430–431
 Флобер Г. 64
 Фоменко Л.Н. 36 70 185
 186
 Фрейфельд А.А. 323

 Хазанов А.Л. 142
 Хакимов С. 399
 Хачатурян А.И. 424
 Хеллман Л. 224
 Хемингуэй Э. 428
 Хрущев Н.С. 10 11 15 20
 25 34 40 60 64 87 90
 173 200 226 300 476

 Цветаева М.И. 212 214
 218 222 233

 Чаадаев П.Я. 224
 Чайковский Б.А. 424
 Чайковский П.И. 51 266

 Чаковский А.Б. 353–357
 376–378
 Чалмаев В.А. 174
 Чапчатов Ф.А. 69
 Чаренц Е. 399
 Чебунин Н. 176–177
 Черноусова Ф.И. 53 55
 Черный Саша 424
 Чернышевский Н.Г. 78–79
 81 137 268
 Чехов А.П. 63 76 86 134
 147 266 313 371 400
 Чичеров И.И. 82 83 185
 188
 Чуковская Л.К. 396 468
 Чуковский К.И. 185 299
 458
 Чумандрин М.Ф. 277
 Чухрай Г.Н. 130

 Шалунова 198
 Шварц Е.Л. 233 236
 Шебалин В.Я. 424
 Шевцов И.М. 248
 Шекспир У. 403
 Шелест Г.И. 60
 Шестаков 322
 Шкловский В.Б. 274
 Шмидт Е.И. 54 56
 Шолохов М.А. 167 300
 304 396 423 449
 Шопен Ф. 51
 Шостакович Д.Д. 424 425
 464
 Штюц М. 431
 Шуб А. 427 433

Шундик Н.Е. 202

 Щедрин Н. см.
 Салтыков-Щедрин М.Е.
 Эйзенштейн С.М. 60 83
 Эйхман К. 457

 Эренбург И.Г. 125 127
 129 185 300

 Ягода Г.Г. 214
 Ясенский Б. 94
 Яшин А.Я. 127

С-48 **Слово пробивает себе дорогу.** Сборник статей и документов об А.И.Солженицыне. 1962–1974 / Сост. В.Глоцер, Е.Чуковская. Вступ. ст. Л.Чуковской. Худож. оформл. С.Стулова. – М.: Русский путь, 1998. – 496 с.

Сборник впервые в полном виде воспроизводит самиздатскую рукопись, составленную в 1969 году. Книга представляет весь спектр отношений к Александру Солженицыну – со времени его вхождения в литературу и до изгнания из страны. Сборник дает возможность проследить драматические перипетии литературной судьбы писателя от начала славы – к официальному поношению, от изъятия его книг из общественных библиотек – до присуждения Нобелевской премии, от травли в печати – до высылки из страны. Читателю открываются трудные пути Слова в тисках советского режима.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 5-85887-045-7

ББК 83.3 (2 Рос) 6

СЛОВО ПРОБИВАЕТ СЕБЕ ДОРОГУ

Сборник статей и документов об А.И.Солженицыне
1962-1974

Составители *В.И.Глоцер, Е.Ц.Чуковская*

Художник *С.А.Стулов*

Корректор *И.В.Леонтьева*